

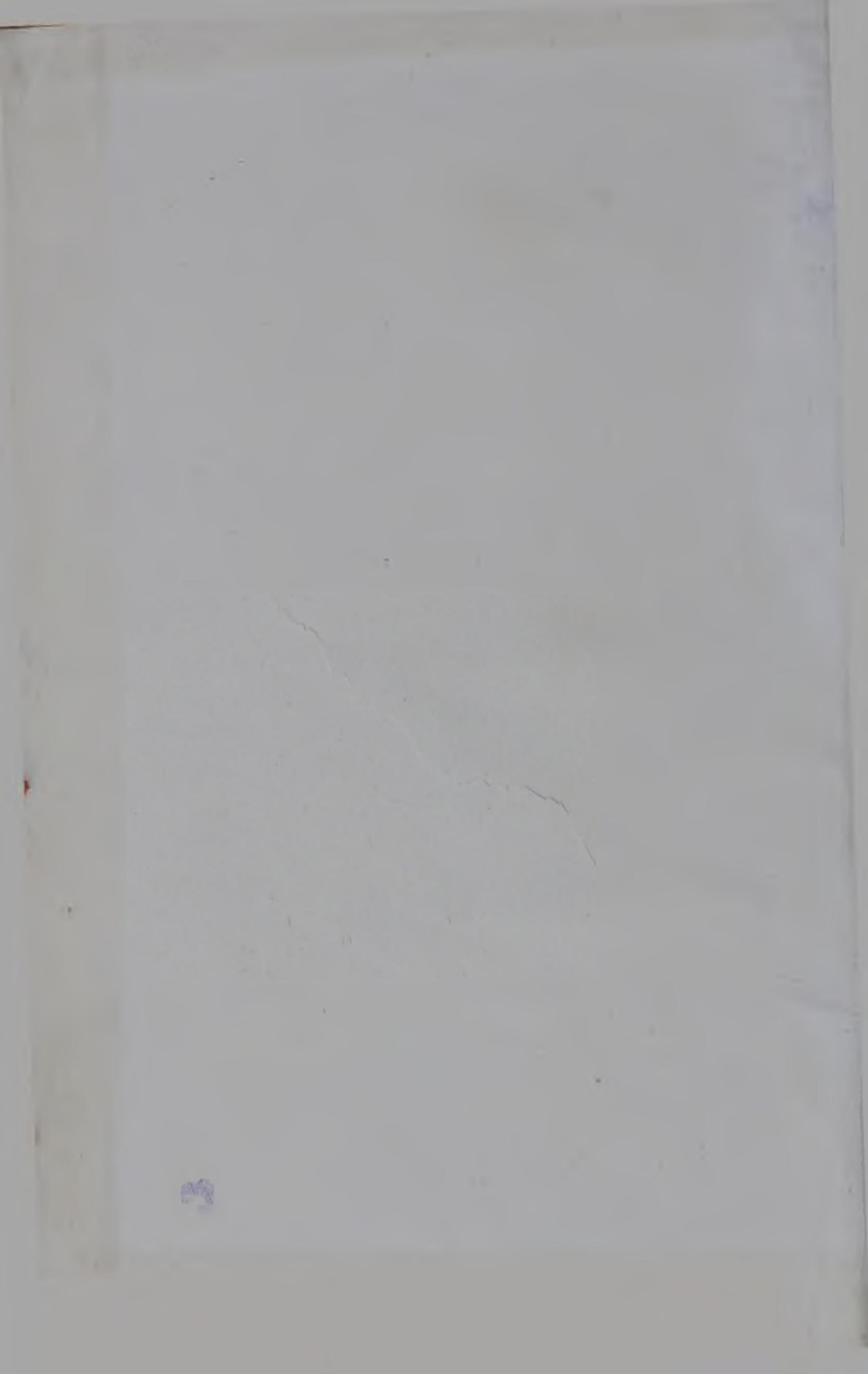
A 2007

712 K



МУХТАР
АУЗЗОВ

ПУТЬ
Абая





В О М Р А К Е

1

Сытые вороные кони понесли. Отвалившись на спину, кучер изо всех сил натягивал вожжи. Это не помогало. Легкая пароконная тележка катилась по краю крутого яра, нависшего над Иртышом, так стремительно, что, казалось, вот-вот сорвется в воду. Но река была еще далеко. Впереди светлела широкая поляна. Кучер полегоньку перевел коней на спокойную рысь и направил их по ровной дороге вдоль высокого берега.

Река дышала вечерней прохладой, особенно приятной после июньского дневного зноя. Истомленная жарой, отдыхала безмолвная степь. Сверкая звездами, застыл в ленивой дремоте просторный Иртыш.

Близ города путники увидели черный густой лес Полковничьего острова, — непроницаемой стеной он заслонял от них огни Семипалатинска. Но уже явственно слышался отдаленный собачий лай. Он раздавался все громче, и вскоре можно было отличить густой осипший бас цепного пса от заливистого визга дворняжки.

Наконец мелькнули и первые приветливые огоньки степного города. Проехав по улице мимо саманных домов с плоскими крышами, кучер остановил лошадей у невзрачных ворот низкого крытого двора, проворно спрыгнул с козел и забарабанил кнутовищем в глухую калитку. Вылез из тележки и седок — грузный человек в широком чапане.

На стук вышла женщина. В узкую щель ворот она пыталась разглядеть приезжих. Но в ночной темноте трудно было что-либо разобрать.

— Кто там? — крикнула бойко женщина.

Кучер опустил кнутовище.

— Это я, Баймагамбет! Абай-ага приехал!

Тем временем Абай, сняв легкий чапан, вытряхивал из него дорожную пыль.

— Ойпырмай! Абай-ага!

Женщина мигом распахнула ворота, и темные силуэты двух мужчин возникли перед ней на фоне звездного неба.

— Здравствуй, Дамежан! — раздался знакомый звучный голос Абая. — Как живешь? Дети здоровы?

— Да, да! — торопливо ответила Дамежан и, в свою очередь, спросила о семье Абая.

Она извинилась, что темно в коридоре и побежала за светильником, громко постукивая по мощеному двору низкими каблуками кебис¹.

Через минуту она вернулась вместе со своим мужем Жабыкеном, припадающим на левую ногу, — он был хром. Вслед за ними появился их старший сын Жумаш, пучеглазый парень с длинной, тонкой шеей.

В слабом свете светильника Абай разглядел внутренность крытого утепленного двора, построенного не по-городскому. Спасаясь от суровой зимы с морозными ветрами, хозяева перегородили его саманными стенами, устроив узкие переходы и тесные закоулки. В самом дальнем углу виднелась дверь, ведущая в дом.

— Хазр, хазр...² — тихонько приговаривал Баймагамбет, успокаивая коней, которые нетерпеливо грызли удила, постукивая копытами о землю.

Пропустив Абая вперед, он ввел лошадей во двор. Слева от ворот стояла широкая телега. На ней спали какие-то люди — видимо, гости из степи. В глубине двора две лошади, уткнув морды в низкие саманные ясли, с громким хрустом жевали сочную зеленую траву.

¹ Кебисы — кожаные калоши.

² Хазр, хазр — сейчас, сейчас!

Идя в дом, Абай поздоровался с лежащими на телеге. Ему никто не ответил.

— Посвети-ка сюда! — попросил он Дамежан.

Женщина подняла светильник. Двое мужчин вытянулись бок о бок, задрав лохматые с проседью бороды. У одного она курчавилась, у другого торчала лопатой. Третий лежал поперек телеги, в ногах. На секунду он приоткрыл глаза, сонно огляделся, щурясь на свет, и тут же повернулся на другой бок. Он был заметно моложе своих спутников, но борода у него была такая же густая и лохматая.

Абай усмехнулся и отошел от телеги.

Баймагамбет с помощью хозяина быстро распряг лошадей и все пошли за Дамежан по узкому проходу к двери в дом. У самого входа женщина пропустила Абая вперед, чтобы он первым переступил порог.

На карнизе низенькой печи ярко горела большая лампа. Дамежан проворно разостлала на полу корпе, накидала подушек, чтобы гостям было удобно сидеть, поставила перед ними низкий круглый стол, перенесла на него лампу. В комнате сразу стало уютнее.

Присев ближе к двери, Дамежан осведомилась, почему так поздно приехал дорогой гость.

— Задержались в дороге! — ответил Абай. — Твой дом — с краю, вот и решили остановиться у тебя. Только ты хлопчешь напрасно. Нам достаточно чаю. Мы устали и лучше ляжем пораньше.

Но Дамежан с улыбкой качнула головой, показав ровный ряд крупных белых зубов.

— Раз вы приехали в мой дом, Абай-ага, позвольте уж мне самой распорядиться.

Абай залюбовался блеском темных глаз Дамежан, бездонной глубиной ее зрачков, подчеркнутых ясностью белков. Настоящие глаза верблюжонка — такие же огромные, бархатные, чистые.

Не в пример молчаливому своему супругу словоохотливая Дамежан легко сходилась с людьми и умела поговорить с любым гостем. Главой дома была она, а не муж. Подсев к столу, хозяйка велела сыну поставить самовар, а когда он ушел — попросила мужа наколоть дров для казана.

Абаю нравилась распорядительность Дамежан. Улыбаясь, он спросил:

— А что это за бороды, которыми ты нагрузила телегу? Почему думаешь продавать на базаре?

Дамежан весело рассмеялась, — снова зубы ее блеснули, матовое лицо слегка зарумянилось. Тряся рыжей бородой, засмеялся и Баймагамбет. Фыркнул и длинношей Жумаш, возившийся в передней комнате около самовара.

— Загляделся на бороды, — добавил Абай, — а не разобрал, чьи они? И с чего такой урожай на бороды, Дамежан? В самом деле, кто это к тебе пожаловал?

Почетный гость говорил уже почти серьезно, но все еще смеялись.

Слобода, в которой решил заночевать Абай, называлась «Бержак», а тот ее конец, где находился двор Дамежан, носил имя «Бас-Жатак» — Верхние жатаки¹ потому, что был расположен выше города. Здесь расселились казахи кочевых аулов, пришедшие в Семипалатинск искать счастья. Во всем городе не было людей менее приспособленных к городской жизни, нежели жители Бас-Жатака. Сделавшись горожанами, они по-прежнему придерживались старинных степных обычаев.

После дороги Абай спал на удобной постели крепко и проснулся поздно. Он чувствовал себя хорошо отдохнувшим и сел завтракать с удовольствием, не торопясь. Сразу же в комнате появились те самые «бороды», о которых шел разговор ночью.

Бородачи степенно поздоровались и заняли добрую половину большого круглого стола, за которым расположился Абай.

Дамежан в ослепительно белом кимешеке² и шарши³ хлопотала возле большого до блеска начищенного самовара. Ловко и быстро она разливала густой, крепкий чай, и крупные серебряные серьги подрагивали в ее ушах. Напеченные для Абая оладьи возвышались

¹ Ж а т а к — бедняк, не кочующий вследствие отсутствия тягла, а живущий оседло.

² К и м е ш е к — женский головной убор.

³ Ш а р ш и — женский головной платок

румяной горкой на блюде среди огромной груды баурсаков.

Приезжие, не дожидаясь, когда начнет есть Абай, принялись уплетать оладьи. Дамежан забеспокоилась и принялась учтиво потчевать.

— Абай-ага! Кушайте оладьи, пока горячие!

Бородачи оказались сородичами Абая,— это были известнейший болтун из рода Иргизбая Жуман и крикун Мака из аула Усер. Прислуживал им старший сын Жумана сероглазый Мухаметжан, обладатель курчавой, как у отца, темно-каштановой бороды. Мухаметжан, подобно своим братьям, походил на отца не только внешностью, но и болтливостью. Недаром люди различали жумановских сыновей, как лошадей, по возрасту: «стригун-болтун», «трехлетка-болтун», «пятилетка-болтун». За Мухаметжаном укрепилась слава «пятилетки-болтуна» — и он ее честно оправдывал.

Узнав о приезде Абая, он сгорал от нетерпенья рассказать земляку последнюю городскую новость. И хотя неприлично было начинать разговор прежде, чем заговорят старшие, Пятилетка-болтун не выдержал. Отправив в рот за два приема полдюжины оладий и запив их ароматным, розоватым от густых сливок чаем, он обратился к Абаю.

— Вы говорите, народ в аулах живет хорошо. А не слышали, какая беда случилась в городе?

Глаза Дамежан, сверкнув от возмущения, остановились на Мухаметжане.

— Какая беда? — встревожился Абай.— О чем он говорит?

— Правду говорит! — промычал Мака.— Беда пришла.

Абай поднял глаза на Дамежан, ее он считал толковее этих мужчин.

— Что они такое говорят?

Но мужчины помешали Дамежан ответить. Они заговорили, перебивая друг друга:

— Страшная болезнь открылась в городе!

— Люди мучаются животом!

— На обоих берегах Иртыша люди мрут, как мухи!

— Это похуже, чем коровья чума!

— Такого мора никогда еще не было!

— Горожане бегут из Семипалатинска!

Мака, более сдержанный, сказал, обращаясь к Абаю:

— Когда мы слышали о твоём приезде, то никак не могли понять, зачем ты прибыл сюда в такое время.

Баймагамбет недоуменно поднял брови и, в упор разглядывая бородачей, спросил:

— А вы-то сами зачем здесь?

— Мы поедим и сейчас же уедем. Подальше от этой заразы.

И бородачи, снова перебивая друг друга, заговорили о несчастье, обрушившемся на город.

Мака и Жуман были старше и, следовательно, по их мнению, благоразумнее Абая. Они настойчиво советовали ему покинуть Семипалатинск побыстрее, пока не поздно.

Абай пропустил советы сородичей мимо ушей и вопросительно глянул на Дамежан. Ей не хотелось пугать почетного гостя. Действительно, за последнюю неделю несколько человек, болевших желудком, поумирало, но Дамежан высмеяла преувеличенные страхи гостей.

— Какой мор? Где это люди гибнут, как мухи? Отрастили бороды, а болтаете, как дети малые. Зачем пугать людей понапрасну?

Слова Дамежан обидели Мухаметжана. Он упрямо возразил:

— Я правду говорю, не к чему мне обманывать. Городские жатаки в каждом доме прячут больного. Но... больного-то скрыть можно, а вот как быть с покойником, с похоронами? Лучше бы ты сказала обо всем Абаю сразу, когда он приехал. Зачем было тянуть до утра?

В красивых глазах Дамежан сверкнул сердитый огонек. На тонких губах заиграла усмешка, в которой были и веселость и раздражение: болтуны, видимо, задели ее за живое.

— Бог дал нашему роду Иргизбай не только мудрецов, но и глупцов, вроде тебя. Усталый гость приехал в полночь, а я бы его встретила у ворот: «Поворачи-

вайте оглобли, в городе заразная болезнь». Выходит, я — жадная собака, дорогому гостю самовар чаю да кусок мяса пожалела!

Абай слушал Дамежан, одобрительно кивая головой, взглядом подбадривая ее. Мухаметжан хотел было возразить ей, но Абай резко прервал его:

— Не зря тебя прозвали Пятилеткой-болтуном. Мелешь, когда уже и молоть нечего!

Смелость Дамежан понравилась Абаю. Держалась она независимо — вся в отца, Изгутты. Не эта ли смелость толкнула в свое время Дамежан в объятия ее незадачливого мужа? Трудно было понять, почему она, красивая девушка, увлеклась хромоногим низкорослым торговцем, привезшим в аул на старенькой телеге свой нехитрый мелочной товар: зеркальца, расчески, иголки, нитки. Как бы там ни было, а ночью Дамежан сбежала с ним в город. С тех пор она жила с молчаливым мужем и, безропотно перенося нужду, растила детей. Их скромный дворик стоял на окраине Бас-Жатака — удобном месте для остановки караванов, идущих из степи в Семипалатинск. Заезжие люди быстро замечали, что опорой дома была Дамежан. Она умела постоять и за себя и за своих домочадцев, никого не давала в обиду. Это было хорошо известно всем соседям, и в Бас-Жатаке к Дамежан относились с большим уважением.

Однако, хотя Дамежан и отбрила Мухаметжана, она и сама не отрицала, что люди в городе умирают от какой-то заразной болезни. Абай призадумался: как быть? Он приехал по важному и спешному делу. Следовало бы посоветоваться с друзьями.

Напившись чаю, Абай написал по-русски записку и подозвал Баймагамбета.

— Поезжай к Федору Ивановичу Павлову и, если он свободен, — привези его сюда.

Одновременно с Баймагамбетом поднялись Мака и Жуман, решившие перед отъездом из города побывать на базаре.

Ребята сидели за чаем, не проронив ни слова, только поблескивая черными своими глазами, и неотрывно глядели на мать. Затем, повинувшись безмолвному ее

приказанию, стали собираться на работу и тихонько выходить один за другим.

Ушел старший Жумаш, долговязый парень, ставивший ночью самовар, а за ним и младшие его братья — пятнадцатилетний Салимжан и двенадцатилетний Алимжан.

Дома с Абаем остались только Жабыкен и Дамежан.

Абай поинтересовался, как живут его сородичи в Бас-Жатаке, и Дамежан не стала скрывать тяжелой нужды, не покидавшей ее дом. Много ли может дать молока одна корова, да и его приходится относить на базар. Вся семья — пять человек — трудится с утра до позднего вечера, а добра нажить так и не удалось. Сыновья весной завели лодку и перевозят жителей Слободы в город через Иртыш и карасу. В свободное время они косят траву для коровы на островах, собирают в лесу хворост на топливо. Отец и мать утешались тем, что их дети все-таки работают дома, а не батрачат у чужих людей.

— Младший Алимжан тоже помогает братьям! — добавил муж Дамежан. — Ему двенадцать лет, а он уже гребет одним веслом.

— Парни зарабатывают гроши, а их родители приносят в дом и того меньше, — сказала Дамежан.

Она шила тымаки¹, ермолки, тубетейки, а Жабыкен продавал их на базаре. Изредка Дамежан получала заказы от состоятельных жительниц Бас-Жатака: вышить серебряными или золотыми нитками узоры на кимешеках и камзолах, скроить платье. Она была мастерица на все руки, долгое время кормила семью своим рукодельем. Женщины Бас-Жатака высоко ценили ее вкус и умение, но заработок был куда меньше ее славы и уважения заказчиц.

Дамежан рассказывала об этом с горькой усмешкой, а Жабыкен исподлобья поглядывал на Абая. Ему хотелось, чтобы почетный гость похвалил свою дальнюю родственницу.

Абай оценил упорство Дамежан и ласково загово-

¹ Тымак — высокая теплая мужская шапка.

рил о том, что значит хорошая мать в семье. Дамежан усмехнулась.

— Вот так мы и живем, тянем лямку день и ночь. Все, что добудем вместе, сразу, как курочки, и поклюем. Заработка хватает только на еду, да раз в год рубашку сменить. Одним утешаемся, что не протягиваем руку у чужого порога, да еще тем, что есть на свете люди и победнее нас, вовсе голые да голодные. А теперь новая беда — эта болезнь, зараза...

Заметив беспокойство во взгляде Абая, Дамежан добавила:

— На той стороне реки меньше умирают.

Но Жабыкен покачал головой:

— И за рекой, на окраинах, и в затоне много больных!

Дамежан недовольно поправила его:

— Мы должны говорить только о том, что видим своими глазами и что нам самим известно. Не люблю слушать сплетни и не люблю, когда пугают людей.

Абай кивнул одобрительно.

— Да, да, расскажите-ка, что творится тут поблизости и что вы видели сами. Значит, казахи в Бас-Жатаке болеют и умирают?

Дамежан утвердительно кивнула головой, а Жабыкен добавил:

— С каждым днем все больше и больше!

— Кто же умер из ваших знакомых? — спросил Абай, словно не доверяя своим собеседникам.

— Вы помните Керейбая? Сперва умерла его мать, за ней старик Садык...

Жабыкен не дал жене закончить и сам стал перечислять скороговоркой:

— А теща Семейбая... Отец Жылкибая... Жена Жумабека... В доме Жубандыка умерло трое малышей...

— Да, да! — вздохнула Дамежан. — Сколько смерть унесла детей, не перечесть!

Абай подобрал ноги под себя, сел по-турецки и, пытливо вглядываясь в взволнованное лицо Дамежан, сказал:

— Вы назвали детей и стариков. Разве только они болеют и умирают?

Он уже понял, какое бедствие обрушилось на город, и теперь хотел уяснить меру опасности.

— Джигиты тоже умирают, да еще какие! — воскликнула Дамежан. — Ударят ногой — железо лопнет! Букпа, Сапар, Каир, Исабек... Первые силачи...

Жабыкен мрачно поправил жену:

— Были силачами, пока не работали на шерсто-мойке и не голодали... А голодного человека любая болезнь свалит.

И Дамежан согласилась с мужем:

— Ах, Абай-ага! Сытые люди этой болезнью реже заболевают. В нашей Слободке живут не только бедняки. Но до сих пор ни один байбатша не умер... Все торговцы и алыпсатары здоровы. А ведь, говорят, эта болезнь очень заразная, быстро переходит от одного к другому.

Она умолкла на мгновение в невольной тревоге.

— У больного становится страшное лицо, — продолжала Дамежан. — Глаза проваливаются, вокруг них ложатся синие круги, «недоуздок смерти». Подбородок и нос заостряются.

— Говорят, дыхание человека холодеет!

— А руки и ноги — твердеют, как камень!

— Больной говорит замогильным голосом!

— Его все время мучает жажда! Он мог бы целое озеро выпить!

— Муллы учат: когда наступит светопреставление, люди будут сидеть, закутавшись в лохмотья своего савана. Может, оно уже наступило, Абай-ага?

Абай не успел ответить — в комнату вошел Федор Иванович Павлов, его сопровождал Баймагамбет. Несмотря на тучность, Абай легко поднялся навстречу желанному гостю.

Федор Иванович молча раскрыл объятия, старые друзья расцеловались, а потом долго крепко жали друг другу руки.

Усевшись поудобнее за дастархан, Павлов сощурился в доброй улыбке.

— Какими судьбами в наши края?

Абай объяснил: сын Абдрахман, получивший образование в Петербурге и уже служивший в Верном, возвращался из отпуска и вез с собой молодую жену — он женился в ауле на Магиш. Надо проводить сына и невестку в далекий путь, раздобыть денег Абишу на дорогу. Пришлось пригнать в город скот на продажу. Да и соскучился я по городским друзьям. Захотелось поведать...

Абай ласково взглянул на Павлова из-под густых бровей.

— Ну-ка, расскажите про здешние дела, Федор Иванович! Как поживает Александра Яковлевна? Ей, как врачу, сейчас, вероятно, достается! Что она говорит о болезни? Для меня здесь все покрыто мраком неизвестности. Пролейте свет в мое сознание! — шутливо закончил он словами из недавно прочитанной повести писателя-народника.

Павлов начал издалека. За последние семьдесят лет холера в третий раз посещает Россию. Впервые эта курносая гостья с косою пришла из Индии, заглянув не только в Китай и Японию, но даже в Западную Европу и Америку. Ходят слухи, будто эпидемия уже охватила сорок русских губерний...

Павлов, заметив, что лицо Абая потемнело, прибавил, пожимая плечами:

— Так Саша говорит. Она считает, что в нашем краю на долю таких людей, как вы, выпала священная обязанность помочь народу в беде. Вы лучше меня знаете, как казахи относятся к смерти. В дом мертвеца на похоронную молитву «жаназа» стекается множество людей. Все входят в комнату, откуда только что вынесли покойника. Зачастую здесь же пьют и едят. Благодаря таким обычаям и распространяется зараза. А воспретить их врачи не в силах. Какой казах, когда в его доме покойник, послушается доктора? Только таких людей, как вы, Ибрагим Кунанбаевич, народ будет слушать. Надо убедить население прекратить на время эти губительные обряды. Следует забить тревогу там, где собирается народ, — на базаре, в мечети, повсюду...

Абай молча слушал, словно взвешивая каждое слово.

— А теперь послушайте, что мы с Сашей требуем от вас и от Баймагамбета. Во-первых, решительно нельзя жить в этом доме! Жители его берут воду из реки. А река сейчас главный распространитель заразы. Переселяйтесь в центр Слободы, там безопаснее, и обязательно остановитесь в доме, где есть колодец во дворе. Следите за своим здоровьем, не перегружайте себя работой, не уставайте, кушайте чаще, чтобы не чувствовать голода, но и не переedayте. Ну, что еще вам посоветовать?

Павлов задумался на минуту и со смехом замотал головой:

— Нет, я, кажется, рискую превратиться в шарлатана. Не будучи врачом, не говори за врача! Можно легко напороть чепухи. Но Сашины слова, Ибрагим Кунанбаевич, это приказ!

Условившись с Абаем встречаться почаще, Павлов собрался домой. Дамежан, видя уважение Абая к русскому гостю, встрепенулась.

— Абай-ага! Обед готов. Попросите его остаться...

Федор Иванович понял, о чем говорит Дамежан, и, приложив руку к сердцу, учтиво поклонился, но обедать все же не остался.

Иргизбаевские болтуны-бородачи так же, как за чаем, сошлись в полуденную пору за обедом. Они только что вернулись с базара и даже не распрягли лошадей: после обеда — в путь, домой.

Вместе с Абаем земляки уселись за стол отведать мяса. И вновь в три голоса стали уговаривать Абая немедленно убраться из города в степь.

— Пусть мрут горожане. Уедем к своему народу. Бежим от беды поскорее да подальше.

— А куда уйдешь, если гибнет твой народ? — спросил Абай. Хорошо ли в страхе бежать от своих? Чем мы лучше горожан?

Жуман процедил сквозь зубы важно и презрительно

— Что ты выдумываешь? Какой это народ? Сброд из сорока родов, городские жатаки... Твой народ — сородичи по крови — тобыкты. Ты о них думай.

Глубокая складка прорезала широкий лоб Абая.

— Ну, довольно! — гневно выговорил он. — Наелись, наболтались, а теперь — уезжайте! Какое вам дело до меня! Зачем вам знать, кого я считаю своим народом! Ступайте! Ступайте!

И он выпроводил из дома иргизбаев. Смущенные гневом Абая, бородачи молча поплелись к своим телегам.

Оставшись наедине с Дамежан, Абай объяснил ей, почему ему нужно перебраться на другую квартиру — более просторную. К нему будут приходить люди за советами, даже из аулов приедут. Ему неудобно обременять гостеприимную хозяйку.

Поблагодарив Дамежан за встречу, Абай в тот же день переехал в дом ташкентца Кумаша, где обычно останавливался.



Дом Кумаша стоял в Средних жатаках. Здесь нередко встречались одноэтажные каменные здания под тесом, а то и под железной, чаще всего зеленой, крышей. Эти добротные строения, возведенные татарскими и казахскими купцами, тянулись цепочкой вдоль Иртыша.

Торговые ряды и базар Слободки располагались выше по берегу, на холме. Там же выделялись больница, пожарная каланча и почта и неподалеку от них — канцелярия пристава Смирнова, которого казахи называли управителем Слободки, «забедейши».

Кумаш построил свой дом возле мечети, почти в центре Слободки. Нижний этаж его сложен из красного кирпича, верхний — из толстых бревен. Высокая тесовая крыша видна издали и радует глаз тщательной отделкой. Владение Кумаша, по примеру сибиряков, обнесено плотным дощатым забором с высоченными воротами, сооруженными из добротного теса. Через эти ворота в глубину обширного двора въезжают телеги и находят пристанище под навесами, у так называемых «лапасов».

В доме Кумаша Абай обычно устраивался в нижнем этаже и сейчас остановился в просторной светлой ком-

нате, выходявшей окнами на солнечную сторону. Здесь он чувствовал себя как дома.

В тот же вечер Абай пригласил к себе одного из почетных жителей Слободки, муллу Сармоллу. Хотя Сармолла и не был имамом мечети и не так часто встречался со служителями веры — с хальфе¹, кари² и муэдзинами³, но он обучал детей слобожан грамоте и лучше многих других знал, что творится в Слободке.

Холера свирепствует повсюду — после рассказа Сармоллы в этом не оставалось сомнений. Он называл махалла, приходы, где люди болели и гибли. Город Семипалатинск Сармолла делил по числу мечетей на семь махалла. Слободу «Бержак» на две: «Верхнюю махалла» и «Махалла Тинибая», где бай Тинибай построил мечеть.

Болезнь и смерть бродили по всем девяти приходам и безжалостно косили бедняков, занимавшихся тяжелым изнурительным трудом. Самому Сармолле редко доводилось участвовать в жаназа, но он знал, сколько переплатили за отпущение грехов родственники умерших. Сармолла утверждал, что с первых же дней холеры духовенство стало быстро богатеть. Для имамов, муэдзинов, хальфе и кари наступило благодатное время обильной жатвы. Не скрывая своей ненависти к личным соперникам и врагам, он назвал несколько имен. По его словам, такие люди, как Шарифжан-хальфе, Самат-хальфе, Слепой Кари и муэдзин Самурат, сейчас просто ликуют! Они выручают большие деньги от жаназа, фидия⁴ и хатыма⁵, от семидневных и сорокадневных поминок. Доходы их растут непрерывно — день и ночь.

— Народ гибнет, а они жиреют на глазах, мирза Ибрагим! — Сармолла говорил с заметным акцентом

¹ Х а л ь ф е — окончившие медресе ученые-богословы, из них избираются имамы.

² К а р и — духовное лицо, заучившее наизусть весь текст корана.

³ М у э д з и н — служитель мечети, призывающий с минарета мусульман на молитву.

⁴ Ф и д и я — отпущение грехов.

⁵ Х а т ы м — поминальная молитва.

муллы-арабиста.— Таких доходов у них не бывало даже в дни айтов¹. Справедливо молвит народ: «Где много ковыля — жиреет вол, где много смертей — мулла». Даже сам хазрет, имам мечети, достоин осуждения! Безжалостные, развращенные люди!

Сармолла умолк, и тогда заговорил Абай. Нужно добиться, чтобы поменьше собиралось людей на похороны; надо предупредить народ, как опасны в дни холеры поминки.

— Да, да, да! — закивал головой Сармолла и еще яростнее начал хулить своих врагов — хальфе и муэдзина.

Абай слушал его с неодобрением. Сармолла заметил это и очень горячо заговорил о том, как важно правильное наставление народа в трудную годину. Но тут же он вновь сбился и стал опять браниться:

— Шарифжан-хальфе, Самат-хальфе и муэдзин Самурат будут только мешать. У них душа не болит за народ!

Сармолла, увлекшись, закрыл глаза, замотал головой, зашелкал языком, подобно птице:

— Нет, нет, не болит!

Абай выделял Сармоллу из среды духовных лиц. От многих имамов, хазретов и хальфе он отличался широтою взглядов, хорошо знал стихи восточных поэтов и хранил у себя дома их сочинения. Абаю доводилось брать у него книги шейха Саади, дивана хаджи Хафиза, Алишера Навои. Сармолла считался образованным человеком, недаром семипалатинские жители стремились обучать у него своих детей.

На Сармоллу Абай возлагал большие надежды, но, беседуя с ним сегодня, едва ли не с первых слов понял, что и его, как и других мулл, распирает самая обыкновенная корысть и лютая зависть: тот на жапаза сорвал больше, этот на фидии отхватил крепче!

Абай не выдержал:

— Позвольте, Сармолла! Ведь писал же поэт: «Кто мне расскажет об одном грехе соседа, тот поведаст о сотне моих пороков всему свету». В дни людской гибели

¹ Айт — мусульманские годовые праздники «рамазан-айт», «курбан-айт»

ли и горя не следует так много говорить о своей ненависти и вражде.

Сармолла густо покраснел и торопливо заговорил:

— Конечно, конечно, мирза Ибрагим! Вы правы! Виноват, кругом виноват! Что вы мне посоветуете?

— Обратитесь с добрым словом к приходящим в мечеть на молитву. А еще лучше, в пятницу после проповеди «хутпа» выступите с наставлением перед людьми своего прихода. Объясните им, как предостеречься от болезни. Мне кажется, надо иначе устраивать жаназа, хатым и поминки. Чтобы как можно меньше собиралось людей...

Сармолла чувствовал себя пойманным на слове. Впрочем, Абай раскусил бы его, если бы он и не был так откровенен. Сармолле хотелось поскорее уйти.

— Хоп, хоп! Вы правы... Зачем говорить полезные слова самому себе дома! В самом деле, пойду-ка я лучше к людям прихода.

Он поднялся. Абай тоже встал и, проводив гостя до дверей, учтиво попрощался с ним.

— Я считаю, что служители веры в неоплатном долгу у народа. Я советую вам — начните со своих учеников. То, что вы внушите им, они непременно передадут своим родителям, а те — соседям. Среди взрослых также много ваших бывших учеников. О них подумайте в первую очередь. Люди прихода вас признают наставником и вашим словам поверят скорее, чем словам посторонних. Я считаю, что это не только долг вашей совести, но и ваша обязанность перед народом.

— Да, да! — Сармолла закивал головой и, смущенный, скользнул за дверь.

Он сразу же направился в ближайшую мечеть для ночной молитвы — «ястау». На улице было темно. Завернув за угол, Сармолла вошел через решетчатую калитку в чисто выметенный дворик мечети. Здесь собралось несколько десятков прихожан, ожидавших начала молитвы. Среди них были и старцы, и учащиеся медресе, муэдзины и хальфе. Люди сидели на корточках, прислонившись к стене мечети, и тихо переговаривались. На односложные вопросы следовали короткие сухие ответы. Ожидали появления старого имама

хазрета — настоятеля мечети. Вслед за Сармоллой подошло еще несколько человек, среди них были Слепой Кари и муэдзин Самурат.

Разгоряченный беседой с Абаем, Сармолла, приглядываясь к прихожанам, размышлял, как бы завести необходимый разговор. Чернобородый великовозрастный шакирд — воспитанник медресе, ему помог. Он спросил, на скольких похоронах побывал сегодня Сармолла.

— Ни на одних! — воскликнул Сармолла так громко, что голос его услышали все. — Пока это в моих силах, я постараюсь вовсе не ходить на жаназа!

При этих словах Слепой Кари и Самурат-муэдзин разом вскричали:

— Астагфиралла! Астагфиралла!¹

— Вы совершаете грех, молла!

— Богохульствуете! Возьмите обратно ваши порочные слова, унижающие мусульманство.

Застарелая вражда придала Сармолле решимость. Вот когда он прижмет этих лицемеров! Сармолла говорил торопливо, но громко и внятно. Его взволнованный голос разорвал тишину, как внезапный крик в ночи. Его неслыханно дерзкие слова резали ухо, приводили в смятение души богомольных прихожан.

— Нельзя больше молчать! — вскричал Сармолла убежденно. — На прихожан нашего махалла свалилось великое бедствие, а мы стараемся его не замечать. Разве так бы мы вели себя на тонущем корабле? Нет! Надо бить тревогу, искать спасения! Холера — заразная болезнь! Чтобы она не расползлась по всему городу, надо иначе устраивать жаназа, фидия и хатым. Угощение в доме покойника, семидневные и сорокадневные поминки — вот источник заразы! Пусть об этом узнают прихожане и берегут свою жизнь!

Кари и муэдзин с трудом сдерживались, слушая Сармоллу. Бешеная злоба терзала их сердца. И едва он умолк, чтобы перевести дыхание, как они яростно накинулись на него.

— А как, по-вашему, устраивать жаназа?

¹ А с т а г ф и р а л л а! — прости господи!

— Как проводить хатым?

— Вы хотите, чтобы прихожане не собирались на поминки? Не отдавали последнего долга усопшему мусульманину?

Сармолла ответил холодно и резко:

— На жаназа пусть идет только одно духовное лицо. Хатым пусть проводит тоже только один мулла. Поминки запретить! Не к чему кари и муэдзинам посещать подряд все жаназа, фидия и хатым. Все равно невозможно наполнить ваши бездонные карманы...

Сармолла направил острое жало своих слов в самое сердце Сокрыра Кари и Самурата-муэдзина. В пылу спора он добавил:

— Нечего вам ходить в дом каждого покойника, разносить заразу. Пора подумать о воздержании!

Кари и муэдзин вскочили. Закипая мстительным негодованием, они шипели на Сармоллу, перебивая друг друга:

— Астагфиралла! Что он говорит!

— Вероотступник!

— Судить его судом шарииата!

— Ваша гордыня превзошла все границы!

— Злодей!

Но тщетно усердствовали Сокрыр-Кари и Самурат: прихожане отвернулись от них и окружили Сармоллу. Они не прочь были бы послушать, что он скажет еще, как вдруг кто-то воскликнул:

— Хазрет¹ идет...

И все поднялись, прекратив разговоры.

Старец с огромной белой бородкой, в большой чалме, опираясь на длинный посох, тихими шагами прошел в мечеть. Вслед за ним двинулись и прихожане.

В груди кари по-прежнему kloкотала злоба, когда он нараспев затянул молитву из корана:

— Ясин — уаль куранул хахим!²

Смирненно закрывая веки, он читал наизусть священные тексты бухарским макамом³, оплакивая мусульман, погибших от холеры.

¹ Х а з р е т — старшее духовное лицо в мечети.

² Я с и н — у а л ь к у р а н у л — первая строка молитвы.

³ М а к а м — манера чтения.

Кари никогда не сбивался, читая коран, слепой на зубок заучил в нем каждое слово. Но сегодня он оговорился. Читая «лятунзира кауман ма унзира», он подумал о Сармолле, скрипнул зубами и вместо слова «кауман» произнес «калан»¹. Тут же Кари услышал, как закашляли сидевшие поблизости хальфе, шакирды, и сам заерзал на месте, откашлялся, мысленно обозвав Сармоллу «каззап» (мерзавец). Затем, взяв себя в руки, он стал читать еще громче и напевнее. Сармолла, однако, понял, как осрамился слепой кари не только перед муллами, но и перед малограмотными богомольцами. Сармолла усмехнулся и с удовольствием отметил про себя:

— Бог наказал пройдоху! Божье слово покарало его за ненависть ко мне, за бесчеловечную жадность.

Расходясь после молитвы, прихожане вспоминали, как столкнулись и заспорили муллы. Старшие неодобрительно покачивали головами, младшие посмеивались.

В обычное время мечеть посещали по большей части торговцы, старики-перекупщики — «алыпсатары», жившие вблизи мечети, в Верхних Жатаках. Но не они составляли основное население прихода. Большинство здешних казахов занималось тяжелым трудом и жило впроголодь. Измученные изнурительной работой бедняки поздно вечером возвращались домой и валились с ног, едва переступив порог. У них не было ни времени, ни сил посещать ежедневно пятикратную молитву в мечети. Даже на дневную молитву им не удавалось попасть. Имамов, хазретов, хальфе и мул они видели редко. Только в печальные дни смерти родных простой люд поневоле встречался с духовенством. Но вот началась эпидемия холеры... Проворные муллы в длинных халатах и пышных чалмах зашмыгали по дворам со своим степенным поглаживанием бород и показным смирением.

¹ К а у м а н — общество, «калан» — слово. Сказав одно вместо другого, священнослужитель искажает священный текст, что является, по понятиям мусульман, страшным грехом и позором.

— Недаром говорится: «Где много смертей — жируют муллы», — перешептывались прихожане за спиной у духовных отцов. — Ишь какие расторопные стали нынче хальфе и хазреты.

— Им все одно, кого бы ни хоронить, — ребенка или дряхлую старуху. Только бы побольше попало в карман. От денег они становятся мягче шелка.

Рабочий люд Слободки редко ходил в мечеть, и муллы надеялись, что большинство прихожан не узнает, как рассорились их наставники перед ночным намазом — «ястау»... Однако вышло совсем не так, как надеялись муллы. Старики-богомольцы рассказали обо всем домашним, и вскоре в городе не оказалось ни одного человека, который не знал бы о происшествии в мечети.

Не только горожане, но и приезжие аульные люди — старшины, управители, баи — тоже узнали необычайную новость. Вот почему в день пятницы в мечеть привалило так много богомольцев на полуденную молитву, называемую «пятничной».

Люди, напуганные холерой, жаждали помощи и готовы были поверить любому слуху, сулившему избавление от гибели. В эти страшные дни человек, словно во мраке, двигался ощупью, метался из стороны в сторону, высматривая, не забрезжит ли где-нибудь луч надежды. Взор казаха-горожанина был обращен к мечети. Все чаще и чаще он оглядывался в сторону имама, именовавшегося еще ишаном, то есть святым угодником. От кари и хальфе он ожидал утешительных предсказаний.

Собираясь на пятничную молитву, ишан узнал, что мечеть переполнена богомольцами. Значит, был смысл произнести после намаза проповедь в назидание — «хутпу», посвятив ее переживаемому бедствию — страшному мору. Так решил ишан еще и потому, что минувшей ночью Самурат и Слепой Кари, провожая его после молитвы, поведали ему о богохульных речах Сармоллы. Поддерживая старого ишана с двух сторон под руки, задыхаясь от ненависти и презрения и перебивая друг друга, они говорили о злодеянии вероотступника.

— Сармоллу терзает зависть! Народ не зовет его на жаназа!

— Ему обидно, что люди зарабатывают на фидии, а он не имеет никакого дохода.

— Сармолла мутит народ, хазрет!

— Темные, невежественные прихожане поверят сейчас любым наветам!

— Подумайте, хазрет, о поведении Сармоллы!

Вначале говорили вполголоса. — Самурат и слепой боялись нарушить ночную тишину улицы. Но когда они довели глуховатого имама до дому. — Самурат не выдержал и, позабыв всякую осторожность, закричал в ухо старику:

— Ядовитые слова Сармоллы опаснее и заразнее самой холеры! Когда о них станет известно в каждом доме нашего темного прихода, люди станут воздерживаться от жаназа и хатыма. Они, чего доброго, откажутся принимать ваше священное благословение. Субханалла!¹ Душа содрогается во мне, как только я подумаю о таком ужасе! Завтра прихожане откажутся от ваших молитв, хазрет, а там вовсе перестанут заботиться о своих наставниках!

Имам слушал молча, но при последних словах Самурата у него затряслась борода. Опустив голову, он забормотал молитву из Лаухнамэ², которая, как известно, отгоняет надвигающиеся беды.

Сармолла был доволен. Все же старики-богомольцы, хотя и робко, но одобряли его речь тихими возгласами.

— Бог благословит вас!

— Скажите еще раз об этом!

— Ваша правда, Сармолла! Спасибо вам!

Сармолла понял, что его обращение нашло отклик в душе народа. Это было приятно. Честолюбивый мулла расценил признание прихожан, как знак особого уважения к своей особе. Он уже чувствовал, что сможет, наконец, свести давние счеты с Самуратом и Слепым Кари, не допускавшими его к делам мечети и медресе. Ибрагим-мирза, сам того не подозревая, дал

¹ Субханалла — великий боже!

² Лаухнамэ — свод молитв.

ему в руки надежное оружие, которым Сармолла мог разить своих врагов наверняка, в самое уязвимое место.

Сколько зла причинили они ему! Старый имам, нуждавшийся в поводыре, ничего не делал без их совета и совета Шарифжана-хальфе. А они сговорились между собой и добились того, чтобы не приглашать Сармоллу ни на одну жаназа, фидия и хатым. Вот уже скоро полтора года будет, как хазрет, муэдзин, кари и все хальфе не дают Сармолле ни копейки из годовых сборов и приношений верующих. А их поступает в мечеть и медресе от богатых прихожан весьма достаточно. Это было вопиющей несправедливостью так обходить Сармоллу, тем более, что муллы всех семи мечетей заречной слободы не могли сравниться с ним в познании священных книг. Ведь он обучался в «Бахара и Шариф», в медресе «Мир-и-Араб», а затем в Казани у наставника, получившего образование, подумать только, в самом Каире! Он достиг наивысших знаний, изучив мудрейшую книгу «Шарх-Габдолла». Сармолла считал, что он имеет все права, чтобы быть избранным на должность имама, или, в крайнем случае, пока жив старый хазрет — на должность хальфе и наставника при мечети и медресе. Но Слепой Кари, Шарифжан-хальфе и Самурат-муэдзин назначили старшим хальфе Самата — такого же гнусного проходимца, как и они сами.

Сармолла переживал глубокую обиду. В дни холеры хальфе Главной мечети ни разу не дал ему совершить жаназа в зажиточном доме, где можно было бы поживиться. Его словно нарочно не приглашают и на хатым к богатым покойникам. Несомненно, это проделки Слепого Кари и толстого муэдзина Самурата.

А сами загибают небывалые доходы. Недаром Слепой Кари уже возводит новую крышу из синего железа над своим домом. Жирный муэдзин всю жизнь ходил пешком. Теперь он завел себе рыжего коня и черную крашеную таратайку. Каково это видеть Сармолле! За многие годы труда он ничего не заработал, кроме тощей сивой лошадки и невзрачного старого седла.

Вернувшись домой из мечети, Сармолла переживал радостное чувство победы! Противникам нанесен первый чувствительный удар.

— Нечестивцы чернолицкие, я вам покажу еще! — мысленно повторял он, ухмыляясь и шевеля густыми бровями. — Перед всем приходом раскрою, какие вы поганые!

Остаток ночи разгоряченный Сармолла провел без сна.

2

Мечеть не могла вместить всех собравшихся на пятничную молитву. Большинство богомольцев стали рядами во дворе. Сармолла умышленно не вошел внутрь мечети, а занял открытое возвышение у входа среди небольшой кучки богомольцев. Высокий, осанистый, в зеленой шелковой бухарской чалме, с рыжевато-золотистой широкой бородой, он выделялся в толпе и был хорошо виден всем прихожанам, стоявшим во дворе. Прислушиваясь к хрипловатому голосу имама, доносившемуся через открытые двери, Сармолла нарочно громко и нараспев повторял за ним отдельные слова молитвы: «Аллах акбар», «Самигаллахулиман Хамида», «Ассаламу Галейкум урахматулла». Так он овладел молитвенным настроением близстоящих богомольцев и совместно с имамом отслужил молебен.

Когда молебен кончился, на возвышение, где стоял Сармолла, поднялся муэдзин Самурат. Он поднял руку и воскликнул:

— Жамагат! Жамагат! Жамагат!¹ Не расходитесь! Ишан хазрет сейчас скажет хутпу.

Но богомольцы и не думали расходиться. Они охотно опустились на землю, там, где стояли во время молитвы. Как только шум утих, из мечети вышел имам, окруженный хальфе, кари и старшими шакирдами. Мелкими шагами он поднялся на миибер, откуда обычно произносил проповеди.

Опустив голову, старик заговорил тихим дребезжа-

¹ Жамагат — миряне.

шим голосом. Эту хутпу он произносил сорок пять лет подряд и звал навзұсть. Она была соткана из молитв на арабском языке и персидских фраз. Малограмотные и совсем неграмотные прихожане, знавшие только пятикратные молитвы, как и прежде, не смогли оценить красноречия проповедника. Да, по правде сказать, они и не ожидали от него ничего нового.

К сегодняшней хутпе имам добавил очень немного. Он сказал, что холера послана богом в наказание. Когда множатся грехи и возрастает гордыня, всемогущий повелитель, дабы образумить людей, карает их каким-нибудь бедствием. Это предопределено богом и так написано в книге судеб «Лахуль-Махфузе». Человек бессилен что-либо сделать для предотвращения болезни. Бедствие пришло в предуказанное время и только всевышний может его приостановить. Приверженцы ислама должны выказать терпение, соблюдать покорность воле божьей. Надо преодолевать земные страсти, оказывать милость несчастным и убогим, всегда помнить о своих грехах и бояться господа, не забывая о приношениях мечети...

Так заключил хазрет свою невнятную речь, которую, как и всегда, богомольцы толком-то и не расслышали. Хальфе, кари и муллы сделали знак бату — прикоснулись ладонями к лицу, давая понять народу, что хутпа закончилась. Но прихожане и теперь не торопились расходиться. Казалось, богомольцы, не удовлетворенные проповедью имама, ожидали чего-то еще.

Тогда-то и произошло неожиданное событие, изумившее и прихожан и духовных лиц. Едва сошел хазрет с минбера, как на его место поднялся улыбающийся Сармолла в зеленой чалме, которая резко отличала его от всех других вероучителей, носивших белую чалму. Он попросил внимания у мирян и заговорил громко, внятно произнося каждое слово.

Начал он, как и было положено, по-арабски («Я Айюхал муслимина!»), но затем сразу перешел на казахский язык, понятный всем слушателям. Лишь изредка он вставлял книжное арабское слово, не затемнявшее, однако, смысла речи.

— Здесь сейчас хазрет говорил, что бедствие посы-

лает всемогущий. Это истинно верно. Но ведь наш повелитель сказал также, что спасет от всех бед потомков Мухаммеда. Хвала господу — «алхамду лилля!». Нерушимое свидетельство этому сура «ясин» из Корана. Там даже так сказано: спасу того, кто сам бережется! Наш создатель вместе с бедствием посылает на землю и исцеление! Во имя любви божьей и во имя своего долга мусульманина я, наставник детей многих из вас, хочу вам, миряне, дать один совет: остерегайтесь! Помните: береженого и бог бережет!

Сармолла передохнул и продолжал наставительно: — Пусть поменьше людей собирается на похороны в доме покойника. Не надо приглашать на жаназа нескольких мулл, муэдзинов, хальфе и шакирдов. Для совершения намаза достаточно и одного человека. Хатым пусть также проводит один человек. Нужно прекратить на время всякие угощения и поминки в домах умерших. Зачем муллы, муэдзины, шакирды и кари ходят скопом из одного дома в другой? Они разносят заразу! Это опасно для них самих и для окружающих! Разве не погибли от холеры мулла Жуман, хальфе Сахиб, шакирд Амантай? Они пали жертвой поминок. Воздержание — вот долг мусульманина! Пусть муллы подумают об этом!

Сармолла огляделся и добавил мягко и вкрадчиво, как бы открывая слушателям всю свою душу:

— Дорогие прихожане! Родной казахский народ! Пусть мои слова дойдут до каждого двора и останутся в сердце каждого благоразумного человека. И еще я скажу вам: это не только мои слова. Так советуют нам поступать верные друзья казахского народа, среди которых — самый близкий друг ваш, акын Абай. Он требует от вероучителей заботы о народе. И я призываю вас: прислушайтесь к совету друга.

Пышная, золотистая борода Сармоллы сияла под слепящим полуденным солнцем. Голос дрогнул на высокой ноте.

Растерявшиеся муллы переглянулись в великом смущении. Никто из них не рискнул подняться на минбер. А между тем, со всех сторон неслись одобрительные возгласы прихожан:

- Хорошо сказал Сармолла!
- Вот это речь!
- Истинная забота о народе!
- Дай бог удачи Сармолле!
- Хвала ему!

Каково было слышать эти похвалы кари, муэдзину и хальфе! Мучительно горько было слушать такие речи от своих прихожан. Оскорбленные, а еще больше напуганные, муллы тесным кольцом окружили Сармоллу и, потихоньку подталкивая, повели его к хазрету. Вслед за ними хлынула толпа прихожан. Среди них было много любопытных, которые в обычное время не ходили в мечеть. Сегодня на пятничную молитву они явились только потому, что слышали о ночной стычке между муллами. Любители споров и словопрений, они надеялись, что завязавшаяся накануне схватка может превратиться в настоящую словесную битву. А ради такого зрелища эти люди готовы бросить все дела на полдороге, только бы со всей страстью окунуться в бушующие волны доброй словесной склоки.

«Хутпа» имама их, конечно, разочаровала. Они надеялись, что старец накинется на Сармоллу и от того только клочья полетят. Пристойная речь Сармоллы также не пришлась по вкусу закоренелым спорщикам. Они ожидали большего — такого спора, такой схватки, которая могла бы, кто знает, закончиться даже рукопашной.

Двое чернобородых казахов и третий белобородый, в тымаках тобыктинского покроя, пробирались сквозь толпу поближе к Сармолле. Подталкивая друг друга, они перешептывались, предвкушая редкое удовольствие:

- Теперь они иначе заговорят!
- Пойдут в открытую!
- Муллы из себя выходят!
- Сармолла, видно, угодил им в пах!
- Тут нынче не заскучаешь!
- Позабавят народ!
- Держись поближе! Не отставай...

Ехидно посмеиваясь, аксакал заметил соседу:

— На людях они спорить не любят: наедине сцепятся!

— Если это те самые Самурат-муэдзин и Слепой Кари, которых я знаю, Сармолла уложит их наповал!

— Обязательно. Он уж у них кусок в зубах ухватил!

— Раз ухватил — вырвет!

— Как тут не лопнуть от ярости!

А тем временем хальфе Шарифжан, Слепой Кари и муэдзин Самурат подвели Сармоллу к хазрету и набросились на него с трех сторон. Они говорили как будто бы сдержанно, но для всех, кто понимал тайный смысл их слов, было понятно, что духовные лица честят Сармоллу, как последнего разбойника.

— Хотите сбить с пути нашу темную паству, Сармолла?

— Вы хотите украсть у погибших в муках мусульман святыне моления?

— Толкаете невежественный народ, пребывающий в заблуждениях, на путь злодеяний?

Сармолла не слушал своих обвинителей, он заранее знал, что они скажут. Неопределенная улыбка скользила по его лицу, шевелила рыжие усы. Перехватив колючий взгляд низкорослого хазрета, он предупредительно склонился к его уху и сказал:

— Всякий, кто разделяет страдания народа, скажет то же самое, что сказал я. Да будет вам известно, Хазрет, что это не только мое мнение. Так думает и уважаемый всеми казахами города и степи акын Абай.

Чтобы глуховатый хазрет расслышал его наверняка, Сармолла еще раз с расстановкой повторил свои слова. И тогда один из аткаминеров вскричал со злобой:

— Эй, молдеке! Что ты все твердишь: «Абай! Абай!» А кто он такой, твой Абай?

Сармолла обернулся на грубый окрик и увидел коренастого и бородатого одноглазого степняка с крупным носом. Этот человек в белой мерлушковой шапке держался крайне независимо, его окружали известные городские купцы и баи. Сармолла различил в толпе войлочника Сейсеке, мясника Хасена, бакалейщика Жакыпа, торговца конским волосом Сарсена. Все это были знакомые Сармолле почетные прихожане — вла-

дельцы добротных деревянных домов под железными крышами. Заметив их, хазрет посмотрел на Сармоллу загадочно и, шевеля густой своей бородой, забормотал тонкими сухими губами бесконечную молитву.

Сармолла выпрямился:

— Мирза, это вы спросили про Абая? Похоже, что вы сомневаетесь, знаю ли я его? Да будет вам известно, я прочитал все мудрые наставления, написанные им для пользы казахского народа. Я прекрасно знаю его и почитаю, как благороднейшего человека нашего времени.

Одноглазый бесцеремонно перебил Сармоллу:

— Видно, этот молла один из тех несчастных, кто поверил в Абая и обманулся. Настоящую правду об Абае знаю только я. Послушайте ее! Абай совратил с пути истинного наш степной народ, смущает и отцов веры нашей. Этот бунтовщик молится на русских. А мы приехали в город и пришли в мечеть молиться всевышнему. Мы доверяем имаму, ведущему нас по пути ислама. Наш «байтолла» — священное место для молитвы. И пусть не оскверняют его упоминанием имени Абая, выкреста, продавшегося русским! Ты, Сармолла, лезешь в наставники, а сам сбиваешь народ с правильной дороги. Очисти-ка от скверны свои уста!

Баи, окружавшие одноглазого, а с ними все кари и муллы злорадно посмеивались. Раздались одобрительные голоса:

— Правильно, Ураз-еке!

— Верно, верно сказал аксакал!

— Заблуждается молла!

— Пусть он послушает, что говорит простой, неученый человек!

Сармолла только теперь смекнул кто этот «простой неученый человек». Он слышал о кривом Уразбае, постоянно хулившем Абая, и тем снискавшем себе одобрение властей и степных воротил.

Так вот кто чернил Абая. Вот он этот дикий невежда и грубиян! Сармолла вспылil. А в гневе он был неистов, ни с чем не считался, никакие угрозы его не страшили. В такие минуты он умел взять противника за горло мертвой хваткой.

— Э, мирза! Вы и есть тот самый Уразбай, который темными делами добывает себе почести и скот. Я все знаю. Не вас ли имел в виду хазрет Абуль-Аля-Магри¹, когда писал:

«... Фаинналь уопда татбагуха захобон уагурбанен фаман гуррен уагуржон...» — что означает: «Вслед за львом идут хромые да кривые шакалы и черные вороны, подбирая падаль себе в добычу». Какая польза народу от подобных вам, Уразбай? Хулите лучших людей нашей степи и тем рассчитываете возвеличиться, прославиться?.. Постыдная слава! — воскликнул Сармолла, покрасневшись от возбуждения.

— Молдеке, оскорбляете верующих!

— Что с вами, молла?

— Так ли пристало вести себя наставнику! Перед вами гость!

Но тут вмешались сторонники Сармоллы, стоявшие за его спиной.

— Сармолла прав!

— Нечего на него нападать!

— Гость первый задел муллу!

— Не чините насилия!

— Сармолла заботится о народе!

— Он прав! Прав!

Так кричали люди, стоявшие возле минбера. Им громко вторили голоса из задних рядов.

Встревоженный хазрет замахал обеими ладонями, как бы отгоняя от себя дьявола, и круто повернулся к выходу. Толпа зашевелилась, освобождая ему путь. Старик двигался в окружении муэдзина, Слепого Кари, Шарифжана и безбородого смуглолицего хальфе Самурата. Сморщенным пальцем он поманил за собой Сармоллу. Духовные лица отошли в сторонку от толпы. Пять белых чалм замкнули в круге зеленую. Хазрет холодно промолвил:

— Эфенди² Сармолла! Я внимательно выслушал вас и, выслушав, постиг, кто вы такой и чего добиваетесь. Вы вступили на путь нечестивых! Пока еще не

¹ Абуль-Аля-Магри — древний классик арабской литературы X—XI вв.

² Эфенди — господин.

поздно, остановитесь. Ваши злодеяния погубят вас, как погубили дьявола!

Хазрет ударил о землю посохом, глядя в упор на Сармоллу выцветшими, без ресниц глазами. Лицо Сармоллы стремительно заливалось румянцем.

— Хазрет! — воскликнул он. — Вы несправедливы! Вы говорите с чужого голоса. Это все вам внушили хальфе, муэдзин и кари. А разве это служители веры? Это — воры! Вы окружены злодеями!

— Ты сам злодей и подлец! — закричали разом Шарифжан-хальфе и кари.

— Преступник! — заорал Самурат, сжимая кулаки. Глаза его налились кровью.

Но Сармолла не отступил.

— Потише. А то я сейчас раскрою глаза прихожанам, и они рассудят, кто из нас преступник.

Хазрет поспешил отойти от спорящих, но Сармолла настиг его и преградил ему путь. Сармолле были известны темные делишки духовных отцов, прикрытые святостью мечети.

— Хотите, я назову прихожанам имена истинных злодеев! Я ведь знаю, кто накликнул беду и несчастье на народ. У меня найдутся свидетели — живые и мертвые! Я покажу народу три пустых гроба, спрятанных под мечетью, а вы позовите тех, кто стучал по ним кулаками, моля бога послать мор на людей. Разве не муллы плакались тогда: «Почему нет смертей?», «почему мало жаназа», «отчего нет даяний фидия, жертвоприношений?». Это их гнусные мольбы навлекли на голову народа холеру и столько смертей. Не я один видел это кощунство, со мной было еще пять человек. Хотите, я их позову, хазрет, а вы проверите. Я сию минуту могу обличить позор муэдзина Самурата, такого убогого с виду, но злодея в душе. Слепой Кари и ваш хальфе Шарифжан — того же поля ягоды. Крикнуть сейчас прихожанам «узнайте и будьте свидетелями», сказать им всю правду о вашей мечети!

У хазрета отнялся язык. Он побледнел от ужаса и прикрыл дрожащей ладонью лицо, чтобы не видеть и не слышать Сармоллу. Бочком, бормоча молитву и тряся бородой, имам поспешил удалиться.

Перепугались враги Сармоллы. Все, что он сказал, было сущей правдой. Если эту правду узнает народ, вымирающий сейчас от холеры, — мирные прихожане бросят своих духовных пастырей в пылающий костер.

— Астагфиролла! Субуханалла! — в ужасе забормотали муллы, изображая безвинно оклеветанных людей.

Однако никто из них не мог промолвить ни единого слова в свое оправдание.

На следующий день умер от холеры Жумадила, отец бакалейщика Жакыпа, владельца дома с железной крышей в Верхних Жатаках. Холера редко посещала богачей. На этот раз она вырвала из зажиточной семьи крепкого здорового старика, которому жить бы да жить еще до ста лет и радоваться торговым успехам сына.

Что бы ни говорил Сармолла, Жакып решил похоронить отца так, как принято было хоронить во все времена покойников в Слободке. Он сам известил о смерти отца хальфе, кари, муэдзинов и послал также оповестить духовенство нижней мечети, а также баев, купцов и хаджи, с которыми поддерживал дружеские и деловые связи. Большой двухэтажный дом Жакыпа поспешно готовили к приему многочисленных гостей. В шести светлых комнатах были разостланы огромные скатерти, вдоль стен разложили свернутые одеяла. На просторном дворе запылали яркие костры очагов. В огромных казанах готовился плов и варилось жирное мясо, сдобренное шафраном.

Ожидая большого наплыва гостей, Жакып приказал в каждой комнате поставить тазы с кумганами¹, разложить полотенца и салфетки. Восемь приказчиков должны были ухаживать за гостями.

Но, несмотря на такие тщательные приготовления, жаназа получилась убогой, как свадьба девушки-сиротки. Явилось только духовенство двух мечетей, несколько торговцев, близко связанных с Жакыпом, да

¹ К у м г а н — кувшин

неприличным открыто поддерживать мулл и хулить Сармоллу, хотя в сердце у него кипела обида и он готов был в клочья растерзать виновника сегодняшнего позора.

Жакып был самым хитрым купцом в городе, он знал истинную цену мудрому молчанию. Больше о Сармолле не говорили. Лишь по окончании жаназа чалмоносцы и купцы дружно помолились богу, прося покарать вероотступника. После этого с успокоенными сердцами разошлись по домам.

Прошла еще неделя. Эпидемия холеры усилилась. Во многие дома заглянула печаль утраты. Все меньше и меньше теперь ходило на жаназа и хатым народу... На обоих берегах Иртыша толковали о Сармолле и не только верующие, а даже те люди, которые сроду не бывали в мечети и не совершали никаких молитв. На базарах, в кумысных, трактирах, на перевозе через Иртыш, везде, где только собирался народ, рассказывали о Сармолле-молле.

Слухи, распространяемые баями и муллами, жестоко осуждают Сармоллу: «Самого имама верхней мечети, святого старца ишана бесчестил Сармолла непристойным словом. Вредные советы дает он казахам, плохо осведомленным в законах ислама. Невежественный темный народ, рискуя из-за безбожника Сармоллы загробным блаженством, хоронит своих покойников без жаназа, в тайне от имамов и мулл». Притворно сокрушаясь и возводя очи горе, твердили хальфе, кари, суфийи и муэдзины всех семи мечетей. Им вторили богобоязненные святоши из степных баев и крупных городских торговцев.

Говорили, что старый имам на ближайшем богослужении предаст Сармоллу публичному проклятию, и это еще более усилило к нему интерес.

Абай сидел за книгой в доме Кумаша, когда пришел Жумаш, старший сын Дамежан. На глазах юноши блестели слезы. Он принес горькую весть. Утром скончался от холеры его отец. Эта весть не была для Абая неожиданностью. Смерть становилась привычной. Холера уже скосила ближайших соседей Кумаша — ло-

дочника, дровосека и водовоза. В их семьях Абай побывал накануне со словами утешения.

Теперь он поднялся и поспешно направился к Дамежан. Абай обнял плачущую женщину и, глядя в ее черные, похожие на спелую смородину глаза, стал говорить ей ласковые, ободряющие слова. Потом его позвали соседи — рядом в то же утро умер Жабайкан. Перед Абаем стоял, опустив большие рабочие руки, осиротевший сын погибшего Бидайбай.

На глазах Абая один за другим умирали люди из бедных семей, и сердце его переполнялось глубокой жалостью и скорбью. После смерти сапожника Сакыпа осталась нищей его вдова Камар с шестью малолетними детьми. Чтобы спасти их от голодной смерти, она поступила работать на шерстомойку и там сама заразилась холерой. Умерла она, окруженная сиротами, и в смертный час не вспомнила молитвы «иман», а прокляла свою тяжелую горемычную долю.

Дровосек Тусуп полдня собирал на Полковничьем острове сухие сучья, рассчитывая продать их на базаре. Усталый, он еле добрался до своего порога с вязанкой хвороста на спине, а когда открыл дверь, глазам его предстало жуткое зрелище. На полу лежали умершие от холеры старуха-мать и любимая жена Сатжан. Их тела уже остыли. Тусуп тут же упал замертво.

Повсюду в домах бедняков с похвалой отзывались о Сармолле. Дамежан рассказала Абаю, что казахи, косившие на острове сено и собиравшие топливо, сговорились больше не приглашать мулл на жаназа. Утирая слезы, она не без робости призналась Абаю, что никого не позвала на похороны Жабыке. Абай горячо похвалил ее.

Душа Абая была истерзана болью. Он ясно представлял себе последние минуты сапожника Сакыпа, вдовы Камар, дровосека Тусупа: Проклятая зараза! Никогда не забыть этого страшного бедствия. Сколько останется обездоленных беспомощных сирот! Сколько их уйдет вслед за матерями и отцами! Мучительно больно было сознавать свое полнейшее бессилье. Как и чем помочь страдающим людям, несчастному народу! Абай шагал по пустой улице, но ему казалось, что со

всех сторон его теснят призраки погибших от холеры. Ему было тяжело дышать, словно кто-то железной рукой стиснул горло.

Подавленный, разбитый, Абай вернулся домой. Долго сидел у окна своей комнаты неподвижно, словно окаменев.

Вдруг застучали колеса. Абай увидел, как в широкие ворота въехала запыленная повозка. Уж не Абишли это со своей молодой женой? С нетерпением Абай ожидал их вот уже две недели. Да, они!

Через несколько минут Абиш в новеньком офицерском мундире вбежал в комнату отца и громко отдал ему сале́м. Магиш постеснялась войти вместе с мужем и задержалась за дверью.

Абай не принял сале́м сына.

— За этим порогом осталась твоя жена, — печально сказал он. — Не кажется ли тебе, что это унижает тебя, офицера, и меня, твоего отца? Приведи ее сюда и внуши ей, что я не тот свекор, которого должна страшиться невестка.

Посмуглевшее от степного загара лицо Абиша покрылось густым румянцем. Повернувшись по-военному на каблуках, он отворил дверь и позвал жену.

Магиш была высока, но стройна и изящна. Ее лучистые сероватые глаза почтительно и благодарно глянули на Абая из-под черных бровей и тотчас словно погасли в длинных ресницах. В овальном ее лице, чуть тронутым нежным румянцем, в белизне лба и сочных ярких губах были и свежесть, и чистота, неподдельная скромность, и своеобразное достоинство юности.

Абай мягко поздоровался с нею, вложив отцовскую ласку в слово «карагым» — драгоценная моя!

— Не утомилась от долгой дороги, Магиш моя?

Невестка ответила тихим певучим голосом:

— Нет, ага, не очень!

Абай понимал опасность, которой подвергались сын и невестка, находясь возле него в Слободе.

— Нужно немедленно, не распрягая лошадей, переехать Иртыш! — сказал он. — Здесь свирепствует холера. Вы остановитесь в городе у Данияра. У него не

бывает столько гостей, сколько у меня. Там безопаснее.

Баймагамбет повел Магиш к повозке. Глядя ей вслед, Абай жестом задержал Абиша.

— Вместе с аульными сватями и невестками Дильда нарядила Магиш в кимешек и шарши... напялила на нее толстый шелковый платок. Конечно, она хотела принарядить Магиш, а получилось наоборот. Не подходит такой наряд для города! Уместен ли кимешек в том обществе, в которое ты введешь свою жену?

Абиш молча улыбнулся. Отец предугадал его собственное решение. Низко поклонившись отцу, Абиш вышел во двор и помог Магиш взобраться в повозку.

Сын уехал, и сердце Абая вновь наполнилось горечью. Сколько страданий на родной земле! В ушах Абая стояли душераздирающие стоны. Это обездоленные сироты и горемычные вдовы оплакивали своих погибших кормильцев. Снова и снова переживал Абай стыд и боль от сознания своего бессилия помочь страдальцам.

Ведь сумел же Сармолла внести хоть малую долю своего участия в дело спасения людей от страшной болезни. Повидавший за это время множество бедняков, пострадавших от холеры, Абай заметил, с каким сочувствием и доверием относятся они к речам Сармоллы.

Но однажды за утренним чаем хозяин дома сообщил Абаю тревожную весть. Слова такого правдивого, не любящего лишних разговоров человека, как Кумаш, заслуживали внимания. Оказывается, вчера Кумаш ходил в мечеть на ночную молитву «ястау» и видел там муэдзина и нескольких хальфе, а на базаре в последние дни встречался с Сейсеке, Касеном и Отарбаем. Все они прямо-таки огнем дышат на Сармоллу.

— Так они озлоблены против него, что и выразить невозможно! И чем это только кончится, ума не приложу.

Абай решил повидаться и посоветоваться с Павловым.

Федор Иванович жил в русской части Слободки между больницей и пожарной каланчой в доме часовщика Савелия. Подойдя по широкой безлюдной улице к одноэтажному дому под серой тесовой крышей (два окна в нем были полуприкрыты ставнями), Абай толкнул знакомую калитку; она легко открывалась и не скрипела на петлях. Посередине двора возвышался сруб колодца с журавлем. Налево виднелся птичник, возле него сновали куры, утки и гуси. Для коровы был построен маленький крытый хлев.

В сенях полутемно и прохладно. Под потолком висели березовые веники, заготовленные для бани. В углу стояла кадка с водой, накрытая плотной крышкой. Свежепокрашенный голубой умывальник украшал сени. На его жестяных крылышках лежали два куса мыла — желтого и красного цвета. Чистота и опрятность сеней понравилась Абаю.

Павловы занимали половину дома — маленькую двухкомнатную квартиру. Они приветливо встретили гостя.

И Абай сразу же заговорил с Александрой Яковлевной о деле, которое его привело к друзьям.

— Почему две недели назад, когда я приехал в Слободку, меньше было смертей, чем теперь? Отчего усиливается эпидемия холеры? Так она скосит все население! На жаназа и хатым за последние десять дней почти что никто не ходит. Но случаев холерных заболеваний стало еще больше. Чем это объяснить?

Александра Яковлевна подняла на Абая утомленные, грустные глаза. На левом ее виске чуть заметно пульсировала голубая жилка. Печаль гостя была ей понятна. Да разве ее собственное сердце не было преисполнено горем?

— Вы приехали в самом начале эпидемии, Ибрагим Кунанбаевич. Стоят жаркие дни, и холера, естественно, усиливается. А жаназа уже сделали свое дело. Зараженные люди теперь сами заражают других — и своих семейных, и соседей, друзей...

— Значит, дело безнадежное?

— Нет. Недели через две заболевания пойдут на убыль, самое большое через месяц, когда спадет

жара. А с наступлением холодных дней погибнут распространители заразы, микробы, и эпидемия прекратится.

Абай в раздумье молчал.

— Сегодня произошел случай...— добавила Александра Яковлевна с печальной улыбкой.— Можно сказать, смешной. Хотя смеяться в такие дни, когда люди умирают, грешно... но... человек слаб...

И она рассказала действительно смешную и нелепую историю.

«Как только началась эпидемия холеры, на улицах Семипалатинска и Слободы появилась «черная телега». Это была самая обыкновенная телега с брезентовым кузовом, который обычно обливали карболкой, отчего он и чернел с каждым днем все больше. Но этот фургон был вестником несчастья — в нем заболевших увозили в больницу.

Сегодня «черная телега» доставила двух холерных, подобранных под забором. Когда их вытащили из брезентового фургона, они пришли в себя и вдруг стали страшно ругаться. Оказывается, вместо больных по ошибке подобрали и привезли пьяных.

Высокий с взлохмаченной рыжей бородой схватил бритого низкорослого за грудь и забормотал икая:

— Ты не холерный... за каким чертом ты полез в «черную телегу», дурак!

— Ты сам осел! — сказал бритый и, сунув руку в карман, вытащил засаленный черный кошелек.

Увидев его, рыжебородый мигом протрезвел и завопил:

— Грабитель! Это же мой! Ты у меня украл! Жулик! — и принялся тузить бритого кулаками.

Как удалось выяснить, они напились в разных местах, но свалились под забором недалеко друг от друга. Видимо, рыжебородый упал первым, а бритый вытащил у него кошелек. Но отползти подальше у него не хватило сил, и он заснул почти рядом. «Черная телега» помогла ограбленному найти своего грабителя и получить кошелек обратно».

Слушая Александру Яковлевну, Павлов нехотя усмехнулся.

Абай припомнил две строки из своего стихотворения:

И жизни будешь ты не рад,
Коль ты не глуп, не пьян...

Но не прочитал их, а сказал с горечью:

— Кого только нет в людской толпе! Иные живут среди слез и печалей людских, как безумные у края пропасти, да еще хвастают этим... Не знаешь, как быть,— плакать или смеяться...

Абай рассказал о том, что видел своими глазами в Верхних Жатаках. Казалось, он не поразил своих друзей. Павлов в свою очередь рассказал, как холера косила грузчиков Затона, рабочих кожевенных заводов, шерстомойки, пимокатных мастерских.

— Вот где собачьи условия жизни! Неудивительно, что именно там свирепствует холера!

Павлов говорил деловито, сухо, а Александра Яковлевна словно бы шутливо, но Абай вдруг почувствовал, какая боль скрыта за их словами. Сердце Абая теснила тоска и тревога. Если его русские друзья так болеют за казахский народ, то что же должен делать он, Абай, сын этого народа? Какую пользу он сможет принести соотечественникам в эти мрачные дни?

В семье Павловых уже знали о Сармолле.

— Такого человека следует поддержать,— заметил Павлов.— Он делает нужное дело.

А Александра Яковлевна добавила со свойственной ей горячностью:

— Вы — мусульманин, Ибрагим Кунанбаевич. Пойдите на пятничную молитву и после намаза обратитесь сами к народу с речью. Право же, одно ваше слово для казахов ценнее всех увещеваний и заклинаний Сармоллы...

Абай и Павлов невольно рассмеялись. Мусульманская мечеть и минбер доступны только для имамов и хальфе. Лишь они имеют право произносить перед прихожанами проповеди. А такого грешника, как Абай, который не молится ни пять раз в день, ни даже один раз в пять месяцев — туда просто не допустят.

Худое, осунувшееся лицо Александры Яковлевны

осветила бледная улыбка. Абай поднялся. Он пообещал им довести до народа советы врачей.

На другой день Абай решил переправиться на правую сторону Иртыша. Он вышел на берег и выбрал готовую к отплытию лодку.

Лодочник Сеиль, босоногий старик с изможденным морщинистым лицом, стоял на высокой корме. Он пропустил Абая к скамейке и с криком «тащите!» бросил двум молодым джигитам, стоящим на берегу, длинный аркан. Они перекинули веревку через плечи и потянули лодку вдоль берега против течения. Сеиль помогал им, отталкиваясь от дна реки длинным шестом.

Вода Иртыша возле Семипалатинска прозрачна. Под ясным небом она казалась особенно чистой и отливала то зеленью, то густой голубизной.

Поднимаясь вверх по течению, лодка миновала ряд улиц Слободы, спускавшихся к реке. Абай увидел подростков и молодых с коромыслами и ведрами, шедших за водой. Босоногие водовозы, нахлестывая лошадей, въезжали с бочками в реку. Крашенные в красный, зеленый, синий цвета, эти бочки видны издалека. Они напоминают о каменных зеленоверхих купеческих палатах с дальних улиц, ибо принадлежат их владельцам. Сколько холерных микробов и страшной заразы несли в эти дни спокойно и величаво текущие прозрачные струи Иртыша! Но где взять незараженную воду? Назови ее даже отравой, все равно жители убогих саманных хижин в Верхних и Средних Жатаках будут черпать воду из реки. Больше взять ее негде...

Лодка двигалась медленно, — Иртыш за лето сильно обмелел, и Сеиль, засучив штаны чуть ли не до живота, то и дело лез в воду и подталкивал корму. Он то неторопливо греб кормовым веслом, то хватал длинный шест и, упираясь им в дно реки, наваливался на него всем телом.

Абай слышал, что у лодочника два малолетних сына погибли от холеры, а джигиты, тянувшие бечеву, тоже недавно похоронили близких — один мать, а другой жену. Он хотел поговорить с Сеилем, но тот сам обратился к Абаю:

— Скажите, Абай-мирза, что нам делать? Неужели

мы все погибнем? Вся моя надежда теперь на старшего сына — ему уже вот пятнадцать лет сравнялось. Он ведь тоже болел холерой. Сразу у меня свалилось трое. Я уже думал: ну, конец всему. Ан, нет, те-то двое померли, а этот, гляди, пошел на поправку.

У Сеиля была больная жена. Когда сразу трое ее детей заболели, она последних сил лишилась, ослабла, руки поднять не могла. А старуха — мать Сеиля скрючилась в молитве: «Возьми меня, господи, вместо моих внучат». Хотела умереть с ними вместе. День и ночь в доме стон и слезы! Кажется, лодочник ждал от Абая хотя бы утешительного слова.

— Если погибнет и старший, жена и мать мои умрут не от холеры, а от горя! — печально произнес лодочник. — Скажите, Абай-ага, может человек снова заболеть, если в первый раз холера его не сломила?

Абай облегченно вздохнул — на этот раз он мог твердо обнадежить бедного отца.

— Второй раз не заболевают. Твое счастье, что хоть один сын у тебя уцелел.

Лодка Сеиля переплыла Большой Иртыш и приблизилась к невысокому, но крутому берегу Зеленого острова. Гребцы выпрыгнули на берег и снова повели ее на бечеве протокой Кара-Су, подходившей вплотную к городу.

В лодке, кроме Абая, сидело около десяти человек. Среди них были две татарки. Натянув на головы черные халаты и тщательно закрыв лица, они прислушивались к разговору Абая с лодочником. Когда понадобилось облегчить лодку, пассажиры вышли на остров и пошли берегом. Вышли и татарки. Абай хотел последовать за ними, но Сеиль сказал:

— Ничего, сидите!

— Женщины сошли. Неудобно. Я ведь здоровый.

Лодочник обнажил в озорной улыбке сверкнувшие белизной зубы.

— Женщины устают, если не ходят пешком. Сидите, сидите!

Оставшись в лодке наедине с Абаем, Сеиль начал рассказывать о слухах, ходивших в Нижних Жатаках о Сармолле.

— Абай-мирза, правда ли, что на него ополчились имамы верхней и нижней мечети за то, что он сказал: «Пусть хоть все муллы без доходов останутся, лишь бы народу стало легче! Не зовите, мол, ишанов да ходжей на жаназа, не собирайте людей около покойников. Это, дескать, моя о народе забота». Известно вам это? Так вот — муллы решили его погубить. Так говорят в народе. А ведь они могут натворить сколько угодно безобразий, у них на это помощники есть!

Абай сильно встревожился.

— От кого ты это слышал?

— Не спрашивайте, мирза! Слышал.— Сеиль понизил голос.— Говорят, имамы двух мечетей прокляли Сармоллу: будто бы он связался с русскими попами и играет им на руку. Он, говорят, нарочно отводит от мусульман имамов и хазретов. Я слышал, Абай-мирза, муллы решили уничтожить вероотступника. Есть в Слободке торговец Отарбай, известный скандалист. Когда у него не хватает слов для ругани, он берется за камчу, а то и за кистень. А друзья его Семейкан и Корабай еще почище будут. Настоящие разбойники. Эти люди связаны с ворами и даже убийцами. Я живу неподалеку от Отарбая. Наш водовоз сказал, что он и его приятели поклялись прикончить Сармоллу.

— Когда ты это слышал?

— Два дня назад. Вечером в прошлый четверг.

Абай в раздумье опустил голову, взволнованный и огорченный,— ведь это он сам послал Сармоллу к людям, говорил ему: «Надо позаботиться о народе, довести до него разумный совет...» Какими бы расчетами Сармолла ни руководствовался, бедный люд верил его словам, предпочитая их всем поучениям и назиданиям отцов духовных.

Народ понимал — Сармолла не побоялся подвергнуть свою жизнь большой опасности. Пусть у него свои счёты с муллами, но сейчас полслова, сказанные им против хазретов, добрым семенем падают в душу народа. Не должен ли сам Абай делать сейчас то же самое, что делает Сармолла?

Обогнув остров, пассажиры вышли к протоке Карасу. За спиной остался густой лес Полковничьего

острова. Впереди раскинулся Семипалатинск. Широкие и прямые улицы города спускались к Иртышу. Бросалось в глаза белое многоэтажное здание паровой мельницы, принадлежащей татарину, купцу Мусину. Из высокой кирпичной трубы густыми клубами валил черный дым. За мельницей виднелось большое белокаменное здание окружного суда, а невдалеке от него возвышалась в окружении двухэтажных каменных строений Плещеевская церковь. С ее колокольни доносился веселый малиновый перезвон, перекликавшийся с густым гудением колоколов кафедрального собора. В этот колокольный гул, торжественно плывший над большим русским городом, озорно врывался пронзительный свист паровой мельницы.

Сеиль завернул лодку в протоку Кара-Су и погнал к берегу, где уже стояли в ожидании новые пассажиры. Абай снова обратил внимание на закутанных в халаты татарок, которые словно воплощали в себе немое терпение беззащитных перед лицом бедствия темных людей.

— Я не собираюсь угождать перед хазретом,— говорил Сеиль, ловко орудуя шестом.— Моя душа доверяет Сармолле. Недаром он сказал, что друг народа Абай думает так же.

Сеиль понизил голос, чтобы его не услышали люди, стоявшие на берегу, и продолжал:

— Сказывают, Сармолла был у вас перед ссорой с муллами и советовался с вами? Поэтому жители Верхних и Нижних Жатаков и поверили его словам, понимаете?

Тут лодка подплыла к берегу и заскребла дном о прибрежную гальку.

— Я все понял, Сеиль, и очень благодарен тебе! — сказал Абай тихо.

Люди, ожидавшие на берегу, быстро заполнили лодку.

Лодочник перевез своих пассажиров через протоку Кара-Су. Абай поднялся последним. Лодка сильно качалась под тяжестью его грузного тела. Сеиль взял Абая под локоть и, бережно поддерживая, помог сойти на берег.

Пройдя мимо паровой мельницы, Абай вышел на площадь и осмотрелся, намереваясь взять извозчика. Но площадь была пуста. Пришлось идти пешком. Улицы в городе иные, чем в Слободке, — на них нет ни травинки. Абай с трудом шагал по глубокому рыхлому песку, который то и дело набивался в кебисы. Хорошо еще, что горячий воздух не шелохнет. В ветреные дни в Семипалатинске бушевали песчаные бури и пыльные вьюги, от которых туго приходилось пешеходам. Но и сейчас было нелегко. Только ступишь, а нога на полшага скользит назад. Словно у коня, когда ему приходится месить глину.

Вспотевший и усталый Абай наконец вышел на Мир-Курбанскую улицу, почти сплошь застроенную деревянными домами. Она брала свое начало в центральной части города и тянулась через Татарскую слободку. Абаю бросилась в глаза пестрота оконных ставень и наличников. Высокие ворота и крыши домов тоже были недавно покрашены масляной краской в синий, зеленый и желтый цвет.

На Мир-Курбанской улице в угловом полукаменном домике с побеленным нижним этажом у Данияра Кандыбаева и остановился Абиш со своей женою. Абай отворил калитку и вошел в чисто подметенный двор.

Данияр Кондыбаев, образованный казах, служил переводчиком в Семипалатинской конторе Государственного банка. Жена его Афтап отличалась от городских казашек, но не походила ни на татарку, ни на русскую женщину. Это и было понятно. Дочь мелкого лавочника, она родилась и выросла среди узбеков в далеком городе Маргелане.

В те годы довольно часто можно было встретить молодых казахов, получивших подобно Данияру русское образование и носивших европейскую одежду. Они работали толмачами¹, писарями, фельдшерами и ветеринарами. Семипалатинские казахи прозвали их «каратаяками»².

¹ Толмач — переводчик.

² Каратаяк — буквально «чернопалочник», так называли чиновников-казахов.



Тринадцать лет назад Абай, который охотно помогал учить по-русски казахских детей, привез маленького Данияра в город и определил в русско-киргизское училище. Школы этого типа русское правительство открывало еще в середине девятнадцатого века, чтобы подготовить из среды местного населения толмачей и мелких чиновников для губернских канцелярий. Данияра поместили в интернат вместе с его сверстниками казахами, одели в удобную русскую одежду, дали чистую постель. Через несколько недель он уже превратился в старательного и благовоспитанного школьника. Никто не узнал бы в нем степного оборвыша, безродного сироту, которого по разверстке властей («три мальчика с каждой волости!») доставили в город, хотя он и ревел всю дорогу, как верблюжонок. Пусть вначале ребяташки, а иной раз и их родители, не понимали своей пользы, но Абай всегда, где только мог, способствовал русскому обучению казахских мальчиков. Немало таких вот сирот, как Данияр, он пристроил в интернат. Многие из них уже окончили школу и теперь служили в канцеляриях, добром поминая Абая: Самалбек, Нурлан, Орманбек.

Проучившись шесть лет, Данияр окончил пятиклассное начальное училище и, не сказав никому ни слова, уехал в Ташкент вместе с товарищем, приехавшим учиться в Семипалатинск из Туркестана. Два года он прослужил в Ташкенте, а потом перебрался в Маргелан. Здесь он женился на Афтап и вместе с нею вернулся в Семипалатинск. Скопленные в Туркестане сбережения позволили Данияру приобрести домик на Мир-Курбанской улице. Детей у них пока еще нет, и они живут во всех четырех комнатах верхнего и нижнего этажа втроем со своей пожилой служанкой Майсарой.

Данияр и Афтап — редкая пара. Жена почти вдвое выше мужа. Пышная, рослая, круглолицая женщина, с иссинья-черными бровями и веселыми глазами, выглядит красавицей рядом с низкорослым Данияром. Но и ему нельзя отказать, несмотря на оттопыренные уши и плоские веки, в известной привлекательности. Бледно-матовое лицо мужа, покрытое легким румянцем,

Тринадцать лет назад Абай, который охотно помогал учить по-русски казахских детей, привез маленького Данияра в город и определил в русско-киргизское училище. Школы этого типа русское правительство открывало еще в середине девятнадцатого века, чтобы подготовить из среды местного населения толмачей и мелких чиновников для губернских канцелярий. Данияра поместили в интернат вместе с его сверстниками казахами, одели в удобную русскую одежду, дали чистую постель. Через несколько недель он уже превратился в старательного и благовоспитанного школьника. Никто не узнал бы в нем степного оборвыша, безродного сироту, которого по разверстке властей («три мальчика с каждой волости!») доставили в город, хотя он и ревел всю дорогу, как верблюжонок. Пусть вначале ребяташки, а иной раз и их родители, не понимали своей пользы, но Абай всегда, где только мог, способствовал русскому обучению казахских мальчиков. Немало таких вот сирот, как Данияр, он пристроил в интернат. Многие из них уже окончили школу и теперь служили в канцеляриях, добром поминая Абая: Самалбек, Нурлан, Орманбек.

Проучившись шесть лет, Данияр окончил пятиклассное начальное училище и, не сказав никому ни слова, уехал в Ташкент вместе с товарищем, приехавшим учиться в Семипалатинск из Туркестана. Два года он прослужил в Ташкенте, а потом перебрался в Маргелан. Здесь он женился на Афтап и вместе с нею вернулся в Семипалатинск. Скопленные в Туркестане сбережения позволили Данияру приобрести домик на Мир-Курбанской улице. Детей у них пока еще нет, и они живут во всех четырех комнатах верхнего и нижнего этажа втроем со своей пожилой служанкой Майсарой.

Данияр и Афтап — редкая пара. Жена почти вдвое выше мужа. Пышная, рослая, круглолицая женщина, с иссинья-черными бровями и веселыми глазами, выглядит красавицей рядом с низкорослым Данияром. Но и ему нельзя отказать, несмотря на оттопыренные уши и плоские веки, в известной привлекательности. Бледно-матовое лицо мужа, покрытое легким румянцем,

кажется жене очень милым, а его хрупкая фигура удивительно изящной. А особенно довольна Афтап веселым характером Данияра, он кого угодно рассмешит до слез. Только послушайте его рассказ, как он привез обманом из Маргелена свою Афтап, не знавшую ни казахов, ни русских, ни степи, ни сибирского города на Иртыше. Такое мог выкинуть только ловкий и остроумный шутник!

За Абишем и Магиш, остановившимися в его доме, Данияр заботливо ухаживал. Сын уважаемого Абай-аги, образованный офицер Абиш, приходился ему младшим родственником. Но это не спасало молодых от шуток игривого хозяина. Вот и сегодня после завтрака Данияр сокрушенно сказал Магиш:

— Ох, этот Абиш! Не успел жениться, как уже утащил тебя в такую даль! Должно быть расхваливал Алма-Ату как самый лучший город на земле! Знаю, знаю!.. Мы, каратайки, умеем обманывать своих доверчивых жен.— И он лукаво подмигнул Магиш. Абиш молчал, посмеиваясь, искоса поглядывая на заалевшие от смущения щеки жены. Он любил шутки и смех,— как-то она, степная скромница, отнесется к веселой болтовне Данияра.

А Магиш, преодолев свою робость и также посмеиваясь, ответила на шутку шуткой:

— Вы лучше расскажите Данияр-ага, как сами обманули Афтап-женге¹.

— Расскажу, расскажу... Тем более, что Афтап меня уже наказала...

Бог благословил, и мы с Афтап-жан поженились! Живем неплохо в Маргелане, у нас домик и сад. Но я по ночам спать не могу. Все думаю — когда снова увижу Семипалатинск и родную степь! Афтап мне сочувствует, но менять Маргелан на Семипалатинск не хочет. Зачем ей? Отец и мать рядом, над головой персики и абрикосы висят, журчит арык, соловьи заливаются, цветы благоухают, в хаузе — вода прозрачная... Это тебе не Сары-Арка! Моя тоска по родной степи ей непонятна. Чего тосковать, когда кругом

¹ Женге — невестка, почтительное обращение к жене старшего.

груши, виноград, яблоки и другие сладчайшие плоды в изобилии. А нужно сказать, любила их Афтап, крепко любила! Подметил я это и решил сыграть на ее слабости. Сидим мы однажды под яблоней, я и говорю:

— Ну что это за яблоки в Маргелане! Смотреть не хочется! Попала бы ты в благодатный Семей. Сейчас там вот такие яблоки висят на деревьях, крупней арбуза. Сучки до земли гнутся! Ствол не выдерживает, надвое раскалывается! А семипалатинский виноград! Хусайни! Ширази! Сто сортов! Один слаще другого! А груши! А персики! Положи в рот, тают, как мед. И вот, как до груш и до персиков дело дошло, смотрю я на свою Афтап...— при этих словах Данияр обратил свой лукавый взор на жену, а она заливалась смехом, содрогаясь всем своим крупным телом. Смеялась и Магиш. У Абиша на глазах выступили слезы. А Данияр продолжал как ни в чем не бывало: — Аромат! Весь город благоухает! Весь в зеленых садах! На улицах розы цветут! Вода в арыках только родниковая, прозрачная, как алмаз. Соловьи, словно мухи, летают. А поют — оглохнуть можно. Не город — райский сад! А зеленых попугаев сколько! И какие попугаи! Сарыаркинские! Только они одни умеют рассказывать сказки «Тоты Намэ» подряд девяносто ночей... Слушает моя Афтап, и глаза у нее горят. Вижу, хочется ей попробовать диковинных семипалатинских плодов, яблок покрупней арбузов, посмотреть райские сады и розы...

— ...Как они цветут на пятидесятиградусном морозе зимой,— вставил свое слово Абиш,— и благоухают летом в песчаный буран, когда на семипалатинских улицах караван может заблудиться.

Магиш и Афтап весело рассмеялись, но Данияр тем же серьезным тоном продолжал:

— Смотрю, моя Афтап начала колебаться. Я веду более решительное наступление. Поднимаю червивое яблоко, упавшее с дерева и морщусь нос. Разве это плоды? Вот Сарыаркинские персики — те никогда не червивеют. Афтап слушала-слушала и говорит: — Ну, давай поедим в твой Семей! — весело закончил Данияр, подражая маргеланскому выговору.— А теперь, Ма-

гиш, расскажите, каким обманом везет вас Абиш в Алма-Ату.

— Он еще не успел сочинить для меня такой сказки, какую вы придумали для Афтап, а может быть, и для нас! — ответила находчивая Магиш.

После завтрака Данияр ушел на службу. Абиш остался с двумя молодыми женщинами и пожилой прислугой Майсарой. На досуге они начали обсуждать, чем заменить кемешек на голове Магиш. Майсара, прожившая свою юность в Казани и Уфе, хорошо знала наряды и местных казашек и татарок, — она предложила «каляпуш»¹ и желтую шаль. Абиш вспомнил о тахиях², расшитой золотыми нитками, и белой шелковой шали. Афтап не согласилась с ними. Наконец все три женщины ушли в спальню и раскрыли огромные сундуки с нарядами Афтап.

— Пусть Магиш нарядится и покажется Абишу, — посоветовала Майсара. — Тогда и выберет себе убор, какой ему понравится.

Магиш стала отказываться. Зачем устраивать смотрины? Она сама выберет, что ей больше по душе. Но Абиш и Афтап запротестовали. Они оба желали вмешаться и показать собственный вкус.

Абиш хотел, чтобы были видны волнистые, черные с бронзовым отливом косы Магиш. Он не хотел мириться с тем, чтобы кимешек скрыл ее красивые розовые ушки, белую нежную шейку. Пусть красота жены сияет, как полная луна, у всех на виду. Он не мог налюбоваться своей красавицей и нарадоваться своей любви.

Магиш молча послушала мужа, постояла в раздумье и направилась в угловую комнату. Через минуту оттуда донесся женский смех. Особенно громко смеялась Майсара.

Абиш терпеливо ждал. Но вот распахнулась дверь, и на пороге появилась Магиш. Она смущенно глядела на мужа.

Вместо бешмета Магиш надела темно-вишневый

¹ К а л я п у ш — расшитая жемчужным бисером маленькая бархатная тюбетейка, которую носили татарки.

² Т а х и я — женская шапочка.

бархатный камзол в талию. Он хорошо оттенял ее длинное плиссированное платье из кремового шелка. Молодая женщина отказалась от хваленной Майсарой каляпуш и от калфака¹, предложенного Афтап. Она надела тахию с золотым шитьем, в какой была в первую свою встречу с Абишем, а поверх накинула золотистую, редко сплетенную тонкую и легкую шаль с кистями. Один конец ее она свободно обвила около груди и откинула через правое плечо. Абиш с изумлением смотрел на Магиш. В новом наряде она выглядела и такой, как в первое их свидание, и новой, еще красивее. Свежей, благоухающей юностью веяло от нее...

Подскочив к жене, Абиш ласково обнял ее за плечи и стал поворачивать то боком, то спиной. Он с восторгом одобрил выбранный ею наряд. Майсара молчала, поджав губы, но Афтап, будучи сама на редкость хороша собой, искренно восхищалась изящной фигурой и прелестным личиком Магиш. Афтап не была завистлива.

— В этом платье вы еще очаровательнее, Магиш! — говорила она. — Вам оно очень идет!

«Женщины лучше нас, мужчин, — подумал Абиш, с удовольствием слушая Афтап. — Они справедливее. Мужчина не станет восторгаться красотой другого, тем более, если он сам красив!»

В эту минуту неожиданно распахнулась дверь и в комнату вошел Абай. Магиш не сразу сообразила, кто стоит перед нею. Густой румянец покрыл ее лицо до самых корней волос. Она вскрикнула и, закрыв тонкими белыми пальцами глаза, выбежала из комнаты. Следом за ней исчезли смущенные Афтап и Майсара, шумно хлопая дверьми, грохоча каблуками по лестнице.

Абай догадался, что происходило в комнате. Но, ничего не сказав, снял малахай и прошел на почетное место. Абиш сел рядом, молча ожидая, что скажет отец.

Вкратце Абай поведал сыну историю Сармоллы, о

¹ К а л ф а к — круглая, вышитая бисером женская шапочка, надеваемая на лоб.

том, как встретился с ним в первый раз, как с той поры объединились против него все имамы и невежественные муллы городских мечетей обоих берегов, и как теперь дело доходит уже до открытой темной вражды. Передавая сыну то, что услышал сегодня от лодочника Сеиля, Абай прекрасно понимал, что речь идет уже не только об участии Сармоллы, но и об ответственности самого Абая за его собственные слова, которыми Сармолла руководствовался. Если Сармолле угрожает опасность, то и Абай должен быть ответчиком вместе с ним.

— Не знаю, как бороться против тупого невежества! — Лишь за то, что кто-то посмел сказать: «Не причиняйте вреда людям, уймите свои страсти, свою жажду наживы, не усугубляйте народной беды», — отцы духовные готовы на любое злодейство, на преступление! Вместо того, чтобы просвещать народ и помогать ему бороться со страшной эпидемией, духовенство само распространяет заразу. Поистине, они не только темные невежды! Они «фитнан галям». И Абай тут же перевел арабские слова по-русски: «Презренные мира!»

Молодому офицеру стало немного не по себе при воспоминании о том, как в этой самой комнате всего несколько минут назад он легкомысленно забавлялся, восхищаясь нарядом своей молодой жены. В маленьком домике Данияра он чувствовал себя, словно на неприступном острове среди разбушевавшегося моря. Уж не забыл ли он о страшной трагедии, которую переживал его народ?

Чувствуя себя виноватым и пристыженным, Абиш стал настойчиво допытываться, чем он мог бы помочь отцу. Абаю понравилось рвение сына.

— Пока ничем! Ты лучше посоветуй, куда мне пойти, чтобы встретиться с народом? Я должен заступиться за Сармоллу!

Абиш подумал, что отцу не мешало бы поговорить с хазретами всех мечетей. Он сказал:

— Муллы — враги Сармоллы. Но вы для них человек посторонний. Над вашими словами они призадумаются и, может быть... переменятся... как знать...

Абай покачал головой. Подобно жене Павлова, Абиш не понимал возможностей своего отца, не понимал его места в этом злом мире.

— С этими людьми я уже говорил за глаза: Сармолла много раз ссылался на меня. Их не убедишь! Эти люди, не задумываясь и не колеблясь, превратят в вероотступника любого, кто посмеет напомнить им о дне махшар¹, когда им придется давать ответ богу за преступления перед прихожанами. А ты говоришь: иди к ним! Что ты скажешь этой мрачной кучке изуверов, черных воронов, всех этих старых суфи, прожорливых пожилых шакирдов, смотрящих в рот своим настоятелям, имамам? Другое дело встретиться с ними перед лицом народа, чтобы народ рассудил, кто прав! Народный суд им страшен...

Абиш несколько растерялся, услышав такие слова. Но тотчас глаза его мечтательно блеснули.

Где встретиться с народом? Да хотя бы на базаре, или на Иртыше, возле парома, на любом берегу. На реке собирается множество людей в ожидании переправы, не меньше, чем на базаре. Отец сможет побеседовать с народом напрямик и заступиться за Сармоллу. Во всяком случае то, что Абай говорил Сармолле наедине, он скажет сам во всеуслышание.

— Ага², все равно народ знает, что Сармоллу послали вы. Было бы несправедливо, если бы вы сейчас не поддержали его. Подтвердите это сами! Вот — лучшая защита Сармоллы. И ваше сердце найдет, наконец, хоть малое утешение. Оно скажет, что чувствует!.. Я знаю: его душит молчание...

Абай ничего не ответил ему, — появился Баймагамбет. Когда Абай переезжал через Иртыш на лодке, Баймагамбет с конями отправился на паром. Теперь он был уже тут, и Абай, надев свой малахай, собирался уйти, но в эту минуту в комнату вошла Афтап вместе с прислугой, которая несла белую фарфоровую миску с кумысом.

¹ М а х ш а р — судный день.

² А г а — брат, обращение к старшему мужчине, а также к отцу.

Не успела Афтап разлить кумыс, как за дверью раздались протяжный салем:

— Ассалау-малей-ку-ум!

Все повернулись к двери и вначале увидели камчу, а затем ее владельца — Утегельды, высокого казаха с узкой черной бородой.

В доме Данияра его знали с первого дня приезда молодых. Афтап и Майсара приветливо встретили нового гостя и усадили за стол. С этим человеком не было скучно, он умел развеселить молодежь острым словом и отличной игрой на домбре. При нем время летело незаметно и, придя в дом Данияра днем, Утегельды нередко оставался здесь и ночевать.

Была у него одна странность. Незаурядный охотник и следопыт, Утегельды в городе чувствовал себя совершенно беспомощным. Он сознался Абишу:

— В городе я становлюсь глупее, чем верблюды в ауле. Шагну в сторону и сразу заблужусь. Если не поручишь кому-нибудь отвозить и привозить меня, то я не найду дороги ни в твой дом, ни в свой.

Два раза посланцы Абиша приводили и уводили Утегельды. И вдруг он появился без поводыря и все удивились, — как он не заблудился. Так как беседа с отцом все равно была прервана, Абиш не без умысла задал Утегельды коварный вопрос.

— Ты же говорил нам, что в городе заблудишься с первого шагу! — Как же ты все-таки добрался, Утеш?

— Помогли желтая собака и барабай.¹

Афтап и Майсара весело переглянулись. А Утегельды стал рассказывать как ни в чем не бывало:

— Еще позавчера, собираясь к тебе, выехал я на самый край города и стал поперек улицы так, чтобы увидеть длинную шею барабая, из которой идет к небудым. Погнал коня, доскакал и поставил его хвостом к барабаю. А потом увидел перед собой широкую улицу и пошел рысью. Что я запомнил хорошо — это, когда полъезжаешь к вам, из подворотни выбегает желтая собачонка. Тут, если сразу свернуть за угол, и будет ваш дом. Ну, я и решил, что отныне эта собачка

¹ Б а р а б а й — искаженное — паровая мельница.

будет моим поводырем, с нею я в городе не пропаду. Вот так и сегодня: доскакал я до Иртыша, повернул по широкой улице, а милая моя собачка, дай ей бог удачи, уже лежала наготове у себя во дворе. Как я только показался, она выскочила из подворотни, я сейчас же свернул за угол — и вот нашел вас! — весело закончил Утегельды.

Стесняясь Абая и прикрывая лицо рукавом, Майсара заливалась смехом. У Афтап, разливавшей кумыс, чуть вздрагивали плечи.

Абай остановил на рассказчике добрый взгляд:

— Ну, а если не выбежит из подворотни желтая собачонка, как же быть тогда?

Утегельды ответил:

— Тогда я буду скакать взад и вперед по этой улице до тех пор, пока она не выскочит.

Тут не выдержал и Абай: улыбнулся.

Радостно было Абаю сидеть рядом с близкими людьми и все же сердце его не могло освободиться от тревоги. То и дело он вспоминал Сеиля, его намеки на то, что Сармолле угрожает гибель. Душа Абая была отравлена, яд словно перебродил в ней и казался все горше и горше. Все же, уходя, Абай добродушно пошутил над Утегельды:

— Ну вот, зачем ему город, улица, номер дома? Есть у него желтая Жучка, ему и горя мало!

Вместе с Баймагамбетом Абай поехал на большой городской базар.

Сначала он прошел по магазинам Плещеева, Дерова, Михайлова-Малышева, потом заглянул в татарские магазины Хамитова, Негматуллина, Тухфатуллина. Покупателей было немного. А тем, кто и был тут, дела не было ни до чего, кроме купли-продажи. Абай заметил, что большинство из них — степные казахи. Опытным глазом он сразу определил по головным уборам и обуви, из каких волостей приехали эти люди и к какому роду они принадлежали. Такие люди, когда заняты покупками, опасаются всякого постороннего взгляда. Каждый чужой человек кажется им подозрительным. Старые скряги, жадные бии и управители, мелкие хитрецы и пройдохи, расчетливые рабы своего

скота, они и всех окружающих считают такими же проходимцами, как они сами.

Внимание Абая привлек бай в верблюжьем армяке и малахае керейского¹ покроя. Его сопровождали два джигита. Одному из них он дал подержать посеребренный пояс, другому — плетку, а сам вынимал из кармана бешмета, заправленного в кожаные шаровары, грязный платок. Развернув его и шепча «бесмилда»², бай с трудом отсчитывал деньги, чтобы расплатиться с кассиром. Руки старого скопидома тряслись от жадности. В это время к нему подошли еще человек пять мужчин в керейских малахаях, видимо, сородичи или одноаульцы, которые узнали почетного бая и хотели его поприветствовать. И тут этот старый седой человек, распустив завязки своих шаровар и едва не теряя их, в смятении затоптался на месте. Неуклюже топая широко раздвинутыми ногами в тяжелых теплых сапогах, он не только не принял салема своих сородичей, но, сердито буркнув, отвернулся от них.

Абай с презрением посмотрел на него и, заложив руки за спину, медленно вышел из магазина. Пройдя ряд лавок, он заметил среди покупателей еще несколько человек, похожих на жадного керейца, таких же настороженных и недоверчивых. На городских жителей они смотрели с нескрываемым подозрением, видимо, принимая их всех поголовно за жуликов и мошенников.

Абай понял — с этими людьми бесполезно разговаривать и направился к мелким лавочкам. Народу здесь тоже было мало. Тогда он решил заглянуть на толкучку.

Эпидемия холеры нимало не сказалась на кипучей жизни толкучки. Толкучка по-прежнему гудела и шумела многими голосами, словно Семипалатинск и не переживал никакого бедствия. Широкая площадь была переполнена покупателями, продавцами и перекупщиками. Люди ходили по глубокому сыпучему песку, предлагая свой нехитрый товар. Над площадью стоял

¹ Керей — название рода.

² Бесмилда — во имя аллаха!

несмолкаемый шум, и невозможно было понять, на каком языке говорили и кричали продавцы и покупатели. Абай с улыбкой прислушался, но так и не смог разобрать ни одной членораздельной фразы.

Больше всего на толкучке было казахов, меньше — русских и татар. Можно было встретить и прибывшего с караваном из Туркестана, а то даже и из Китая, ямщика-дунганина или таранчинца.

Абай слез с телеги и направился к толпе. Его сразу окружили черноволосые и кареглазые цыганки в ярких цветастых шалях, перекинутых через плечо.

— Погадаю на счастье! — привязалась к Абаю одна из них, позванивая огромными серьгами и протягивая смуглую ладонь. — Посеребри ручку, посеребри!

Абай с трудом вырвался из окружения цыганок и увидел босоногого, косоглазого дивана с длинным тонким посохом в руке. Острая верхушка его старого мерлушкового малахая была обмотана грязной, рваной чалмой. Обнажив костистую худую грудь, он стремительно пронесся мимо Абая подпрыгивающей походкой, словно бежал не по песку, а по горячим угольям.

— Аллай ха-а-ак! — выкрикивал он истошным голосом, особенно резко выделяя последнее слово.

Испуганные люди шарахались в разные стороны, а дивана, гримасничая и скаля редкие зубы, вопил с таким исступлением, что на губах его пенилась слюна:

Шайхи-бурхи дивана,
Беду-горе изгоняй!
Приди, счастье, прочь беда,
Аллай ха-а-ак!

Опираясь на посох, он становился, как журавль, на одну ногу и воспаленными глазами оглядывал толпу. А через минуту срывался и, подпрыгивая, нырял в гущу людей. Так он и исчез в толпе — словно потонул в глубоком озере.

К Абаю подошел рыжебородый казах в кара-кесекском малахае с парой перекинутых через плечо кожаных сапог, сшитых в два шва. Он предложил их купить. Но тут налетели еще два продавца — казах и татарин, оба шапочника. Каждый из них держал в руках

по две татарских шапки, подбитые бобром, да и на голове они ухитрились уместить еще по две.

— Как раз на тебя! — принялись шапочники уговаривать Абая. — Лучше и дешевле не найдешь.

Шорники носили свои изделия, сплетенные из сыромятной кожи: камчи, длинные вожжи, сбрую для верхового коня. Перекинув через плечо охапку жайнамазов¹ с вышитыми изречениями из корана, пожилая казашка несколько раз пересекла путь Абая. Судя по его возрасту, она решила, что перед ней правоверный мусульманин, и подумала, что он обязательно приобретет у нее жайнамаз. Но Абай отвел глаза в сторону. Он увидел ювелира, предлагавшего кольца и браслеты, а рядом с ним ремесленника, продававшего казахский пояс с кожаными карманами, ножнами и вложенным в них ножом. Чего только не продавали на толкучке! Овчины, тулупы, шаровары, малахай, бешметы, вышитые тюбетейки, — новые, подержанные и совсем старые, никуда не годные, но и на них находились покупатели.

Шумная толпа жила своими интересами купли и продажи, не обращая особого внимания на Абая, а он стоял, сняв свой легкий малахай из черной мерлушки, и думал, к кому же здесь обратиться свое слово. На широком лбу его собрались глубокие линии поперечных морщин, около глаз и на висках выступили капли пота, густые брови нахмурились. Он словно постарел за последние дни и сейчас особенно отчетливо ощутил эту старость. Черным камнем давила душу безысходная тоска. За долгий день скитаний он не нашел ни одного человека, с кем можно было бы поделиться сокровенными мыслями и обрести истинное понимание.

«Пишу стихи, стараюсь делать добро, заботиться о народе моем, — думал он. — А есть ли внемлющие и запоминающие мои назидания?»

Абай с горечью смотрел на окружающую его толпу и словно увидел самого себя со стороны. Вот он один сидит в безлюдной степи, разложил разноцветные чуд-

¹ Ж а й н а м а з — вышитый коврик, подстилаемый при молитве.

ные ткани и держит в руке аршин. Есть и товары и торговец, но нет покупателя.

«Жди сколько угодно... Не придет твой покупатель», — подумал Абай и, сокрушенно покачав головой, направился к своему тарантасу, на котором поджидал его Баймагамбет.

Покинув шумную толкучку, он подъехал к конному базару, который собирался обычно на пригорке за окраиной города. Здесь его сразу же узнали три казаха, продававшие лошадей, — один с проседью, другой рыжеусый, а третий бледный, безбородый. Они отдали ему салем и сами первые завязали разговор о холере. Абай, давно искавший слушателей, обрадовался возможности высказать свои мысли, хотя бы этим трем казахам. От них он услышал, что и здесь, в этой части города, около конного базара, люди умирают от холеры.

Но только он начал говорить, как тарантас сразу же окружила толпа пеших и верховых. Среди них было немало женщин — они особенно жадно ловили его слова.

Седобородый торговец, со вниманием слушавший речь Абая, наклонившись с гнедого коня, спросил:

— Говорят, что жаназа, хатым и жертвоприношения надо проводить, не собирая людей. Будет ли это угодно богу?

Абай ответил:

— Разве в шариате сказано, что только одни хальфе, кари, мулла и муэдзины имеют право совершать жаназа? Каждый мусульманин, умеющий читать молитвы и похоронный намаз, может его совершить. Если среди родственников покойника найдется грамотей, пусть он сам прочитает поминальную молитву и коран. Не к чему беспокоить муллу.

Абай без страха отступал от мертвой буквы шариата, но видел, что и людей это не пугает. Они верили ему, и он, не торопясь, терпеливо, истово и настойчиво излагал им простейшие советы: мыть руки горячей водой, не пить сырой воды, не есть арбузов и дынь, есть только хорошо проваренную и прожаренную пищу.

В мягком, грудном его голосе звучала искренняя забота, и люди спрашивали друг друга:

— Кто это говорит?

— Абай!

Многие из слушателей видели его впервые. А хорошо знавшие сразу же спросили про Сармоллу:

— Хулят его и ругают все муллы и хальфе. Правы ли они?

Абай отвечал:

— Они показывают этим лишь свое невежество. Они ведут себя недостойно. В тягостные дни бедствия эти люди занимаются дрызгами и раздорами. Нечестно поносить Сармоллу за то, что он предостерегает людей: «берегитесь холеры». Тот, кто предупреждает об опасности,— не злодей, а доброжелатель!

Абай вернулся с конного базара, словно помолодевший. Эта первая встреча с народом, казалось, смягчила и освежила его изболевшуюся душу, точно дождь иссохшую землю.

На следующий день он опять был в Слободе и сразу отправился на скотный базар. И здесь вокруг Абая тотчас сошлось двадцать—тридцать человек покупателей и продавцов. А когда Абай шел мимо мелочных лавок, его останавливали торговцы, плотники, портные, сапожники и другие покупатели. Мастерские люди спрашивали о холере, и он вновь и вновь повторял свои советы, разъясняя их смысл. Его слушали внимательно. Люди не сомневались, что уста Абая говорят чистую правду, что им руководит неподдельная любовь к народу. И Абай, взволнованный, тронутый, искал для своих слушателей особенные слова: простые, ясные, сильные и убедительные.

Разговаривая с жителями Слободки, Абай не забывал упомянуть и о Сармолле, о его спорах с духовенством. Он твердо и решительно подчеркивал свое полное единомыслие с тем, что советовал людям Сармолла: «Самые верные советы». «Забота друга». «Надо слушаться его беспрекословно».

Всю последующую неделю Абай аккуратно посещал городской базар за Иртышом и базар в Слободке. Ежедневно десятки человек слушали его советы.

Теперь городские казахи стали меньше говорить о Сармолле. При чем тут Сармолла? Сам Абай дает советы, как уберечься от холеры. Новость быстро распространилась на обоих берегах Иртыша, и верующие перестали колебаться. Они не приглашали на жаназа имамов, хальфе, кари, муэдзинов и шакирдов. Похороны обходились без поминок и хатыма, в дом покойника звали только одного муллу.

Вот когда Слепой Кари, Шарифжан-хальфе и Самурат-муэдзин взбеленились! Спорить с Абаем было куда труднее, чем с Сармоллой...

Даже имени Абая никто из них не называл. Его именовали «степняком», «безбожником». Слово Абая пришлось по душе народу, и вступать с ним в открытую схватку было рискованно.

Тем яростней муллы вновь обрушились на Сармоллу. Заклятого врага надо уничтожить, стереть с лица земли!

Однажды ночью после молитвы ястау торговцы Отарбай и Корабай в темном закоулке возле Верхней мечети остановили старого имама. Они вели за собой Самата, Слепого Кари, Шарифжана и Самурата-муэдзина. Дело у них, видно, было нешуточное.

— Святой хазрет! Мы к вам от прихожан с мольбой!

Речь начал Отарбай. Высоченный, он низко наклонился к малорослому глуховатому имаму, чтобы тот услышал его голос.

— Уа, хазрет! — сказал он, потрянув козлиной черной бородой. — Меня к вам послали люди вашего прихода. И пришел я не один. Вон за той решеткой ждут десять человек — верные последователи Магомета. Послушные божьему велению, мы просим указать путь спасения от мора, который обрушился на голову мусульман. Какой совет дадите вы?

Гундосый Корабай низким голосом добавил:

— Говорят, когда во время бури людям грозит на корабле гибель, они приносят жертву богу и спасаются от смерти. Какую жертву должны принести люди нашего города?

Корабай умолк, и снова заговорил Отарбай:

— Ваш покойный отец, святой Ак-ишан, когда народ умирал от черной оспы, велел ничего не жалеть для бога. Скажите, святой отец, народу, какую жертву он должен принести, чтобы спастись?

Высохший от старости хазрет вздрагивал на каждом слове, как пушинка. Застигнутый врасплох, старик не мог собраться с мыслями.

— Щедр господь, щедр господь! — бормотал он себе под нос. — Да будут благословенны ваши намерения. Жертвоприношение ваше будет одобрено нашим пророком, посланником божьим Мухамедом. В дни бедствия жертва — благо. Да будут благословенны ваши цели. Бирахматила я ярхамар — рахимин!

И хазрет поднес ладони к лицу, заключая свою речь молитвой. Плохо соображая, что он такое им наговорил, что им следует делать дальше, оба торговца стояли растерянные.

Выбрасывая вперед длинный посох и шаркая каблуками низких кебис по крупному песку, хазрет направился к дому, поминутно проводя по лицу ладонью.

Когда он скрылся за решетчатым забором, к Отарбаю и Корабаю подошли десять прихожан, которые ожидали поодаль. Послышались нетерпеливые голоса:

— Что же сказал хазрет?

— Какой он дал совет?

Высокий, как жердь, и черный, как жук, хальфе Самат дал свое толкование словам имама.

— У стен божьего дома вы упомянули имя хазрета Ак-ишана, отошедшего в святости на небеса. В ответ на это вы получили из уст Садыр Азгама, самого почтенного учителя веры в нашем городе, разрешение на святое дело. Ни один человек не посмеет обвинить вас, если вы выполните его по указанию имама, вашего наставника. Хазрет сказал — да будет так!

— Скажите прямо, что надо сделать? — спросил Корабай.

Муэдзин Самурат поднял руки к небу, забубнил по-арабски:

— Вы же слышали: «Чтобы избавиться от бедствия, надо решиться на любую жертву. Как бы ни была дорога и трудна она, — пусть решится народ и не знает

пощады. Ничего кроме благой награды он не заслужит». Вот что сказано.

Неграмотные торговцы плохо понимали книжные обороты, не знали арабского языка. Муэдзин повторил им свою речь по-казахски. А Слепой Кари нетерпеливо добавил:

— Сказано ясно. Идите и приступите к исполнению святого дела.

Сармолла в этот час чувствовал себя совершенно спокойно. Он был вполне удовлетворен одержанной победой. Все, что задумал сказать — он сказал, что захотел сделать — сделал. Не только Слепой Кари, муэдзин Самурат и хальфе Шарифжан остались с пустыми карманами. Сам ишан за последние дни потерял львиную долю своих доходов. Великая цель достигнута! Сармолла выиграл бой...

— Да будет так! — с важностью произнес Сармолла и добавил по-персидски: — «Хоб, хоб аст, бисияр хоб аст!»¹

На следующий вечер после молитвы ахшам он позвал своих дочерей Бибисару и Асьму.

— Доченьки, скажите матери, пусть готовит самовар. Я схожу к цирюльнику и скоро вернусь.

Сармолла накинул на плечи легкий халат и всунул ноги в кебисы. Дочки, высокие хрупкие девушки, почтительно открыли отцу дверь.

— Возвращайтесь скорее, аке! Самовар приготовим!

Пятнадцатилетняя Асьма посветила на лестнице, пока Сармолла спускался со второго этажа, а Бибисара проводила его на улицу.

Вернувшись домой, девушки накрыли в столовой круглый стол. Но отец где-то задерживался. Несколько раз дочери подогревали самовар, но Сармолла все не шел. Это было удивительно.

— Может быть, он отправился на молитву в мечеть? — спросила самое себя мать.

¹ Хоб, хоб аст, бисияр хоб аст! — Хорошо, хорошо, очень хорошо.

— Я думаю, скончался кто-нибудь, и его пригласили на жаназа,— предположила Бибисара.

— А что если цирюльник захотел его угостить? — сказала Асьма.

Кончился керосин в лампе. Наступила полночь. Сестры заплакали. Мать не успокаивала их. Она громко вздыхала, чувствуя, что муж попал в беду.

Час проходил за часом. Юные девушки, тесно прижавшись друг к другу, немо глядели на дверь. Так они досидели до петухов. Отца все не было. Он так и не вернулся.

Цирюльник жил в четырех кварталах от дома Сармоллы, за верхней мечетью. Сармолла побывал у него, и цирюльник наголо обрил ему голову и тщательно подстриг холеную бороду и усы, как это предписано в священной книге «Мухтасар» истым мусульманам. Поблагодарив мастера за добросовестную работу, Сармолла вышел из цирюльни.

Быстро угасали сумерки безлунного вечера, и пустынные, неосвещенные улицы тонули в темноте. Сармолла шел к своему дому кратчайшим путем вдоль решетчатого забора мечети. Он знал, что, завернув за угол, увидит освещенные окна своего домика и уже предвкушал удовольствие посидеть с женой и дочками за кипящим самоваром. Но только он дошел до угла, как с противоположной стороны от ствола высокого дерева отделились две темных фигуры и преградили ему путь.

— Что вам? — хотел крикнуть Сармолла, но страх перехватил ему горло. Три человека выскочили из-за угла, замахнувшись короткими дубинками. Они стремительно накинулись на Сармоллу, окружили со всех сторон.

— Помогите! — простонал Сармолла. Неизвестные люди стали избивать его, приговаривая:

— Субханалла!

— Астагфиролла!

— Ля илаха — илла-ллах¹

¹ Ля илаха — илла-ллах — нет бога, кроме бога!

Нанося удары, они сгибались, словно суфии, совершающие во время молитвы земные поклоны.

Сармолла несколько раз падал, ему давали подняться и снова били дубинками и кистенями, при каждом ударе призывая имя аллаха. Уже полумертвого ударили кинжалом в грудь, мертвому перерезали горло под золотистой бородой, которую так тщательно подстриг несколько минут назад искусный цирюльник.

На утренней молитве старшие шакирды и Корабай с горестью сообщили собравшимся прихожанам об убийстве Сармоллы. А после молитвы муэдзин, кари и оба хальфе стали объяснять, почему это случилось. Плаксивая Сармоллу, они говорили:

— Благородного, благословенного ученого наставника нашего Сармоллу убил народ. Путь спасения от холеры был один. Чтобы прекратить бедствие, требовалось принести в жертву лучшего из лучших. И народ принес эту жертву.

Человека, погибшего такой смертью шариат велит причислять к шахидам — мученикам за святую веру, а убийц не считать преступниками и грешниками. Когда во время бури гибнет переполненный людьми корабль, не будет грехом выбросить в море одного человека в жертву богу.

Так учит шариат. Сармолла — жертва, угодная богу. Пусть смерть Сармоллы правильно поймут его родня, друзья и ученики. Иначе они повредят душе покойного, не дадут ей предстать перед лицом всемогущего очищенной от грехов и помешают совершить жаназа, положенную для шахида!

Не успели прихожане толком разобраться в этой басне, как духовенство сообщило народу свое решение:

«За пролитую кровь на благо мусульманам Сармолла признается шахидом. Он будет похоронен в своей одежде, запятнанной кровью мученика. Во дворец всевышнего он войдет с неомытыми ранами».

Преступление возле стен «божьего дома» удалось как нельзя лучше. Все было совершено с именем аллаха на устах, с пророком в душе и с благословения

шариата. Религия освятила это обычное убийство, потому что у преступников были на головах чалмы, в руках четки, и на устах — молитвы. Этим людям мог позавидовать любой бандит. Шариат охранял их. Убийцам не надо было опасаться ни мести, ни наказания, ни проклятия на этом свете. А шахиду был обеспечен рай на том. Бери в объятия гурию, пей райский напиток кеусер и живи себе на седьмом небе блаженства.

Зарезав Сармоллу, убийцы вовремя объявили его шахидом и затушили уже занимавшийся было пожар. Имамы, хальфе, кари, муэдзин и шакирды верхней мечети заполнили дом Сармоллы, весь двор, даже конюшню его тощего серого коня и улицу возле дома. Повторяя беспрестанно слова «шахид», «место в раю», — они старались заглушить рыдание трех женщин — скромной, тихой вдовы погибшего и двух его осиротевших дочерей.

— Не плачьте, немощные рабыни аллаха! Не противьтесь воле божьей! Господь знает, что делать! Перед лицом такой смерти он ждет от вас великого смирения!

— Только любимейший из рабов господних достоин стать шахидом!

— Умереть подобной смертью! Чего же лучшего можно пожелать!

— Нельзя плакать по покойнике! От этого усугубятся его загробные муки!

Так говорили плачущим женщинам все хальфе, входившие в дом. То же самое твердил и хазрет, оказавший высокую честь семье Сармоллы и заглянувший в комнату, где лежал покойник. Бибисара и Асьма плохо понимали, что говорили муллы, мешая казахские слова с книжными арабскими. Они были подавлены горем, так неожиданно свалившимся на их хрупкие плечи.

Духовенство спешило поскорее похоронить Сармоллу. Хальфе переговаривались между собой:

— Не нужно обмывать покойника!

— Нельзя на нем менять одежду!

— Можно обойтись и без савана!

Единодушие было полное, никто не возражал, а

Слепой Кари пояснил, почему надо торопиться с похоровами:

— Сегодня пятница, надо чтобы покойник успел прикоснуться бедром к могильной земле, пока не наступила суббота.

— Да, да! Надо скорее выполнить предписанное законом.— дружно поддержали муллы.

Слова Слепого Кари передавались из уст в уста, они облетели весь двор и улицу.

— Он погиб в ночь с четверга на пятницу. Это лучшее свидетельство, что он несомненный шахид!

— Такую смерть должны желать себе все истинные мусульмане!

— Можно даже позавидовать Сармолле!

— Всякий правоверный подумает: «Умереть бы так и мне!»

— В книге судеб «Лаухуль-махфуз» начертано, что благословенный наставник предстанет перед троном всевышнего в совершенной чистоте.

Шарифжан, Самурат и Слепой Кари голосили во всеуслышание:

— Пусть осенит нас всех святость дорогого нашего шахида Сармоллы!

Белоголовые грифы, почуяв запах падали, слетаются на нее из непостижимой дали. Вот точно также слетелись к мертвому телу Сармоллы и чалмоносные хищники, охваченные одним стремлением,— поскорее закопать обезображенный труп. Они торопились с этим делом, побаиваясь смуты, которая могла вспыхнуть в народе.

Первыми о смерти Сармоллы узнали его ученики, пришедшие рано утром на занятия. Среди них были дети рыбака Ермека, рабочего Токбая, сыновья вдовы Дамежан. Мальчуганы со слезами на глазах прибежали домой и принесли родителям страшную весть о гибели муллы. И все старшие тотчас, как по уговору, вспомнили речь Сармоллы, произнесенную в мечети. Вот это была речь! Она вошла в сердца простого народа. Казалось, Сармолла постиг тайну «тылсым»¹,

¹ Т ы л с ы м — наваждение.

описываемых в мусульманских книгах. Он метнул слово, крепкое и тяжелое, как каленое ядро, в толпу мулл и оно высекло искры. Народ отвернулся от мечети, медресе, от мулл и ходжей.

Разгадать тайну гибели Сармоллы было нетрудно. Послушав взрослых, поняли и дети, кто убил их наставника. Исполненные жалости к нему, они выбежали на улицу и здесь встретили лодочников Сеиля и Естая с веслами на плечах. Выслушав ребят, Сеиль сказал:

— Вон идут охотши¹ Митрий и Семен. Расскажите им, что мулле перерезали горло. Они найдут, кто это сделал.

Мальчуганы перебежали пыльную улицу и остановили двух городских. Охотши поправили сабли, висевшие на желтых ремнях через плечо, и направились в дом убитого. Они посмотрели на перерезанное горло покойника, многозначительно переглянулись и торопливо зашагали к «забедейши»², для которого они были глазами и ушами.

Подполковник Смирнов, выслушав городских, погладил острую бородку и расправил огромные пушистые усы. За семь лет его полицейской службы в Слободе это было первое необычайное убийство во вверенном ему участке. Для Смирнова слово «мулла» обозначало настоятеля мечети, во всяком случае что-то вроде попа или дьякона! И вот: магометанского попа зарезали, как барана! Такое дело нельзя оставить без внимания!

Через полчаса следователь Зенков, врач и двое городских явились в дом Сармоллы. Они взяли труп для медицинского осмотра, составили акт, снова одели в прежнюю одежду и положили на прежнее место. Услышав о «кощунственных деяниях «забедейши», хальфе, хазреты и муллы вновь, галдя, как галки, шумной стаей слетелись на труп Сармоллы. Шарифжан и Самат срочно вызвали в мечеть старого имама, и вот тут-то было решено немедленно возвести Сармоллу в

¹ О х о т ш и — полицейские, обходчики.

² З а б е д е й ш и — пристав.

шахиды, а похоронить обязательно в пятницу. Хазрет сказал:

— Сармоллу принес в жертву сам народ, поэтому убийцы не подлежат наказанию. По закону ислама в такие дела не имеют права вмешиваться посторонние. Да будет так!

На похороны имам и хальфе пригласили знатных баев, известных людей вроде войлочника Сейсеке, мясника Хасена, бакалейщика Жакыпа, торговца Отарбая. Из степняков позвали Уразбая в расчете на то, что он пригодится, как свидетель. Все эти почетные люди, исполняя правила шариата, торжественно вынесли Сармоллу из дома и понесли на мусульманское кладбище.

В эту же ночь неизвестные люди остановили Шарифжана-хальфе, возвращавшегося после намаза «ястау», они сорвали с его головы чалму, вышибли два зуба и избили до крови. А в доме Самата-хальфе кто-то разбил булыжником окно. В следующую ночь над Слободкой вспыхнуло зарево пожара. Это пылала крыша нового дома, построенного в дни холеры Самуратом-муэдзином.

Помимо этих неприятностей, начались и другие. Охотши Митрий и Семен ежедневно то утром, то вечером вызывали к следователю Шарифжана, Слепого Кари, Самурата, Отарбая и Корабая. Об этом говорили не только в Слободе, но и в самом Семипалатинске, в Затоне, в Жатаках Жоламана, на Озерке и во всех пригородных аулах. Слухи о зверском убийстве Сармоллы распространялись с быстротой степного пожара.

По вызову «забедейши» в участке побывали многие жители Слободки, вроде лодочника Сеиля и Естая. Еще до начала следствия Абай два раза беседовал наедине с подполковником Смирновым и следователем, надворным советником Зенковым. А спустя несколько дней после пожара у Самурата-муэдзина, погорелец был посажен в каталажку.

Услышав ночью эту страшную новость, Слепой Кари велел запрячь лошадь. Он поскакал к хазрету и поднял старца с постели. Что делать? Нельзя терять времени! Шарифжан и Самат-хальфе тоже запрягли лошадей. Они скакали всю ночь, оповещая знатных

баев о нависшей беде и уговаривая их оказать сопротивление «забедейши». Надо дружно постоять за дело ислама!

Прошло еще несколько дней. Имамы семи мечетей Семипалатинска прислали в канцелярию подполковника Смирнова велеречивые письма со своими соображениями по поводу смерти Сармоллы. Богачи прихода пустили в ход свои связи с большим начальством. В дело вмешались семипалатинский полицмейстер и городской голова — они считали, что не к чему обострять отношения с мусульманскими заправилами. Узнав о настроении начальства, Смирнов велел следователю прекратить начатое дело. Самурат-муэдзин вернулся домой. Имам, хальфе и торговцы вздохнули спокойно. Полицмейстер, пристав и следователи в эти дни зарабатывали не одну «белохвостку», так казахи называли сотенную бумажку.

«Забедейши» на виду у всех отпустил убийц Сармоллы и объяснил, почему это сделал:

— Если разрешено казахам и татарам исповедывать магометанство, то надо считаться с требованиями шариата, — сказал он. — С православной точки зрения убийство Сармоллы — преступление, а по шариату — это проведение в жизнь закона ислама. Не следует забывать, что убил Сармоллу темный народ во имя веры, желая избавиться от бедствия — эпидемии холеры. Законы российской империи не предусматривают наказаний за такие деяния...

Так было замято дело об убийстве Сармоллы.

Приехав с правого берега в дом Кумаша, Абай услышал, как возмущенный народ наказал Сокрыра Кари, возвращавшегося с ночной молитвы. У самых ворот дома его окружила кучка безмолвных людей, они сшибли Кари с ног, били и топтали слепого, потом втащили на телегу и долго возили на ней, непрерывно угощая тумаками. Все это они делали молча, видимо, хорошо зная, что слепой безошибочно узнает их по голосу. Расправа над Слепым Кари кончилась тем, что его завезли во двор к незнакомому татарину, сбросили с телеги, распустили чалму, растянув ее во всю длину двора, причем один конец материи вместе с феской

бросили в отхожее место. После этого неведомые мстители уехали.

Когда стук их телеги затих вдали, кари, полагая, что наконец-то избавился от своих врагов, ощупал землю вокруг себя и начал было, кряхтя и стеновая, тихонько передвигаться по двору, но тут его внезапно лягнула невидимая лошадь, и он замер в неподвижности.

На этом закончились действия таинственных сил, свирепо расправившихся с городскими муллами и суфиями в отместку за убийство Сармоллы.

Кончался август. Гулял над степью пронзительный ветер, врывался в Семипалатинск, поднимая свирепые песчаные бураны. Холодное дыхание осени покрыло густой лес Полковничьего острова яркой позолотой. Белоствольные березы меняли свой зеленый наряд на ярко-желтый. Все холоднее становились звездные ночи. И все чаще выпадали мелкие осенние дожди, а два дня подряд шел холодный ливень, замутивший прозрачные воды Иртыша.

Лужи на семипалатинских улицах стояли недолго — вода легко просачивалась в рыхлый песок.

На степных дорогах все чаще и чаще появлялись скотоводы, которые гнали в Слободку отары овец, гурты рогатого скота, табуны лошадей и верблюдов. Семипалатинский базар ломился от бесчисленных крестьянских возов с пшеницей, картошкой и овощами. С наступлением холодов жители города уже с меньшей опаской покупали огурцы и арбузы — эпидемия холеры явно пошла на убыль.

— Сармолла — воистину самый благочестивый человек в городе. Не зря народ принес его в жертву по велению шариата!

— Пролитая кровь Сармоллы спасла нас от страшного мора!

— Смерть одного хорошего человека спасла от гибели многих!

— Ислам никогда не вводил в заблуждение мусульман!

— Как мы должны быть благодарны нашим вероучителям, имамам!

Так говорили люди на базарах и в домах. И следователь Зенков на последней странице протокола дознания записал такое показание муллы:

«По шариату магометанин Сармолла законно принесен в жертву верующими. Что это помогло,— видит всякий. Прошло две недели и холера в городе прекратилась. Жертвенная смерть Сармоллы принесла пользу не только мусульманам, но и русским. Она сохранила жизнь и высокочтимым чиновникам государя-императора!»

Услышал и Абай, какое «дагуа» увенчало «дело» об убийстве Сармоллы. И вновь его охватил приступ безысходной тоски. Он задыхался, сознавая свое полнейшее бессилие. Более месяца он прожил в Слободе, наблюдая мнимых наставников народа — имамов, мулл и хаджи. Он видел их в страшные дни народного бедствия, в дни холеры, когда во всей своей омерзительной неприглядности раскрылась самая их алчная стяжательская природа, тщательно скрываемая от взоров прихожан.

Абай содрогался от брезгливости. Ему казалось, что он попал в зловонно-грязную яму, где копошились омерзительные жирные черви, питающиеся гноем.

Как жить? Где найти выход?

В степи жадные хищники обирают простой народ, город тонет во мраке невежества, и тут и там безраздельно царствует тупое насилие. Абай чувствовал, что наткнулся на глухую каменную стену. Было ясно — нет на свете силы, чтобы разрушить ее. И снова он испытывал злое удушье...

В эти дни тяжелых раздумий Абая потянуло к перу и бумаге. Вечером, присев за круглый стол, он подвинул поближе лампу, и на белый лист легли первые звучные строчки:

Мулла — хоть сам две трети не поймет —
Коран толкует сутки напролет.
Пускай огромна у него чалма,
Он, как стервятник, только пададь жрет.

Абай творил, ясно видя перед собой знакомых ишанов, имамов, хальфе и хазретов. Всю силу своего гнева, своей неутоленной боли он обрушивал на них.

«Презренные мира, они причислили себя к лику безгрешных. Вся благость их в чалме, покрывающей пустую голову и в четках, перебираемых жадными пальцами. Невежды из невежд, хищники и насильники, нет тупоумнее их на свете».

Написав эти строки, Абай в волнении отложил перо. Сердце его пылало ненавистью.

Вдруг за окном послышался частый топот босых ног и раздалось детское пение, напомнившее ему далекие годы отрочества. Лицо Абая просветлело. Наступил рамазан и начался пост. Это городские ребята подошли к освещенному окну, чтобы пропеть жарапазан.

Три мальчика нараспев тянули приветственную песню постящимся. Вслушиваясь в согласное пение детей, Абай вздрогнул от неожиданности. Такой жарапазан он слышал впервые. Знакомый книжный текст был перемешан с отсебятиной:

Мы споем о Сармолле,
О злосчастнейшем мулле.
Завтра день Курбан-байрама —
Лучший праздник на земле!
Бриться начал Сармолла.
Вот так славные дела!—
Бритва вместе с волосами
Голову с него сняла.
Дочь его тоска гнетет,
Чай она, рыдая, пьет.
Конь его у водопоя
Вслед за нею грустно ржет.

Мальчуганы пели долго и наконец высокими головами прокричали последнюю строчку: «Конец дяди — конец песни!»

Абай распахнул окно и молча протянул руку с мелочью. Юные певцы исчезли так же неожиданно, как и появились, а он тяжело задумался, припоминая слова песни — плача о Сармолле, сложенного, вероятно, его учениками, мальчуганами-шакирдами.

«Гнусная черная сила опять победила. Мир зла торжествует, как торжествовал многие тысячи лет. Неужели он будет господствовать вечно и никогда не уступит места добру? Слепая воля религии оправдывает этот мир. В дни холеры обнаружилась вся преступная

изнанка святош из мечети и медресе, блаженных ишанов и имамов. Как глубоко пустила черная свора корни своего лжеучения, как широко распространила свою власть — самое страшное бедствие для несчастного народа».

Раньше Абай думал, что казахский народ стоит в стороне от этого мира зла — религии, но жизнь показала, что это далеко не так.

Размышляя о городе и казахах, оседающих в нем, он думал, что не степнякам, а городским жителям удастся заложить основу разумной жизни для своего народа. Теперь он увидел, какой мрак невежества и шарлатанства царит в этом городе, в самом очаге культуры. Сколько отцов и матерей умерло здесь в жестоких муках! Сколько ушло в расцвете сил горячих юношей и нежных девушек. Погибал народ. И это было горше, тяжелее, ужаснее самой холеры. Черный мор прекращался, но жестокая, беспощадная темная сила, лютей враг народа — невежество оставалось полновластным владыкой на земле. Зла не убавилось на свете с тех пор, как Абай стал сознательно мыслить, стараясь познать окружающий его мир. Все так же человечество переживало несчастья и беды, все так же страдал казахский народ...

С улицы донесся конский топот. Несколько всадников подскакали к воротам дома:

«Должно быть, из аула! — подумал Абай и стал с нетерпением ждать нечаянных гостей. — Едут поспешно, как бы беды не привезли».

Через минуту, громко отдавая салем, в комнату вошел Дармен. Абай обрадовался приходу своего друга, молодого поэта, которого он любил, как младшего брата, и которого давно не видел. Но, разглядев мертвенно-бледное лицо его, всполошился, почуввав недоброе.

— Зачем приехал? С какими делами? Что случилось? — забросал он вопросами гостя, забывая даже предложить ему сесть.

Абай поспешно собрал исписанные листы и снял очки. Дармен, опираясь на кнутовище, не снимая малахая, присел на одно колено. Подняв на Абая воспален-

ные глаза, в которых сверкал дерзкий огонек, он заговорил торопливо:

— Абай-ага! Хотел вам сказать два слова, не выпуская поводья коня из рук. За спиной у меня погоня, впереди — пожар.

— Что ты говоришь?

— Начиная свою жизнь возле вас, я думал, что и единой горсти зла никогда не принесу в ваш дом. Но я бессилен. Загорелся я искрой юности, а угодил в пламя. Мою судьбу я передаю в ваши руки. Распоряжайтесь ею. Боялся, что не доберусь до вас. А теперь пусть хоть гибель, но я увидел вас!

Абай начинал догадываться, о чем говорит Дармен. Абиш уже намекал отцу на днях, что Дармен неожиданно попал в трудные обстоятельства. Видимо, он явился теперь к Абаю за помощью и сочувствием.



И А Д Б Е З Д Н О Й

1

Беззвездное черное небо низко нависло над землей, и сумрак сгустился в небольшом дворике Кумаша. Особенно темно было под крытым лабазом — словно сама ночь свила себе здесь гнездо. На улице безветренно и тихо, только издали доносится лай городских собак, заливающихся в озлобленной перебранке.

Четыре джигита и женщина, поставив лошадей в укромное место возле конюшни, притаились в темном углу под навесом и с волнением ожидали своего товарища, ушедшего в дом. Хлопнула дверь, и от Абая вышел Дармен. Друзья поспешили ему навстречу, а Какитай спросил:

— Что он сказал? Не ругал тебя?

Дармен замялся, но, почувствовав нетерпеливое ожидание товарищей, торопливо заговорил:

— Меня не ругал... Только сказал: «Устраивайтесь в надежном месте и подавайте сразу прошение от имени Макен». Так и сказал, пусть Абиш его напишет, а нам велел переправиться на тот берег и искать себе убежище.

С этими словами Дармен взял за руку молодую женщину и быстрыми шагами направился к лошадям. Это была его любимая — Макен, и о ней он только что разговаривал с Абаем, прося совета, как лучше поступить в ожидании окончательного решения их судьбы.

Неразлучный приятель Дармена, Абды, отвязав серого иноходца Макен, подвел его к ней и она легко вскочила в седло. Ее примеру последовали Какитай, Муха и Альмагамбет — верные друзья, решившие разделить с Дарменом все опасности предстоящих тревожных дней. Шесть всадников, выехав со двора, под покровом ночной темноты рысью погнали по пустынной улице к Иртышу.

У них была одна цель — перебраться через реку и побыстрее скрыться от погони, затеряться в сутолоке большого города. Так вольный джигит и жившая на свободе под теплым крылышком матери девушка превратились в бездомных беглецов. Они прятались от посторонних глаз, с тревогой думая о том, как переправиться через широкий Иртыш — преодолеть самое трудное препятствие, которое могло задержать их в пути.

Паром ввиду позднего времени стоял на причале на противоположном берегу, лодочники из Верхних и Средних Джатаков также прекращали перевоз с наступлением сумерок. Сообщение между Слободкой и Семипалатинском было прервано. Тут только молодые люди поняли, что совершили ошибку, приурочив свой приезд в город к полуночному часу. Если бы предусмотрительный Абай не дал Дармену адреса своего знакомого, лодочника Сеиля, дело могло бы кончиться плохо. Какитай немедля разыскал на высоком берегу Иртыша маленький домик с плоской кровлей, где жил Сеиль и, передав ему привет от Абая, а заодно и просьбу переправить беглецов в Семипалатинск, вышел с ним к реке. Сеиль вызвал двух своих молодых помощников — гребцов, живших по соседству, и велел побыстрее приготовить лодку.

Выяснилось, что всех беглецов с их лошадьми лодка Сеиля никак не могла поднять, и Альмагамбет с Мухой и пятью лошадьми остались ночевать в Слободке, решив переправиться на пароме утром, а Какитай, Абды, Дармен и Макен со своим серым иноходцем поплыли через ночной Иртыш в Семипалатинск. Когда лодка отошла от берега, Муха и Альмагамбет, ведя лошадей на поводу, направились к знакомому казаху

в Верхние Жатаки, где они обычно останавливались, приезжая из аула на базар.

В это время неподалеку от берега бешено промчались десять всадников, возбужденно гомоня, в ночную тишину ворвался громкий топот копыт. Несмотря на темноту, эти джигиты, также приехавшие в Слободку по караванной Тобыктинской дороге, скакали хотя и по неясному, но верному следу, который и привел их к воротам кумашева дома, где жил Абай. Они сообразили, что именно здесь, у Абая, должен был задержаться Дармен, а возможно, и найти убежище от погони.

Вожак всадников, Даир, человек с козлиной бородкой, крупным носом и длинными лошадиными зубами, решительно вошел во двор, чтобы осмотреть лабазы и конюшню, а уже после направиться в дом. Без явных улик Даир считал неудобным идти к Абаю. Обыскав все углы и закоулки двора и заглянув через калитку в конюшню, он не увидел там ни одной подозрительной лошади. Даир в недоумении покачал головой и почмокал языком. В эту минуту он и заметил сторожа в рваном чапане, медленно и неуклюже ковылявшего ему навстречу со стороны склада. Вот кто будет для них «языком»! Недалекий малый, отвечая на расспросы Даира, охотно рассказал, кого он видел в тот вечер в доме Кумаша. По его словам, шестеро всадников подъезжали к воротам, а в дом зашел только один, но и ему не разрешили остаться ночевать. Тогда они все сели на коней и поскакали вниз по улице.

Получив эти сведения, Даир вскочил на своего взмыленного каурого коня и помчался по направлению, указанному сторожем.

И до этого разговора Даир догадывался, что беглецы не останутся ночевать на квартире Абая, не задержатся и в Слободке, а будут перебираться на городской берег Иртыша. Даир отправил трех джигитов к Уразбаю, находившемуся в этот час у войлочника Сейсеке, чтобы сообщить ему тревожную весть о событиях, которые привели его в Слободку.

Даир и Уразбай из одного рода и из одного аула. Самыми сокровенными своими тайнами Уразбай де-

лился с Даиром, считая его своим единомышленником. Макен, бежавшая с Дарменом, приходилась жесир¹ не только Даиру, но также и Уразбаю и, конечно, главным виновником похищения девушки был не Дармен, человек без рода и племени, а давнишний враг Уразбая Абай. Так считал Даир и так он велел гонцам передать Уразбаю: сердце его сжигал огонь мести, он не остановится ни перед чем, он готов пасть от руки своего врага и погибнуть в борьбе за возвращение Макен, опозорившей его честь. Даир не успокоится, пока не добьется своего, он будет бороться, если потребуется, с ночи до утра и с утра до ночи, пусть беглецы спрячутся хоть под землю, он и там отыщет и свою жесир и врага-искусителя.

— Передайте Уразбаю — я жду от него подмоги! — сказал Даир своим посыльным.

Джигиты разыскали Уразбая, и один из них, Жемтик, рассказал ему, что думал Даир о беглецах. Должно быть, они переправились на тот берег. Паром не работает, и перевез их, видимо, кто-то из слободских лодочников. Даир решил всю ночь караулить возвращение этого негодяя на берегу. Возможно, Сейсеке, знающий всех городских лодочников, может сказать, кто же именно помог беглецам.

Услышав весть, присланную Даиром, Уразбай пришел в исступление и заплясал, словно шаман, одержимый бесами. Из уст его сыпались проклятия на голову Абая.

Жемтик, рябой, быстроглазый джигит со щербатым ртом и черной бородой, вошедший тихими кошачьими шагами в угловую нарядно убранную комнату, где вокруг низкого круглого стола сидели Уразбай, Сейсеке, и их приятель толстяк Есентай рассказывал, сидя на корточках возле самой двери. Передавая свои недобрые вести, он постепенно подползал на коленях к столу. Так он рассказал о бегстве Макен с абаевским джигитом Дарменом и о погоне Даира за беглецами.

¹ Жесир — девушка или женщина, за которую выплачен калым и которая становится собственностью рода, за нее заплатившего.

Уразбай и Сейсеке слушали рассказ Жемтика, готовые взорваться от бешенства, а Есентай оставался невозмутимым. В заплывших маленьких глазах его, казалось, не было никакой мысли. Ровесник Уразбая, он считался воротилой большого рода Сармурзы и был известен, как злостный смутьян. Во всех делах, тяжбах и раздорах, затеваемых Уразбаем, он шел с ним рядом, стремя в стремя; ходили даже слухи, что в годы своей молодости они вместе удачно промышляли конокрадством.

В отличие от крикливого говоруна Уразбая Есентай был скуповат на слова. В споре Уразбай сразу же выкладывал все, что у него было на душе, он гневался, метал молнии, бранился, задыхался от наплыва слов, изобличая своих противников, а Есентай, не возражая ему, обычно молча слушал и невозмутимо ждал, когда Уразбай выльет всю свою желчь, и только тогда начинал говорить спокойно, неторопливо. Была у него хитрая повадка: в любом споре он норовил выступить последним, предварительно столкнув людей в словесной схватке. На тех же сборах, где дело должно было кончиться без ссор и раздоров, Есентай обычно не выступал. Особое наслаждение он испытывал, когда ему доводилось иметь дело с наивными задиристыми простаками. Прикрыв свои заплывшие жиром глаза и сохраняя на лице суровое величие, он начинал издеваться над несчастной жертвой, попавшейся ему в руки.

А внешне Есентай выглядел так, что ни у кого не могло возникнуть даже подозрения, что этот человек в состоянии кого-либо обмануть. Азимбай, сын Такежана, научился у Есентая его напускной суровости, хитроумию и коварству. Да и не только Азимбай, многие степные воротилы считали, что у Есентая можно поучиться, как нужно жить на свете.

Сейчас Есентай, храня привычное молчание, зорко следил за Уразбаем, которого бесили новости, приведенные Жемтиком. Купец Сейсеке, услужливо подкивая Уразбаю, также посылал проклятия на голову Абая и последними словами ругал Дармена и Макен. Уразбай клялся разыскать беглецов, привезти связанными в аул и казнить: привязать к хвосту коня и пус-

тить волочиться за ним по степи, пока он не разнесет их вдребезги.

Узнав, что Абай находится в Слободке, Уразбай поклялся отомстить и ему:

— Сейчас же потребую его к ответу! Уж на этот-то раз схвачу за ворот его самого и поставлю на колени... Растопчу проклятого в прах!

Не теряя дорогого времени, он немедленно отправил Есентая и Сейсеке к Абаю, усадив их в просторную байскую таратайку. Кучер стегнул белого аргамака, и посланцы Уразбая выехали из ворот на темную улицу.

Есентай, нагнувшись к Сейсеке, тихо сказал себе под нос:

— Бай, ты не любитель степной тяжбы, да и не особенно ловок в ней. Разговор с нашим врагом предоставь мне. Я буду говорить, а ты сиди возле меня и молчи! С тебя и этого хватит!

Есентай нарочно говорил тихо, чтобы не услышал кучер, а закончив, скрепил уговор, крепко ущипнув Сейсеке за ногу.

К Абаю они вошли без предупреждения, и приветствия их были предельно кратки. Увидев неожиданных посетителей, Абай захлопнул лежавшую перед ним книгу, снял очки и взглядом указал Баймагамбету на дверь. Баймагамбет понял: поэт не желает, чтобы во время беседы с Есентаем и Сейсеке в комнату вошел кто-нибудь из посторонних и, плотно притворив дверь, присел на корточки возле Абая.

Есентай, думающий, как всегда, лишь о конечном исходе тяжбы, которую нужно обязательно выиграть, сразу же, не давая противнику опомниться, приступил к деловому разговору и, назвав «преступников» по именам, передал, как разъярен их бегством Уразбай. Сохраняя на лице важность и величие, он искоса взглянул на Абая и добавил:

— Ну, Ибрай, что ты скажешь?

Есентай был моложе Абая, но обращался к нему на «ты». Это он первый стал называть поэта Ибраем и, следуя его примеру, Уразбай и все его приближенные

тоже стали именовать Абая «Кунанбаевским Ибраем», а то и просто «Ибраем».

Абай знал, что тяжба, доверенная Есентаю, не кончится добром, и решил заставить его первым высказаться о своих намерениях. Живо повернув к нему свое открытое лицо и в упор глянув остро блеснувшими глазами, он потребовал:

— Ну, кончай, раз уж начал. Скажи, с чем пришел, выкладывай все!

Есентай чуть-чуть приоткрыл прищуренные глаза и, по-прежнему глядя искоса на Абая, обронил:

— Первая цель моего прихода — услышать твои объяснения. Скажи, как ты сам смотришь на все это?

Уклоняясь от ответа, Есентай вынуждал Абая первым начать тяжелый разговор, и поэт принял вызов.

— По-моему, молодые люди совершили ошибку, они виноваты перед вами. Я не оправдываю их.

Услышав такой ответ, Сейсеке с Есентаем растерянно переглянулись — они никак не ожидали, что Абай так легко с ними согласится. Впрочем, Есентай сразу же заподозрил Абая в каком-то подвохе, иначе он не мог объяснить себе поведения поэта.

«Рассчитываешь провести меня, Ибрай? Не на того напал!» — подумал он и заговорил торопливо:

— Ошибка... Виноваты... Но какое же им будет наказание?

В голосе его прозвучала неприкрытая злоба.

— А какого вы хотите для них наказания? — резко спросил Абай.

И тогда Есентай, злорадствуя, сообщил, какую кару приготовил для беглецов Уразбай:

— Я скажу какое! Уразбай велел тебе передать: если ты их тоже не одобряешь, тогда и не защищай, а передай в наши руки. Уразбай накинёт аркан им на шею, привяжет к хвосту коня и волоком пустит в открытую степь.

— На меньшем он не думает помириться?

— Нет, он запретил даже разговаривать о чем-либо другом.

— Прошла та пора, когда можно было так расправляться с людьми! — с трудом сдерживаясь, заго-

ворил Абай.— Ишь, что замыслил Уразбай! И с чем ты приехал ко мне, посредник! Неужели вы не подумали, где вы живете и в какое время!

Есентай не дал договорить Абаю, он перебил его, сердито закричав:

— Эй, Ибрай! Я к тебе пришел не в красноречии состязаться. А коли так, слушай дальше. Уразбай еще сказал: «На этот раз не только беглецов накажу, но не успокоюсь, пока не растопчу ногами истинного виновника всему — Абая. Если он держится за своего бродягу, то и я сумею найти себе помощников — городских головорезов. Натравлю их на него, кровью истечет! Не такая уж он священная особа!» Так он и сказал: «Пусть попомнит это Ибрай».

Багровый от ярости Есентай, казалось, сам был готов наброситься на Абая.

Уже давно поэт не испытывал такого наглого и злобного нападения, грубого, как удар по лицу. Охваченный негодованием, Абай не успел даже осознать хорошенько возможных последствий ссоры.

— Ты пришел для новых раздоров! — вскричал он.— Убирайся прочь! Передай Уразбаю: если он не прекратит своих злодеяний, ему придется горько раскаяться! Вообразил себя всемогущим властелином! Остервенел! Пусть не забывает, что есть силы, которые его сумеют вогнать в землю! Выйди вон! Уходи!

Абай так сурово сдвинул брови и так гневно посмотрел на Есентая налитыми кровью глазами, что тот, не сказав больше ни слова, поднялся и медленно, покачиваясь, стараясь сохранить важную осанку и надменное выражение лица, направился к двери. Следом за ним покорно поплелся безмолвный Сейсеке.

По возвращении своих послов Уразбай начал спешно отправлять гонцов на все четыре стороны. Купеческий дом зашумел в тревоге, из ворот то и дело выезжали джигиты, они мчались берегом реки и исчезали в потемках.

* * *

Разъяренный Даир со своими подручными метался по Слободке, подобно собаке-ищейке, вынюхивающей следы. Он загонял своих джигитов, то и дело посылая

их вдоль берега в сторону Верхних и Нижних Жатаков разыскивать беглецов, но они, словно сквозь землю провалились.

Как только до Уразбая и Сейсеке дошла весть о неудачных поисках, они сразу смекнули, что лодочник, переправивший беглецов, еще не успел вернуться. Сейсеке через посыльного вызвал к себе торговца Корабая, на которого можно было вполне положиться,— недаром войлочник сравнивал его с острым мечом и меткой пулей. Действительно, бесшабашному этому торговцу ничего не стоило зарезать или пристрелить человека.

Корабай быстро запряг лошадей и, взяв с собой двух дюжих работников, прискакал на безлюдный берег Иртыша, где и нашел Даира. Они вдвоем стали поджидать возвращения подозрительной лодки, ушедшей в неурочное время. Ждать пришлось недолго, до чутких ушей Даира донеслись всплески весел, и он тихо приказал Корабаю и своим джигитам спуститься с обрыва на берег и там притаиться.

Лодка приближалась, медленно скользя по черной воде; уже можно было разглядеть неясные фигуры гребцов, склонившихся к веслам. Корабай подал знак, и его джигиты выросли у причала как раз в ту минуту, когда Сеиль высаживался из лодки.

Джигиты преградили дорогу лодочникам.

— А ну, переправьте и нас!

Корабай остановил Сеиля и вызывающе, не скрывая своих подозрений, спросил:

— Ты раньше мне объясни, кого перевозил в такую темную ночь?

Сеиль не обращая внимания на торговца, велел гребцам забирать весла. Тогда Даир и его джигиты хором загомонили:

— Стой! Переправь и нас!

— Мы тебе тоже столько же заплатим!

— Перевези, мы торопимся!

— Помоги нам!

Джигиты галдели, окружив лодочников со всех сторон.

Крепко сложенный Сеиль, ступая вперевалку, мол-

ча возился возле своей большой лодки, с помощью двух гребцов выволакивая ее по гальке на берег. Работал он не спеша, с полным пренебрежением к грозным окрикам Корабая.

— Для тебя мои деньги поганые? — не выдержал торговец. — Что ты все ко мне спиной поворачиваешься? Почему молчишь? Если бы у меня не было неотложного дела, я не пришел бы сюда ночью... Сейчас же садись в лодку! — вопил Корабай, теряя голову от злости, но Сеиль по-прежнему не обращал на него никакого внимания. Лодочник был не из тех, кто, боясь шумливого торговца, уступал ему сразу. Он спокойно и решительно возразил:

— Я и так поздно кончил работу, устал, пальцем пошевелить не могу. Да в такую темную ночь какой же лодочник будет возить тебя взад и вперед по Иртышу. У меня тоже голова на плечах есть! Если спешишь, — приходи завтра пораньше, а сейчас не повезу...

Вскинув на плечо шест с длинным крюком на конце, Сеиль приказал гребцам:

— Идите спать, джигиты!

И сам направился было к своему дому.

Но Корабай, хотя и получил явный отпор со стороны несговорчивого Сеиля, все же решил не отставать.

— Ну хоть скажи, кого ты переправил сейчас? Почему его согласился перевезти, не посмотрел на темноту, а для нас находишь отговорки! Скажи правду, кто поднял тебя в эту ночь?

Даир тоже допытывался:

— Ты только скажи, кого перевозил, городских людей, знакомых, или приезжих из степи?

Сеиль отвечал скупно, со скрытой насмешкой:

— Мои знакомые это — деньги за перевоз! Сеиль через Иртыш тысячи людей перевозит. Он им не смотрит в лицо, ему все равно, кто едет. Я и не заметил в темноте, кто сидел в лодке, городские люди или приезжие из степи.

И Сеиль направился к воротам своего дома.

Корабай и Даир не стали его останавливать — пусть уходит. Они решили задержать гребца Тусупа, надеясь, что он окажется сговорчивее. Они долго тл-

ковали с ним то сурово, то ласково и в конце концов добились своего — Тусуп шепнул, что Сеиль переправил на городской берег трех джигитов и женщину. Должно быть, это были степные люди, по их разговору Тусуп мог предположить, что они держали путь в Затон. В лодке они везли с собой серую лошадь под женским седлом.

Даиру все стало ясно. Когда он гнался по караванному пути из далекого Чингиса по следам беглецов, местные жители рассказали ему, какой масти были кони, на которых скакали они в сторону Иртыша. Стало быть, всадники добрались до берега реки и здесь два человека отвели пять лошадей в Слободку, а четыре человека взяли одну лошадь с собой. След был найден верный, теперь надо было действовать не мешкая.

— Ну, поехали! Накроем сегодня же ночью! — воскликнул Даир.

— Лодку надо! — отозвался Корабай.

И они отправились искать лодочника.

Пока Дармен с товарищами, сойдя на берег в центре Семипалатинска, возле белой паровой мельницы, добирались до Затона, прошло немало времени. Беглецы долго брели по Казачьей слободе к дальней окраине города, идти было трудно — ноги тонули в глубоком песке. За городом начинался пустырь, и дорога пошла то вдоль обрывистого берега Иртыша, то ближе к лесу. Временами она круто поднималась вверх и далеко отходила от реки. Изредка на пути встречались тесно сбитые в кучу строения, это были кустарные заводы — овчинный, кожевенный, пимокатный, пивоваренный, водочный. Начинался Затон — обширная рабочая окраина Семипалатинска. К каждому заводу примыкало несколько темных тесных улиц — здесь жили рабочие.

Неподалеку от этого места Иртыш делает большую излучину, образуя широкий залив, очень удобный для зимней стоянки многочисленных пароходов и барж. Рабочие Затона настроили себе лачуги на узких улиц-

ках вплотную к Иртышу, так и образовался небольшой поселок.

Среди здешнего трудового люда больше всего было грузчиков. Во время навигации они перетаскивали на спине тысячи пудов клади, а как только кончалась летняя страда, переходили на поденную черную работу. Казахская беднота, покинувшая разоренные аулы в поисках куска хлеба, находила в Затоне спасение от голодной смерти. У кого были здоровые руки и ноги, тот мог получить на пароходах работу, пусть изнурительную, тяжелую, но все же она давала возможность прокормить жену, детей и престарелых родителей. И люди, пришедшие в Затон из аулов, радовались, что могли существовать, не прося подаяния с протянутой рукой.

Рабочих Затона легко можно было отличить от жителей торгового Семипалатинска и Слободки. Жили они особняком, и это накладывало свою печать на их поведение. Они редко покидали свой речной поселок, и только во время мусульманских праздников рамазана и курбана слава о затонских грузчиках гремела среди казахского и татарского населения города. На просторных площадях Семипалатинска и Слободки в праздничные дни устраивались состязания борцов, и в них обычно принимали участие грузчики. Они выходили на круг — по три человека, по пять и по десять зараз и всегда оставались победителями. Прославленные городские борцы, не выдержав мертвой поясной хватки грузчиков, валились на землю, словно подкошенные. Крепко сложенные, широкоплечие, толстоногие силачи, схватив противника за воротник, легко перекидывали его через плечо. Эта манера бросать на обе лопатки именовалась «затонским приемом», праздничная толпа зрителей складывала целые легенды об этой борьбе.

Малоречивые казахские силачи из Затона резко выделялись в эти дни среди выступавших борцов.

Когда Дармен и Абды обдумывали план побега, они рассчитывали не только на помощь Абая, но и на затонских рабочих. Абды сам в свое время проработал в Затоне почти два года, у него там остались закадыч-

ные друзья-приятели и добрые знакомые. Дармен тоже частенько бывал здесь, когда ему приходилось подолгу жить в Семипалатинске. Посещая дома рабочих со своей домброй, он тешил и удивлял хозяев своим умением складывать стихи.

Сейчас Абды и Дармен решили остановиться у самого надежного своего друга, Абена, жившего в домишке из двух маленьких смежных комнаток. Семья Абена уже спала, когда прибыли усталые путники. Ворота им открыла высокая, тонкая женщина — жена хозяина, Айша. Абды сначала один вошел в дом, оставив своих спутников во дворе. Через минуту в обеих комнатках приветливо засветились огоньки, а из дома вышел сам хозяин, белолицый, черноусый джигит.

Гости прошли в дальнюю комнату, а в передней Айша захлопотала возле медного самовара и кухонного котла.

В присутствии Макен жигиты не хотели посвящать хозяев дома во все подробности своих дел, а лишь дали понять, что дела эти — тайные и рискованные и требуют от всех большого мужества. Первое время Дармену и Макен нужно скрываться, поэтому следует зорко наблюдать за соседями и не забывать, что посторонних глаз кругом множество, а болтливых уст еще больше.

Абен одобрительно кивнул головой, он уже понял все. Какитай в заключение сообщил, что, не дожидаясь чая, он поспешит к Абишу. Надо как можно скорее написать прошение, о котором говорил Абай, и немедленно сдать его в канцелярию уездного начальника, а также в окружной суд.

Когда Какитай собрался в путь, Дармен передал ему запечатанный конверт.

— Это письмо от Абай-ага к Абишу. Что тут написано, он не сказал. Видимо, советы ему дает. Отвези.

Какитай молча кивнул головой и положил письмо в карман.

Дармен и Абды, посоветовавшись, решили, что связь с домом Абена должна поддерживаться только по ночам, и лишь в неотложных, исключительных случаях можно, пожалуй, зайти днем. Абен, слушая этот раз-

говор, одобрительно кивал головой, а когда Какитай направился к двери, посоветовал:

— Даже ночью не ходите по нашей улице. В каждом доме есть собака, они поднимут такой лай, что разбудят весь поселок. Да и соседи наши очень любопытные, начнутся ненужные разговоры, подозрения. Я покажу вам сейчас безопасный путь, который сразу от ворот выведет вас в безлюдное место. Ходите только этой дорогой.

Серый иноходец Макен стоял, возвышаясь над низенькой изгородью дворика, словно живая улика. Какитай вскочил на него, и Абен, выведя джигита на безопасный путь, почти целую версту шагал рядом с конем, провожая гостя.

* * *

Было уже очень поздно, но когда прискакал Какитай, в доме Данияра еще не спали. Не снимая чапана, он поспешил рассказать о причине своего необычного посещения и передал Абишу письмо Абая. Взволнованный гонец то садился, то вскакивал, его звучный голос поминутно срывался.

Слушая его, Абиш быстро пробежал ровные крупные строчки, написанные знакомым отцовским почерком.

По словам Какитая, в ауле оставалось немало любителей раздоров, готовых учинить любое буйство, лишь бы был повод к чему-нибудь придраться. С часу на час может нагрянуть погоня. Бегство Макен с Дарменом привело в ярость самого лютого хищника степи, Уразбая, а этот бай никогда и никому не давал спуска. Какитай слышал, что Уразбай находится в городе, положение создалось серьезное, и люди, помогающие Дармену и Макен, должны быть готовы ко всему и не терять золотого времени...

Пока Какитай высказывал свои соображения, Абиш успел дочитать письмо. Он на мгновение задумался, а затем молча протянул исписанный крупным отцовским почерком листок Какिताю. Тот, сдвинув брови, быстро пробежал глазами строчку за строчкой:

«... Ты знаешь, кем стал для меня Дармен. С каж-

дым годом его все больше и больше любят в народе. Мне приятно, что ты всегда относился к нему дружески, ну вот и докажи теперь, что ты его друг, истинный и неизменный. Плохой друг — это тень: в ясный день беги от него — не убежишь, а в ненастье ищи его — и не сыщешь. Я старался убереечь тебя от степных тяжёб и до сих пор боролся один, заступаясь за беззащитных, теперь наступил и твой черед. Дармен и Макен правильно поступили, убежав в город, ибо русские законы лучше защищают личность человека, чем законы шариата в степи. А с судьями и начальниками ты разговаривать сумеешь, ты вращаешься среди них, но все же помни — предстоит жестокая борьба, приготовься к ней».

Какитай и Абиш переглянулись, они поняли друг друга без слов, им было ясно, что надо делать.

Абиш велел Данияру побыстрее заложить пролетку, а сам стал одеваться. Чтобы в ночную пору сойти за городского торговца, офицер натянул на плечи тонкий чапан и надел татарскую шапку.

Пока Данияр и Какитай закладывали коляску, Абиш, присев к письменному столу, написал от имени Макен Азимовой два прошения: одно Семипалатинскому уездному начальнику и другое — председателю окружного суда. В них казахская девушка, бежавшая из степи, просила защиты и свободы.

Абиш, сложив прошения, уже собрался было ехать, как вдруг Магиш неожиданно для всех заявила, что она тоже отправится в Затон. Мужчины, ссылаясь на позднее ночное время, принялись отговаривать ее от опрометчивого поступка, но Магиш их переубедила:

— Макен — моя самая близкая подруга, которую я люблю больше, чем своих родных. Сейчас, когда она в такой опасности, я должна ее повидать. Я не успокоюсь до тех пор, пока не встречу с ней. Возьмите меня с собою! Каждый день я к ней не буду ездить, но сегодня я ее должна навестить... Может быть, больше мы и совсем не увидимся...

Это решение поехать вместе с мужем родилось в душе Магиш сразу же, как только она узнала, что Макен находится в Затоне. И сейчас, внутренне вол-

нуясь, она выжидающе и в то же время ласково смотрела на Абиша своими большими серыми глазами, умоляя его исполнить ее страстное желание.

Абиш понял, что творилось в душе жены, он бережно обнял ее и сказал кратко:

— Поедем!

Магиш поспешно оделась, и они вышли во двор.

Из-за того, что поехала Магиш, Какитаю пришлось сесть на козлы. Погоняя резвого вороного иноходца, он по безмолвным улицам спавшего города помчал Абиша и Магиш в сторону Затона.

В доме Абена все, кроме Дармена, спали. Джигит, не раздеваясь, лежал в полудремоте возле утомленной и крепко спавшей Макен. Он первым выбежал во двор, когда Какитай остановил коляску у ворот. Абиш сразу не вошел в дом, а стоя в темном уголке двора, обменялся несколькими словами с Дарменом и вышедшим следом за ним Абеном.

Чуткая Макен проснулась сейчас же, как только поднялся Дармен. Увидев вбежавшую в комнату Магиш, она молча бросилась к ней в объятия. Не произнося ни слова и не разжимая сомкнутых рук, подруги покрывали горячими поцелуями лицо, глаза и волосы друг друга. Их души были переполнены предчувствием грядущей опасности и жгучей обиды. Твердый комок подступал к горлу и, целуя друг друга в глаза, они глотали горькие, солоноватые слезы.

Появившийся в комнате Абиш прервал их безмолвную беседу, он вынул заготовленные прошения и попросил Макен подписать их. Девушка послунила карандаш и тщательно вывела крупными буквами свою фамилию: «Азимова».

Пряча подписанные прошения, Абиш сказал:

— Хотя вас и подстерегает здесь на каждом шагу опасность, но я доволен, что вы приехали именно сейчас, пока я нахожусь в городе. Для вас, Дармен и Макен, я сделаю все, что в моих силах. Завтра я сам передам эти бумаги по начальству. Живите себе тихонько и не беспокойтесь ни о чем. Вы сделали все, что смог-

ли. Об остальном позаботимся мы с Какитаем. Кроме нас, у вас есть и другие верные защитники — Абды и Абен. У них руки такие же сильные, как сердца, они сумеют постоять за вашу честь и никому не дадут спуска. Мы имеем дело с опасным врагом, но рано или поздно, а с ним нужно было схватиться. Эту схватку начали вы, жалеть об этом не придется. Нас немного, но, дорогие друзья, я приехал просить вас твердо стоять до конца. Кажется, Магиш со мною вполне согласна?

Так полушутливо Абиш закончил свою речь, в которой, однако, звучала тревога.

Не только Абды и Дармен, но и Абен почувствовал в Абише близкого надежного друга. Никто из них ничего не сказал, только Макен, на глазах которой блестели горячие слезы, прошептала:

— Что бы со мной ни случилось, Абиш, я все вытерплю!

Всею душой сочувствуя подруге, гордясь ее словами, Магиш воскликнула:

— Душа моя Макен! — И бросилась вновь ее обнимать. — Ты вынесешь, ты перетерпишь! — шептала Магиш, целуя глаза Макен.

Хотя женщины переговаривались очень тихо, но мужчины услышали все и поняли, как много скрывалось за каждым их словом. Джигиты вели деловой разговор, намечая план действий. Они условились одну из лошадей, которых утром Муха и Альмагамбет должны были переправить через реку, пасти стреноженной в лесу. В случае неожиданной тревоги на ней следует скакать в город, к дому Данияра, где Абиш и Какитай тоже будут держать наготове лошадей. Договорились, что с завтрашнего дня Альмагамбет и Муха день и ночь будут находиться возле Макен и Дармена.

Закончив разговор, Абиш вместе с Какитаем и Магиш, чтобы не разбудить жителей Затона, покатали обратно в Семипалатинск тем же обходным путем, каким и приехали. В то время, как они пересекали городскую площадь у белой паровой мельницы, к безлюдному берегу Иртыша причалили три больших лод-

ки, переправившие шесть лошадей, телегу и десяток джигитов Даира, которых Сеиль отказался перевезти. Это сделали три знакомых Корабаю лодочника, которые высадили джигитов как раз в том месте, где ночью причалил Дармен со своими друзьями.

После отъезда Абиша Дармен и Макен, находившиеся наедине в задней комнате Абена, улеглись спать, но заснуть не могли. Они лежали рядом, стараясь не шевелиться,— каждый с нежностью думал о другом: «Пусть отдохнет!» Сердца их, преисполненные тревоги и сомнений, бились беспокойно, они оба хорошо сознавали грозившую им опасность.

Дармен, слыша дыхание лежавшей рядом Макен, отчетливо вспоминал все дни своей любви и словно переживал их снова. В этой любви были такие яркие, прекрасные минуты, которые, он знал, не забудутся до самой смерти. Дармену, когда он встретил Макен, было двадцать пять лет, но ни один луч любви еще не коснулся его сердца и не обжег его своим пламенем. Он всегда радовался, когда узнавал о страстной любви, загоравшейся между его друзьями, сверстниками и сверстницами, и охотно бывал посредником между влюбленными. С восторгом он наблюдал светлое чувство между Абишем и Магиш, возникшее при неожиданных обстоятельствах, он радовался их пылкому счастью так, как мог радоваться младший брат. Душой поэта он понимал их, и его собственное чувство к Абишу, казалось, в те дни поблекло в сравнении с любовью друга к Магиш.

В середине лета, во время последней поездки Абиша за невестой, Дармен сопровождал жениха в татарский аул. Двадцать дней он провел вместе со своими друзьями на живописном джайляу Керегетас, и в эти незабываемые дни нашел свое счастье, встретив подружку Магиш — Макен.

Любовь их родилась под благотворными лучами светлого чувства, какое питали друг к другу Абиш и Магиш, хотя те ни словом, ни делом не способствовали сближению молодых людей. Они лишь проявляли дружеское участие к ним, но, вероятно, самое общение с влюбленными, зажгло целомудренные сердца Макен и

Дармена. Пламя рождает пламя, но когда оно вспыхнуло в сердце Дармена, в какой из двадцати проведенных в ауле невесты дней? Он и сам не знал... Скорее всего в ту лунную ночь, когда Дармен и Макен впервые запели дуэтом, по просьбе Абиша, а возможно, на другой день, когда, отправившись вчетвером гулять подальше от аула, вдруг как-то незаметно очутились наедине; а может быть, и во время выступления Дармена на многолюдном сборе, когда он пел свои звучные песни, радуя сердца восхищенных слушателей. Вот тогда Макен и заметила, что у Дармена какие-то особенные, не такие, как у других джигитов, черные с нежной искоркой глаза, и что небольшие усы делают еще красивее его яркое смуглое лицо.

Макен жила вдвоем с матерью в ветхой юрте бедного аула. Когда Дармен однажды вечером появился в ней вместе с Абишем и Магиш, мать насторожилась, почуяв в госте возможного жениха для дочери. Молодой акын ей понравился мягкостью характера, она похвалила его трогательные задушевные песни и в душе благословила счастливый час его первого посещения. Дай бог, чтобы оно не было последним!

На другой день имя Дармена было на устах всех жителей макеновского аула, старых и молодых, юный акын покорила всех без исключения, а Макен уже была покорена. С каждым днем ее чувство к Дармену возрастало, она с нетерпением ждала встреч с ним. Тайнственную тропинку к сердцу возлюбленной поэт проложил песнями, которые она слышала и днем, и ночью, и на улицах, и на сборах, а чаще всего оставаясь с молодым джигитом наедине. И еще одна сокровенная тайная связь возникла между сердцами Макен и Дармена. Это были стихи и мелодии Абая, хорошо известные молодежи, умевшей, подобно Магиш и Абишу, чутким сердцем по достоинству оценить всю глубину и прелесть абаевских песен.

Дармен очень часто пел песни Абая, много раз слышанные и старательно заученные Макен и Магиш. Девушки нередко пели их на сборах и дома. Когда в присутствии Макен Дармен запевал «Ты свет очей

моих» или изливал горестные чувства в песне «Угнетена душа моя», или встречал ее словами «Приветствую тебя, Каламкас»,— сердце ее замирало от сладостного восторга. В устах Дармена абаевские стихи приобретали особую прелесть и звучность, Макен без конца могла слушать, как он поет «Не просветлеет в разбитом сердце моем», бросая на нее нежные взгляды.

Несомненно, стихи и мелодии Абая были тем вольным ветром, который раздул пламя любви в сердцах юноши и девушки; они оба переживали это чувство впервые и не осознавали в полной мере, что с ними происходит, как обычно не сознают этого молодые люди с чистой душой. Они не обменялись ни одним словом, которое могло бы открыть их чувства, каждый бережно хранил в своем сердце сокровенную тайну. По своей наивности Макен и Дармен даже не подозревали, что друзья и близкие раньше, чем они сами, распознали их состояние.

Абиш и Магиш первые заметили, что Дармен все чаще запекает любимые песни Макен. Сами влюбленные, они исподволь наблюдали за влюбленной парой и незаметно обменивались радостными, понимающими взглядами.

Как ни пылало сердце Макен любовью к Дармену, она по-прежнему хранила свою тайну в душе, и это делало ее особенно прекрасной в глазах Абиша, который все видел и все понимал. Ему казалось, что именно о таких девушках, как Макен, он читал в романах,— они умеют таить в себе самые страстные чувства, во имя преданной любви способны на любые тяжелые жертвы, готовы погибнуть, но никакая сила не заставит их отречься от возлюбленного.

Наблюдая за Макен, на смуглом лице которой теперь то и дело вспыхивал едва заметный румянец, Абиш вспоминал героинь этих романов. Хрупкие женщины с тонким станом и нежными чертами лица умели не только страдать, но и, самоотверженно любя, бороться за свое счастье. Стройная, как молодой тополек, Макен даже внешне казалась Абишу похожей на этих необыкновенных женщин, и он радовался, что его друг, которого он любил за душевную чистоту, поэтический

дар и доблесть джигита, нашел себе достойную пару. Дармен был ему самым близким человеком, возможно, даже ближе любимого брата Магаша.

Абиш с нетерпением ожидал, когда же наконец Дармен с Макен объяснятся, и тайна их любви перестанет тайной. Конечно, если бы они обратились к Абишу, он обязательно посоветовал бы им без всяких колебаний связать свою судьбу и не отступать ни перед какими препятствиями, пусть даже впереди пылает пожар.

А пожар и в самом деле вспыхнул на дороге к счастью влюбленных.

За три дня до проводов Магиш молодежь отправилась на обычную прогулку за аул. Накинув на плечи тонкий шелковый чапан, Магиш прикрыла им Макен, и подруги, обнявшись, медленно пошли рядом с джигитами, слушая веселые песни Дармена.

Когда взошла луна, Абиш разделил девушек и увлек Магиш за собой, а Дармен остался с Альмагамбетом, Макен и другой ее сверстницей — подругой. Вот в эту минуту, подгоняя плеткой темно-серую норовистую лошадь, и подскакал к молодежи пожилой толстяк с черной козлиной бородкой и крупным носом. Не ответив на приветствие молодых джигитов, он грубо крикнул, обращаясь к девушкам:

— Есть здесь Макен? Это ты будешь? Подойди-ка ко мне!

Дармен, Абиш и Альмагамбет с недоумением переглянулись, им не понравилось грубое поведение незнакомого толстяка. Но Макен знала его и послушно приблизилась к коню. Это был ее аменгер¹, звали его Даиром.

Пять лет назад еще при жизни покойного отца девушки Азима Даир, близкий родственник бая Уразбая, засватал Макен за своего младшего брата Каира. После смерти Азима его вдова, оставшись с дочкой-сиротой на руках, окончательно обеднела и попала в полную зависимость к родственникам жениха. Они

¹ А м е н г е р — родственник умершего жениха или мужа, по адату имеющий право взять в жены оставшуюся после него невесту или вдову.

кое-какими подачками подкармливали Макен и ее мать.

Хотя девочка-невеста и в глаза не видела суженого, она покорилась своей судьбе. В прошлом году Каир упал с лошади, разбился и умер, а его старший брат — сорокалетний Даир, у которого была сварливая и невзрачная жена, через несколько месяцев явился к матери Макен и предъявил на девушку права аменгера.

— Брат мой умер, на Макен женюсь я сам. Не позднее осени проводите ее в мой дом.

Когда в татарском ауле появился жених Магрифы Абиш с другом Дарменом, родственники Даира, уехавшего на ярмарку, забеспокоились и с нетерпением стали ожидать его возвращения. На джайляу между Дарменом и Макен завязался такой узел, который, по их мнению, мог благополучно развязать только сам Даир.

Даир, прибыв с ярмарки, узнал все подробности: два сплетника, тайно посланные старыми женге в татарский аул, принесли сведения, что Макен, забыв всякий стыд, веселится среди молодежи из аула Абая.

Даир, находившийся целиком под влиянием Уразбая, считал самого Абая и окружавших его людей своими заклятыми врагами. Он поспешно сел на лошадь и помчался в татарский аул, решив застать Макен на месте преступления. Ему сразу же повезло, он увидел свою невесту в обществе джигитов.

Когда девушка, покинув друзей, спокойно подошла к Даиру, он зашипел:

— Уходи сейчас же отсюда к своей матери. Скажи ей, что я приеду на днях и увезу тебя к себе.

Макен густо покраснела. Грубые слова его вызвали в душе прямой и правдивой девушки чувство возмущения.

— Что с вами? Почему вы кричите на меня?..

— Замолчи! — по-собачьи оскалил зубы Даир. — Сейчас же уходи домой.

— Я еще не ваша жена... И не буду ею...

Этого Даир не смог снести, со всего размаха он ударил Макен плеткой.

— Не будешь?!

— Подлый человек! — закричала Макен, отпрянув назад под защиту товарищей, и в ее голосе прозвенела мольба о помощи.

Дармен первым бросился на выручку, в мгновение ока он оказался между девушкой и Даиром. Ловким движением молодой джигит вырвал из рук аменгера занесенную над головой Макен плетку.

— Стой! Зверь! Бессовестный человек!

Дармен готов был избить обидчика его же плеткой.

— Прочь с моего пути! — завопил Даир.— Я тебе заступлюсь! Я вас всех в землю вгоню!..

Тут он заметил приближавшегося Абиша и нарочно громко крикнул:

— На Абая надеешься! Думаешь, он тебя защитит? Даже сам господь бог тебе не поможет... Все равно вгоню живьем в землю!..

Повторив свою угрозу, Даир повернул коня и ускакал.

В этот день молодежь долго не возвращалась домой, проведя полночи в степи, залитой серебряным лунным светом. Абиш, Магиш и Альмагамбет ходили втроем, а Дармен и Макен не покидали друг друга ни на мгновение. Что творилось в их сердцах, было понятно всем, и друзья молчаливо выражали им свое сочувствие.

И в эту-то ночь Макен и Дармен неожиданно для самих себя открылись друг другу в любви, за скупыми словами последовали первые робкие объятия, а затем пламенные поцелуи, от которых трепетало и таяло сердце молодого джигита.

Вот тогда-то, в ту ночь, и определилась их общая судьба, а теперь беда черной тучей нависла над беглецами, нашедшими прибежище в доме гостеприимного Абена.

* * *

Дармен тихо лежал возле Макен в тяжелом раздумье, вспоминая утреннюю зарю своей любви на джайляу Керегетас. Сколько она принесла беспокойства и забот близким ему людям! Особенно Дармена волновала мысль, что он нарушил покой Абая, каждый

час которого дорог. Но что мог сделать Дармен, как не бежать в город? В степи ему грозил суд биев, который отдал бы Макен в жены Даиру, а у Дармена отобрал бы весь скот и нищим прогнал из родного аула. Могло быть и хуже — их и на самом деле вогнали бы живьем в землю, как пригрозил Даир. Дармен тяжело вздохнул, подумав о том, что опасность далеко не миновала. Ближайшее будущее рисовалось ему в мрачном свете. От мучительных дум у него выступил на лбу пот, а дыхание, казалось, огнем забушевало в груди. Он думал об Абише, самом верном и самом близком своем друге, примчавшемся в Затон, чтобы подать ему руку помощи. Дармен перебирал в памяти слова, сказанные друзьями в короткие минуты недавнего свидания, и снова вспомнил тот незабываемый вечер на джайляу Керегетас, когда он впервые поделился с Абишем своей сердечной тайной.

Предвидя тяжкий путь страданий, ожидающий влюбленных, Абиш тогда сказал:

— Не смущайся, Дармен! Я знаю, ты боишься впутать в раздоры своих друзей и в первую очередь огорчить Абай-ага, который, конечно, не останется в стороне от этого дела. Разумеется, твоим защитникам придется нелегко. Возможно, их заступничество принесет им тяжкие беды. Но пусть тебя это не смущает. За такого человека, как ты, не обидно и пострадать. Мы с отцом постоем за твою судьбу и, чего бы нам это ни стоило, никогда не укорим тебя. Я твердо уверен, что Магиш и Какитай думают так же. Поэтому оставь колебания и действуй смело.

Перед отъездом с джайляу в город Абиш, уже знавший, что Дармен и Макен решили соединить свои судьбы, сказал, что он заранее известит об этом отца и разъяснит ему все.

Вспоминая вчерашнюю беседу с Абаем, Дармен понял, что Абиш сдержал свое обещание. Абай знал все и готов был оказать им помощь и защиту. Хотя он об этом и не говорил прямо, а как бы намекал вскользь, но его советы переправиться на лодке Сеиля, найти укромный уголок на городском берегу и обратиться к Абишу для составления прошения лучше вся-

ких длинных заверений свидетельствовали о том, что он готов нести ответственность за судьбу беглецов.

«Абай-ага и Абиш сумеют защитить нас», — подумал Дармен, успокаиваясь.

2

На следующий день случилось то, чего больше всего боялись в доме Абена, — Корабай и Даир, пробравшиеся в Затон, уже рыскали по всем улицам, с подозрением оглядывая каждый дом. Они нашли себе пристанище в знакомой семье, как раз жившей по соседству с домом Абена в огороженной дырявым плетнем небольшой халупе с плоской крышей.

В минувшую ночь хозяйка этой халупы, любопытная старушка долго не могла заснуть и, услышав шум у соседей, вышла во двор. Тихая, как мышка, она притаилась, стараясь разглядеть ночных гостей Абена, кое-что, несмотря на темноту, заметила и рассказала приехавшим спозаранку Корабаю и Даиру. Сомнений быть не могло — беглецы нашлись. Корабай и Даир оповестили своих сообщников, остановившихся в ближних закоулках Затона, а сами заняли наблюдательные посты возле дырявого плетня — отсюда очень удобно было следить за небольшим двориком Абена.

Час шел за часом, Корабай и Даир сидели у изгороди, не спуская глаз с дверей абеновского домика. Но вот вышла Айша и направилась к огороду, а через несколько минут во двор въехали Муха и Альмагамбет, только что прискакавшие в Затон. Они привязали коней и вслед за Айшой вошли в дом.

Гости Абена заканчивали утренний чай, когда чуткая Айша, сидевшая в передней у самовара возле самых дверей, услышала шум.

— Родные мои! Уже добрались злодеи! — воскликнула она и, бросившись к наружным дверям, быстро накинула крючок.

И в ту же секунду в дверь неистово забарабанили кулаками, заколотили ногами. Преследователи начали нападение, надо было готовиться к отпору. Айша от-

ставила самовар к печке, обняла и заслонила собою испуганную Макен. Мужчины вооружились чем попало.

— Отворяй, пока жив! — загремел голос взбешенного Даира.— Все равно пощады не будет!

— Вырежем всех! — неистово заорал Корабай.

Нападавшие навалились на ветхую дверь, она жалобно заскрипела на ржавых петлях.

Абды сжимал в руках березовый шокпар¹, давно привезенный из аула. Еще вчера этим незаменимым оружием пешего боя он толк насыбай², до которого был большим охотником, а сейчас рассчитывал применить его для того, чтобы проломить голову любому, кто попытается ворваться в дом. Абен тоже вооружился неплохо, он держал наготове железный сердечник от телеги. Силач Муха примеривался бить нападающих обухом топора, а Дармен нашел, что и медный пестик от ступки пригодится в тесном домике Абена. Один лишь Альмагамбет, тщедушный и трусливый, больше рассчитывал на помощь аллаха, нежели на свои слабые силы. В глазах его застыл ужас. Он метался от мужчин к женщинам и шептал молитвы.

А нападающие все нажимали и нажимали на дверь, стараясь ее вышибить, нижняя петля уже лопнула — было ясно, что через минуту враги ворвутся в дом. Абен первый понял это и решил от обороны перейти к нападению. Когда не выдержала и верхняя дверная петля, он снял крючок и сам отбросил дверь в сторону.

С яростными воплями Корабай и Даир заработали плеткой и соилом³. Но плетку Даира встретил железный сердечник Абена, а тяжелый шокпар Абды, с размаха опущенный на плечо Корабая, сразил торговца. Изогнувшись в три погибели, он выполз из сеней первым, за ним последовал Даир, ладонью поддерживая перебитую руку, оглашая воздух отборной бранью и пустыми угрозами: «Уничтожу!», «Истреблю!», «В землю втопчу!». Пять остальных джигитов, вооруженных только плетками, растерялись, увидев в руках про-

¹ Ш о к п а р — дубинка.

² Н а с ы б а й — жевательный табак.

³ С о и л — длинный шест с петлей на конце, употребляется для ловли лошадей в табунах, а так же как оружие в схватке.

тивников топор, шокпар и железный сердечник. Абен, Абды, и Муха, ободренные первым успехом, без труда вытолкнули их за ворота. Джигиты бросились вдоль по улице. У самых ворот Абды ловким ударом ногой в зад сшиб Даира, и тот уткнулся в пыльную землю, застонав от боли.

Дармен притащил трясущегося от страха Альмагамбета к лошади и посадил в седло.

— Скачи быстрее к Данияру за Абишем и Какитаем! Все равно от тебя здесь никакой пользы нет!

И, приоткрыв ворота, он выпустил Альмагамбета со двора.

Итак, первое нападение было с честью отбито. Одержанная победа влила в сердца защитников веру в свои силы, они смело готовились отразить и второе нападение, хорошо зная, что коварные враги не успокоятся. Крупный, атлетического телосложения Муха оказался по смелости достойным товарищем Абды и Абена, он легко подбрасывал топор, ловя его сильными, ловкими пальцами за рукоятку.

Но меры предосторожности все же следовало принять. Ставни окон, выходящих на улицу, были заблаговременно закрыты на болты, закрепленные железными клиньями. Враги в пылу схватки совсем забыли про эти окна, сосредоточили все свое внимание на воротах и дверях...

Когда наступило затишье, Абен отправил Дармена в дом и сказал:

— Успокой женщин, скажи им, чтобы они не пугались! И следи хорошенько за тем окном, которое выходит на улицу.

Вручая Дармену остро наточенный топор, он добавил:

— Когда жизнь висит на волоске, отступить нельзя! Иначе погибнешь!

В то самое время, когда в доме Абена произошла первая схватка, Абиш и Какитай принялись хлопотать по делу Макен, побывали с ее прошением в канцелярии уездного начальника «ояза» и теперь направлялись в окружной суд. К председателю суда офицер решил войти один, оставив Какитая на улице на ступеньках

подъезда двухэтажного каменного дома. Здесь его и нашел Альмагамбет, узнавший от Данияра, где следует искать Абиша.

— Ой-бай, что же ты тут стоишь! — закричал он во весь голос. — наших там убивают в Затоне! Скорее туда, может, они еще живы!..

Какитай побледнел.

— Жди меня здесь, никуда не уходи! — крикнул он и, не переводя дыхания, кинулся вверх по широкой лестнице на второй этаж. Альмагамбет проводил глазами Какитая и, обернувшись, неожиданно увидел подошедшего к нему Баймагамбета. По суровому лицу и насупленным бровям рыжебородого он сразу понял, что человек привез недобрую новость. Ярко-синие глаза Баймагамбета тревожно сверкали, и от того казались еще синее.

— Неважные вести! — буркнул Баймагамбет. — Очень неважные! Я был у Данияра, он велел искать вас в суде.

От природы замкнутый Баймагамбет был невероятно скуп на слова, он умел держать язык за зубами, недаром его называли «секретным сундуком Абая». Он привык молчаливо выполнять все поручения хозяина и даже Айгерим не передавал ни одного лишнего слова, услышанного от Абая. С легкой руки ее и укрепилось за ним прозвище «секретный сундук». Альмагамбет понял, что из Баймагамбета слова клещами не вытянешь и расспрашивать его не стал.

Через несколько минут из Окружного суда торопливо вышли Абиш и Какитай, они кинулись к Баймагамбету и забросали его вопросами:

— Бака, какие новости?

— Что привез от отца?

Лицо Баймагамбета стало еще более строгим, он вынул из нагрудного кармана сложенное вдвое письмо и молча протянул Абишу. Какитай отошел с офицером в сторону, и они вдвоем прочитали короткую записку, в которой Абай сообщал о своей новой ссоре с Уразбаем и предупреждал о необходимости быть осторожным во всем. Словно предвидя грядущие события, он спрашивал Абиша:

«Где устроились молодые? В казахском доме их легче найти. Не поискать ли им пристанища в русской семье и как можно скорее? Долг дружбы, о котором я писал тебе во вчерашнем письме, обязывает нас приложить все усилия для сохранения жизни Дармена и Макен...»

Письмо заканчивалось строчками, написанными дрожащей рукой:

«Сегодня извечный враг мой вздумал запугать и оскорбить меня. Теперь осталось одно — вступить в битву со злодеем и решиться на все жертвы, не пожалеть ни крови, ни жизни. У нас впереди беспощадная борьба, мы обязаны принять вызов и победить...»

Абиш задумался: что довело его уравновешенного отца до такого сильного гнева? Баймагамбет разъяснил ему — ночью от Уразбая приезжали посланцы, Есентай и Сейсеке. Абиш понял, что Абай испил полную чашу оскорблений, ему стало больно за отца и к сердцу прилила волна ненависти к обидчикам.

— Передай отцу, — сказал Абиш, — я сделаю все и не остановлюсь ни перед чем. Только пусть он поскорее переберется в город. Нам нужны его советы... Пусть быстрее переправится сюда...

Баймагамбет молча мотнул бородой и тотчас зашагал в сторону паровой мельницы к берегу Иртыша, где ожидала его лодка. Абиш в полной офицерской форме и при шашке с темляком вскочил в коляску. Какитай ожег кнутом вороного иноходца Данияра, и в сопровождении верхового Альмагамбета они помчались с такой скоростью в сторону Затона, что встречные прохожие невольно останавливались и смотрели им вслед, недоумевая, куда так торопится молодой поручик. Можно было подумать, что в Затоне пылает пожар...

Зрелище, представшее глазам Абиша в доме Абена, ужаснуло его. По всему двору валялся разбросанный домашний скарб, разбитая утварь, разорванная одежда с пятнами крови. Избитые до полусмерти Айша, Абен и Муха лежали без сознания на полу. Первой очнулась Айша и, едва подняв голову, простонала:

— Их было много... Человек сорок... Они только сейчас ускакали...

Абиш нагнулся над Айшой:

— А где Дармен и Макен?

— Их увезли на телеге... Туда...

Айша не могла досказать и вновь впала в забытие.

«Они только сейчас ускакали!»

Абиш догадался, кто это «они» — друзья Даира и Корабая, торговцы из Слободки. Свершив свое черное дело, уразбаевские джигиты торопятся сейчас домой, стараясь замести следы. Их надо догнать в пути.

И Абиш сказал Альмагамбету, кивнув на Айшу и Абена:

— Остаься здесь. Собери соседей и окажи им помощь! Какитай, в погоню! К парому!

Какитай беспощадно хлестал взмыленного вороного иноходца. Коляска летела с бешеной скоростью, но Абиш беспрестанно повторял:

— Гони... Скорей... Скорей...

Вот блеснула зеркальная гладь Иртыша и офицер увидел паром, стоящий у берега и уже готовый к отходу. Сердце ему подсказало, что на нем находятся люди Уразбая, учинившие погром в доме Абена. Он вырвал кнут из рук Какитая и захлестал по крупу лошади. У данияровского иноходца, казалось, выросли крылья, когда он мчал коляску с горки на берег Иртыша. У помоста Абиш соскочил на полном ходу и побежал к парому, отчаливавшему от берега.

— Поверни обратно! — закричал он по-русски и, не раздумывая долго, с разбега прыгнул на паром, от которого уже отделяла его добрая сажень прозрачной зеленоватой воды.

Только отчаянный смельчак мог решиться на такой рискованный прыжок. Все ожидали, что офицер полетит в воду, но тот тонкими, крепкими пальцами вцепился в деревянные перила и, подтянувшись на руках, в одно мгновение очутился на пароме.

Смелый поступок молодого офицера произвел впечатление на всех находившихся на пароме. Стало ясно, что решительный поручик задержит его. И когда Абиш крикнул негромким, но твердым голосом кормщику-татарину «Поворачивай обратно!» — тот беспрекословно выполнил его приказание.

Кое-кто начал было браниться и протестовать, но татарин, не обращая внимания, повернул паром к берегу, и через несколько минут он был вновь подтянут к помосту и зачален толстыми канатами.

Абиш первым соскочил на землю, заметив на берегу коренастого городского, прозванного жителями Затона за рыжие усы и грузную фигуру «Семиз сары» — «Рыжий толстяк».

— Городовой! — закричал Абиш. — Сюда!

Семиз сары, придерживая шашку, торопливо подбежал и, приложив короткие пальцы к козырьку фуражки, вытянулся перед офицером.

— На этом пароме находятся преступники, — сказал, отчеканивая каждое слово, Абиш. — Они в Затоне устроили кровопролитие и украли девушку. Никого не выпускай на берег. Смотри в оба? Понял?

— Так точно, ваше благородие!

— Чтобы паром не двигался с места... Приказывает тебе поручик военно-полевой артиллерии Ускенбаев... Я вернусь через час. Все понял?

— Все, ваше благородие! Никого на берег не пускать с парома, и чтобы он не двигался! — повторил городской, не спуская глаз с золотых офицерских погон.

Семиз сары, воинственно потрогав шашку, важно встал на помосте возле пришвартованного парома, а Абиш вскочил в коляску и крикнул Какитаю:

— Гони во весь дух! В город!

И снова Какитай, не жалея кнута, настегивал вороного иноходца. Теплый ветер бил в лицо Абишу, которому каждая минута казалась часом.

Но вот замелькали знакомые дома, казенные здания. За углом — канцелярия уездного начальника Маковецкого. Здесь Абиш уже побывал утром с прошением Макен. Маковецкий, благообразный и обходительный человек, едва достигший тридцатилетнего возраста, но широко образованный, произвел на него хорошее впечатление; как администратор, он во многом превосходил старых бурбонов и держиморд вроде Казанцева. Он знал Абая и с доверием встретил его сына, сразу поняв из прошения Макен, что молодой поручик явился к нему искать защиты для женщины

действительно обиженной. Было ясно, что Абиша к уездному начальнику привели не личные интересы. Офицер русской армии не походил на степных сутяжников, которых Маковецкий хорошо изучил за короткие годы своей работы в Семипалатинске. Макен и Дармен были Абишу чужими людьми, и если он вступился за них, то сделал это из гуманных побуждений, протестуя против произвола диких степных нравов. В глазах Маковецкого поручик Ускенбаев, образованный молодой человек, поставивший под охрану царской администрации беззащитную влюбленную пару, выглядел борцом за укрепление порядка на окраинах Российской империи. И уездный начальник охотно пообещал ему свою поддержку.

Он перечитывал прошение Макен, когда в кабинет к нему снова вошел взволнованный Абиш. Сейчас он совершенно не походил на того выдержанного и вылощенного офицера, который спокойно и вежливо разговаривал с ним утром.

— Что произошло, поручик? — Маковецкий даже поднялся с кресла. — Что вас привело ко мне вновь?

Уездный начальник указал на стул, но Абиш не воспользовался приглашением, а стоя рассказал о погроме, учиненном в доме Абена, где находилась Макен со своим женихом и закончил рассказ извинением:

— Вы простите меня, пожалуйста, господин Маковецкий, но я был вынужден прибегнуть к крайней мере и самочинно задержать паром на Иртыше. Иного выхода у меня не было. Иначе преступники ускользнули бы и увезли бы с собой просительницу Азимову.

Маковецкий понимающе кивнул головой и сказал:

— Я сейчас дам распоряжение приставу третьего участка Старчаку, чтобы он задержал главных виновников, а также доставил ко мне просительницу Азимову и джигита Дармена. Не беспокойтесь, поручик, закон Российской империи в состоянии их защитить.

Он улыбнулся и пожал Абишу руку.

Через полчаса пристав Старчак в сопровождении пяти конных городских примчался к переправе, где в отсутствие Абиша произошли немаловажные события.

Как только он уехал, Корабай, поддержанный кучкой торговцев, начал буянить, требуя от татарина, чтобы он отправил паром на левый берег.

— Я тебе отправлю! — крикнул Семиз сары и погрозил шашкой. — Стоять на месте!

Тогда Даир извлек из кармана пачку «красненьких»¹ и осторожно показал городовому. В другое время Семиз сары не устоял бы от соблазна, но сейчас он заколебался, вспомнив разъяренного офицера, прыгнувшего на отошедший паром. С таким человеком шутки плохи! И он еще суровее крикнул:

— Поговори у меня!

Даир убрал деньги, и, желая сорвать на ком-нибудь злобу, направился к телеге, где лежали связанные Дармен и Макен.левой здоровой рукой он поднял плетень над головой джигита, но опустить ее не успел. Изуродованный от побоев Абды показал длинный нож и, задыхаясь, просипел:

— Только тронь их! Зарежу... Клянусь тебе, Даир! Пролью твою черную кровь...

Лицо Абды в ранах и кровоподтеках было страшно, глаза горели ненавистью, и Даир с проклятиями отошел от телеги.

Вместе с Корабаем он вновь принялся мутить проезжих, добрая половина которых принимала участие в побоище, учиненном в доме Абена. На Семиз сары началась новая атака.

— Отпусти паром! Нам ехать надо!

— Зачем задерживаешь столько людей!

— Жаловаться будем!

Толпа торговцев плотным кольцом окружила городского и паромщика-татарина. Семиз сары взялся за шашку:

— Р-разойдись!

В эту самую минуту на помост вбежали, тяжело топая сапогами, рослые бедно одетые джигиты. Они растолкали торговцев и поднялись на паром.

— Где кровопийца Корабай! — заорал дюжий парень, расправляя могучие плечи, так громко, что его

¹ «К р а с н е н ь к а я» — десятирублевая ассигнация.

голос, вероятно, услышали и на противоположном берегу Иртыша.

Дармен крепко сжал руку Макен и радостно подтолкнул Абды:

— Это грузчики из Затона!

Он не ошибся — товарищи Абена, прославленные силачи и борцы, явились на паром расправиться с погромщиками. Полчаса назад Альмагамбет по просьбе Айши доскакал до Сеита и сообщил ему о кровавой резне. Широкоплечий грузчик сразу же собрал восемь человек ближайших соседей и кинулся в дом Абена, где они увидели страшную картину, вызвавшую в душе их гнев и жажду мести. Грузчики помчались на Иртыш, правильно рассудив, что захваченных Дармена и Макен похитители повезут в Слободку.

Узнав, что все погромщики находятся на пароме, Сеит, с каждой минутой все больше распаляясь гневом, зловеще произнес:

— Все здесь? Это хорошо!

И, сжимая кулаки, он еще громче крикнул:

— Где кровопийца Корабай?

Корабай не был трусом, он спрыгнул с телеги и подскочил к Сеиту:

— Я что, отца твоего убил? Кровник твой, что ли?.. Я Корабай...

— Ах, ты Корабай?

Сеит схватил торговца за густую бороду и сокрушительным прямым ударом кулака вышиб у него сразу два передних зуба. Из носа Корабая хлынула кровь, заливая ему все лицо. Тяжелый, словно чугунный, кулак Сеита нанес второй удар, третий... Торговец упал.

Паром тревожно загудел, началась свалка. Кто-то закричал неистовым голосом:

— Дондагул!

Это имя было широко известно в Слободке и Семипалатинске, так звали отъявленного вора, завсегда пивных, о необыкновенной силе которого ходили целые легенды. Говорили, что он перебросил со двора одного купца через высокий забор на улицу восьмипудовый тюк чая. Корабай ценил громилу за силу и наглость. Это он, Дондагул, во время второго налета

на абеновский дом, могучим ударом сразил вначале самого хозяина, а затем Абды. Правда, и ему тоже досталось крепко. Абен успел несколько раз ударить своего противника дубиной по голове и плечам. С опухшей, окровавленной головой и шеей Дондагул едва сидел на телеге, в глазах его двоилось и троилось, он плохо соображал, что происходит вокруг. Но когда силач услышал свое имя и увидел, что Сеит железными кулаками молотит Корабая, он не выдержал. Схватив дубинку, он бросился к нему на помощь и, перепрыгнув через телегу, очутился на четвереньках перед Сеитом. Поднявшись на ноги и матерно бранясь, он готовился уже расправиться с врагом, но тому на выручку поспешил широкогрудый чернобородый Жайнак. Оба грузчика одновременно взмахнули черными шоппарами. Один удар пришелся по затылку, другой по руке Дондагула, и силач не выдержал. Замычав от боли, он упал и пополз под ближайшую телегу.

Когда на Иртыш прибыл пристав Старчак с конногородовыми и Абиш с Какитаем, грузчики топтали Даира ногами.

Расторопный пристав не стал терять времени на пустые разговоры, он быстро навел порядок, немедленно освободив по указанию Абиша Макен и Дармена. Корабая и Даира он под конвоем полицейских отправил в канцелярию Маковецкого, а грузчикам велел разойтись по домам.

— Теперь отчаливай! — крикнул Старчак паромщику-татарину. — Живо!

Паром с толпой присмиривших джигитов Корабая и торговцев поплыл на левый берег и вскоре пристал к Слободке. Здесь, у так называемой лодочной переправы, шумела нетерпеливая орава мужчин, тоже спешившая в погоню за жесир. Возглавлял ее седобородый одноглазый Уразбай, явившийся сюда вместе с богатым сватом Сейсеке и хальфе Шарифжаном, выделявшимся в толпе своей белой чалмой. Джигиты, среди которых были слободские торговцы и прибывшие из аулов степняки, поспешили въехать на паром, где они сразу же увидели избитого Дондагула и его сообщников, пострадавших в схватке с грузчиками. Пока паром

шел обратно, уразбаевские джигиты узнали все подробности событий, происшедших на правом берегу Иртыша. Услышав об аресте Қорабая и Даира, Уразбай пришел в ярость и стал торопить татарина. Пламя ненависти бушевало в его груди и если бы от ядовитых слов и проклятий, которые он беспрестанно посылал на голову Абая, зависел ход парома, паром летел бы, как стрела.

— Был у меня один кровный враг, а тут подросток еще его щенок, — бормотал он злобно. — Еще противник прибавился новый... Успел выскочить в знать, с властью якшается...

Уразбая разбирала досада. Задыхаясь от бессильного гнева, он даже прикусил свой собственный палец, вспомнив, как друзья предостерегали его:

«Смотри, Абай обучает сына русской грамоте, хочет, чтобы стал начальником... Обучил бы ты тоже хоть одного из своих по-русски! Кто знает, может быть, пригодится...»

Бывало, Уразбай за такие слова бил советчиков по зубам, а сейчас он впервые понял свою оплошность, хотя был еще далек от того, чтобы сознаться в этом перед людьми.

— Пусть только попробуют! — бормотал он, задыхаясь от злобы. — Пусть только станут поперек!

Уразбай не знал, где искать беглецов, и, переправляясь на правый берег Иртыша, решил прежде всего повидать Самалбека Доспанова, служившего толмачом у Маковецкого. Этот джигит, родом из киргизов, осевших в Тобыкты, не раз давал полезные советы Уразбаю и помог ему установить связи со всеми казахскими толмачами при мировом судье, в окружном суде, в государственном банке и в канцелярии губернатора. Такому полезному человеку не жаль было послать зимой жирную кобылицу для закола, а летом добрую сабу кумыса.

Переправившись со своею оравой торговцев на городской берег, Уразбай отправился напрямик к Самалбеку. А в это время в канцелярии уездного начальника возле дверей его кабинета ожидали приема Абиш, Дармен, Макен и пристав Старчак. Маковецкий, при-

нимавший городских чиновников, освободился только через час. Вначале он пригласил к себе Старчака и расспросил его о зачинщиках зверской драки. Пристав подробно рассказал, какие события произошли в Затоне и на пароме, объяснив что во всем были виноваты Даир и Корабай и тут же пожаловался, что они оскорбили его, назвав шкурой и взяточником.

Дело было ясное, и уездный начальник вместе с приставом договорились посадить Даира и Корая в каталажку на месяц, а дело об учиненном ими разбое передать мировому судье. После этого решения Маковецкий отпустил Старчака и принял Абиша, вошедшего вместе с Макен и Дарменом.

С нескрываемым любопытством Маковецкий оглядел красивую девушку и ее возлюбленного, они ему понравились хорошими открытыми лицами, глаза у обоих смотрели ясно и доверчиво.

Он заговорил по-русски, обращаясь к Абишу:

— Спросите Азимову Макен, не отказывается ли просительница от изложенного ею в прошении на имя уездного начальника? Не переменяла ли она своих намерений, после всего того, что случилось сегодня?

Абиш дословно перевел вопросы Маковецкого. Не успел он закончить свою речь, как в кабинет вошел Самалбек. Уразбай сумел его разыскать, и он сам явился к своему начальнику. Увидев толмача, Абиш поклонился ему и сказал:

— Раз явился господин Доспанов, разрешите мне уступить ему его место переводчика.

Маковецкому понравился и этот поступок Абиша — молодой офицер желал сохранить полную беспристрастность при разборе дела. Уездный начальник молча кивнул головой Самалбеку, приглашая его приступить к своим обязанностям.

На первый вопрос Маковецкого Макен тихо ответила, тщательно взвешивая каждое слово:

— Таксыр¹, я много страдала и пришла искать у вас защиты. Я знала, что в городе есть справедливые начальники. Если я сама пришла, как же я буду отка-

¹ Таксыр — большой начальник.

зыватья от своего прошения, которое вчера лишь подала вам? Больше я ничего не могу сказать, все написано в прошении. Я по собственной своей воле хочу выйти замуж за этого джигита, его зовут Дармен, он мой жених! Я прошу вас быть моим заступником. Я желаю свободы по русскому закону.

Девушка говорила не торопясь, очень обдуманно, иногда она останавливалась и подносила платок к глазам, вытирая слезы. Абиш и Дармен, слушая ее, перекидывались между собой взглядами, они готовы были обнять ее за эту умную речь.

Как подметил Абиш, Самалбек, хорошо владевший русским языком, оказался добросовестным переводчиком. Видимо, присутствие Абиша, знавшего русский язык так же хорошо, как и казахский, заставило толмача отнестись к своим обязанностям с большим чувством ответственности. Когда Самалбек перевел речь Макен, Маковецкий вопросительно взглянул на Абиша, словно хотел удостовериться в правильности перевода. Офицер молча кивнул головой.

Тогда уездный начальник сказал, обращаясь к Абишу:

— Господин Ускенбаев, я хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство... Раз прошение Азимовой дошло до властей, оно, разумеется, не будет оставлено без разбора. Но не забывайте, что все такие дела обычно решались по степным законам и согласно шариату. В моей практике это первый случай, когда казахская женщина просит защиты по законам Российской империи. Мне даже кажется, что Макен Азимова — вообще первая женщина, которая борется, так сказать, за эмансипацию женщин Востока. Ваше вмешательство в это дело, поручик, гуманно и, разумеется, с человеческой точки зрения благородно... Я вполне вас понимаю. Однако вы объясните самой Азимовой и ее другу — жениху, что не я, уездный начальник, буду рассматривать ее прошение и окончательно решать ее судьбу. Подобные дела подлежат рассмотрению суда. Суд передаст дело на дознание и вынесет свое заключение.

Выслушав уездного начальника, Абиш попросил по-

скорее передать прошение Макен в суд, и Маковецкий твердо пообещал сегодня же поехать к председателю окружного суда и лично доложить ему обо всех обстоятельствах этого исключительного дела.

На этом и закончилась беседа в кабинете уездного начальника, и Абиш вместе с Дарменом и Макен вышли в общую канцелярию.

Выслушав Самалбека, Маковецкий решил принять и враждебную сторону — Уразбая, Сейсеке и хальфе Шарифжана. Увидев Абиша в офицерской форме, выходящего из кабинета «ояза», Уразбай метнул на него исступленный взгляд и побледнел от злобы. Пропустив вперед Сейсеке и хальфе Шарифжана, он задержался на минуту и своим единственным глазом пронзил офицера, словно стрелой. Абиш, нимало не смущенный, хотел пройти мимо, не останавливаясь, но Уразбай, загородив ему дорогу, процедил, багровея от ярости:

— Не успел вырасти и стать человеком, а отец уже заставляет тебя сутяжничать! Ну, что же, смотрите! Потом не жалейте, когда дойдете до своей гибели.

Абиш, повернувшись боком к Уразбаю, посмотрел на него с брезгливостью. Он вспомнил все, что этот человек причинил его отцу, вспомнил кровавое побоище в доме Абена, и его молодое сердце наполнилось гневом.

— Я никому не желаю зла, — резко ответил Абиш надменному баю, — и потому буду бороться с теми, кто сеет зло. Если злодей перешагнет через законы совести и человечности, я сумею и без помощи отца выступить против злодея и повести с ним борьбу, не жалея жизни. Запомните это хорошенько, аксакал!

И Абиш отошел спокойной, ровной походкой. Увидев, что попытка запугать молодого офицера только придала ему силы, Уразбай бросил ему вслед косою, полный ненависти взгляд и, скрипнув от бессильной злобы зубами, направился в кабинет Маковецкого, двери которого перед ним услужливо распахнул Самалбек. Бай Сейсеке и хальфе Шарифжан торопливо последовали за ним.

Макен, Дармен и Абиш остались в приемной со своими друзьями, заняв свободные стулья, а против них

расселись сообщники Уразбая, явившиеся вместе со своим баем в канцелярию уездного начальника. Обе стороны хранили молчание, тягостное и напряженное, нарушить его было опасно, любое слово могло прозвучать в этой зловещей тишине, как первый свистящий взмах клинка, за ним последовало бы новое неизбежное кровопролитие, начало которому было положено утром в доме Абена и на пароме.

Разговор Маковецкого с Уразбаем был весьма непродолжительным.

— Дело Азимовой решаю не я, его рассмотрит суд. Мне пришлось вмешаться только потому, что в городе, за спокойствие которого я отвечаю, начались беспорядки. Надо положить конец кровопролитию. Сейчас я всех вас, и девушку, и джигита, и преследователей отведу в суд. Там вы предъявите свои претензии и доказательства, а суд во всем разберется.

Уразбай знал Маковецкого со времени выборов волостного управителя, когда уездный начальник приезжал в аул и держал себя с неподкупной строгостью. С таким человеком надо уметь разговаривать, и Уразбай сказал почтительно:

— Что верно, то верно! Речь ояза справедлива от начала до конца. Пусть по закону виновными будем мы, и нас надо судить. Хорошо, с этим мы согласны. Но у меня есть одна просьба, которую ни суд, ни ояз, я надеюсь, не отклонит!

Уразбай нахмурился, лицо его посерело. Он выисил голос:

— Следствие сегодня не закончится, оно протянется долго. Где же все это время будет находиться беглянка? Возле похитителя-джигита, который сделает ее своей женой? А? В таком случае, кому же нужно следствие и суд? Ведь весь наш спор сводится к одному: быть им вместе или нет!

Единственный глаз Уразбая словно шилом сверлил лицо уездного начальника.

— Пусть все решает твой суд, но с этого часа не позволяй беглянке и джигиту находиться вместе. Разлучите их сначала, а потом ведите следствие. Ты посадил двух наших людей, Даира и Корабая в тюрьму.

Если хочешь быть по-настоящему справедливым, разъедини Дармена и Макен. Пока будет идти следствие, пусть они тоже сидят в тюрьме отдельно друг от друга!

Вначале речь Уразбая показалась Маковецкому заслуживающей внимания, но требование посадить беглецов в тюрьму он расценил, как новую каверзу жестокого самодура и отрицательно покачал головой. Бай Сейсеке и хальфе Шарифжан поняли, что ояз не поддержит Уразбая перед судом.

Обещав направить их претензии по инстанции, Маковецкий отпустил своих посетителей.

* * *

Часа через два закончились занятия во всех присутственных местах Семипалатинска, только в окружном суде царило в этот день необычайное оживление. Возле его здания, запрудив улицу, толпились казахи, прибывшие из Слободки. Лодочник Сеиль, переправивший Абая с Баймагамбетом через Иртыш, вытащил свою лодку на берег, а сам увязался за ними, снедаемый желанием узнать «как это все обернется».

Уразбай, увидев Абая, не удержался и крикнул так громко, что его услышали все окружающие:

— Подпалил! Раздул пожар! Ну, что ж, жги все подряд, Абай, жги!

Абай тоже возвысил голос:

— Говоришь, пожар? А разве всякий пожар бедствие?

— Что же ты хочешь сказать, что пожар — благо? — взвизгнул Уразбай.

— Благословляю тот огонь, который сжигает вредный сорняк, сухие корни и гнилые пни. Земля от таких пожаров делается чище. После пала всегда растет сочная зелень, поднимается новая молодая жизнь. Ты до тонкости изучил все подлости, Уразбай, но хороших, полезных вещей, оказывается, не знаешь!

В оживленной толпе раздался одобрительный смех. Уразбай хотел было что-то сказать еще, но не нашелся и поспешил отойти.

А народ все подходил и подходил к зданию окруж-

ного суда. Кого только не было в шумной пестрой толпе! Мелкие лавочники, грузчики Затона, рабочие, кустари, горожане, степняки, приехавшие из аулов на базар. Купец второй гильдии Сейсеке и богачи Хасен и Жакып постарались известить всех торговцев города о предстоящем судебном разбирательстве скандального дела, и к окружному суду потянулась вереница нарядных колясок и дрожек с торговой знатью. Приехали также муллы, хальфе, кари и перезрелые воспитанники медресе, пожилые шакирды. Они старались держаться в тени, но готовились дать бой нарушителям веры, совершившим неслыханное преступление. Как можно было передавать в русский суд дело беглой женщины, нарушившей закон аменгерства! Его вправе решать только шариат. Муллы готовились предать беглецов божьему проклятию, пусть нарушителей адата растерзает сам народ! Выкормыши медресе и мечетей в своем фанатическом тупоумии были не менее кровожадны, чем Корабай.

Дело беглянки Азимовой взволновало также образованных казахов-чиновников и толмачей, заполнивших коридоры окружного суда и пробравшихся в самые канцелярии, где они чувствовали себя как дома, в то время, как все остальные, не осмеливаясь даже приблизиться к ним, толпой стояли на улице.

Абай находился в просторном светлом зале на втором этаже в обществе Абиша, Какитая, Дармена и Данияра. Макен не было с ним, уездный начальник уважил просьбу Уразбая и отправил ее в окружной суд отдельно с переводчиком Самалбеком. Пока председатель суда совещался с Маковецким, стражники увели девушку в комнату, где обычно находились до начала судебного разбирательства подсудимые.

А возбужденная толпа шумела на улице, на все лады обсуждая волнующий вопрос, — станет ли окружной суд разбирать дело беглянки, или передаст его суду биев для рассмотрения по законам адата и шариата. Было известно, что за беглянку вступился знатный аульный человек Абай, да не один, а вместе с сыном, офицером Абишем. С подобными заступниками окружной суд должен посчитаться. Так утверждали одни.

Другие возражали — Абай уважаемый человек, но русский суд не может рассматривать мусульманские дела, нет такого закона!

А в это время председатель с двумя членами суда разбирали, как следует вести дело Азимовой, оно было запутанно, чревато всевозможными осложнениями и требовало осторожного подхода. Только к вечеру судьи сумели прийти к единодушному мнению. В зал заседания, куда допустили очень немногих из публики, привели подательницу прошения Макен, и председатель объявил, что окружной суд «в порядке исключения» принял для рассмотрения дело Азимовой, бежавшей из степи и обратившейся с просьбой о защите ее по законам Российской империи.

— В интересах дела, пока будет вестись следствие, — сказал председатель, — Макен Азимова должна оставаться в городе и находиться под надзором полиции, чтобы с нею не могла общаться ни одна из враждующих сторон. Поэтому впредь до окончательного решения, суд решил поместить Азимову на житье в доме толмача окружного суда, коллежского регистратора Алимбека Сарманова.

Так закончился этот смутный день, начавшийся кровопролитием в доме грузчика Абена. Макен оторвали от близких и друзей, и несчастная девушка, ставшая причиной раздоров и распри, осталась одна со своими тяжелыми думами. Она не знала, какие еще беды ждут ее впереди и что сулит ей будущее.

С этого дня ее жизнь и жизнь Дармена зависели от русских начальников, которые сами чувствовали себя не совсем уверенно, вмешавшись в необычное дело, таившее в себе много противоречий и сулившее острую затяжную борьбу. В жизни Семипалатинска таких дел еще не было, и никто твердо не знал, чем оно могло кончиться.

На другой день утром, по наущению Уразбая и Сейсеке, муллы пришли к председателю окружного суда и подали написанное четким каллиграфическим почерком прошение от имени семипалатинского мусульманского духовенства.

«Спорные дела, касающиеся брака и развода в от-

ношении мусульманских женщин, — писал составитель прошения, — подлежат только шарнату. Дело Азимовой правомочны решать лишь имамы мечетей, духовные пастыри мусульман».

Председатель суда пообещал приобщить прошение к делу, но муллы не успокоились — стали искать иные пути через казахских толмачей-недоучек, готовых за пятерку служить любому хозяину. Городские богачи, вроде Сейсеке и Хасена, надрывали горло, выступая в роли хранителей степных обычаев:

— Русский суд до сих пор не посягал на наши законы о сватовстве, об уплате калыма и правах на жесир, которые освящены веками. И это было хорошо для всех! Пусть и сейчас русские судьи передадут дело Азимовой на решение суда биев по законам наших предков.

Так говорили сторонники Уразбая, а сторона Абая настаивала на разборе дела Азимовой только русским судом.

Необходимость этого убедительно доказывал в своем письменном прошении артиллерийский поручик Ускенбаев, один из главных свидетелей. Те доводы и доказательства, которые Абиш устно приводил Маковецкому, он теперь изложил на бумаге, еще более веско их обосновав. Возмущаясь дикими средневековыми степными законами, он всю надежду возлагал на справедливость законов российских:

«Первая казахская женщина с надеждой на помощь и защиту обратилась к русской администрации и суду. Отказать ей в этом, значило бы подписать обвинительный акт административным учреждениям и судебным органам города Семипалатинска. Печальные кровавые события, связанные с делом Азимовой, произошли не в степной глуши, недоступной взору и слуху нашей администрации, а в губернском городе, в резиденции самого генерал-губернатора и стали известны судебным властям. Было бы недопустимой ошибкой отмахнуться от рассмотрения этого вопиющего дела и, как ни в чем не бывало, направить его в степь на усмотрение суда биев. Такой поступок уронил бы честь губернской администрации и судебных органов и подорвал бы их прес-

тиж. Хорошо еще, что дело Азимовой не успело получить освещения в столичных газетах и о нем не знают г. Министр внутренних дел и г. Министр юстиции, а также правительствующий Сенат. Вряд ли наше Правительство одобрит нерешительность местных властей, если они не встанут на защиту первой казахской женщины, пожелавшей судиться по справедливым законам Российской империи...»

В этом прошении офицера русской армии, одновременно являвшемся и свидетельским показанием, заключался предостерегающий намек на возможность предать события огласке через печать, и это больше всего подействовало на трусливых чиновников Семипалатинска.

К составлению этого документа, написанного рукой Абиша, был привлечен, по совету Абая, Федор Иванович Павлов. Узнав утром от Баймагамбета, как развернулись события, связанные с делом Макен, Абай направился к своим верным русским друзьям и рассказал им все известные ему подробности кровавого злодеяния. Выслушав поэта и поняв, что нужна срочная помощь, Федор Иванович решил немедленно переправиться на городской берег Иртыша. Он знал многих грузчиков Затона и дружил с Абеном, частенько посещая его дом. Услышав, что Абен и его семья пострадали от нападения уразбаевских джигитов, учинивших кровавое побоище, Павлов позвал и жену поехать вместе с ним в Затон. Александра Яковлевна поняла, что ее присутствие там необходимо, и по привычке, выработанной за время совместной жизни с мужем, не теряя лишней минуты, стала собираться.

Через несколько минут они вчетвером вышли из дому. Абай с Баймагамбетом отправились в Верхние Джатаки, чтобы переплыть в лодке Сеиля на городской берег, а Павловы спустились к паромной переправе ниже Слободки и кратчайшим путем через Иртыш попали в Затон. Здесь они пашли свежие следы побоища — в нескольких домах стонали раненые.

Федор Иванович оставил жену для оказания им врачебной помощи, а сам поспешил в город к Аби-

шу, считая, что там он принесет больше пользы, если поможет сразу начать судебное дело против преступников.

У Александры Яковлевны был в Затоне знакомый фельдшер, Дмитрий Артемович Девяткин, с которым она еще до эпидемии холеры работала в семипалатинской городской больнице. Коренной житель города, выросший среди казахов, он отличался ровным, спокойным характером, работу свою выполнял хорошо и у местного населения пользовался большим уважением еще и потому, что с больными казахами свободно говорил на родном языке.

Приступив к перевязке раненого Абена, Александра Яковлевна отправила соседку Марфу, жену слесаря Захара Ивановича, за Девяткиным.

Живя по соседству с Абеном, русский слесарь дружил с ним, а жена его сблизилась с Айшой. Укреплению этой дружбы содействовал товарищ Федора Ивановича, ссыльный Макаров, часто бывавший в Затоне и поочередно останавливавшийся то в доме Абена, то у Захара Ивановича.

Марфа поздно узнала о беде, случившейся в доме друзей. Она не сразу сообразила, что происходит, когда увидела, что уразбаевские джигиты силой увозили Макен и Дармена, и только зайдя в дом своей доброй соседки, чтобы поделиться новостью, увидела избитую Айшу и лежавшего в луже крови полумертвого Абена и поняла, что побоище началось именно здесь.

— Позови Сеита! — снова простонала Айша.

И Марфа, несмотря на свой почтенный возраст, подобрала юбки и, как резвая девочка, во весь дух понеслась на квартиру знакомого грузчика, но там уже побывал Альмагамбет. Сеита дома не оказалось.

Александра Яковлевна с помощью фельдшера Девяткина и Марфы перевязала раненых и избитых, а ее муж, добравшись до дома Данияра, в присутствии Магиш и Афтап подправлял прошение Абиша на имя окружного суда, придав ему ясность и законченность изложения. Прямые, смелые намеки на возможное вмешательство прессы и вышестоящих властей принадлежали перу Федора Ивановича.

Закончив работу, Павлов отправился в окружной суд и, разыскав Абиша, вручил ему черновик прошения. Абиш тотчас же переписал его на белом и попросил Маковецкого передать председателю суда для рассмотрения, прежде чем будет вынесено какое бы то ни было решение:

Лодочники, перевозившие через Иртыш беглецов, а также их преследователей, по совету Абая, переданному им через Сеиля, тоже подали свои свидетельские показания, которые могли пролить истинный свет на события прошедшей ночи. Они выражали искреннее сочувствие Макен, всеми силами стремясь оказать ей помощь. Но особую ценность имело прошение затонских рабочих, написанное близким приятелем Павловых, ссыльным студентом Марковым. Житель Затона, он сумел собрать наиболее яркие и убедительные факты по «делу Азимовой». Живо описав вооруженный разбой среди белого дня, учиненный Даиром, Корабаем и Дондагулом, Марков подробно остановился на их попытке расправиться самосудом с Макен и Дарменом. «Имеют ли право городские власти пройти мимо такого преступления, открыто совершенного в городе и на пароме?» — задавал он вопрос суду. Это прошение первыми подписали Сеит и Абен, за ними — и другие грамотные грузчики, пимокаты и кожевники, а неграмотные поставили родовые знаки и приложили отпечатки пальцев.

«Дело Азимовой» в синей плотной папке увеличивалось с каждой новой подшитой бумажкой, но если бы кто-нибудь перелистал их, он обнаружил бы лишь незначительное число документов, представленных Уразбаем и его сторонниками. Эти люди были сильны по части угроз, а любая, самая внушительная угроза никак не могла служить весомым доказательством вины Макен или Дармена. Зато у сторонников Абая все свидетельские показания, прошения и заявления были написаны убедительно и обоснованно.

Но, кроме Уразбая, в «дело Азимовой» вмешались и влиятельные люди города — имамы мечетей, а за ними крупные торговцы и богачи. Они тоже писали прошения, все больше и больше запутывая дело, которое

было бы простым и ясным, если бы оно не касалось мусульманки.

Председатель и члены окружного суда, приступив к его предварительному рассмотрению, почувствовали некоторую неловкость. Таких дел им еще не приходилось разбирать, а главное, несмотря на его ясность, нельзя было не считаться с бумажками, под которыми стояли подписи имама или первого богача в городе.

После продолжительных обсуждений и размышлений они решили, все же, пойти на уступку Уразбаю: на все время следствия разъединить влюбленных. Судьи не сразу остановили свой выбор на будущем тюремщике для Макен, они долго совещались, прежде чем доверить эту роль Алимбеку Сарманову, штатному переводчику окружного суда. У него было много несомненных достоинств: во-первых, политическая благонадежность этого исполнительного служаки была безупречна, что доказывалось его успешным продвижением по службе и получением двух наград; во-вторых, он происходил из казахов Каркаралинского уезда и не был связан с родом Тобыкты; в-третьих, жена Сарманова — татарка и сумеет оградить Макен от всяких влияний со стороны ее степных сородичей.

Алимбека Сарманова пригласили на совещание и рассказали, что от него требуется. Беспрекословный исполнитель воли начальства, он охотно согласился, тем более, что председатель суда тут же определил сумму расходов на питание Азимовой, которую будет получать Алимбек от казны — полтинник в день: пятнадцать рублей в месяц! Это были очень хорошие деньги, за такое вознаграждение Алимбек готов был держать пленницу в своем доме хоть целый год! Он покинул комнату, где происходило совещание, и отправился договариваться об охране Макен к приставу Старчаку, который сразу же выделил двух городских для несения караула возле ветхого двухэтажного дома Алимбека в Татарской слободе. Охранять пленницу было нетрудно, высокий забор окружал сармановский дом, а новые ворота имели крепкие запоры. Алимбек, человек замкнутого характера, жил нелюдимом, соседи к нему не ходили, а посторонних он и вовсе не пускал

к себе на двор. Усердный чиновник и тупица, свысока относящийся к людям, не признавал аульных сородичей. Его жена, не любившая степных гостей, давно отвадила их от своего дома.

Судьи, назначив Сарманова «тюремщиком», не ошиблись в выборе. Алимбек выполнял свои новые обязанности более чем добросовестно, он заявил, что Абая не допустит не только к Макен, но даже к себе в дом. Узнав об этом, Абиш предпринял попытку найти к нему дорогу через Данияра, хорошо знавшего переводчика окружного суда, но Алимбек не стал и разговаривать со своим знакомым, а попросил его подальше отойти от ворот.

После этого Данияр и Абиш послали в дом Сарманова Афтап. Жена Алимбека не знала ни одного слова по-казахски, а Афтап по-татарски, и две женщины, так и не поняв друг друга, разошлись. Афтап тоже не удалось повидать пленницу.

А день отъезда Абиша из Семипалатинска приближался. Опасаясь, что ему не придется присутствовать при судебном разбирательстве дела Макен, он отправился к председателю суда и, сообщив ему о своем скором отъезде в Алма-Ату, выразил надежду, что его свидетельские показания будут использованы на суде. Председатель направил офицера к чиновнику особых поручений Злобину, который вел «дело Азимовой» и уже снял допрос с Макен. Ему Абиш оставил подробные письменные показания, а после в продолжительной беседе открыл глаза на многое, что было неясно русскому юристу.

3

По окончании Михайловского артиллерийского училища в Петербурге Ускенбаев получил чин поручика и был командирован в распоряжение Туркестанского военного округа для несения службы на «азиатской окраине России». В Петербурге перед отъездом в Семипалатинск ему устно обещали дать назначение в Семиречье, а сейчас пришел официальный приказ, предписывающий выехать в город Верный, в полевую

артиллерийскую часть. Надо было готовить для дальней дороги повозку и лошадей.

В эти дни Абай, покинув Слободку, уже перебрался в Семипалатинск и вместе с Баймагамбетом поселился в доме старого своего знакомого, у которого нередко снимал квартиру, когда приезжал в город.

«Дело Макен Азимовой» втянуло в тяжбу не только Абиша, но и Абая, причинив ему много хлопот и тревоги. Именно в эту осень было особенно тяжело у него на душе. Он никому не говорил об этом, но с тех пор, как переехал в город, каждый день подолгу просиживал с карандашом в руке, доверяя только бумаге свои самые затаенные мысли, глубоко волновавшие его. В эти дни родились не только вдохновенные стихи, но появились и его прозаические «Кара созь»¹, которые отражали заветные размышления поэта о жизни. Занимаясь делами Макен и Дармена, Абай старался сохранить внешнее спокойствие, никто не слышал ни одного стесненного вздоха поэта, никто не уловил печального изгиба бровей, но всякий, кто беседовал с ним, не мог не заметить его озабоченности и молчаливости.

Закаленный в бесчисленных схватках с врагами, испытавший много невзгод и безмерно уставший от бесконечных тяжб, Абай питал к ним отвращение. Трезвый мыслитель, он быстро схватывал суть любого спора и быстро решал все вопросы, и, хотя его решение порой представлялось окружающим поспешным и даже не совсем разумным, оно в конце концов оказывалось безошибочным и всегда оправдывалось жизнью. Не выходя за порог своего дома, Абай тотчас узнавал о тайных проделках городских казахов, стремившихся при участии мулл и продажных толмачей-драгоманов погубить Макен и Дармена. Мудрость, накопленная годами, приходила Абаю на помощь, и в синей папке, озаглавленной «Дело Азимовой», заведенной канцелярией суда, показания свидетелей, выступающих в защиту Макен, отличались весомостью и деловитостью.

Теперь, когда Абиш получил назначение в Алма-

¹ «Кара созь» — «Назидания».

Ату и готовился к отъезду, Абай хотел его видеть возле себя каждый день. Вечерние часы они проводили обычно вместе, и сегодня Абай, послав Баймагамбета перед закатом солнца к сыну, попросил его прийти пораньше. Когда Абиш пришел, он увидел у отца двух хальфе — Шарифжана и Юнусбека, которых имам казахской мечети в Семипалатинске, мулла-татарин хазрет Камали подослал к Абаю. Раньше они в доме у поэта не бывали.

Оба хальфе тайно сносились с Уразбаем и Сайсеке и в то же время были вхожи к чиновникам окружного суда. Ведя переговоры с Маковецким от лица мусульманской общины, они старались оказать на него давление и, бня себя в грудь, без конца твердили одно и то же:

— Пусть власти не допустят насилия над нашей верой, над нашими обычаями. Сам царь оказывает свое милостивое внимание и расположение мусульманам, своим верноподданным. Да не будет совершено в нашем городе беззаконие.

Последние дни хальфе Шарифжан и Юнусбек ходили из одной канцелярии в другую, подавая все новые и новые письменные возражения против показаний свидетелей, выступавших в защиту Макен и Дармена.

Но русские начальники кое-где попросту не принимали бумаг от хальфе, так как прошения, написанные абаевской рукой, опрокидывали все кляузы сторонников Уразбая.

Шарифжан и Юнусбек, столкнувшись с таким препятствием, вынуждены были отступить, это и заставило их совершить обходный маневр, и неожиданно явиться домой к Абаю. Широко раскрыв ладони, Шарифжан начал читать молитву, а когда закончил ее, назвал свое имя. Абаю оно было хорошо известно со времени эпидемии холеры и особенно по делу убитого Сармоллы. Сейчас этот мерзкий человек не постеснялся перешагнуть порог абаевской квартиры.

— А, это ты и есть тот самый хальфе Шарифжан, который сеет смуты и плетет интриги, сидя в мечети? — грубо, с нескрываемым отвращением сказал Абай, не

сводя с муллы гневного взгляда, преисполненного презрения.

Шарифжан опешил от такой встречи, прекрасно поняв, о какой смуте говорит Абай. Обвинение, брошенное ему прямо в лицо, привело его в замешательство, и он даже не попытался возразить, хотя с его языка и готовы были сорваться ядовитые слова. Он заерзал на месте и, делая вид, что соблюдает приличие, отдавая должное возрасту хозяина, невнятно пробормотал:

— Ой, мирза Абай, в чем вы только не обвиняете меня! Как вы несправедливо строги ко мне!

Абай продолжал смотреть на него с гневным презрением и под его пронизательным взглядом Шарифжан готов был провалиться сквозь землю. Где уж тут начинать разговор о деле Азимовой, пусть лучше этим займется Юнусбек. И осторожный Шарифжан предусмотрительно спрятался за его тощую спину.

Но обычно красноречивый, Юнусбек, встретив нелюбезный прием, растерялся и начал вяло повторять те же самые слова, которые он говорил последние дни русским чиновникам, кочуя из одной канцелярии в другую. Заканчивая свою речь, хальфе вспомнил настоятеля своей мечети, хазрета Камали, заговорил об имане, о божьей благодати, заложенной в основу символа веры, и слова его зазвучали, как проповедь наставника, что сразу же заставило насторожиться удивленного Абая.

— Абай-мирза! — говорил Юнусбек. — Везде и во все времена основой основ мусульманской общины был символ веры, который народ отождествлял с именем главы общины. Но сейчас наступило такое время, когда вера и совесть пришли в упадок. Вы — признанный учитель нашего народа, однако, если вы открыто отдаете предпочтение русскому закону перед исламом, то каким же символом вы можете служить для общины и для людей, следующих за вами? На весах совести и чести взвесьте ваш поступок и поймите, как он отразится на судьбе нашего невежественного народа. Сейчас все мусульмане следят, чем кончится дело нарушителей шариата и степных обычаев, и мы ожидаем от вас иного поведения во имя мусульманского символа

веры. Сказать вам об этом нас послали ишан и хазрет...

Абай с любопытством всматривался в тщедушного хальфе, в его бледно-розовое маленькое личико с аккуратно подстриженной рыжеватой бородкой и усами. Чувствовалось, что Юнусбек был мастером религиозных диспутов и большим краснобаем в казахском устном споре, набившим руку на больших и малых родовых тяжбах. В нем прекрасно сочетались неумолимая жестокость степного бия с коварством и ловкостью муллы. Он назвал Абая столпом мусульманства и особенно подчеркнул это в разговоре, видимо желая поставить его в тупик. Нащупывая глубокие корни развернувшейся борьбы за Макен, Юнусбек намеревался накинуть петлю на шею главного виновника событий, каким он считал своего собеседника.

Вначале Абай с некоторым любопытством слушал красноречивого хальфе, но вскоре его охватило чувство раздражения, и он отвечал ему холодно, не скрывая иронии.

Вот в это-то время и вошел в комнату Абиш, явившийся по вызову отца. Абай не ответил на приветствие сына, кивком головы указал ему место рядом с собой и, не меняя позы, продолжал разговор с хальфе.

— Вы — духовные лица, хазреты, ишаны и ученые богословы, сочли необходимым вмешаться в дело Макен Азимовой. Допустим, что это действительно было нужно для пользы ислама. Но при чем тут ваши разглагольствования о совести, чести, символе веры? Ведь вы каждую минуту лицемерите и лжете нам и самим себе...

— Мы? Лицемерим? — только и смог вымолвить Юнусбек, широко раскрыв глаза от изумления. Абай предостерегающе поднял палец.

— Тихо... Да, именно так!

И, не давая хальфе раскрыть рот, продолжал:

— Вы — служители мечети, имамы и хазреты, лицемерите, как лицемерят лукавые ханжи. Первым делом вы побежали к царским сановникам и русским чиновникам, к людям чужой веры, и у них стали искать защиты исламу. Пустив в ход все свое искусство

и влияние, прибегнув к коварству и хитросплетениям, вы подобострастно льстили неверным, пытались разжалобить их, угодливо заискивали перед ними, ползали на четвереньках, только чтобы всучить им свои жалобы и прошения. Только час назад вы пресмыкались перед ними, а теперь, переступив порог моего дома, сразу начинаете поносить их и порочить. Разве это не гнусное лицемерие, не постыдный обман, не возмутительная ложь? Если бы так мерзко поступил обыкновенный, простой человек, ведь мы бы плюнули ему в лицо. У кого повернется язык, чтобы своим именем назвать вас, совершающих такие омерзительные поступки! А ведь вы выступаете от имени татарского и казахского населения всего города, от многотысячной общины мусульман, от ее духовенства, от лица ишанов, имамов, хальфе, хазретов, мулл, муэдзинов и шакирдов! Как можно произнести ваше имя без омерзения и негодования! Жалкие, презренные лжецы, мелкие людишки, безнадежно павшие в своем ханжестве, мне стыдно за мечеть, где вы научились низкому обману, мне стыдно за нашу религию, которую вы опозорили своим гнусным поведением!

Абай не давал Юнусбеку раскрыть рот, он метал жгучие слова гнева и презрения, и оба хальфе чувствовали себя словно в преисподней, в адском огне господней кары.

Поэт, выступивший грозным обличителем мусульманского духовенства, всем существом своим презирал молчаливо сидевших перед ним двух хальфе. Каждое его слово было пронизано уничтожающей иронией, язвительная усмешка играла на его устах.

Абиш, молча наблюдавший за отцом, почувствовал, что тот дошел до крайнего предела возмущения. В глазах отца Абиш уловил такую горечь и усталость, что их не могла скрыть никакая ирония.

Вступив в спор, Абай не оставил без ответа слов Юнусбека о божьей благодати, имане — символе веры, которыми хальфе хотел завести Абая в тупик. Поэту не впервые приходилось спорить с образованными муллами, кичившимися тем, что, изучив «Шарх-Габдуллу», они достигли высшей мудрости мусульманского бого-

словия. В диспутах с ними Абай успешно поражал их изречениями из той же «Шарх-Габдуллы». И сейчас, схватившись с Юнусбеком, он сослался на священные книги.

— Есть два символа веры, — говорил Абай, — истинный и подражательный. Истинный основан на глубоком убеждении, познаниях сердца и души, а подражательный — на слепом следовании обычаям веры. Вы далеки от истинного символа веры, ибо у вас нет истинных познаний. У вас нет даже подражательного символа веры, каким обладают простые, темные люди, искренне выполняющие религиозные обряды, хотя и не понимающие их сущности. Ваш символ — обман и корысть. Если вам выгодно, вы будете называть белое черным, а черное белым и ложь выдавать за правду. Вы любите говорить: «клятва не устоит перед занесенным мечом» и «нет такого греха, который не был бы прощен богом». Вы идете к русскому чиновнику, падаете на колени и лжете ему, а потом бежите к торговцу войлоком, купцу Сейсеке, проводите ладонями по лицу, молитесь и поносите того самого русского чиновника, перед которым только что унижались! И ко мне вы явились со своим символом обмана и лжи. Я вижу вас насквозь. Вы пытаетесь изречениями из священных книг убедить меня в необходимости уничтожить, утопить в крови безвинную несчастную девушку? Вы хотите, чтобы я приложил руку к этому преступному делу. Что я могу вам на это сказать? Только послать проклятье на голову ваших имамов, которые прислали ко мне вас, людей, торгующих своей совестью! Вернитесь к ним и передайте то, что я вам сейчас сказал.

Абай нарочно говорил резко, желая поскорее выжить мулл из своего дома. Хальфе переглянулись в нерешительности, не зная как быть, но тут им помог Баймагамбет, ближе всех сидевший к выходу. Он широко распахнул двухстворчатые двери, как бы говоря: «Путь свободен. Получили по заслугам, и можете идти восвояси». Шарифжан с Юнусбеком, бормоча под нос молитвы, поспешили удалиться.

Абиш молча смотрел на отца. Абай сидел с закрытыми глазами, с трудом подавляя гнев, кипевший в

его сердце, и судорожно сжимая пальцами карандаш. Так прошло несколько минут. Наконец, успокоившись, поэт произнес:

— Надо записать все, что я им сказал!

Этими словами он напомнил о своей работе, к которой неоднократно возвращался в последние месяцы. Абиш не раз читал записи Абая в толстой заветной тетради, когда навещал отца, и сейчас у него появилось желание поговорить с ним и разрешить сомнения, навеянные отцовским трудом. И он сказал:

— Отец, я хочу спросить вас о некоторых непонятных для меня вещах. Я говорю о том, что вы записываете в вашу тетрадь...

Абай поднял на сына ласковый, ободряющий взгляд. Давно установившаяся между ними прочная духовная дружба крепла с каждым днем и радовала поэта. Иногда Абиш высказывал свои суждения по поводу особенно заинтересовавшей его мысли, которые порой приводили Абая в изумление и восторг своей зрелостью и глубиной.

Сейчас сын заговорил, желая выяснить давно мучившие его вопросы:

— В некоторых ваших наставлениях в прозе «Кара сезь» и даже в размышлениях в стихах вы стали выступать точно мулла, привыкший произносить проповеди. Вы даже употребляете слова, не совсем понятные простым казахам, которые заучивают ваши произведения. И я задумался, — какая в этом необходимость? Сегодня мне стало ясно, что иногда это бывает нужно, когда ведешь спор с муллой, как вы вели сейчас, и я понял, почему вы так пишете. Однако я все же не понимаю, нужно ли затемнять смысл своих произведений ради нескольких мулл и ханжей. Ведь таких людей, как Шарифжан и Юнусбек, которые только что побывали здесь, очень немного. Так есть ли расчет, вам, поэту, отказываться от понятного всему казахскому народу языка?

Абиш хотя и осторожно, но открыто высказал отцу все свои сомнения, как он привык это делать в часы вечернего общения. Абай улыбнулся и ответил:

— Если я обличаю нечестивые мысли и недостой-

ные дела мулл, я должен говорить их языком, чтобы мои слова прозвучали убедительно.

— Значит,— улыбнулся Абиш,— слова «истинный символ веры», «подражательный символ веры», произнося которые простой казах может просто сломать себе язык, вы применили только в споре. А в литературных произведениях ваших их не будет?

— В некоторых будут. И в прозе и даже в стихах!

— Но их не поймет большинство ваших слушателей и читателей! — воскликнул с огорчением Абиш.

— Со временем поймут. А в наши дни я обязан сражаться со своими врагами тем же оружием, каким владеют они.

— И вы засоряете свой прекрасный язык ради жалкой кучки хальфе и мулл? — не сдавался Абиш.

— Ты говоришь необдуманно, Абиш! — ответил Абай.— Хотя их мало, но у них большое влияние на народ и от них много зла. Я убедился в этом во время разбора двух крупных дел — убийства Сармоллы и кровавой борьбы за Макен. Муллы, отравляя народ идом суеверия, обрекают на страдания не только невежественных жителей степи, но особенно городских жителей. Нам иногда кажется, что город — это источник света, культуры, знаний, просвещения, что здесь не может быть места невежеству. Мы жестоко ошибаемся — как раз в городах свили себе гнезда ишаны, имамы, хазреты, хальфе и настоятели мечетей и медресе. В городах много школ, но много и мечетей. Несчастный житель города иной раз напоминает мне узника, скованного цепями невежества по рукам и ногам и брошенного в темницу.

Абай подробно объяснил, почему жители городов больше терпят вреда от невежественных мулл, чем жители степей. Фанатические призывы, темные кровавые замыслы, коварные решения и приговоры рождаются в стенах медресе и мечетей и отсюда ядовитым дурманом распространяются среди широких масс верующих. Самые ужасные изуверства на религиозной почве происходят именно в городах.

Абай заговорил о главном, что его особенно волновало:

— Поборники ислама, коварно используя веру во всевышнего, стремятся каждого верующего человека превратить в слепое орудие для осуществления своих темных замыслов. Живя в России, муллы стремятся воспитывать казахский народ врагом своего отечества. Их проповедь ненависти к неверным гяурам распространяется наставниками, сидящими в Казани, Крыму, в священной Бухаре, в Самарканде и халифских святилищах Каира, Мекки, Медины, в султанском Стамбуле, в Турции, где еще царит мрак тирании времен «Тысячи и одной ночи». Иногда я получаю от туда письма, газеты, проповеди, все они проникнуты одним стремлением — заставить людей исповедывать пять заповедей ислама и поклоняться муллам в чалмах. Они имеют одну цель — задержать наше поколение и наших потомков в темноте. Каким пугалом и чудовищем они изображают русский народ, среди которого нам приходится жить! «Сторонись русских, они враги нашей религии. Не доверяй им, будь для них тоже врагом!» Вот к чему сводится сейчас проповедь ислама!

Абиш с изумлением смотрел на Абая, впервые так резко высказавшего свои мысли. Глубокая складка раздумья прочертила широкий лоб отца.

— Ты понимаешь, чего они от меня хотят, чего добиваются? — спросил Абай и сам же ответил на свой вопрос: — Они хотят, чтобы я забыл, как, выйдя из невежественного аула, сделался просвещенным человеком. Они хотят, чтобы я отвернулся от того луча солнца, который осветил мне в темной степи тропинку к русской книге, открыл мне глаза на мир. Если прислушаться к голосам тех, кто шлет мне послания от имени ислама, я должен превратиться в современного дервиша, в нового Суфи-Аллаяра¹, должен унижить самого себя, сжечь свои произведения. Склонив голову перед «призывом исламского совета», я должен предать проклятию и тебя, человека воспитанного русской школой. Видишь, чего они ждут от меня, если я покорюсь их воле. Они хотят отравить ядом ислама всех каза-

¹ Суфи-Аллаяр — название духовной книги.

хов, используя для этой цели меня, как свое орудие. Они намерены держать в путах невежества все последующие поколения нашего народа. Ты сказал, что их жалкая кучка. Да, их действительно мало, но тем не менее вред они приносят огромный.

Продолжая размышлять вслух, Абай напомнил, что проповедью человеконенавистнического ислама занимаются не только ишаны, муллы и хальфе, есть немало темных казахов среди торговцев, подобных Сейсеке и Корабаю, беспросветных невежд, вроде Уразбая, никогда в жизни не раскрывших ни одной книги, но помогающих духовенству одурманивать народ.

— Темные силы боятся, чтобы казахи не сошли с пути невежества, они ведут свою гнусную работу, причиняя страшнейшее зло грядущим поколениям и задерживая развитие истории нашего народа.

Абиш слушал с напряженным вниманием, понимая, что эти мысли отца родились не случайно и не только в связи с сегодняшней встречей с хальфе. Абай думал так уже давно, живя в степном ауле, а жизнь в Семипалатинске и особенно последние события утвердили его в том, что он правильно думал.

Горячая речь отца развязала узлы многих сомнений, волновавших Абиша. Молодой офицер, несмотря на свой юный возраст, уже успел повидать белый свет. Два года назад, когда у него обнаружилась серьезная болезнь — туберкулез желез, от которой до сей поры сохранился шрам на шее, его отправили лечиться на юг, вначале в Крым, а затем на Кавказ, где несколько месяцев ему пришлось прожить в Абастумане, возле Кутаиси. Прошлой осенью, получив назначение в Туркестанский военный округ, он совершил длительное путешествие в Ташкент. Эти поездки в Крым, на Кавказ и в Среднюю Азию не прошли бесследно для пытливого ума Абиша — вспоминая их, он частенько делился с отцом интересными наблюдениями над жизнью крымских татар, кавказских горцев и туркестанцев.

Сейчас он снова вернулся к этим воспоминаниям, они полностью подтверждали только что высказанные Абаем мысли.

Когда Абиш учился в военном училище, он подружился с молодым юнкером, любознательным казанским татаринном Гизатуллою, который много рассказывал ему о своей родине. С большим сокрушением юноша говорил об имамах и хазретах, воздвигнувших каменную стену между татарским народом и русским. Мечеть, медресе, исламский фанатизм закрыли дорогу татарам к русской культуре. Муллы чурались прогресса, боялись его, он им мешает опутывать тонкой паутиной лжи сердца мусульман.

Абиш слушал молодого татарина, рассказывавшего горькую правду, и вспоминал свои впечатления от поездок по Кавказу, Крыму и Туркестану. В этих краях он наблюдал то же самое дикое невежество и религиозное изуверство, о которых с горечью говорил юнкер-татарин. Народ, исповедующий мусульманство, пребывал в ужасающей темноте. Повсюду влияние мечети, медресе было точно таким же, как в Казани, везде ишаны и хазреты отпугивали верующих от русских школ, делали их врагами русской культуры, прививали ненависть к русскому народу.

До самой полуночи продолжалась беседа Абая с сыном. Абиш сказал в заключение:

— Отец, сегодня мне открылся глубокий смысл вашего труда и правильность избранного вами пути в борьбе с врагами. Действительно, нельзя проходить мимо проповедей мулл, раз они произносят их ежедневно. В споре с Юнусбеком вы показали фальшь красивых божественных слов, многовековую мерзость и внутренний мрак ислама. Сегодня я понял это особенно ясно.

Абиш замолчал, и Абай ничего не ответил, погруженный в свои думы. Сын вспомнил стихи Лермонтова, переведенные отцом, и подумал о том, что эти переводы не были плодом пустой забавы. Корни сегодняшней стычки Абая с Шарифжаном и Юнусбеком находились здесь — в большой борьбе за русскую культуру, которую начинал отец.

Буря споров, бушевавшая вокруг «дела Макен Амировой», стала стихать к тому времени, когда поручик

Ускенбаев определил день своего отъезда. Абаю было тяжело расставаться с сыном, покидавшим его надолго, и он несколько дней не отпускал Абиша от себя, словно ревнуя его к окружающим. Кто знает, как продолжительна будет предстоящая разлука, да и придется ли еще встретиться! Абай не мог наглядеться на сына и любовался им, сознавая с грустью, что видит его последние дни. Отец и сын очень дорожили теми часами, когда они оставались наедине друг с другом и могли в задушевной беседе делиться самыми сокровенными своими думами. За время совместной жизни в Семипалатинске, объединив свои силы, они вместе, плечом к плечу прошли путь напряженной борьбы. Это было новое в их отношениях и, заканчивая сегодняшней разговор, Абай сказал:

— Абиш, родной мой! У нас с тобой не только общие мысли и мечты, в этом году мы с тобой оказались соратниками в общей борьбе, и то, что я узнал тебя, как борца, большая радость для меня.

Абиш хорошо знал, что Абай доволен его деятельным вмешательством в «дело Макен Азимовой», хотя он ни разу и не слышал от отца оценки своих поступков. Теперь он ему ответил:

— Вы хотите сказать, что я выиграл борьбу, сознательно пойдя на испытания, а я хочу подчеркнуть, что достиг этого не своим искусством, моей заслуги здесь нет. Русский закон для Макен оказался более справедливым, чем темный закон степей или мусульманский шариат ходжи и мулл. Россия более справедливо защищает жизнь, права и имущество отдельного человека. Да иначе и быть не может! Русский суд опозорился бы, если бы доверил судьбу Макен и Дармена в руки биев, послушных воле Уразбая или Ак-ишана. В деле Макен победило не мое искусство ходатая, а то, что оно дошло до своей точки, так сказать, до логического конца.

Расставаясь в этот вечер с отцом, Абиш сказал:

— Большим счастьем для наших потомков будет, если сгинут законы шариата и люди будут жить под защитой русского закона.

... Абай старался не разлучаться с сыном, но в го-

роде у Абиша было много друзей и сверстников, также не чаявших в нем души. Это были братья и соратники, вроде Какитая, Дармена, Мухи, веселого остроуслова Утегельды, певца Альмагамбета и неумолимого рассказчика Баймагамбета.

Абиш перед отъездом провел несколько вечеров в их обществе, недавно он побывал на квартире Какитая, а сегодня молодежь собралась в Затоне у Дармена.

Грузчик Абен и его жена Айша, сильно пострадавшие во время погрома, не изменили к Дармену своего дружеского отношения, они охотно пустили его к себе жить. В небольшом домике гостеприимного грузчика нашли также приют Муха и Альмагамбет.

Абиш приехал в Затон вместе с Какитаем и Утегельды.

Когда молодежь расположилась пить чай за низким круглым столом, неожиданно на огонек завернул близкий друг хозяев дома Павлов. Увидев на пороге улыбающегося Федора Ивановича, Абен и Айша обрадовались, встретили его, как самого дорогого гостя, и провели на почетное место. Для Абиша приход Павлова явился приятным сюрпризом.

— Ой, как хорошо, что вы пришли! Проходите, проходите! — восторженно говорил Абиш, приглашая Павлова сесть между собой и Абеном.

Федор Иванович, увидев компанию молодых людей, извинился и сказал, что он зашел на короткое время, и что у него есть небольшое дело к Абену. За чаем Павлов оживленно разговаривал с Абишем и дал понять, что следит за тем, как проходит в суде дело Макен и Дармена.

— Кто же сообщает вам о нем? — спросил Абиш.

Павлов с улыбкой уклончиво ответил:

— Все события, связанные с Абеном и его домом, меня очень интересуют. Мой гонимый друг Марков адвокатскую практику начал в Затоне. Хотя он и не присяжный поверенный, но прошение в окружной суд по делу Макен составил не хуже любого юриста. Должен сознаться, что и для меня это дело явилось первым адвокатским опытом.

Федор Иванович взглянул на Абена, на лице кото-

рого еще сохранился рубец от недавно зажившей раны и чуть заметно улыбнулся. Абиш заметил этот взгляд и сказал:

— Мы очень вам благодарны, но скажите, пожалуйста, ваше вмешательство в дело девушки, бежавшей из аула в город, тоже входит в программу революционной деятельности?

Понимая, что в этом шутливом вопросе нет никакой иронии, а напротив выражается полное одобрение, Федор Иванович ответил тоже шутливо:

— Ну, разумеется, входит в программу! Стали бы рабочие Затона напрасно проливать свою кровь и подставлять головы под шокпары торговцев! Ради чего же они сами били баев, если это не было нашей программой...

И Федор Иванович весело рассмеялся, а Абиш продолжал по-прежнему шутливо допрашивать:

— Стало быть, по-вашему, рабочие Затона внесли в общее дело свою лепту физической силой? Можно расценивать так их поступок?

Федор Иванович без всяких обиняков ответил:

— Безусловно. Мы стремимся научить рабочего в любое время и в любых обстоятельствах распознавать своих врагов. Наши товарищи Абен, Сеит и другие хорошо поняли истинный смысл «дела Азимовой».

Абен правильно догадался, что именно сказал о нем по-русски Федор Иванович, и сам вмешался в разговор:

— Марков и Павлов говорят, что наш самый большой враг — это баи, волостные управители, торговцы и чиновники. Рабочие их слушают и тоже начинают рассказывать, как много горя они терпели в степи и в городе. Федор Иванович и Марков — наши верные друзья, с ними можно говорить обо всем. Они знают, о чем мы думаем, чего хотим. Мы узнали от них, кто наш враг. А если знаешь своего врага, значит, знаешь, кого надо бить!

Федор Иванович подождал, когда кончит говорить Абен, и сказал:

— Рабочий люд Затона только ждал случая, чтобы показать свою силу врагам, а дело Макен Азимовой

как раз и явилось подходящим поводом. Я советую вам, Абиш, послушать Маркова, он вам разовьет целую теорию на этот счет... Он даже своим товарищам написал, как рабочему классу для распознавания врага пригодился такой пережиток средневековья, как обычай умыкания невесты...

Абиш с большим вниманием и удовлетворением слушал Федора Ивановича и очень пожалел, что Павлов после чая сразу же, не дожидая ужина, заторопился домой.

После его ухода молодежь предалась веселью. По просьбе Абиша Дармен взял в руки домбру и для начала исполнил «кюй вступления». Играл он мастерски, извлекая из инструмента пленительные глуховатые звуки прекрасной мелодии, но слушатели ждали песен Дармена, и он, повернувшись к Абишу, заговорил с горечью:

— Вижу, вы хотите, чтобы я спел. Но ведь вы сами понимаете, какие песни я могу петь сейчас, в эти дни. Есть одна мелодия, которая звучит в моей душе, и я хотел, чтобы первой ее услышала Макен, если судьба даст мне счастье вновь с нею свидеться. Но ты, Абиш, собираешься в далекий путь, и, если я не открою тебе эту мелодию, ты уедешь, так и не узнавши, что творится в моей груди.

Дармен оглядел присутствующих и сказал:

— Если со мной нет Макен, то тут сидят ее верные друзья. Я открою вам, что до сих пор хранил в своем сердце. Вы, конечно, не забыли сказку «Шаркен», которую нам рассказал Бака. Помните, о чем говорил молодой Зукуль-Макан после гибели в бою своего брата-богатыря Шаркена. Тело его было изранено стрелами. Он обратился к своему мудрому другу Дандану и сказал: «Вот здесь, в сердце, мои раны внутренние, а на теле — наружные. Скажи мне что-нибудь такое, чтобы я отвлекся и забыл о них».

Дармен умолк на минуту и закончил:

— Я тоже попробую забыться песней.

В голосе обычно жизнерадостного Дармена прозвучала печаль. Все молча с горячим сочувствием смотрели на его красивое тонкое лицо, густые, как брововый

мех, брови и задумчивые, с карим отливом черные глаза, в которых застыла тоска.

Певец тронул струны домбры и запел, раскрывая боль своего сердца, которая ни для кого не была тайной. Приподнятая, полная надежд мелодия парила быстрокрылой птицей, повествуя о клятве двух влюбленных и решимости их бороться за свое счастье до конца. Временами она перекликалась с мелодией Абая «Зеница ока моего», выражая неутешное горе разлученных сердец, горевших неугасимым пламенем беспредельной любви.

Дармен пел о верной дружбе, которая познается в беде, о незабываемой помощи Абиша и Магиш, пел о горькой судьбе своей и Макен, превратившей их в гонимых беглецов, он нашел доброе слово для товарищей, вставших на защиту влюбленных, помянул о Мухе, сраженном ударом шокпара и лежавшем в крови. С легкой добродушной насмешкой певец изобразил испуг Альмагамбета в памятный день схватки с врагами, вызвав своей песней веселые улыбки на лицах слушателей.

Смущенный Альмагамбет принялся оправдываться:

— У Корабая кулак, словно чугунная колотушка! Что бы от меня осталось, если бы он разочек стукнул?

Абен и Айша смеялись до слез, глядя на тщедушного Альмагамбета и слушая песню Дармена о нем.

А певец продолжал, поражая слушателей неожиданными переходами мелодии — от печальной, проникнутой безысходной тоской, к неумно-веселой, вызывавшей улыбки и смех молодежи.

Под глухие звуки домбры поэт изливал свое горе. Он рассказывал, как видел во сне исхудавшую Макен, брошенную в бездонный зиндан.¹ Он услышал ее жалобы и хотел крикнуть: «Я здесь, рядом с тобой», но у него вдруг пропал голос. Он хотел спрыгнуть в зиндан, но не мог поднять руки, которая оказалась привязанной к боку, двинуть ногами, которые прилипли к полу.

Дармен пел, а из глаз Айши, только что заливавшейся веселым смехом, капали слезы. Абиш не мог

¹ З и н д а н — темница

оторвать взгляда от вдохновенного лица своего друга. Ему показалось, что последняя песня чем-то перекликается с балладами, написанными знаменитыми русскими поэтами.

В последней песне, посвященной заточению Макен в доме толмача Алимбека, прозвучали особенно горькие, тоскливые ноты. Жестокий тюремщик стоял на пути акына, не давая ему даже на один миг увидеть любимую. Дом толмача оказался более страшным, чем глубокий зиндан, до заключенной не доходили ни жалобы Дармена, ни письма его. К каким только изощренным попыткам ни прибегали Дармен и Какитай, чтобы послать весточку Макен! На днях они отправили ей платье, камзол и бешмет, с нашитыми на воротниках, отворотах и бортах амулетами. Но дойдут ли они благополучно до девушки? И сможет ли она догадаться, что под вышитым искусной рукой треугольником запрятано письмо, написанное Дарменом мелким убористым почерком. Обнаружит ли возлюбленная этот крохотный листок? Найдет ли его?

Дармен пел о своей горячей любви, и молодежь словно чувствовала ее обжигающее пламя. Но вот певец, взяв последний аккорд, отложил домбру. В комнате воцарилась полная тишина, никто не проронил ни слова.

Гости сели пить чай, и снова начался разговор о Макен, снова молодежь стала высказывать свои тревоги и надежды. Все старались успокоить Дармена и, перебивая друг друга, говорили:

- Макен догадается, почему пришиты амулеты!
- Она найдет твое письмо!
- Откроет тайну амулетов!
- Пусть сбудется все, что ты задумал!

Каждый старался в меру своих сил утешить Дармена.

* * *

Абиш, отдавший столько души борьбе за счастье Дармена и Макен, не мог дождаться начала судебного разбирательства, — из Ташкента пришел новый приказ с предложением выехать в Алма-Ату раньше намечен-

ного срока. А как он мечтал быть свидетелем и очевидцем их победы!

Прощаясь с Дарменом, Абиш крепко обнял его, поцеловал и сказал:

— Я страстно желал увидеть, как будут уничтожены на суде все преграды для вашего счастья, и вы соединитесь с Макен навсегда. Но ничего не поделаешь, человек я военный и себе не принадлежу, надо ехать. Передай Макен мое сожаление, что я не смог присутствовать на суде.

В конце сентября, выполняя приказ своего начальства, поручик Ускенбаев выехал в Алма-Ату.

Томительно потянулось теперь время для Дармена, потерявшего самого любимого своего друга. Холодные осенние дожди сменились снегопадами, суровые морозы сковали на Иртыше лед, наступил январь...

Макен, одиноко томившаяся в заточении, подсчитала, что с той ночи, когда она переправилась с Дарменом в лодке Сеиля в Семипалатинск, прошло ровно четыре месяца. За это время она всего лишь один раз покинула дом толмача Алимбека. Его жена Салима посадила Макен рядом с собой в сани и, накрыв ей голову черным чапаном, как это делали все татарские женщины, повезла к следователю окружного суда Злобину.

При допросе толмачом был все тот же Алимбек, сухо переводивший задаваемые следователем вопросы и ответы Макен. Девушка не доверяла ему, она неизменно, слово в слово, повторяла свои прежние показания, данные в присутствии Абиша.

Со времени этого допроса прошел месяц, и вот сегодня Салима вновь повезла ее в санях в окружной суд. Утро было ясное, холодное, под солнечными лучами ослепительно сверкал снег, выпавший ночью. Макен с жадностью дышала морозным свежим воздухом и оглядывалась по сторонам. В полушубках и валенках торопливо шли семипалатинцы по тому же направлению, по которому Салима везла свою пленницу.

Выйдя из саней, подкативших к зданию суда, Макен заметила большое оживление: у дверей подъезда, на площади и даже на двух улицах, которые вели на

кен заметила — секретарь, сидевший за отдельным столиком, записывал ее ответы, переведенные толмачом. Это почему-то внесло в ее душу полное успокоение, и она почувствовала себя настолько уверенно, что начала даже снисходительно улыбаться в душе над вежливыми вопросами председателя.

«Неужели за шесть месяцев не успели узнать, кто я такая? Пять раз допрашивали и задавали те же самые вопросы. Сколько исписали бумаги!» Девушка искренне недоумевала — может быть, они затеряли свои записи?

Председатель суда спросил, когда Макен полюбила Дармена и почему убежала от Даира. Макен ответила скупыми словами, но очень решительно. С Дарменом она не желает расстаться и предпочтет умереть, если ее захотят отдать Даиру. Свою речь Макен закончила просьбой к начальникам защитить ее по русскому закону.

Председатель суда выслушал перевод толмача с бесстрастным выражением лица и начал разговаривать со своими помощниками на непонятном для Макен русском языке. Три человека, сидевшие за синим столом, совещались между собой, а Макен, глядя на них, с надеждой ожидала решения своей участи. Сердце ей подсказывало, что эти русские люди в темно-зеленых мундирах с золотыми пуговицами относятся к ней доброжелательно. И наблюдательность ее не обманула. Председатель суда говорил в это время своим коллегам:

— Слова этой казашки разумны. Она находчива, держится с достоинством. Видно, что ей нечего скрывать.

Решение суда было объявлено Макен через толмача тут же, немедленно, и хотя оно полностью не заканчивало всего дела, но предоставляло казахской девушке полную возможность распорядиться своей судьбой по личному своему желанию. Окружной суд, опираясь на закон Российской империи, этим решением давал мусульманской женщине такие же права, какими пользовались «дочери христианской церкви».

Решив таким образом моральную сторону «дела

Азимовой», русские судьи не рискнули, однако, затронуть материальную. Спор об имущественных интересах, о возвращении калыма они передали на рассмотрение казахского суда биев для полюбовного согласия тяжущихся сторон.

Первая, главная часть судебного решения, наполнила сердце Макен неизмеримым счастьем, в ней было ясно сказано, что суд отказывает Даиру, сыну Шакара, в праве насильно жениться на Макен Азимовой только потому, что он заплатил за нее калым. Девушке разрешалось не выходить замуж за Даира, если она этого не хочет, и предоставлялась полная воля в выборе себе жениха. Имущественные претензии — спор о калыме, уплаченном за девушку, — предлагалось уладить мирным путем на основе обычного права и неписанных законов, существующих в казахской степи.

Это решение сразу же стало известно всем казахам, переполнившим здание окружного суда и находившимся возле него на улице. Хотя в толпе и было много городских торговцев, великовозрастных шакирдов, мулл и толмачей, открытых сторонников группы Уразбая и Даира, но все же сочувствие народа оказалось на стороне Абая. Лодочники с обоих берегов Иртыша, мелкие ремесленники, русские рабочие, а особенно затонские грузчики и степняки из аулов, окружившие Абая, Какитая и Дармена, наглядно свидетельствовали, чью сторону в этой борьбе поддерживал трудовой люд.

Душа Макен ликовала. Пусть суд сам решает, как быть с калымом, — она сейчас и не думала об этом. В ее руках — драгоценная бумага, она дороже золота и алмазов, в ней на двух языках, русском и казахском, написано свидетельство о личной свободе Макен Азимовой. Русское правительство берет ее под свою защиту, красная сургучная печать освобождает ее от Даира! Девушка прижимает к груди плотную бумагу, а главный судья, поглаживая великолепную русую бороду, смотрит на нее из-под золотых очков улыбающимися глазами: приятно и судьям выносить решения, открывающие дорогу к счастью.

Абай-ага!

Макен, увидев своего главного защитника, прижимает руку к горлу, из глаз ее вот-вот хлынут слезы благодарности, она готова упасть на колени и целовать его ноги.

Но Абай подходит к Макен и, поздравляя ее, отечески протягивает обе руки.

Пять месяцев Макен не видела Абая, он ей кажется помолодевшим и каким-то необычайно светлым. На его лице играет довольная улыбка, тонкие брови словно поднялись, а глаза излучают радость и доброту. Правда, в усах и бороде заметнее пробивается седина — неумолимый признак возраста, но сверкающие белизной крупные ровные зубы молодят его лицо. Абай обнимает одной рукой Какитая, другой Дармена, широкая грудь его дышит гордым восторгом. Он вспоминает первые мучительные дни, когда Есентай приезжал к нему с угрозой от Уразбая. Тогда он решил вступить в открытую борьбу со злодеями, и сейчас радостно подумал, что эта упорная борьба наконец-то увенчалась победой.

— Пусть каждый раз так кончатся наши схватки с врагами! — громко сказал он Какитаю и Дармену, которые понимали, о чем в эту минуту думал Абай.

Но в окружавшей толпе были и такие люди, которые не сводили с Абая завистливых, мстительных глаз. Есентай подтолкнул локтем стоявшего рядом с ним Уразбая:

— Смотри, как возгордился! Возомнил о себе! Занесся!

Уразбай скрипнул зубами, злобно, как старый цепной пес, прохрипел:

— Пусть торжествует! Пусть считает себя победителем Ибрай! Мы еще встретимся с ним... Я ему сторицей воздам все, что он заслужил! А пока молчи...

И он многозначительно пожал руку Есентаю.

Абай договорился с Алимбеком, чтобы тот отпустил Макен с Какитаем, а потом вернулся в суд уладить формальности во второй части решения. Вопреки ожиданиям враждебной стороны, он оказался очень сговорчивым, заявив председателю суда:

— Все имущественные претензии Уразбая и Даира

по делу Азимовой будут нами удовлетворены в беспорядном порядке!

С помощью ловкого краснобая бельгагачского казаха Айтказы, взявшего на себя обязанности посредника между сторонами, Абай быстро и успешно завершил переговоры, поставив в тупик Уразбая и его приспешников, полагавших, что спор из-за калыма разгорится с новой силой.

Ненасытный Уразбай, еще пуще обозлившийся, потребовал уплаты штрафных. Абай не стал возражать и даже сам предложил уплатить две «девятки», отрезав таким образом последний путь Уразбаю и Даиру к новым распрям.

Так завершилось дело Макен Азимовой, на полгода сделавшее Абая и его многочисленных друзей жителями Семипалатинска.

Спор из-за нежной возлюбленной Дармена, чреватый тяжелыми последствиями, надолго остался в памяти народной под названием, данным ему врагами: «Смуты из-за девки Макен».

Но что бы ни делали и ни говорили в злом мире Уразбая, по-новому сильно и горячо разгоралась любовь Дармена и Макен, прошедшая очистительный огонь разлуки и страдания. Какитай, освободивший девушку из дома Сарманова, никуда не заезжая по пути и никого не предупреждая, сразу помчался с нею в Затон.

Дармен, привыкший к печали разлуки, сразу даже и не понял, кто неожиданно возник перед ним в сумеречной комнате Абена. Ему и в голову не приходило, что Макен могла появиться здесь в ту пору, когда он изливал свою неизбывную тоску по ней в задушевном «Кулак-кюйе», негромко перебирая чуткие струны домбры. Часто все вечера и ночи напролет проводил он так, без сна, совершенно больной от своей безысходной печали.

Какитай лишь слегка подтолкнул девушку вперед, а сам отступил и скрылся. Не проронившая ни единой слезинки в часы самых тяжелых бед и испытаний, теперь, в объятиях любимого, Макен дрогнула и беззвучно зарыдала от радости. Дармен целовал ее холод-

ные с мороза щеки, на которых стыли солоноватые слезы.

Обычно в самые безмятежные часы встреч они часто и подолгу молчали — их переполненные любовью сердца не нуждались в словах.

Так и сейчас, в эти первые минуты после долгой разлуки, не давая Макен времени снять шубку, Дармен усадил ее на корпе, постеленное на ковре, и вновь прильнул к ее лицу немым поцелуем.

В этом поцелуе были и благодарность за спасение и мольба о счастье. Неведомо к кому обращенная, она была искренней и горячей, сама — спасение от всех зол мира и счастье.

А Макен, вначале словно чуть отвыкшая от Дармена, скованная долгими месяцами одиночества и замкнутости, робко, шаг за шагом выходя из своего оцепенения, дрожащими губами тихонько приникла к любимому.

ного срока. А как он мечтал быть свидетелем и очевидцем их победы!

Прощаясь с Дарменом, Абиш крепко обнял его, поцеловал и сказал:

— Я страстно желал увидеть, как будут уничтожены на суде все преграды для вашего счастья, и вы соединитесь с Макен навсегда. Но ничего не поделаешь, человек я военный и себе не принадлежу, надо ехать. Передай Макен мое сожаление, что я не смог присутствовать на суде.

В конце сентября, выполняя приказ своего начальства, поручик Ускенбаев выехал в Алма-Ату.

Томительно потянулось теперь время для Дармена, потерявшего самого любимого своего друга. Холодные осенние дожди сменились снегопадами, суровые морозы сковали на Иртыше лед, наступил январь...

Макен, одиноко томившаяся в заточении, подсчитала, что с той ночи, когда она переправилась с Дарменом в лодке Сеиля в Семипалатинск, прошло ровно четыре месяца. За это время она всего лишь один раз покинула дом толмача Алимбека. Его жена Салима посадила Макен рядом с собой в сани и, накрыв ей голову черным чапаном, как это делали все татарские женщины, повезла к следователю окружного суда Злобину.

При допросе толмачом был все тот же Алимбек, сухо переводивший задаваемые следователем вопросы и ответы Макен. Девушка не доверяла ему, она неизменно, слово в слово, повторяла свои прежние показания, данные в присутствии Абиша.

Со времени этого допроса прошел месяц, и вот сегодня Салима вновь повезла ее в санях в окружной суд. Утро было ясное, холодное, под солнечными лучами ослепительно сверкал снег, выпавший ночью. Макен с жадностью дышала морозным свежим воздухом и оглядывалась по сторонам. В полушубках и валенках торопливо шли семипалатинцы по тому же направлению, по которому Салима везла свою пленницу.

Выйдя из саней, подкативших к зданию суда, Макен заметила большое оживление: у дверей подъезда, на площади и даже на двух улицах, которые вели на

эту площадь, толпилось множество народа. Несмотря на то, что лицо ее было закрыто чапаном, Макен увидела, что в большинстве своем люди были одеты по-тобыктински. Она заметила в толпе баев в лисьих суконных шубах с широкими воротниками, городских купцов в татарских шапках и шубах на белке и на еноте и несколько мулл в чалмах.

Среди этого множества людей Макен чувствовала себя словно среди глухонемых, не с кем было перекинуться словом, не видно было ни одного знакомого лица. Она надеялась увидеть здесь Абая, но его не было, и это сильно встревожило Макен.

Салима ввела девушку в здание суда и поднялась с ней по знакомой лестнице на второй этаж. В ту минуту, когда татарка открывала дверь, Макен услышала возле себя тихий голос Альмагамбета:

— Не робей, Макен! Заступники твои около тебя, Абай-ага тоже здесь!

— Абай-ага!

Это имя было тем теплым словом, которого жаждала душа Макен.

Больше девушка не слышала казахских слов ни с вражеской, ни с дружеской стороны.

Поскольку дело Азимовой было необычным для русского судопроизводства, окружной суд решил рассмотреть его не на открытом заседании, а при закрытых дверях в присутствии председателя и двух членов суда, без участия заинтересованных сторон. Не было также ни прокурора, ни защитника, ни свидетелей, ни публики. Весь судебный процесс решено было ограничить допросом Макен, а затем вынести в порядке исключительной меры краткое постановление.

Макен, сопровождаемая конвоиром, тихо вошла в светлую просторную комнату с высоким лепным потолком и увидела большой стол, накрытый синим сукном, за которым сидели три человека — в середине солидный лысый мужчина с окладистой русой бородой, в золотых очках и с золотыми пуговицами на темно-зеленом мундире. Макен сразу догадалась, что это — главный судья, он будет решать ее судьбу и на него она устремила свой взор. На двух заседателей, одного вы-

сокого, а другого седовласого, сидевших по обе стороны от главного судьи, девушка не обратила внимания, а позже заметила толмача, большеглазого, чуть рябоватого грузного казаха, стоящего возле стола, и секретаря, сидевшего сбоку за отдельным маленьким столиком.

Судья с русой волнистой бородой показался Макен красивым и добрым, и она успокоилась, уверившись почему-то, что он не сделает ей зла. Она держалась скромно, но страха не испытывала, как не испытывала его и за все тяжелое время домашнего заключения. Ей даже самой казалось это странным и она не раз задавала себе вопрос: «Почему я не боюсь? Неужели разум покинул меня, и я уже просто-напросто ничего не соображаю?».

На самом деле Макен никогда не была трусихой, у нее была открытая, смелая душа, и в день кровавого побоища в доме Абена девушка твердо решила про себя: «Теперь, что бы ни случилось, жалеть мне нечего. Не боюсь ни огня, ни ада, пусть умру, но все вытерплю до конца».

И сейчас в ней укрепились решимость стоять на своем до конца и ни за что не сдаваться. «Пусть лучше умру», — промелькнуло в голове, и она, сжав кулачки, вонзила ногти в ладони.

— Подойдите сюда! — мягко позвал низким грудным голосом председатель суда и поманил ее рукой.— Поближе!

Он поправил золотые очки на носу, стараясь лучше разглядеть дочь степей, впервые переступившую порог судебного зала. Пока толмач переводил его слова, Макен, осторожно шагая по широкому ковру, дошла до середины комнаты. Высокая, стройная, в камзоле, с узкой талией, в тюбетейке, расшитой позументом, накрытая легкой шелковой шалью, она показалась председателю красавицей. Он внимательно и удивленно разглядывал ее смуглое с нежными чертами лицо, явно любясь миловидной степной девушкой.

— Поближе, поближе! — приветливо повторил он, и когда Макен приблизилась к столу, накрытому синим сукном, стал задавать обычные вопросы: как зовут, сколько лет, есть ли у нее отец, знает ли грамоту. Ма-

кен заметила — секретарь, сидевший за отдельным столиком, записывал ее ответы, переведенные толмачом. Это почему-то внесло в ее душу полное успокоение, и она почувствовала себя настолько уверенно, что начала даже снисходительно улыбаться в душе над вежливыми вопросами председателя.

«Неужели за шесть месяцев не успели узнать, кто я такая? Пять раз допрашивали и задавали те же самые вопросы. Сколько исписали бумаги!» Девушка искренне недоумевала — может быть, они затеряли свои записи?

Председатель суда спросил, когда Макен полюбила Дармена и почему убежала от Даира. Макен ответила скупыми словами, но очень решительно. С Дарменом она не желает расстаться и предпочтет умереть, если ее захотят отдать Даиру. Свою речь Макен закончила просьбой к начальникам защитить ее по русскому закону.

Председатель суда выслушал перевод толмача с бесстрастным выражением лица и начал разговаривать со своими помощниками на непонятном для Макен русском языке. Три человека, сидевшие за синим столом, совещались между собой, а Макен, глядя на них, с надеждой ожидала решения своей участи. Сердце ей подсказывало, что эти русские люди в темно-зеленых мундирах с золотыми пуговицами относятся к ней доброжелательно. И наблюдательность ее не обманула. Председатель суда говорил в это время своим коллегам:

— Слова этой казашки разумны. Она находчива, держится с достоинством. Видно, что ей нечего скрывать.

Решение суда было объявлено Макен через толмача тут же, немедленно, и хотя оно полностью не заканчивало всего дела, но предоставляло казахской девушке полную возможность распорядиться своей судьбой по личному своему желанию. Окружной суд, опираясь на закон Российской империи, этим решением давал мусульманской женщине такие же права, какими пользовались «дочери христианской церкви».

Решив таким образом моральную сторону «дела

— Абай... Абай и Дармен приехали!

Повернувшись к гостям, женщина тихо сказала:

— Спрашивает: «кто приехал?» Язык отнялся, а сейчас снова заговорил...

И она стала еще пристальнее всматриваться в осунувшееся лицо больного.

Базаралы шепнул Дармену:

— Раздевайся и подойди к нему поближе. Даркембай все время вспоминал тебя. Наверное, что-то хочет сказать...

Дармен снял чапан и, оставшись в бешмете, занял место женщины. Абай, сбросив малахай, тоже приблизился к изголовью больного. Они оба наклонились над ним, касаясь друг друга головами.

Ербол подбросил сухого кизяку в очаг и принялся раздувать огонь. Вспыхнувшее пламя алым блеском озарило лицо Абая и Дармена. Теперь при свете костра можно было хорошо разглядеть белую длинную бороду Даркембая, заострившийся крупный нос, узкие, полуприкрытые глаза и поседевшие взъерошенные брови. Сломленный недугом старик разглядывал склонившиеся над ним два лица и как будто улыбался.

— Ты, Абай? — позвал он едва слышно, чуть шевеля бровями.

Абай, поняв его желание, прикоснулся лицом к бороде умирающего. Даркембай, как бы одобряя поступок друга, еле заметно кивнул головой и притронулся губами к щеке, лбу и уху Абая — словно целуя его.

Крупные слезы выступили на глазах Абая и тяжелыми каплями упали на нос и щеку старого друга.

— Бесценный старик мой! — прошептал, глубоко вздохнув, Абай, с трудом сдерживая рыдание. Жгучая тоска терзала его широкую грудь, хранившую чувство верной дружбы, исполненную живой любовью к умирающему.

Дармен заплакал. Жаныл беззвучно рыдала. Ербол, сидевший позади них, заметив страдальческие глаза Абая, тяжело вздохнул. Низко склонив голову, Базаралы молча предавался тяжелому горю. Три глубоких борозды на его лбу казались подвижными — подброшенный в костер кизяк, вспыхивал ярким пламенем, резко

оттеня морщины, беспощадные следы пережитого горя и печали.

Собирая остатки последних сил, умирающий пошевелил бровями, зовя к себе Дармена. Юный джигит еще ниже опустил лицо и коснулся щекой дядиной бороды. Даркембай на мгновение задержал взгляд на лице Абая и с трудом перевел узкие глаза на племянника. Силы оставили умирающего, но его сознание было ясным.

— Абай... выполнил... свой долг! — раздался его тихий шепот.

Услышав слова мудрого старика, окружающие друзья поняли их значение. Они вспомнили, как Даркембай привел одиннадцатилетнего Дармена в Семипалатинск к Кунанбаю, собиравшемуся ехать в Мекку. У мальчугана болели глаза, и голова его была перевязана наискосок грязным платком. Обратившись к Кунанбаю, Даркембай сказал, что богатый аксакал в долгу перед мальчиком-сиротой. Вот тогда Абай, взглянув на юного Дармена, и дал клятву справедливого благородного человека: «За отца я в долгу перед тобой!»

Не зря вспомнил этот случай Даркембай. Базаралы и Ербол кивнули, словно в подтверждение слов умирающего. Оба они подумали об одном и том же: «Кем был тогда Дармен, и кем он стал теперь? Кто не назовет его сыном Абая? Разве Дармен для него не сделался гораздо ближе, роднее и дороже всех родичей!»

Четыре слова, произнесенных Даркембаем, были ответом на эти вопросы. Да, сын выполнил свой долг за отца.

Дармен и Абай никогда не говорили и не задумывались над теми отношениями, которые сложились между ними со дня первой встречи. Только теперь после скупых слов Даркембая они ощутили в тайниках сердца глубокую общность, некую слитность чувств. Дармен плакал, потрясенный, не находя слов для ответа умирающему, и только кивал склоненной головой, словно подтверждая слова дяди о выполненном Абаем долге.

По глазам Даркембая он понял, что умирающий хочет еще что-то сказать. Дармен не сводил взгляда с поблекших губ и с узких полуприкрытых глаз старика,

мысленно обращаясь к нему с последней просьбой: «Говори еще, я жду твоих слов! Скажи, что ты завещаешь нам?».

Все находившиеся в маленькой юрте возле смертного ложа сознавали, что приблизилась последняя минута жизни Даркембая, и он на их глазах навеки прощался с племянником. Да и не только Дармен терял любимого дядю. Все понимали, что из этой жизни навсегда уходит благороднейший человек, и мысленно прощались с ним.

Заплаканная Жаныл, поняв, что молчавший долгое время Даркембай хочет высказать ей свою последнюю волю, с беспокойством оглянулась на дверь и прошептала:

— Где же Рахим? Почему же не идет Рахим? Что с ним случилось?

И, словно услышав голос матери, в эту минуту в юрту вошел долгожданный сын, приветствуя Абая и Дармена.

Высокий мальчик с бледным утомленным лицом, сняв малахай, по молчаливому приглашению матери, сделавшей ему знак рукой, неслышным шагом приблизился к постели отца и, заняв место возле Дармена, так же как и все, остановил пристальный взгляд на лице умирающего. Даркембай, увидев рядом с Дарменом своего единственного сына, сильно заволновался. Тонкие поблекшие губы старика сомкнулись, он стиснул челюсти, словно проглотил горький яд.

Абай прочитал на лице своего старого друга предсмертную тоску и стремился разгадать скорбные думы, которые уносил умирающий с собой в могилу.

«Нет более тяжелой кары, чем последнее слово, не сошедшее с уст!» — подумал он с горечью.

«Сын мой остается сиротой. В руках его нет еще ни силы, ни умения. Нет у него стада и нет защитников. Что станет с ним?»

Такие мысли, вероятно, терзали сердце Даркембая, и их читал в глазах умирающего Абай. Он не отрывал взгляда от губ старика и чутко прислушивался к его дыханию, мучительно надеясь услышать последнее слово друга.

Даркембай молчал, но глаза его не отпускали Дармена и словно звали выслушать еще что-то. Дармен понимал это, и сам умоляюще смотрел на дядю, словно спрашивал его: «Что еще скажешь нам?» Старик перевел глаза на Рахима, и губы его дрогнули.

Дармен почти приложился ухом к устам дяди, чтобы не пропустить ни одного слова. И ясно услышал шепот:

— Поручаю Рахима тебе... Сделай его человеком... Оправдай свой долг перед Абаем...

Глаза Даркембая остановились на Абае, и тот, нагнувшись, подставил свое ухо.

— Рахима... Учиться... Человеком! — едва слышно прошептал умирающий и умолк, утомленно опустив веки.

Абай проверил пульс — он едва-едва прощупывался. Отходил ли Даркембай, или просто ослабел, произнеся последние прощальные слова, — трудно было понять. Друзья его, не сводившие глаз с осунувшегося лица умирающего, переглянулись подавленные.

— Он ослабел, — прошептал Базаралы. — Пусть отдохнет.

— Он долго ждал Абая и Дармена, — тихо произнес Ербол. — Теперь он им сказал, что хотел, и успокоился.

— Мне кажется, он уснул! — в словах Дармена все еще звучала надежда. Он никогда не видел, как умирают люди, а возможно, хотел успокоить юного Рахима.

Абай молчал. Он хорошо знал — в такой момент не бывает сна. Даркембай находился в состоянии покорности между бытием и угасанием, это начало отхода. Надо оставить умирающего в покое.

Сделав Дармену повелительный знак не трогаться с места, Абай тихо отошел от постели. К нему присоединились Базаралы и Ербол. Они опустились на кошму и стали тихонько разговаривать, словно чувствуя себя в юрте обычными гостями. Абай рассказал, как вместе с Дарменом он выехал сегодня из Коряка и весь день провел в пути. Погода была плохая, ехали медленно.

Потом он стал расспрашивать о том, что случилось с Даркембаем, как и когда заболел старик.

— Сегодня четвертый день, как он слег,— сказал Базаралы.

— Болезнь свалила его недавно, но сразу круто за него взялась,— добавил Ербол.— Позавчера я пришел к нему. Он сильно стонал.

Жаныл, занятая приготовлением чая, подняла казан и подтвердила:

— Да, он сразу сильно занемог!

Она понимала, почему заболел Даркембай.

— Промерз на ветру. Вот уже целую неделю дует этот проклятый ветер. Старик мой выпросил у соседей арбу, поехал в овраг Караганды за сеном вместе с Рахимом, вот и простыл. А тут еще замело... Надо бы назад вернуться. Да разве он оставит дело несделанное? Целый день они сено возили... Работа тяжелая, силенок мало, одежонка худая... чекмень-то у него тонкий, ворот расстегнут... В горячке он и внимания на это не обратил. Вот и продуло его насквозь... Когда поздно вечером они домой вернулись, он мне и говорит: «Ой, Жаныл, до костей я продрог. Сегодняшний день, видно, доканает меня!» Так и получилось. Слег в постель и всю ночь горел, как в огне. Кашель душил, не мог лежать спокойно, метался... А вот теперь, видите, отмучился...

Жаныл, проглотив слезы, умолкла.

Базаралы, видевший в жизни много нужды и горя, сказал задумчиво:

— Известное дело... Правильно сказала Жаныл... Подстерегла его болезнь и захватила врасплох. Чего только не испытал наш Даркембай! Однако человек не железо. И сильного духом дырявый чекмень не спасет от мороза, а перед лютым зимним ветром любая гордая голова склонится...

Он помолчал немного и с грустью закончил:

— Хороший человек Даркембай! Но когда в снежной степи безоружного путника окружит волчья стая, какой толк от того, что он хороший, нужный, дорогой для всех человек? Старость, голод, нищета, как лютые волки, окружили и разорвали нашего друга.

Абай и Ербол только головами закивали: «правда,

правда». Базаралы нашел точные слова: о Даркембае, прожившем больше семидесяти лет в безвыходной жестокой нужде, лучше не скажешь. В эту ночь положение больного заметно и резко ухудшилось, с каждым часом болезнь одолевала его.

Когда сидевшие в юрте закончили вечернюю трапезу, у Даркембая начались предсмертные судороги. Из груди вырывался зловещий хрип. Абай, Базаралы и Ербол, вздрогнув, переглянулись. Подойдя к постели умирающего, они настороженно прислушивались к его прерывистому дыханию. А потом отошли в сторону и многозначительно переглянулись.

— Хрипит...

— Да...

Все притихли и опустили глаза в немом ожидании таинственного мгновения, которое вот-вот должно наступить. Даркембай умирал. Хрип внезапно оборвался, и наступила полная тишина.

* * *

На следующий день с самого раннего утра многочисленное население аула жатаков хоронило всеми любимого старика. На расстоянии выгона отары от Малалысу, за перевалом, находилось кладбище, туда привезли останки Даркембая и с честью предали земле.

Абай, Базаралы, Ербол и Дармен приняли в похоронах самое горячее участие и взяли на себя заботу о поминках. Абай послал нарочного в ближний аул Акылбая и не только пригласил жителей его на жаназы, но велел привести в дом Даркембая дойную корову и верблюдицу. Это был его аза¹ осиротевшей семье покойного друга.

В дни жаназы и похорон Абай отдал Жаныл несколько овец и стригуна. Ербол, хозяйство которого значительно окрепло, также не остался в стороне — выделил на поминки корову и двух баранов. И Базаралы старался помочь вдове, чем мог.

Утешая осиротевших Жаныл и Рахима, Абай и его

¹ А з а — особое приношение после смерти близкого человека.

друзья после смерти Даркембая задержались в ауле жатаков на целую неделю вплоть до первых семидневных поминок. За эти дни Абай успел съездить погостить к Ерболу, который жил за перевалом в урочище Аккудук. Дни и ночи он проводил вместе со старым другом. Навестил он также и Базаралы, заночевал у него в ауле.

Когда Абай уезжал к Ерболу и Базаралы, Дармен неотступно находился возле Жаныл и Рахима. Трогательно заботливый, он всеми силами старался их утешить. Такое поведение молодого акына не могло ускользнуть от опечаленных людей, собравшихся на поминки, а тем более от Абая, который любил Дармена, как родного сына. Самый близкий родственник среди других родичей Даркембая, Дармен не мог в эти дни покинуть дом безутешной вдовы. И Абай не мог позвать его с собой в обратную дорогу. Да если бы Дармен и вздумал уехать прежде времени, Абай первый осудил бы его.

Предстояло выполнить предсмертное завещание Даркембая, и это задерживало отъезд Абая из аула. Наедине с Дарменом он обсуждал, как лучше осуществить давнишнюю мечту мудрого старика.

— Дакен¹ доверил нам судьбу своего малолетнего сына,— сказал Абай.— Мы с тобой должны позаботиться не только о том, чтобы Рахим не умер с голоду. Мы должны сделать его настоящим человеком. По-моему, мальчик имеет склонность к учению, он уже овладел мусульманской грамотой. Надо его учить дальше. Поговори с Жаныл и самим Рахимом, как они смотрят на это дело. Чтобы учиться, ему придется покинуть аул.

Утрами и по вечерам, когда не было посторонних посетителей в доме, оставшись наедине с женге и племянником, Дармен подолгу советовался с ними. Они никак не могли ни на что решиться. И на то были серьезные причины. Ведь, если Рахим уедет учиться, Жаныл останется в своей зимовке совершенно одинокой, без всякой помощи и опоры в хозяйстве. А это женщине не под силу.

¹ Д а к е н — почтительная форма от имени Даркембай.

Дармен задумался: а что если взять Жаныл к себе, в свой дом. Ведь у него нет ни отца, ни матери, в семье только два человека — он да Макен. Почему бы одинокой вдове не стать третьим членом их семьи, не занять место матери? Тогда Рахим мог бы спокойно покинуть аул и уехать учиться.

Дармен поделился своими планами с Жаныл. Вдова взглянула на него благодарными глазами. Она хорошо знала Макен и любила ее, как родную дочь или сноху, недаром, расставшись с нею на три месяца, она скучала по ней больше, нежели по деверю Дармену. И Макен, чувствуя любовь Жаныл, отвечала ей искренней, горячей привязанностью.

— Чтобы Рахим смог учиться, вы должны быть вместе с Макен!

Тронутая до глубины души, вдова благодарила судьбу — совместная жизнь с близкими людьми в какой-то мере восполняла понесенную утрату. И она с радостью дала согласие, но тут же оговорила его некоторыми условиями. Она должна выполнить все свои обязанности перед усопшим, почтить память Даркембая. Пока не пройдет сорок дней со дня его смерти, а может быть, даже год, нельзя допустить, чтобы исчез очаг в юрте, и разрушено было гнездо, свитое им вместе с Жаныл. Это было бы тяжелым ударом для всех окружающих, да и она сама не в состоянии совершить такой оскорбительный для памяти покойного мужа поступок. Поэтому, как бы ни стремилась Жаныл в семью Дармена, она не может сейчас увести с собой шанрак юрты, в которой прожил всю свою совместную с ней жизнь Даркембай. Дом его не должен исчезнуть бесследно. Вдова считала, что до лета она должна остаться в ауле вместе с Рахимом.

Целый день Жаныл, Дармен и Рахим обдумывали, как поступить лучше, и не пришли ни к какому решению. После того, как были отмечены семидневные поминки и Абай собрался в дорогу, Жаныл обратилась к нему за советом.

Абай одобрил намерение вдовы остаться в ауле до весны. Но все же он посоветовал Рахиму после осенней перекочевки и подготовки зимних запасов большую

часть времени проводить в доме Дармена на Акшоки. Там он сможет понемножку обучиться русской грамоте. На следующий год, когда Жаныл переберется к Дармену, Рахим сможет поехать в город и учиться там по-мусульмански или по-русски, как захочет. А до тех пор, чтобы мать не чувствовала себя одинокой, сын будет каждый месяц приезжать к ней гостить на пять — десять дней.

Жаныл слушала Абая, и в сердце ее разливалась теплота благодарности — друзья Даркембая выполняли его предсмертное завещание.

В день отъезда Абая Базаралы вывел его из аула и сказал:

— Болезнь моя не дает мне покоя, то возьмет меня в свои когти, то отпустит. Видно, прилипла она ко мне, как старая хромота, не избавлюсь я от нее никак. Раньше ревматизм грыз суставы, сейчас добрался до сердца. В этом году уже два раза так меня брало за сердце, что я сознание терял...

За эту неделю, что они прожили вместе, Абай заметил, что Базаралы не только исхудал, но и вообще весь осунулся, постарел, лицо вытянулось, побледнело... Но когда поэт спрашивал у Базаралы о его здоровье, тот отвечал неохотно и скупно, особенно при людях. Как-то, оставшись наедине, сказал с раздражением:

— Когда человек достигнет моего возраста, он может разговаривать с друзьями только о здоровье да о болезнях. Конечно, от близких не приходится скрывать, что с каждым днем ты становишься слабее... И от тебя я этого скрывать не хочу...

Признание старшего друга Абай расценивал по-своему. У Базаралы много врагов, желающих ему всяческих бед. Как они будут злорадствовать и торжествовать, если узнают о его неизлечимой болезни. Но Базаралы не доставит им радости. Как истинный герой, он не желает открыто показывать свои раны, а пытается сам залечить их. Так думал Абай, и перед мысленным взором его вставал образ могучего тигра, тайно зализывающего свои раны.

Сейчас, внимательно взглянув на изможденное лицо друга, Абай понял, что он сказал далеко не все, и, ста-

раясь разгадать, почему Базаралы завел этот разговор, тихо произнес:

— Я слушаю тебя. Продолжай.

И тогда Базаралы заговорил о головорезах-иргизбаевцах, вновь выпустивших свои когти. Вместе с Шубаром и Азимбаем они затеяли новое злодеяние, но, решившись прямо назвать имя Базаралы, пустили клевету про его соседа Абды, назвав его вором, а Базаралы ответчиком за него. В это лето, говорят, конокрады увели любимого Азимбаевского скакуна Байгекера. Поиски и расспросы в окрестностях ни к чему не привели. Вот они и пустили слух будто «Абды увел коня, но всему делу заводчик Базаралы, он сумел ловко сбыть его с рук». Недавно от имени Такежана, Азимбая и многочисленных иргизбаевцев приехал сам Шубар и поставил Базаралы условие:

— Выдай нам для расправы Абды, а если хочешь оправдать вора,— принеси клятву в его невиновности.

Болезнь, истощившая силы Базаралы, помешала старику выгнать головорезов из своей юрты. В былые годы он ринулся бы на них с боевым кличем, вступил с ними в единоборство. А сейчас он чувствовал себя словно опутанный сетью. Но все же он, окруженный злобными врагами, не признал виновным Абды, верил в его честность.

— Понапрасну клятвы я не даю, а говорю, что он не виновен. С этим я умру, но не соглашусь с твоей подлостью, Шубар!

Так Базаралы отразил первое наступление врагов. На другой день Шубар нагрянул вместе с Азимбаем и пятью его приспешниками и устроил новое бесчинство. Базаралы по-прежнему стоял на своем.

— Абды невиновен, на этом я стоял и стоять буду. А если Такежан, достигший возраста пророка, убежден в его виновности, пусть он даст клятву и пусть тогда убьет меня вместе с Абды.

Такой ответ был достоин Базаралы, его ясного разума, его мужественной решительности. Иргизбаевцы, потерпев полное поражение, отступили, но ненадолго. Десять дней тому назад в предгорьях Чингиса, в ауле Такежана, состоялся общий сбор всех иргизбаевцев,

руководимых Азимбаем и Шубаром. Они сговорились уничтожить Базаралы и сжечь дотла его зимовку, а если кто из жигитеков вздумает заступиться за него, то уничтожить и всех жигитеков. Чтобы сделать эту угрозу более внушительной, Азимбай и Шубар связали своих сообщников общей клятвой и переманили на свою сторону зловерного бия из жигитеков — Абдильду, сильно обнищавшего после прошлогоднего джута. Известный на всю округу как злостный обманщик, прозванный народом «коварным Абдильдой», этот продажный бий, потерявший совесть и честь, готов был за взятку на любую подлость. Он охотно переметнулся на сторону иргизбаевцев и принял участие в их сговоре...

Рассказывая о предательстве «коварного Абдильды», Базаралы сказал с горькой иронией:

— Хочешь спокойно умереть, да и то тебя завистники не пускают в могилу. Видимо, боятся, что если Базаралы попадет на тот свет раньше их, то и там сумеет им насолить. Вот почему они хотят забросать мою могилу камнями. А я вот назло им не умру! Останусь бельмом на глазу, пусть бесятся... — и Базаралы внезапно подмигнул.

Перед Абаем стоял прежний гордый Базаралы, с насмешливой улыбкой на лице, и поэт залюбовался им.

— Вот ты целую неделю присматриваешься ко мне, — продолжал Базаралы, — и все время допытываешься о моей болезни. А я не говорю о ней людям. Мы спали эти ночи рядом с тобой на одной кошме, и бывали минуты, когда сердце очень беспокоило меня. Я просыпался и лежал с открытыми глазами. Но тебя я ни разу не разбудил. Не знаю, какой прок от этого, но пока я не сомкнул глаз и не лег в могилу, я хочу, чтобы враги мои завидовали мне и с ненавистью говорили: «Когда же подохнет этот железный Базаралы!?» Мне было мучительно тяжело, но я скрывал свой недуг ото всех. Только тебе одному я открыл душу...

Горестное раздумье овладело Абаем, когда, распрощавшись с Базаралы, он покинул аул и отправился в путь. Тяжелые мысли теснились в его голове, подобно нескончаемым серым тучам, которые, нагоняя друг друга, плотно закрывали холодное осеннее небо.

Приближалась зима, а снега все не было. Спасаясь от пронзительного лютото ветра, жители аула Акшоки перебрались в теплые саманные зимовки и через день топили печи. Дармен и Макен тоже перешли в свое жилье, находившееся по соседству с мазанкой Баймагамбета.

В доме Абая тишина. Сам хозяин уединился в комнате рядом с гостиной. Последние десять дней он усердно работал, не отрываясь от книг и рукописей. В дальней горнице Магаш и Какитай также склонились над книгами. В эти дни они запоем читали увлекательные русские романы и в домашнем кругу пересказывали их. Магаша и Какитая слушали, затаив дыхание, стараясь не пропустить ни одного слова, как обычно в аулах слушают сказки и былины.

В последнее время Дармен также полюбил уединение. Сидя в теплой уютной комнате, он вдохновенно перебирал струны домбры, извлекая глухие печальные звуки. Аккомпанируя себе, он пел, полузакрыв глаза. Песня лилась то скупое, по каплям, то свободно, бурным потоком, словно растекалась на множество журчащих ручейков. Так рождались новые прекрасные жыры¹.

Днем Айгерим обычно звала к себе Макен. После переезда в зимовку они вместе затеяли одно увлекательное дело: занялись вышиванием на тонком цветном сукне. Несколько дней они готовились к этому, чертили на бумаге затейливые узоры по своему вкусу. Макен оказалась искусной мастерицей, она унаследовала от матери способность к шитью и различным рукоделиям и обладала неистощимой выдумкой и хорошим вкусом. Не только Айгерим, но Магаш, Какитай и Альмагамбет дружно расхваливали узоры, созданные Макен, они высоко ценили и новый покрой малахаев, сшитых ее искусной рукой. Даже сам Абай частенько, остановившись за спиной двух рукодельниц, с интересом рассматривал нарисованные на бумаге узоры из цветов и листьев, придуманные Макен для будущих вышивок.

¹ Жыры — песня.

Для каждого из них у нее было свое название: «гусиные лапки», «ласточкины крылья», «птичьи шейки», «бараньи рога». Расспрашивая Айгерим, для чего предназначен тот или иной узор, Абай иногда так увлекался, что сам начинал вместе с нею подбирать цвета и оттенки ниток для вышивки. Так с первых дней жизни на зимовке работа, начатая двумя художницами-мастерицами, привлекла внимание Абая, а постепенно и всех мужчин аула. Как хорошо, что предусмотрительная Айгерим еще с весны догадалась сделать запас бархата, сукна, шелка, плюша и разноцветных ниток. Сейчас все это очень пригодилось. Айгерим и Макен решили вышить большой тускииз — шелковый ковер — чтобы повесить его на стену возле кровати.

Так в двух домах аула Акшоки протекали осенние дни людей, занятых своим любимым трудом.

Эта осень была особенно плодотворной для вдохновенного творчества Абая. Айгерим, проснувшись утром, нередко находила на его столе рукопись последнего стихотворения, созданного ночью. Она осторожно брала лист бумаги, покрытый неровными строчками и, бережно держа его белыми тонкими пальцами, несла к жене Дармена. И прежде всего просила почитать написанное вслух. Макен хорошо читала и вот уже несколько лет вместе с Магаш заучивала стихи Абая наизусть. Для нее переписывать стихи Абая стало радостной привычкой. Каждое утро она с нетерпением ожидала появления Айгерим с исписанными листками в руках. Читать крупный красивый почерк Абая было легко, и Макен охватывало чувство большого счастья, когда она вслух произносила первую строку нового стихотворения. Ей казалось, что она читает письмо старшего брата или отца, написанное для нее одной. Иногда на смуглом лице молодой женщины вспыхивал алый румянец, и она не могла скрыть своего волнения.

Айгерим любила наблюдать в эти минуты за Макен.

Вот чуть дрогнула тонко очерченная бровь. Прекрасные узкие темные глаза задумчиво устремлены на исписанный лист бумаги. Молчаливая улыбка приподнимает левый уголок ее маленького пухлого рта. Айгерим любит продолговатыми глазами Макен — они

горят радостным огоньком, в них скрыта необычайная притягательная сила.

Переживающая полный расцвет своей немеркнущей красоты, Айгерим видит, с какой душевной жаждой Макен впитывает каждое новое стихотворение Абая, любимого и глубоко почитаемого супруга Айгерим, и чувство нежности к невестке растет в ее сердце с каждым днем все больше и больше.

Как дороги Айгерим эти чудесные дни вдохновенного труда мужа, когда подобно цветам, незримо, во время ее сна, рождаются прекрасные стихи! Как дороги ей утренние встречи с Макен, произносящей вслух самые сокровенные думы Абая! Нет, давно Айгерим не переживала таких увлекательных, волнующих минут наслаждения, когда даже невысказанное и несказанное становится дорогим и понятным без слов.

Вот и сейчас Айгерим, оставив комнату, где находился Абай, принесла два исписанных листа бумаги и села на свое обычное место, несколько выше невестки. Макен начала читать мелодичным звучным голосом:

Не кидайся на все сгоряча,
Дарованьем своим гордись,
И подобием кирпича
В зданье жизни самой ложись.

Не переводя дыхания, она прочитала все стихотворение и, по просьбе Айгерим, снова повторила его. А потом, желая насладиться созвучием прекрасных слов, отдельные строки Макен шептала про себя.

Айгерим, запомнившая первое четверостишие, сказала:

— Эти слова относятся прямо к нам! Сколько раз Абай говорил: «Человек, имеющий разум, силу, совесть, не может прожить свою жизнь без труда. Будь ты хоть сама царица — тунеядство погубит тебя». Здесь он об этом и пишет.— Она задумалась на минуту и продолжала.— А я вот не пойму, что значит: «...Подобием кирпича в зданье жизни самой ложись». Если это про нас, то какие же у нас кирпичи?

И Айгерим засмеялась серебристым смехом.

Макен вновь прочитала вслух конец четверостишия,

друзья после смерти Даркембая задержались в ауле жатаков на целую неделю вплоть до первых семи-дневных поминок. За эти дни Абай успел съездить погостить к Ерболу, который жил за перевалом в урочище Аккудук. Дни и ночи он проводил вместе со старым другом. Навестил он также и Базаралы, заночевал у него в ауле.

Когда Абай уезжал к Ерболу и Базаралы, Дармен неотступно находился возле Жаныл и Рахима. Трогательно заботливый, он всеми силами старался их утешить. Такое поведение молодого акына не могло ускользнуть от опечаленных людей, собравшихся на поминки, а тем более от Абая, который любил Дармена, как родного сына. Самый близкий родственник среди других родичей Даркембая, Дармен не мог в эти дни покинуть дом безутешной вдовы. И Абай не мог позвать его с собой в обратную дорогу. Да если бы Дармен и вздумал уехать прежде времени, Абай первый осудил бы его.

Предстояло выполнить предсмертное завещание Даркембая, и это задерживало отъезд Абая из аула. Наедине с Дарменом он обсуждал, как лучше осуществить давнишнюю мечту мудрого старика.

— Дакен¹ доверил нам судьбу своего малолетнего сына,— сказал Абай.— Мы с тобой должны позаботиться не только о том, чтобы Рахим не умер с голоду. Мы должны сделать его настоящим человеком. По моему, мальчик имеет склонность к учению, он уже овладел мусульманской грамотой. Надо его учить дальше. Поговори с Жаныл и самим Рахимом, как они смотрят на это дело. Чтобы учиться, ему придется покинуть аул.

Утрами и по вечерам, когда не было посторонних посетителей в доме, оставшись наедине с женой и племянником, Дармен подолгу советовался с ними. Они никак не могли ни на что решиться. И на то были серьезные причины. Ведь, если Рахим уедет учиться, Жаныл останется в своей зимовке совершенно одинокой, без всякой помощи и опоры в хозяйстве. А это женщине не под силу.

¹ Д а к е н — почтительная форма от имени Даркембай.

Дармен задумался: а что если взять Жаныл к себе, в свой дом. Ведь у него нет ни отца, ни матери, в семье только два человека — он да Макен. Почему бы одинокой вдове не стать третьим членом их семьи, не занять место матери? Тогда Рахим мог бы спокойно покинуть аул и уехать учиться.

Дармен поделился своими планами с Жаныл. Вдова взглянула на него благодарными глазами. Она хорошо знала Макен и любила ее, как родную дочь или сноху, недаром, расставшись с нею на три месяца, она скучала по ней больше, нежели по деверю Дармену. И Макен, чувствуя любовь Жаныл, отвечала ей искренней, горячей привязанностью.

— Чтобы Рахим смог учиться, вы должны быть вместе с Макен!

Тронутая до глубины души, вдова благодарила судьбу — совместная жизнь с близкими людьми в какой-то мере восполняла понесенную утрату. И она с радостью дала согласие, но тут же оговорила его некоторыми условиями. Она должна выполнить все свои обязанности перед усопшим, почтить память Даркембая. Пока не пройдет сорок дней со дня его смерти, а может быть, даже год, нельзя допустить, чтобы исчез очаг в юрте, и разрушено было гнездо, свитое им вместе с Жаныл. Это было бы тяжелым ударом для всех окружающих, да и она сама не в состоянии совершить такой оскорбительный для памяти покойного мужа поступок. Поэтому, как бы ни стремилась Жаныл в семью Дармена, она не может сейчас унести с собой шанрак юрты, в которой прожил всю свою совместную с ней жизнь Даркембай. Дом его не должен исчезнуть бесследно. Вдова считала, что до лета она должна остаться в ауле вместе с Рахимом.

Целый день Жаныл, Дармен и Рахим обдумывали, как поступить лучше, и не пришли ни к какому решению. После того, как были отмечены семидневные поминки и Абай собрался в дорогу, Жаныл обратилась к нему за советом.

Абай одобрил намерение вдовы остаться в ауле до весны. Но все же он посоветовал Рахиму после осенней перекочевки и подготовки зимних запасов большую

Для каждого из них у нее было свое название: «гусиные лапки», «ласточкины крылья», «птичьи шейки», «бараньи рога». Расспрашивая Айгерим, для чего предназначен тот или иной узор, Абай иногда так увлекался, что сам начинал вместе с нею подбирать цвета и оттенки ниток для вышивки. Так с первых дней жизни на зимовке работа, начатая двумя художницами-мастерицами, привлекла внимание Абая, а постепенно и всех мужчин аула. Как хорошо, что предусмотрительная Айгерим еще с весны догадалась сделать запас бархата, сукна, шелка, плюша и разноцветных ниток. Сейчас все это очень пригодилось. Айгерим и Макен решили вышить большой тускииз — шелковый ковер — чтобы повесить его на стену возле кровати.

Так в двух домах аула Акшоки протекали осенние дни людей, занятых своим любимым трудом.

Эта осень была особенно плодотворной для вдохновенного творчества Абая. Айгерим, проснувшись утром, нередко находила на его столе рукопись последнего стихотворения, созданного ночью. Она осторожно брала лист бумаги, покрытый неровными строчками и, бережно держа его белыми тонкими пальцами, несла к жене Дармена. И прежде всего просила почитать написанное вслух. Макен хорошо читала и вот уже несколько лет вместе с Магаш заучивала стихи Абая наизусть. Для нее переписывать стихи Абая стало радостной привычкой. Каждое утро она с нетерпением ожидала появления Айгерим с исписанными листками в руках. Читать крупный красивый почерк Абая было легко, и Макен охватывало чувство большого счастья, когда она вслух произносила первую строку нового стихотворения. Ей казалось, что она читает письмо старшего брата или отца, написанное для нее одной. Иногда на смуглом лице молодой женщины вспыхивал алый румянец, и она не могла скрыть своего волнения.

Айгерим любила наблюдать в эти минуты за Макен.

Вот чуть дрогнула тонко очерченная бровь. Прекрасные узкие темные глаза задумчиво устремлены на исписанный лист бумаги. Молчаливая улыбка приподнимает левый уголок ее маленького пухлого рта. Айгерим любит продолговатыми глазами Макен — они

горят радостным огоньком, в них скрыта необычайная притягательная сила.

Переживающая полный расцвет своей немеркнущей красоты, Айгерим видит, с какой душевной жаждой Макен впитывает каждое новое стихотворение Абая, любимого и глубоко почитаемого супруга Айгерим, и чувство нежности к невестке растет в ее сердце с каждым днем все больше и больше.

Как дороги Айгерим эти чудесные дни вдохновенного труда мужа, когда подобно цветам, незримо, во время ее сна, рождаются прекрасные стихи! Как дороги ей утренние встречи с Макен, произносящей вслух самые сокровенные думы Абая! Нет, давно Айгерим не переживала таких увлекательных, волнующих минут наслаждения, когда даже невысказанное и несказанное становится дорогим и понятным без слов.

Вот и сейчас Айгерим, оставив комнату, где находился Абай, принесла два исписанных листа бумаги и села на свое обычное место, несколько выше невестки. Макен начала читать мелодичным звучным голосом:

Не кидайся на все сгоряча,
Дарованьем своим гордись,
И подобием кирпича
В зданье жизни самой ложись.

Не переводя дыхания, она прочитала все стихотворение и, по просьбе Айгерим, снова повторила его. А потом, желая насладиться созвучием прекрасных слов, отдельные строки Макен шептала про себя.

Айгерим, запомнившая первое четверостишие, сказала:

— Эти слова относятся прямо к нам! Сколько раз Абай говорил: «Человек, имеющий разум, силу, совесть, не может прожить свою жизнь без труда. Будь ты хоть сама царица — туеядство погубит тебя». Здесь он об этом и пишет.— Она задумалась на минуту и продолжала.— А я вот не пойму, что значит: «...Подобием кирпича в зданье жизни самой ложись». Если это про нас, то какие же у нас кирпичи?

И Айгерим засмеялась серебристым смехом.

Макен вновь прочитала вслух конец четверостишия,

и Айгерим задумалась вновь. Эти строки словно учили ее, красавицу и искусницу, как надо относиться к людям, к своим родственницам, например, которые завидовали ей. А Макен считала, что некоторые строки этих стихов прямо адресованы Айгерим, и их надо принимать как дружеский, благожелательный совет, наставление. Вот их-то она с чуть заметной улыбкой снова перечитала:

Хвастовство — это слабость тех.
Что хотят выше прочих встать.
Возбуждающий зависть всех
Может быстро несчастным стать.

Надо смело вперед шагать
По дороге трудной своей.
Никогда не могут устать
Обучающие детей.

Макен остановилась. Айгерим была восхищена и взволнована. Волна алого румянца залила ее щеки. Звонко рассмеявшись, она сверкнула своими белыми ровными зубами и шутливо воскликнула:

— Оказывается, я и не поняла, что эти строчки прямо относятся к нам с тобою. Ты это верно заметила.

Макен скромно опустила глаза:

— Кши¹-апа, мне кажется, Абай-ага говорит о том, как вы меня воспитываете, как обучаете вышивать узоры:

Никогда не могут устать
Обучающие детей.

Так ежедневно в дождливое пасмурное утро или в полдень, когда осеннее солнце превращало окрестные желтые холмы в слитки золота, рождались прекрасные строки, полные сокровенных дум Абая. Но чаще они приходили ночью, когда засыпал весь аул. Сидя за круглым столом, поэт творил, набрасывая на бумагу торопливые строки, изливая в них терзавшие его скорбные думы о тягостной жизни народа.

Однажды в такую минуту творческого горения Абай вспомнил свой последний разговор с Базаралы в день отъезда из аула Даркембая. Рассказывая о проделках Азимбая и Шубара, старик говорил, что эти люди похо-

¹ К ш и — младшая.

жи на волков, которые, готовясь к хищному набегу, собираются в стаю так тесно, что касаются друг друга головами, словно сговорившись, одновременно поднимают к небу свои окровавленные морды и дружно воют. А затем, взметая снег, вихрем налетают на беззащитное стадо овец, пасущихся в низине, и чинят над ними кровавую расправу. Азимбай и Шубар ничуть не лучше кровожадных волков. Наметив себе жертву, они сбивают свою волчью стаю, устраивают сборища и сговоры, связывая клятвой своих сообщников по преступлениям. Эти злодеи, пожалуй, хуже волков, угрозами они заставляют примкнуть к своей своре даже тех, кто хотел бы остаться в стороне. Но омерзительнее даже этих зверей взяточники-бии, вроде Абдильды, продающие свою совесть за «круп коня»¹ или «горбы верблюда»², — они примыкают к волчьей стае, чтобы поживиться за счет несчастных бедняков.

Вспоминая с жгучей ненавистью Азимбая, Шубара и Абдильду, Абай ясно представил себе бледное, изможденное лицо больного Базаралы, его осуждающие глаза. И рука поэта покрыла лежавший перед ним лист бумаги гневными строчками:

У себя на дому
Собирается сброд —
Роют яму тому,
Кто не с ними идет.

В алчной злобе своей
Каждый клятву дает.
Ослабевших людей
Гибель верная ждет.

Зло не в силах пресечь,
Растерялся народ:
Как бы нам уберечь
От грабителей скот?

Абай нанизывал строку за строкой, а перед собой видел волчью стаю — разом подняв к небу окровавленные морды, они выли, готовясь к новому нападению.

¹ «З а круп коня» — в переносном смысле: подкупить, предоставив жирного коня во временное пользование.

² «Горбы верблюда» — вид взятки: предоставить во временное пользование верблюда, до исхудания его, т. е. истощения горбов.

Это стихотворение в доме Дармена распевалось под домбру. Магаш и Какитай переписывали его по несколько раз для друзей. Один листок попал в руки учеников Кишкене-муллы, и они быстро выучили стихи наизусть. Другое знаменитое стихотворение Абая, бичевавшее прожорливых волостных управителей и алчных злодеев, подобных Азимбаю, тоже родилось в Акшоки в эти осенние дни вдохновенного труда поэта, насытившего каждую строку своего нового творения горькой иронией или злой, ядовитой насмешкой. Из сердца разгневанного песнетворца вылились слова обличения:

Чтоб быть всегда на высоте, ты, страсти укротив,
Всем покажи, что прозорлив: не прост и не спесив.
И будешь править без помех, коли обманешь всех,
Что ты не мот, что за народ, что в меру бережлив.

Народ — дитя: ты у него кусок не вырывай,
А потихоньку, под шумок, тащи себе, хватай.
При людях делай гордый вид, что ты добычей сыт,
И как ворона на навоз при всех не налетай.

Так Абай изобличал разбогатевшего на взятках Такежана и волостного управителя Азимбая, который, следуя по отцовским стопам, успел уже построить три зимовки и продолжал богатеть с каждым днем. Поэт вспомнил и о волостном управителе Шубаре и о других вымогателях, хитроумных аткаминерах, которых он повидал за свою долгую жизнь. По крупинкам собирал он в памяти свои впечатления, по черточке от каждого из них и создал стихотворение, цельное, массивное, слитое из гневной иронии, подобно сплаву жамбы.¹ В ауле Акшоки его без конца переписывали, заучивали наизусть и распевали под домбру.

* * *

В один из осенних вдохновением благодатных студеных дней в полдень неожиданно прискакал из города «о двуконь» Баймагамбет. Он проехал мимо своего

¹ Ж а м б а — серебряный слиток.

дома и, ни с кем не перемолвившись ни единым словом, направился прямо к Абаю. По его торопливой походке, усталому лицу, а главное — по внезапности приезда, Айгерим, Магаш и Какитай догадались, что случилось нечто необычное. И они следом за гонцом вошли в комнату Абая.

Не отдав приветствия хозяину дома, Баймагамбет, опустившись на одно колено, вытащил из-за пазухи сложенный вчетверо листок бумаги и протянул его Абаю. Это была весть от сына.

— Телеграмма от Абиша!

— От него самого!

— Что пишет?

Тревожный шепот, вопросы раздавались со всех сторон.

Абай медленно, страшно медленно, читал длинную телеграмму. Еще полностью не уяснив ее содержания, не поняв, что же такое случилось, он протянул телеграфный бланк Магашу и Какिताю. Сын прочитал, прочел Какитай, а затем Абай снова и снова разбирал ее про себя от первой до последней буквы. Теперь он понял все, и страх вошел в его сердце. Когда он поднял глаза, полные ужаса и печали, Айгерим показалось, что они вот-вот выскочат из орбит. Смуглое лицо его посерело. Широкие длинные рукава рубашки словно сами собой шевелились — это от волнения дрожали его руки. Телеграмма, присланная Абишем, так потрясла отца, что он сидел, не двигаясь с места, не зная, что делать, куда идти, что сказать.

Растерянный вид Абая встревожил домочадцев. Все сидели молча, не шелохнувшись. Магаш, заметив умоляющие глаза Айгерим, вслух прочитал телеграмму, сразу переводя ее на казахский язык.

«Болею два месяца, ложусь в лазарет. Магиш отправил домой. Пусть ко мне поскорее приедет Магаш».

Все знали, что у Абиша слабое здоровье. Еще когда он был в Петербурге, не только матери, старики и старухи, но и Абай, Магаш и многие молодые родственники, тревожась за него, частенько советовали ему прекратить ученье. Но он не послушался. Перед же-

нитьбой на Магиш и своим отъездом в Алма-Ату, Абиш как-то, досадуя на свое хилое здоровье, обмолвился многозначительной фразой: «Моя жизнь коротка!» Какитай и Магаш, перепугавшись, начали допытываться, к чему он это сказал. Заметив слезы на глазах братьев, Абиш поспешил успокоить их и обратил свои слова в шутку.

Это было два года назад. Совсем недавно в Акшоки получили последнее письмо Абиша, которое не вызвало у родичей никакого беспокойства. Вообще в своих частых письмах Абиш никогда не жаловался на здоровье — не подавал никакого повода для тревоги. И вдруг такая тяжелая весть: болеет уже два месяца! Эти грозные слова наводили на горестное раздумье. Человек живет в большом городе, рядом есть доктора и лекарства, почему же он не смог вылечиться и даже попал в лазарет? Жену он отправил в Семипалатинск — это был очень плохой признак, значит, слег надолго. Видимо, он долгое время скрывал свою болезнь, а когда скрывать стало уже невозможно, послал тревожную весть. Если бы не было серьезной опасности, Абиш ни за что не отправил бы отцу такой телеграммы со скупыми и холодными, как камень, словами.

Так думали Абай, Магаш, Какитай и Дармен, молча проливавшие слезы. Плакавших в голос женщин Баймагамбет и Муха увели в соседнюю комнату.

Неизвестно, сколько времени просидел неподвижный Абай, переживая свалившееся на него горе и не вытирая слез, струившихся по его широкому лицу. Медленно овладевал он собою, а когда, наконец, пришел в себя, объявил домочадцам свое решение:

— Ну, что же сидеть сложа руки! Разве лошадей в ауле не хватит! Собирайтесь живее в дорогу! Завтра утром поедем в Семипалатинск. Ты, Магаш, приготовься выехать оттуда в Алма-Ату. Какитай, Дармен... готовьтесь к поездке...

Абай не договорил и, закрыв лицо ладонями, громко зарыдал. Его молодые друзья не выдержали, вытирая слезы, они поспешно один за другим вышли из комнаты. Опечаленного отца следовало в эту минуту оставить

наедине со своими мыслями и своим горем. К тому же, отдав приказание о завтрашнем выезде в дорогу, Абай не в силах был больше разговаривать и, видимо, действительно желал остаться один со своей душевной раной.

В тот же вечер, когда солнце клонилось к закату, Магаш, Какитай и Муха верхами скакали в Семипалатинск. По пути они должны были завернуть на дальний выпас, где находились конские табуны, и в эту же ночь отправить резвых лошадей в аул для упряжки под возок Абая. Нужно было также отобрать тучных кобылиц и хороших коней для продажи на семипалатинском базаре. Предстоящая поездка Магаша в Алма-Ату требовала немалых денег.

Всю ночь Абай провел в полном одиночестве, переживая мучительное горестное волнение. Заснуть он не мог. Айгерим слышала, как тяжелые вздохи сотрясали могучую грудь мужа. Иногда он что-то шептал, разговаривая сам с собой, и в голосе его звучала невыносимая тоска. А изредка со всей страстью переживаемого горя он повторял дорогое имя далекого сына: «Мой Абиш!», «Абиш!», «Родной Абиш мой!»

До самого рассвета сердце встревоженного отца не знало покоя. Измученный страданиями и бессонницей, он отдавался теперь на волю слов, рвавшихся из его груди, изливал свое горе мерными строками. Слова как бы выплавлялись из слез, вздохов рыданий, рождались в горении пламенной души. Слова шли от сердца, а не от разума, били ключом горячей, дымящейся крови:

Всемогущий аллах!
Обращаюсь с мольбой:
Не грози, не страши,
Обнадежь, успокой

Умиленно молю...
Если б только ты знал,
Как он нужен отцу,
Мой любимец родной!

Ничего не хочу,
Не кричу, не молчу —
Лишь молитву одну
Потаенно шепчу...

Абай плохо сознавал, что за строки ложались из-под его пера на бумагу. Горечь и тоска клокотали в каждом написанном слове. Смутная тревога железными тисками сжимала его израненное сердце, он чувствовал, словно его терзают острые, ядовитые когти, каждое мгновение несло с собой нестерпимую боль. Как долго он писал? О чем он сказал? И сколько еще осталось в сердце невыразимых страданий? Абай не в силах был ответить на эти вопросы. Но, думая о смертельной опасности, грозящей сыну, он не мог не изливать на бумагу плач своего опечаленного сердца. Песня, родившаяся в эту ночь, была словно кюй его души, кюй всей его грядущей жизни.

... Прошла неделя с того дня, когда была получена тревожная телеграмма от Абиша. Закончив все приготовления к дальней дороге, Магаш вместе со своим закадычным другом Майканом, а также аульным приятелем Абиша, веселым Утегельды, покинул Семипалатинск, держа путь на Алма-Ату.

Абай, Какитай и Дармен отправляли с Магашем горестные письма, написанные стихами, а сами решили не покидать Семипалатинска до тех пор, пока не придут добрые вести от Абиша из Алма-Аты.

3

... Быстрый каурый конь резво мчал по улице Верхних Жатаков легкую кошевку, в которой сидели Абай и Дармен. Натянув вожжи, Баймагамбет прислушивался к певучему скрипу полозьев. Плотный укатанный снег временами звенел, как стекло. Суровая зима стояла в тот год в Семипалатинске. Вечерний мороз покрыл инеем бороды и усы путников, тонкими льдинками слепил ресницы.

Переехав по льду Иртыш, Баймагамбет остановил кошевку возле ворот Кумаша. Не выходя из саней, Абай послал Дармена узнать, нет ли для него письма или телеграммы. От Магаша до сих пор не было никаких вестей. Через минуту Дармен вернулся расстроенный, с пустыми руками.

До заката солнца Абай объехал все дома казахов в Средних и Верхних Жатаках, где приходилось останавливаться ему, его детям или близким родственникам. Нигде не было письма от Магаша. На всякий случай заехали еще к одному знакомому казаху, жившему за базаром в двухэтажном коричневом доме.

Тревога терзала сердце Абая. По его опечаленному лицу и нахмуренным бровям Баймагамбет понимал, какие сомнения волновали его душу. Когда Дармен опять вышел с пустыми руками, Абай торопливо назвал адрес еще одного дома, находившегося в нижней части Слободки на пригорке, неподалеку от паромной переправы. Это была почтовая контора. Здесь Абай сам вошел в помещение, где стоял запах клея и сургу-ча, и спросил нет ли среди недоставленной корреспонденции письма на его имя из Алма-Аты. Старый чиновник, длиннобородый с изможденным желтым лицом и очками на кончике носа, по тревожным глазам Абая сразу догадался об исключительной важности ожидаемого письма и, просмотрев пачку синих и белых конвертов, хранившихся в продолговатом ящике, ответил очень обстоятельно:

— Письма на имя Кунанбаева из Алма-Аты нет, должно быть потому, что в районе Аягуза бушует сильный ураган. По тракту между пикетами Аркат и Аягуз невозможно проехать. Уже неделя, как почта, отправленная из Семипалатинска, застряла в Аркате. По всей вероятности, письмо, которое вы ожидаете, находится там же. Но есть слух, что вчера из Аягуза вышло несколько подвод. Если не произойдет еще какой-нибудь непредвиденной задержки, надо ожидать их прибытия в Слободку сегодня ночью. Возможно, завтра же вы получите письмо...

Это сообщение немного утешило Абая.

Покинув почтовую контору, он велел ехать к Какитаю, который жил в центре Слободки. Кошевка остановилась возле четырехоконного домика с плоской кровлей, и Дармен отправился за Какитаем. Племянник выбежал на улицу и с облегчением выслушал рассказ о том, почему задержалась почта, а также поручение Абая. Возможно, сегодня ночью привезут письмо Ма-

гаша. Надо рано утром съездить в почтовую контору, получить его и доставить в дом Дамежан, где Абай останется ночевать.

— Все будет исполнено в точности! — радостно воскликнул Какитай, также с нетерпением ожидавший весточки от брата.

Когда уже совсем стемнело, сани Абая остановились у ворот Дамежан. Здесь его ждали, как самого дорогого гостя. В задней комнате Абай увидел лодочника Сеиля. Среди городских тружеников, с которыми доводилось встречаться, Сеиль ему особенно нравился своим мягким характером, здравыми суждениями и превосходным знанием здешней жизни. Абай с ним встречался не только в лодке на перевозе, они и в гости друг к другу заходили.

Сеиль, обычно сидевший на почетном месте в доме Дамежан, хотя и был ровесником Абая, сразу же поднялся и пошел ему навстречу. Приветствуя гостя, он обеими ладонями пожал руку поэта и проводил его на торь. Во всех поступках Сеиля учтивость горожанина сочеталась с медлительной важностью и сдержанностью степняка. Абаю приятно было встретить человека, который ему всегда нравился, и удрученное настроение его слегка прояснилось.

Сняв шубу с помощью Дамежан и Сеиля, Абай приветливо поздоровался с ними. Он хорошо понимал, почему лодочник находится в этом доме. После смерти Жабыкена, возможно даже последовав добрым советам Абая, Дамежан и Сеиль породнились. Дочку Сеиля Жангайшу, невесту на выданье, Дамежан сосватала за своего старшего сына Жумаша и осенью этого года приняла сноху в дом.

Всякий раз, когда Абай приезжал в город, Дамежан звала его в гости, и он никогда не отказывался. И на этот раз она его пригласила, зная, что любимый сын Абая тяжело болен, и отец сильно горюет. Дамежан хотела выразить ему свое родственное сочувствие, а заодно показать сноху. Сеиля же она позвала потому, что после свадьбы дочери старик еще не был в ее доме и, кроме того, она знала, что присутствие старого лодочника будет приятно Абаю.

Баймагамбет и Дармен, задержавшиеся во дворе с лошадьми, появились на пороге и все уселись за маленьким круглым столом. В этот вечер за чаем, а после за ужином, который затянулся до полуночи, Абай говорил мало. Ему хотелось послушать рассказы Сеиля и Дамежан, узнать, как живут люди в городе. С удовольствием отхлебывая густой коричневый чай со сливками, который наливала ему сама хозяйка, он расспрашивал Сеиля о зимних промыслах и заработках. Лодочник сначала ответил скупой, несколькими словами:

— Как замерз Иртыш — лодка кормить перестала. Ходил на поденную работу, а потом на бойню поступил, к мяснику Хасену.

Абай поинтересовался, что Сеиль делает на новом месте? Лодочник занимался убоем баранов. Дамежан сказала, что ее сын Жумаш тоже работает у Хасена — дубит кожу, уходит на бойню рано утром, возвращается поздно вечером, а зарабатывает гроши.

Так начался разговор о мяснике Хасене и о том, как он притесняет городских жатаков, вроде Сеиля и Жумаша. Они и рассказали Абаю про событие, которое возмутило сегодня женщин, работающих на бойне.

Шарипа, у которой муж умер во время холеры, оставшись с тремя малышами на руках, поступила к Хасену на чистку кишок. Она приходила на бойню с рассветом и, не разгибая спины, работала до позднего вечера среди грязи и смрада. Доверенный мясника Хасена торговец Отарбай платил ей пять с половиной копеек в день и то считал, что дает слишком много. В зимнюю пору городские жатаки не хуже аульных батраков соглашались работать на бойне задаром, за одну похлебку, которую не отличишь от помоев. Хасен умеет находить себе дешевые рабочие руки. Он знает, в каком доме Верхних Жатаков сильнее нужда, и туда посылает своего приказчика нанимать рабочих. Он и ребенка возьмет и выжившего из ума старика. Только бы подешевле! Будет торговаться за каждую полушку.

— По правде сказать, всех нас Хасен этот обкрадывает! Разве это плата за работу — так, насмешка одна! — сетовал Сеиль.

Дамежан, Жумаш и Сеиль наперебой рассказывали о том, какие унижения и издевательства терпят бедняки Верхних Жатаков на бойне. Но такого позорного надругательства, какое выпало на долю вдовы Шарипы, они сроду не видавали.

Вечером перед окончанием работы у ворот бойни появились Отарбай и Конкай — здоровенный смуглолицый джигит с наглыми глазами. Оба они были сильно выпивши и искали, чем бы развлечься. Отарбай и объявил, что женщины, очищающие бараньи кишки и желудки, крадут нутряное сало и поэтому их будут обыскивать. Обвинить работницу в краже мяса или курдюка он не рискнул, а сало легко было спрятать под платье.

Белолицую и миловидную Шарипу Отарбай и Конкай остановили первой и заставили раздеться. Она сняла верхний дырявый чапан. Потом они потребовали снять камзол и, конечно, тоже ничего не нашли. Тогда Отарбай и говорит:

— Что-то ты больно толстая! Наверное, сало под платьем спрятано. Раздевайся!

И они попытались сорвать с нее платье.

Шарипа, не стерпев, плюнула Отарбаю в лицо, а Конкай, схватившегося за подол юбки, ударила по щеке. Тут-то и началось такое, что трудно себе представить. Двое здоровенных мужчин набросились на слабую женщину, сбили ее с ног прямо в снег и давай бить и каблуками топтать. Сеиль, подоспевший в это время, не выдержал обиды, крепко выругал негодяев, заступился за Шарипу. Дело кончилось дракой. Сбежались со всех сторон работницы, крик, плач, каждая выкладывает свои жалобы! «Ну, нет сил терпеть!» Разъяренные женщины накинулись на Отарбая и Конкай и крепко поколотили подвыпивших негодяев.

Выслушав рассказ Жумаша и Сеиля, Дармен загорелся гневом. Как можно мириться с таким позором в городе? За гнусное издевательство над беззащитной женщиной надо судить насильников. И он стал расспрашивать, какие еще безобразия творились на бойне Хасена. Абай, нахмутив брови, внимательно слушал. Сердце его было переполнено возмущением.

К слову Сеиль рассказал, что сам он поневоле попался в сети мясника Хасена.

— Года мои преклонные, а не хочется, чтобы мной люди помыкали. Вот я и завел себе лодку, сам хозяин на ней. Но зимой-то ведь лодка не кормит. Бывало, я кое-как перебивался до весны: десять дней на одном месте, пятнадцать на другом. А вот в этом году наслушался рассказов, будто у Хасена на бойне можно копейку зашибить и решил у него зиму перезимовать. Только Хасен этот прожорливее волка оказался...

И Сеиль рассказал о своей работе. Как он встает чуть свет и до позднего вечера занимается убоем баранов. Дело это ему хорошо знакомо, он изучил его в юности, когда впервые пошел в город искать работы. Сеиль сейчас так наловчился, что в день может зарезать и освежевать шестьдесят баранов. Работа нелегкая, но за нее платят всего-навсего пятнадцать копеек, редко-редко двадцать. Да и то при расчете Хасен и Отарбай как начнут щелкать костяшками на своих счетах, так и поровят обсчитать, да еще и приговаривают:

— Полкопейки — грош долой! Шальная копейка — домой.

Сеиль не стерпел такого надувательства и сказал на днях:

— Прожорливый пес голодной собаке зад лижет! Коли заритесь на мои гроши, трудовым потом заработанные, — нате, подавитесь, спорить не буду!

Абай подождал, не добавит ли Сеиль еще чего-нибудь, а потом спросил:

— Но почему же ты все-таки попал в сети Хасена?

И, немного подумав, лодочник продолжал:

— Есть у меня брат, совсем еще молодой жигит семнадцати лет. Никак не найдет себе работы. Вот я и надумал сделать его ямщиком, скопить летом деньги и купить ему коня и арбу. Говорили, что войлочник Сейсеке ищет таких жатаков, которые могут на своих лошадях возить грузы в Кигай. Приедут они в Бахты, Чугучак — там все дешево. Любой ямщик будто бы в такой поездке барыши огребает. Так же, как Хасен, заманивал к себе рабочих на бойню, так и Сейсеке ловил

ямщиков. Борода у меня седая, а поверил я этим басням. Говорю брату: «Съезди разок, до зимы успеешь обернуться». И отправил его на хорошем коне и новенькой арбе в дорогу. Тридцать ямщиков на семидесяти конях повезли мануфактуру в Бахты, а на обратном пути забрали кожу и шерсть для Сейсеке. Этот чортов войлочник умеет торговать. Его караваны идут в одну сторону до Китая, а в другую до Ирбита и Маркаржи¹ — он в накладе никогда не останется. А вот мой брат получил барыши! Чуть не погиб в дороге, едва до дому добрался. Обморозил руки и ноги, пальцы отняли в больнице, на култышках ходит. Калекой стал, сидит теперь дома. Исхудал, аж уши просвечивают. Одним словом, от коня кожа да кости остались, а от ямщика — скелет. Да иначе и быть не могло, в дороге людей кормили одним черным хлебом, и конь впроголодь шагал. Столько мучений принял брат и все задаром, ни копейки ему не заплатил Сейсеке. Надо идти жаловаться, а брат из дому выйти не может, ноги больные. Я день-деньской на работе. И не счесть, сколько людей проклятый войлочник обманул. Мой сосед, лодочник, тоже было решил заняться извозом, а сейчас сидит и плачет: когда его сын из поездки вернулся, Сейсеке и говорит: «Вот проверим привезенные кожи и коли обнаружится пропажа или порча, все до копейки взыщем с ямщиков при приемке».

Сеиль умолк на минуту и спросил:

— А вы знаете, как они производят приемку кожи или шерсти?

Дармен усмехнулся и ответил:

— Немножко знаем. На твоих глазах обдирают тебя, да еще приговаривают: «Доп, шоп можемке! Брак-мрак!»

Сеиль одобрительно засмеялся:

— Вот, вот, именно так! Сейсеке скажет, что кожа, мол, испортилась в дороге, а сам так и норовит шкуру спустить с ямщиков. Ему любой повод хорош, лишь бы не платить обещанное за подводы. Брат у меня болеет, сам я не могу хлопотать. Одна надежда, что все трид-

¹ М а к а р ж и — Нижегородская ярмарка.

цать ямщиков вместе сумеют за себя постоять. Теперь, говорят, они Сейсеке у ворот его дома караулят. Вот какая у нас жизнь, Абай!

И, снова помолчав, добавил:

— Говорят: «Вон там золото лежит!» А придешь — и медяка нет. Когда бедняк в кабале у богача находится, то ни в степи, ни в городе ему житья нет! — лодочник закончил свой горестный рассказ упавшим голосом, как бы прося заступничества Абая.

* * *

Абай со своими спутниками переночевал в доме Дамежан. Когда утром гости сидели за чаем, в комнату, приветствуя сидящих, вбежал возбужденный Какитай. Глаза его горели. На улице был сильный мороз и от сапог джигита шел легкий пар, а густые усы обледенели. Какитай не успел еще раздеться, как Абай спросил с нетерпением:

— Был на почте? Письмо есть?

Какитай вынул из-за пазухи два конверта.

— Прежде чем отправиться на почту, я завернул к Кумашу. А там их уже, оказывается, получили.

Абай разорвал оба конверта и посмотрел на числа, обозначенные в конце каждого письма.

— Двадцать суток шло, а это двенадцать! — сказал он. — Просил Магаша писать каждую неделю, вот он и писал. А почта задержала, пришли оба вместе...

Абай надел очки и молча начал читать первое письмо. Какитай, Дармен, Баймагамбет и Дамежан сидели, затаив дыхание, и не сводили глаз с его лица. Письмо заканчивалось стихотворением, в котором Магаш со свойственной ему откровенностью и горячностью изливал свою душу. Прочитав первые строчки, Абай тяжело вздохнул:

Он на койке лежал полотна бледней,
Устремив на меня в упор
Потускневший во мраке бессонных ночей
И потухший в недуге взор.

Он казался иссохшим стеблем степным,
Милый брат мой, любимый мой.

И, рыданья сдержав, я стоял над ним
И терзался печалью немой...

Абай резким движением снял очки. Лицо его побелело от волнения, глаза наполнились слезами. Ровные строчки письма потускнели, буквы как будто таяли, расплывались и наконец исчезли с бумаги совсем. Тогда он закрыл лицо ладонями и застыл в безмолвии. Дармен и Какитай, не выдержав, заплакали. Баймагамбет нахмурился и попросил прочитать второе письмо.

Абай с трудом овладел собой и развернул второе письмо. Оно было менее печальным, чем первое. Магаш писал:

«После нашего приезда Абиш-ага почувствовал себя бодрее. И аппетит у него неплохой. Сон стал спокойнее. Мы очень обрадовались, когда нам сказали, что Абиша можно взять из лазарета и продолжать лечение дома. Доктор нас обнадежил, что больной идет на поправку, и мы повезли Абиша в хороший дом к знакомому казаху. Сейчас он со мною вместе живет в доме нашего друга Абсамата, который, оказывается, приходится нам даже дальней родней по матери. У него во дворе мы держим кобылу и лечим Абиша кумысом, а доктор ходит каждый день. Все надежды возлагаем на аллаха!»

Это письмо внесло в душу Абая некоторое успокоение. Некоторые строчки он перечитывал вслух по нескольку раз. В сердцах слушателей затеплилась надежда. Абай попросил бумагу и карандаш — он решил немедленно написать ответ Магашу. Какитай принес маленький сундучок из прихожей и, поставив его возле окна, тоже положил перед собой лист бумаги. На подоконнике расположился писать и Дармен. От всего сердца желая полного выздоровления и счастья Абишу, они писали приветственные письма в Алма-Ату.

Вспомнив стихотворение, которым Магаш закончил свое письмо, Абай заговорил созвучными строками, раскрывая в них свое встревоженное любящее сердце:

Я не пишу, а слезы лью,
Ты видишь — в горести мой дом,
Иссякли силы, я стою

Как перед смертным рубежом.
Я о себе пишу, аллах,
О горе я пишу своим,
Ищу забвения в стихах.

Излив свою скорбь в стихах, Абай переходил к прозе, вновь и вновь предаваясь своей тоске, и опять возвращаясь к стихам. Тревога сменяла надежду, надежда — тревогу. То мрачное отчаяние, то робкое просветление, Абай метался, как больной лихорадкой, в груди которого то пылает огонь, то леденеет кровь. Это смятение чувств как бы само собой изливалось в размеренных строках:

То надежда придет,
То тоска нападет.
Нужных слов не найду,
В мыслях полный разброд.

...Дух и тело лечи.
Отвечай, не молчи,
Как бы там — я боюсь —
Не ошиблись врачи!

Хорошо, что с тобой
Твой племянник родной
Услужить ему рад
Я услугой любой.

Слова приветов родным и друзьям вплетались в строки письма, посвященного Абишу. Понимая, что переживал у постели больного брата Магаш, Абай оценил его стихи, рожденные в часы горя, и теперь обращался к молодому поэту с теплой заботой:

Песнь твоя с мукою схожа,
Болью она рождена.
Мне объясни — отчего же
Сам ты лишился сна?

Абай изливал в письме свое душевное волнение, задавая неведомо кому вопросы, проникнутые тоской и печалью, и зная, что никто ему не ответит. Дармен, писавший Магашу, тоже невольно, сам того не замечая, переходил к стихам, рассказывая о том, что он пережил сегодня утром:

На письма взглянул Абай-ага
И взял их молча, суров и строг
Я видел, как задрожала рука,
Когда развернул он первый листок.
Абай дочитал письмо до конца.
Скулую слезу смахнув рукавом..
Кто может измерить горе отца,
Чей сын страдает в краю чужом?
Мы вместе второе письмо прочли —
И искры надежды в сердцах зажглись..
О, если б молитвы помочь могли,
И пожеланья друзей сбылись!

Так писал Дармен о своем большом горе. Абай посоветовал своим молодым друзьям посылать в Алма-Ату такие письма, которые подбодрили бы Абиша, развлекли его, развеяли угнетенное настроение. Больному, прикованному к постели, дорога каждая, пусть самая дорогая, весточка, отвлекающая его от мыслей о болезни. Тогда Какитай и Дармен написали длинные письма, рассказав в них Магашу, Утегельды, Майкану и самому Абишу об аульном житье-бытье, семейных новостях и о забавных приключениях, якобы случившихся с ними в дороге. К полудню несколько пакетов было готово для отправки на почту. Так верные друзья, чьи сердца были объединены бескорыстным стремлением утешить больного Абиша, спешили ответить на два первых письма Магаша. Теперь им осталось одно: с нетерпением ожидать, как дорогого подарка, новой весточки из Алма-Аты, которая должна была через неделю прийти в Семипалатинск и вселить в их сердца новые надежды.

4

Небольшой город с утопающими в садах одноэтажными деревянными домами вольно раскинулся у подножья большой горы. За ровной долиной, что лежала между городом и этой горою, близ дороги, ведущей к ущелью, в тенистом плодовом саду расположился военный лазарет. Десятка два длинных больничных корпусов было обнесено высокой оградой. Летом здесь густо зеленела сочная трава и пышно распускались яркие цветы.

Областной город Алма-Ата законно гордился своим лазаретом. Лет пятнадцать тому назад приехал сюда главный врач Лев Николаевич Фидлер и благоустроил его — отремонтировал заново палаты, улучшил уход за больными, подобрал себе дельных, опытных помощников.

Вот к этому лазарету выхоленный гнедой конь с круто выгнутым, как опрокинутая чаша, лоснящимся крупом, подкатил кошевку, в которой сидел Майкан. Без малого час провел он у ворот, нетерпеливо поглядывая на закрытые двери большого деревянного корпуса. Только после полудня из них торопливо вышел доктор, которого, видимо, и ожидала кошевка. Спускаясь с крыльца, он на ходу застегивал шубу, подбитую лисьим мехом. Доктор поздоровался с Майканом по-русски — приподнял шапку и поклонился — быстрыми шагами подошел к саням и опустился на сиденье.

Гнедой сразу почувствовал, как ослабли тугие вожжи в руках кучера. Он выбросил вперед голову и, качнув ею, понесся иноходью.

Доктор, хотя и слабовато знал по-казахски, но, не смущаясь, говорил охотно, уверенно пользуясь своим весьма небольшим запасом слов. Слегка подтолкнув плечом Майкана, он сказал, коверкая слова:

— Мое время мало. Иноходец тоже торопится. Пусти!

Майкан улыбнулся в ответ:

— Мигом долетим!

Горячий конь, сдерживаемый кучером, выйдя из ворот, махом пошел по большой дороге, ведущей в Алма-Ату. Упираясь ногами в передок саней, Майкан встряхнул туго натянутые вожжи. Вытянувшись всем корпусом, иноходец вихрем помчался под уклон по ровной, прямой дороге в город.

День был безветренный, и с дымчато-серого неба медленно падали крупные хлопья снега. Но от бешеной езды снег летел навстречу так стремительно, словно бушевала вьюга, бил в лицо и слепил глаза.

Майкан вез к Абишу самого доктора Фидлера, главного врача лазарета, которого все жители города знали не только как прекрасного медика, но и как достойней-

шего человека добрейшей души. Он относился к Абишу не просто внимательно и мягко, как врач к больному, а был с ним отечески ласков и заботлив. Недаром русские, казахи, татары, уйгуры, дунгане, кашгарцы и ташкентцы, проживающие в Алма-Ате, всегда произносили его имя с благодарностью.

Гнедой иноходец быстро достиг города и, не сбавляя хода, миновал прямую, как стрела, Колпаковскую улицу, затем ветром полетел по Сельской к Никольской церкви. На улицах Нарымской, Сергиопольской, Гурде и на Розовой аллее, не таких ровных, как Колпаковская, ему пришлось чуть замедлить ход, но на Старокладбищенской конь вновь развил бешеную скорость. Словно намереваясь вырваться из оглобель, он стремительно мчался вперед, встряхивая длинной челкой, раскачивая головой и заглушая уличный шум громким топотом копыт.

Казахи, живущие в степях Сары-Арка¹, не особенно ценят иноходцев, но в Джетысу² ими дорожат более, чем скакунами, и из двух казахов один обязательно держит и холит иноходца. Гнедой достался Магашу и Майкану случайно и, вспоминая об этом, Майкан каждый раз не преминет похвалить и коня и его прежнего хозяина. Лошади, на которых они приехали из Семипалатинска, совсем исхудали, и Магаш с Майканом отправились на базар к Никольской церкви с намерением приобрести хорошего коня. Здесь они познакомились с казахом Датом, который сразу просветлел лицом, узнав, что разговаривает с родственниками Абая. Как и большинство джетысуйских казахов, Дат слышал об Абае, любил его стихи и многие из них помнил наизусть.

Услышав от Магаша, что любимый сын Абая находится в лазарете, а он сам — младший его брат, по поручению отца приехал навестить больного, Дат спросил, чем он может быть полезен своим новым друзьям. Магаш сказал, что хочет купить на базаре доброго коня. Дат отрицательно замотал головой.

¹ Сары-Арка — центральная часть Казахстана.

² Джетысу — Семиречье.

— Здесь вам коня искать не стоит. Как вы, дорогой, будете торговаться, бить по рукам с чужими людьми, которые не знают ни вашего имени, ни того, чей вы сын. Для меня вы по возрасту младший брат, и я не могу позволить, чтобы сын Абая искал себе лошадь на базаре. Вот вы остановились у Абсамата, он мне тоже друг. Поедьте к нему и что-нибудь придумаем.

И он повез Магаша и Майкана к Абсамату и там неожиданно подарил им своего знаменитого жеребца, который был широко известен в городе как «гнедой иноходец Дата» и ценился наравне с «кун жесир» — платой за убийство женщины. Хозяин снял с коня седло и, передавая повод в руки Магаша, сказал:

— Возьми его и отдай Абаю-ага. Скажи, что этого коня шлет ему один из сыновей Большого Джуза.

Вот такая история была у гнедого иноходца, который мчал Майкана и доктора по направлению к Ташкентской аллее. В тот памятный день вместе с Датом они также ехали к Абсамату и тоже по Старокладбищенской улице.

* * *

Доктор Фидлер просидел возле Абиша около часа. Он не мог сказать ничего утешительного — за последние три-четыре дня здоровье больного ухудшилось. В тяжелом положении находился и врач. На его глазах медленно угасала юная жизнь. С каждым днем Абиш становился все слабее и слабее. Наука, которой, казалось бы, в совершенстве владел Фидлер, была бессильна приостановить страшную болезнь.

— Дотянуть бы мне до весны, — говорил Абиш. — Добрался бы я как-нибудь до родной земли и встретил там лето...

После приезда Магаша, аккуратно получая письма от отца, братьев, матери и особенно от любимой жены, Абиш ощущал страшную тоску по родному гнезду, по отцу и матери. Сегодня он это свое заветное желание откровенно высказал Фидлеру, который стал для него самым близким, дорогим другом. Когда в Алма-Ату приехали родичи Абиша и их присутствие приободрило больного, доктор разрешил ему покинуть лазарет и продолжать лечение дома, охотно согласившись посе-

щать его через каждые три дня. Он сам проследил, как в доме Абсамата для больного готовили большую светлую комнату. По приказу врача из нее были вынесены ковер, тускииз, сырмак, текемет¹ — все, что легко пылится. В лазарете Абишу не могли давать кумыс, а во дворе Абсамата доили трех кобылиц. Фидлер, по обязанности врача, выписал еще рецепты на слабенькие лекарства, хотя и признавал их сомнительную пользу. Во время визитов к своему пациенту он тщательно выслушивал его и давал в сотый раз наставления, как надо вести себя, как беречься от утомления и простуды.

Услышав о желании Абиша поехать на родину, Фидлер ответил не сразу. Он задумчиво перевел взгляд с лица больного на окно. Медленно падали редкие хлопья снега. За окном маячили оголенные серые деревья. Высокие стволы и густые сучья, переплетенные в причудливом рисунке из ломаных линий, казались заколдованным сказочным миром, застывшим в непробудном холодном сне.

Горбатые серые тучи загроздили южное небо. День стоял хмурый, он навевал на Фидлера грустные мысли. Трудно было обнадеживать больного и нечем было его утешить. В умных карих глазах доктора легко было прочесть смущение. Все же он сказал:

— Весной, Абдрахман, вы, конечно, поедете к себе... — Замялся на мгновение и продолжал:

— Вот потеплеет, и, пока пыли не будет, тронетесь в дорогу... Потихоньку доберетесь до родных мест.

Чувствовалось, что доктор говорил, сам плохо веря своим словам. Сколько раз он приезжал к Абишу и всегда переживал чувство мучительной неудовлетворенности. Многих жителей Алма-Аты он отстоял от смерти, многим больным вернул здоровье. По городу ходили легенды о всемогущем докторе Льве Николаевиче, лечившем от всех болезней. В городе было мало хороших врачей, Фидлеру приходилось делать даже хирургические операции, и он делал их успешно. Вот только столкнувшись с Абишем, он испытал горькое

¹ Тускииз, сырмак, текемет — настенные украшения с орнаментом, аппликациями, вышивками, которые иногда расстилаются на полу.

чувство своей беспомощности. Его лекарства не принесли больному никакой пользы. Абиша поддерживала только слепая вера в знаменитого врача, который аккуратно, каждые три дня, навещал его, выслушивал и выстукивал. Это была единственная опора для юной души, еще не потерявшей окончательно надежды на выздоровление.

Правдивый характер Фидлера не позволял ему прибегать ко лжи в разговорах с Магашем. Он видел на лице джигита печать тяжелого горя, видел слезы, жгучие, как яд, и все же всегда говорил ему только правду:

— Не могу ничем утешить вас, дорогой! Не могу вам лгать, мой голубчик! Здоровье Абдрахмана не радует! Что же делать, туберкулез — болезнь пока неизлечимая!

И после сегодняшнего визита он ничего не сказал утешительного и уехал так же, как уезжал прежде, — с тяжелым чувством своего бессилия.

Когда Магаш, усадив доктора в сани, вернулся в комнату, он увидел брата, читающим вновь прибывшие письма. Абиш так близко держал перед глазами лист почтовой бумаги, что, казалось, хотел закрыть им свое лицо. Но Абиш не читал. Он лежал угнетенный, в глубокой печали, приложив к побледневшим тонким губам, будто целуя, письмо от Магиш, в которое были вложены два чистых листка тонкой бумаги — желтый и красный.

Услышав шаги Магаша, Абиш поднял тонкие, удлиненные брови.

— Посмотри, — тихо произнес он, указав глазами на письмо, — вот желтая и красная бумага... Магиш пишет, что она пожелтела от тоски и горя... А малютка моя Рахия уже начала ходить. Она цветет, как алый тюльпан, растет... Вот желтая бумага — это моя Магиш, а вот красная — это моя Рахия...

Тонкие брови Абиша вздрогнули, на глазах выступили слезы, ноздри затрепетали, и он повернулся лицом к стене. Несколько минут больной лежал молча, потом тихо прошептал:

— От горя пожелтевшая моя Магиш... Красным тюльпаном цветет Рахия...

Эти слова Абиш повторил еще раз и закрыл глаза.

Желая выручить брата из плена тяжелых дум, Магаш напомнил ему о письмах Дармена и Какитая, тех самых, что были написаны по совету Абая, чтобы развеять мрачное настроение больного. Но Абиш не обратил внимания на слова Магаша. Он тихо просунул под подушку исхудавшую тонкую руку и достал полученное накануне письмо отца. Больной перечитал его несколько раз. Под подушкой хранилось и другое письмо Абая, неделю назад пришедшее из Семипалатинска. Прочитав стихи отца в двух его письмах, Абиш тихо сказал брату.

— Наверное, отец сильно встревожен... Он словно становится верующим, часто упоминает бога. В своих стихах он обращается с мольбой ко всевышнему. Ты заметил это, Магаш? Когда у человека иссякают силы и пропадает надежда, ему остаются только мольбы и просьбы...

Абиш остановился, он не хотел высказывать свою мысль до конца, и велел Магашу принести кумыс. Сделав два глотка, он отдал пиалу и задумчиво сказал:

— Больнее всего меня гложет одна мысль. Отцу не удалось осуществить свою мечту. Учил меня... Воспитал... С радостью и надеждой смотрел на меня, думал, что я достигну многого. Сколько раз он говорил мне: «Вернешься с большими знаниями, станешь служить своему народу, и тогда я буду самым счастливым отцом на земле». И нет ему счастья... Как подумаю об этом, горечь, словно яд, отравляет меня, не дает мне покоя...

Крупные, частые капли слез потекли по исхудавшим, пожелтевшим щекам Абиша. Магаш молчал, прикрыв платком лицо.

* * *

Шли дни за днями. Каждую неделю из Семипалатинска в Алма-Ату приходили письма, и каждую неделю Магаш от имени Абиша или от своего собственного писал ответы родичам. Больной уже не мог подняться с постели. Вытянувшись, он неподвижно лежал на спине и задумчиво смотрел в потолок. Он настолько исхудал,

что тело его, утонувшее в пуховой перине, словно слилось с постелью, совершенно не возвышалось над ней.

Приближался конец алма-атинской зимы. День выдался особенно ясный. Иссиня-голубое небо, радостно озаренное щедрым солнцем, сияло прозрачной чистотой. С голых веток стройных высоких тополей беспрестанно каркали вороны, словно давая знать о приближении весны. На улицах резвилась многоголосая детвора, торопливо шли жизнерадостные люди, позванивая медными колокольчиками, проносились санки. Челки, гривы и хвосты коней — в красных и зеленых лентах, на сиденьях санок — яркие цветные ковры. Несколько таких саней с гармонистами и веселыми седоками промчались мимо окна, наполнив улицу радостным гомоном.

Город шумно готовился к большому празднику. А в доме Абсамата — тишина. За столом сидит Магаш и что-то пишет. В углу, на высокой кровати лежит его единокровный любимый брат. Ничто не может отвлечь мыслей Магаша от страданий Абиша. Только на миг бросив взгляд на шумную улицу, где царило веселое оживление, он вновь погрузился в свое беспросветное горе, устремив взор на единственного друга, которому можно было доверить тайну — на бумагу. Быстрой рукой он набросал еще несколько строк.

Абиш понял — брат писал стихи. Он протянул руку и повелительно прошептал:

— Кончил стихи? Дай!..

Магаш не знал как быть: в стихотворении, которое он только что закончил, описывались тяжелые страдания Абиша. Можно ли его показать больному? Не будет ли это жестоко и грубо? А не дать — он может обидеться!

Абиш почувствовал колебание брата.

— Не смущайся, я все понимаю!... — тихо сказал он. — Знаю, ты написал правду... Дай мне...

Магаш протянул стихотворение. Абиш попросил кумыса и двумя глотками промочил горло. Желая успокоить Магаша, улыбнулся через силу и шутливо сказал:

--- Посмотрим, что написал мой брат, начинающий

поэт. Как расценивает мое положение дорогой Магатай?

Магаш по-прежнему молчал. Подойдя к постели брата, он сел рядом, облокотившись на спинку кровати. Абиш держал лист бумаги бледными, почти прозрачными, длинными пальцами и читал про себя:

Сиж у ложа больного,
И горькая дума со мной.
Он кашляет — снова и снова,
Он трудно дышит, больной.
И в сердце моем отдается
Кашель его глухой,
Когда он за грудь берется
Прозрачной своей рукой.
Мужественно, как воин,
Встретился он с бедой:
Взгляд, как всегда, спокойен,
Взгляд, как всегда, прямой...
А в доме все гуще тени...
И, стиснув ладони вдруг,
Он молит об избавленьи
От нестерпимых мук.

Прочитав стихотворение, Абиш долго лежал молча, собираясь с мыслями и пристально вглядывался в лицо брата. Наконец он тихо заговорил:

— Пока я болею, вы пишете стихи — ага, Дармен, Какитай и ты... Лучше бы им родиться не в печали, а в радости... Для жизни они должны рождаться...

Он помолчал немного и сказал то, о чем долго размышлял последние дни:

— Читайте ваши стихи и вижу: вы становитесь настоящими поэтами. Кажется, таких стихов на казахском языке никто еще не писал?

Абиш задал себе вопрос и, подумав, сам ответил на него.

— Ведь то новое, прекрасное, что есть в ваших стихах, пришло через моего отца от русской поэзии. Но зачем же уделять так много внимания горю? Передай об этом моему аге. Я ему часто говорил, когда мы с ним беседовали о стихах. Русская поэзия, русское искусство наших дней помогло ему сесть на крылатого коня, высоко подняться. А самое светлое и радостное еще впереди. Будущее России велико и славно! Об

этом мне довелось слышать в Петербурге и Москве от многих людей. Павлов и его друзья верят в это будущее! Нам, живущим в Семипалатинске, Алма-Ате и других глухих углах, надо понять Россию. Скоро взойдет над нею заря...

Почувствовав усталость, Абиш умолк и долго лежал неподвижно. Затем он молча протянул руки Магашу и снова попросил кумыса. Сделав глоток, он опять заговорил:

— Каждый день кто-то рождается и кто-то умирает. А народ живет, общество движется своей дорогой. Что такое один человек? Разве мир без него погибнет? Не поддавайтесь горю!

Грустно улыбнувшись, Абиш взял в руки листок со стихотворением брата и сказал:

— Что с тобой, дорогой? Все время ты предаешься грусти и проливаешь слезы. Мне это не нравится. Оставь печальные мысли, развеселись. Отправляйся в город, проветришься!

В эту минуту вошел Абсамат, чтобы позвать Магаша обедать. Он обычно заходил в комнату Абиша два раза в сутки, днем и ночью, желая лично осведомиться о том, как чувствует себя больной. Абсамат сделал рукой знак Магашу, вызывая его, но Абиш запротестовал. Он подозвал к себе хозяина дома, а брата послал за Утегельды и Майканом.

Два веселых, жизнерадостных джигита, привыкшие понимать Магаша и Абиша с полуслова, по малейшему движению бровей, почти постоянно находились в соседней комнате. Сейчас, войдя к больному с некоторым страхом и тревогой, они увидели радостное лицо Абиша, который, лежа в постели, держал за руки Абсамата и Магаша. Утегельды и Майкан приблизились к кровати.

Абиш оглядел своих друзей и сказал слабым голосом:

— Мой Магаш не выходит из дома, даже пожелтел от скуки. Сегодня у русских замечательный праздник — масленица. В этом городе умеют широко праздновать. Я слышу — Алма-Ата полна песен и веселья. Запрягайте, друзья, коней и поезжайте вечером в го-

род. Будут скачки, испытайте гнедого иноходца. Повеселитесь и вы на широкой русской масленице, покатайтесь... Магаш, Утеш, собирайтесь! Ты, Абсамат, сам поведи гнедого и обгони всех иноходцев города. Я дам тебе приз за это!

Абиш говорил тоном, не допускавшим возражений, а последние слова произнес с улыбкой.

Магаш, Утегельды, Майкан и Абсамат многозначительно переглянулись. Робкая надежда шевельнулась в их сердцах. Видимо, Абиш почувствовал себя лучше. Они заулыбались, закивали в знак согласия и заговорили, перебивая друг друга.

— Хорошо, хорошо! Поедем!

— Всех обгоним! Всех!

— Будь спокоен! Гнедой — всем коням конь!

— На поправку идет! — радостно воскликнул Абсамат, выразив общее настроение. — Как хорошо на сердце! Дай бог удачи!

* * *

В тот же день после обеда четыре джигита запрягли коней и на двух санях выехали из ворот дома на широкую улицу. К масленичной езде Абсамат и Майкан потихоньку, никому не говоря ни слова, уже давно и очень старательно готовили гнедого. В вечерние сумерки Абсамат запрягал коня в маленькие санки и подолгу скакал иноходью. Объезжая коня, он оставлял его на всю ночь на привязи. А иногда, обнаружив еле заметный пот в паху, ставил остывать до середины ночи. Чтобы не мешали прохожие, Абсамат на гнедом мчался либо по Ташкентской дороге к Каскелену либо ветром летел в сторону Семипалатинска, минуя Муттаимбак — Разбойничий сад. Иногда он по пути заезжал к своим сородичам, проживающим в Байсерке.

Магаш и Утегельды поместились на заднем сиденье кошевки, а Майкан, искусный в управлении конем, занял место кучера. Он сразу же пустил впереди себя Абсамата, уступив дорогу гнедому иноходцу.

Сегодня Магашу и его друзьям город показался особенно нарядным и праздничным. Вспомнив Семипалатинск, они начали сравнивать его с Алма-Атой. Как

прекрасен снежный хребет Ала-Тау, перегородивший своей мощной грудью южную часть синего, прозрачного неба. Этот могучий сказочный великан вызывает в каждой живой душе восхищение. Глядя на него, невольно хочется воскликнуть: «Как он высок и прекрасен!» Правда, в Алма-Ате все дома одноэтажные и деревянные в отличие от Семипалатинска, где на центральной улице стоят красивые каменные здания. Но зато сколько здесь фруктовых садов! И как прекрасны стройные пирамидальные тополя, тянущиеся к небу, ветвистые березы и могучие дубы на прямых, словно стрелы, улицах! А тенистые сады — они подстать великану Ала-Тау, это не сады, а настоящий лес.

Утегельды с наивным удивлением расспрашивал Магаша:

— Неужели все деревья в городском саду посажены в один день? Как можно было закопать все корни за один час?

— Почему же за один?

— Да потому, что все они одинакового роста, словно гривы стригунов-двухлеток, срезанные весной одновременно. Какой бог вырастил их рядышком такими ровными?

В свое время, когда Абиш был покрепче здоровьем, он много рассказывал Магашу об Алма-Ате. И сейчас Магаш поделился тем, что слышал от брата.

— Восемь лет назад здесь было страшное землетрясение. Много погибло деревьев, пришлось сажать вновь. Ты правильно подметил — их сажали в одно время, поэтому они и кажутся все одинаковыми.

Утегельды вырос в горах Чингиса, где вовсе нет деревьев, и он не в ладах со здешними. Он не чувствует красоты зеленого города. Семипалатинск ему нравится больше. К тому же он приехал в Алма-Ату в начале зимы и не видел всего великолепия фруктовых садов, когда на их ветвях пламенеют крупные плоды.

Майкан остановил коня на углу улицы Гурде — отсюда было удобно наблюдать за рысаками и иноходцами, мчавшимися по Сельской улице. Сани мелькали за санями. Абсамат присоединился со своим Гнедым к иноходцам, начавшим далекую скачку, а Утегельды в

ожидании его возвращения, вновь заспорил с Магашем.

— Что хорошего в этих деревьях? — спрашивал он. — Одним ворам раздолье! Особенно летом, когда сады листьями покроются. Они — первые помощники грабителю! В такой тени спрятаться ничего не стоит. А если вор на гору, на этот ваш хваленый Ала-Тау в лес заберется, так его там и совсем не поймаешь. Эти ущелья, леса да вершины прямо воровской притон, так и кличут: «Хватай, кради, беги ко мне, прячься!»

Магаш засмеялся:

— А ты видел хоть одного вора в этом городе? Сколько месяцев ты живешь здесь, но разве слышал, чтобы кто-нибудь закричал «караул».

— Вот это-то и непонятно, что их нет! — изумился Утегельды. — Но если бы мне пришлось воровать, то я занялся бы этим делом только в Алма-Ате.

Майкан и Магаш искренне рассмеялись.

— Живешь в большом городе, чуть ли не на многолюдном базаре, а так рассуждаешь! — сказал Майкан. — Стыдись! Какое тебе дело до воров!

Но Утегельды не сдавался.

— Нечего меня стыдить! Если хотите, то так и сам Абай-ага думает! Однажды я его спросил: «Почему в нашем Тобыкты больше всего конокрадов в родах Мырза и Божей?» А он мне знаешь что ответил: «Посмотри на их зимовку и летовку. Кругом неприступные скалы, ущелья, глубокие овраги. Сама местность, словно воровское гнездо. Сама земля их учит: «Укради лошадь, притащи сюда, скройся в первом ущелье и режь тут же!» Вот что мне сказал Абай-ага. Так что вы со мною не шутите! Не на такого напали! — и, лукаво улыбнувшись, добавил: — Уж если улица воров укрывает, так что же и говорить о садах!

Магаш засмеялся, но ничего не ответил.

Множество саней с хрустом и свистом летело по широкой снежной улице. Мимо пронеслась тройка, звеня бубенцами. В широкой кошевке сидели подвыпившие мужчины и женщины и горланили разухабистую песню. Крестьянские кони, откормленные овсом и отрубями, неуклюжие и веселые, как и их хмельные хозяе-

ва, скакали во всю мочь под хохот и насмешки уличной толпы. Исчезла тройка, а следом за ней промчались английские рысаки, длинноногие, стройные красавцы с выгнутыми дугой шеями, прямыми ушами и подрезанными хвостами. Взвихривая снег, сани мчатся вперед по Сельской улице.

Поднимая снежную пыль, пролетают гнедые, белые и карие иноходцы казахской породы, стремглав несутся русские рысаки. Вдруг Магаш и Майкан вскрикнули в один голос. Обогнав десяток иноходцев, запряженных в легкие санки, два коня, белый и гнедой, шли голова в голову. Из толпы кто-то крикнул:

— Абсамат! Гнедой иноходец! Жми!

Скачки только начались. Иноходцы должны были пройти по улицам Колпаковского и Сельской, достичь Ташкентской аллеи, затем, обогнув парк, вновь вернуться на улицу Колпаковского, промчаться по Сельской улице и остановиться на Скотном базаре, на площади перед Белой церковью.

Прослышав о пути скачки, народ валом валил к Белой церкви, чтобы увидеть подход коней к финишу. Магаш, Майкан и Утегельды сели в сани и тоже поспешили к базарной площади, где уже собралась многолюдная толпа, в которой немало было гимназистов в светлосерых шинелях с серебряными пуговицами. Показались и чиновники с золотыми кокардами на фуражках. Они пришли сюда с женами. Однако больше всего было в толпе полицейских — урядники и стражники, придерживая сабли, косились на свое начальство — франтоватых ротмистров в голубых шинелях и белых перчатках.

Недаром, когда Абиш был еще здоров и поинтересовался у одного из просвещенных старожиллов города: «Кого больше всего в Алма-Ате?» — он получил ответ: «Духовенства и полиции. Ведь у нас по городскому бюджету на полицию ассигновано в десять раз больше, чем на врачей и больницу».

Шакирды из медресе и хальфе из пяти мечетей, надвинув на лоб татарские шапки, тоже пришли взглянуть на запретное для них масленичное гуляние. Выделяясь богатыми лисьими и енотовыми шубами, важно

прохаживались русские и татарские купцы, таранчинские и казахские торговцы.

«Один прыгает от сытости, другой от стужи!» — говорит пословица. Среди сытых, довольных, празднично настроенных людей ходили с протянутой рукой нищие, вымаливая подаяние. Бросались в глаза жалкие лохмотья хлебобобов-переселенцев, приехавших в богатое Семиречье из далекой России и оставшихся здесь без крова над головой, без куска хлеба. Были тут и бедняки-казахи, обнищавшие после джута, попавшие в беду, бездомные, голодные и холодные, женщины, старухи и старики.

В толпе любопытных Магаш встретил и казахских чиновников, хорошо знающих Абиша. Они бегло поинтересовались здоровьем больного и сразу перевели разговор на гнедого иноходца — их интересовало, как Абсамат готовил к скачкам своего знаменитого коня.

Вечерние сумерки сгущались. На улице не было ни одного фонаря. Толпа, ожидавшая перед церковью возвращения иноходцев, волновалась. Конечно, в темноте можно было увидеть белого коня, а как отличить гнедого от буланого, вороного от каурого? Попробуй догадайся, какой из них придет первым. Но алма-атинцы все же не расходились. Скачки устраивались в городе только один раз в году, и каждый с жадным нетерпением хотел взглянуть на победителей. Сгрудившись на площади с южной стороны церкви, толпа разделилась надвое, оставив широкую дорогу для проезда лошадей. Чиновники и купцы то и дело смотрели на часы, в толпе народа нетерпеливо обменивались короткими возгласами:

- Скоро ли?
- Вот они, близко уже!
- Едут, едут!
- Сейчас вернутся!

И действительно: в полуверсте показалось что-то темное, какое-то пятно, словно шар, катилось по широкой дороге, охраняемой полицией, с каждой секундой увеличиваясь в размерах. Это летели, поднимая снежную пыль, запряженные в легкие санки иноходцы.

Когда завиднелась церковь и послышался нестрой-

ный гул толпы, Абсамат еще крепче уперся ногами в передок саней и на секунду изо всей силы натянул вожжи. Гнедой иноходец, закусив удила, рванулся вперед, чуть не с плечами вырывая онемевшие руки ездока. В тот же миг Абсамат, приподняв вожжи, изо всей силы ударил ими коня и крикнул пронзительно громким голосом:

— Чу-а! Ай-да!

Гнедой почувствовал, как сразу ослабли вожжи, которые сдерживали его все время. Откинув вверх челку и высоко закидывая голову назад, словно желая ударить ею о дугу, он сделал резкий бросок вперед.

Но белый иноходец известных богачей, купцов Абдувалиевых все еще скакал рядом, не отставая ни на шаг. Гнедой, кажется, теперь только почувствовал близость финиша. Услышав резкий, повелительный возглас Абсамата: «Айт, чу!», — он стал заметно отделяться от своего соперника.

Гнедой обходил белого иноходца, вначале он шел впереди на голову, потом на шею и наконец на весь корпус. Некоторое время Абсамат еще чувствовал на левом плече густой горячий пар, исходивший из ноздрей абдувалиевского коня. Белый иноходец отставал. С каждой секундой гнедой набирал скорость. Вот он уже на целых полквартала опередил своих противников и, подобно падающей звезде, пролетел по середине широкой улицы к финишу, где его встретила восторженными криками ликующая толпа.

* * *

Гнедой иноходец, о котором в этот вечер складывались в городе легенды, в несколько минут домчал Абсамата до дома. Следом подкатил и Майкан.

В передней жена Абсамата, его дети и работники помогли вошедшим раздеться. Весть о победе гнедого на скачках привела весь дом в неописуемый восторг. Чтобы не занести уличный холод в комнату Абиша, друзья задержались в прихожей. Они обогревались и обменивались впечатлениями о скачке, окончившейся блистательным успехом гнедого.

Когда через несколько минут они вошли в комнату больного, Абиш еще не спал, хотя глаза его были закрыты. Чуть приподняв руку, он жестом пригласил вошедших подойти поближе к постели.

— Пришел первым... Я слышал... Поздравляю... Абсамат... я тебе приготовил приз...

И Абиш вытащил из-под подушки длинный кинжал с рукояткой из слоновой кости. Серебряные ножны блеснули затейливыми узорами, нанесенными рукой искусного кавказского мастера. Когда Абиш лечился летом в Абастумане, он приобрел этот кинжал на память о Кавказе, а сейчас подарил его Абсамату.

Довольный подарком, Абсамат вместе с Магашем вышел из комнаты больного, и все направились в гостиную, где был приготовлен чай. Возле низкого раздвижного стола, покрытого красной скатертью, сверкал ярко начищенный медный самовар. На столе возвышалась горка баурсаков, стояли банки с маслом, медом, жентом¹, сахаром и конфетами. Все опустились на корпе и снова начался разговор о сегодняшней победе гнедого иноходца.

В это время открылась наружная дверь и послышался скрип тяжелых казахских сапог. В гостиную вошли два пожилых, бородатых человека — один высокого роста в куньей шапке, другой широкоплечий, пониже его с сединой в волосах. Абсамат, узнав вошедших, сразу поднялся. Магаш и Майкан последовали его примеру — они тоже узнали представительного румяного человека в куньей шапке. Это был Дат.

Хозяева дома сразу же окружили гостей, помогли раздеться и провели на почетное место. Чтобы удобнее было полулежать, жена Абсамата принесла им подушки.

— Ассалаумаликум, ассала! — громко приветствовали гости.

Дат, которому все присутствующие оказывали знаки особого уважения, был одет в дорогой ламбуковый камзол с короткими рукавами, из нагрудного кармана

¹ Жент — сушеный творог с маслом и медом, похожий на халву.

которого свисал кончик золотой цепочки. Почетный гость сперва поздравил Магаша и Абсамата с победой гнедого иноходца, а затем познакомил собравшихся со своим спутником.

— Мой друг. Имя его вы, наверное, слышали. Оно известно по всему Джетысу, не только в Алма-Ате. Наш прославленный акын Джамбул.

Этого человека с небольшими зоркими глазами и розовыми щеками Абсамат знал. Магаш его видел впервые. Они обменялись рукопожатием, и Джамбул стал делиться своими впечатлениями о победе гнедого иноходца и о скачках, которые он наблюдал с начала до конца.

— Быстроногий конь,— сказал он, обращаясь, главным образом, к Магашу,— пришелся мне по душе!.. Тюре и простой народ восхищались им. Покорил все сердца. Радуюсь за тебя! Пусть всегда твой путь будет счастливым! Слышал, ты сын хорошего человека. У тебя отец прекрасный и конь прекрасный, Магаш-мирза!

Джамбул переживал пору расцвета своей творческой жизни. Слова песни, как говорится, были у него не на кончике языка, а на кончиках губ. Красноречивый акын сразу развеселил всех сидящих за столом.

С улыбкой глядя на Джамбула, Майкан заметил:

— Говорят, хороший человек никогда не чуждается людей. Акын чуть раскрыл рот — сразу высказался обо всем.

Магаш в знак согласия молча кивнул головой. С первого дня своего приезда в Алма-Ату ему часто доводилось слышать имя Джамбула. Сейчас он с большим интересом посматривал на широкоплечего акына, на его скуластое лицо, огромный лоб и умные живые глаза.

Дат стал рассказывать, как они собрались было навестить Абиша, но узнав, что Магаш с друзьями поехали на скачки, решили и сами отправиться туда же. А вот сейчас наступил вечер и нельзя заходить к Абишу — после заката солнца больного навещать не принято. Магаш, Утегельды и Абсамат сочувственно кивали. Действительно есть такой обычай, обязательный

для хорошо воспитанных казахов, и пожилые люди его не нарушают.

Магаш с грустью и очень кратко рассказал, как за последние дни ухудшилось положение больного.

— Утром мы зайдем к нему! — сказал Дат.

Жена Абсамата наливала гостям чай. После долгого пребывания на улице они пили его с удовольствием. Большой медный самовар опустел и на смену ему принесли другой — пузатый, еще более вместительный.

Во время чаепития любознательный Джамбул задавал один вопрос за другим. Он хотел поподробнее узнать об Абише, как Абай обучал своего сына, что пишет ему из Семипалатинска. На все его вопросы отвечал один Магаш, он даже прочитал несколько писем Абая, написанных в стихах. В одном из них упоминалось имя Абсамата. Дат сразу же оживился и очень довольный сказал:

— Да, да, надо делать добро хорошим людям! Не зная Абсамата, никогда его не видав, Абай в стихах благодарит его. Бог да будет милостив к тебе, Абсамат! За твое доброе дело все уйсуну, дулаты¹, да и весь Большой Джуз² тысячу раз тебе спасибо скажут. Если уж твое имя стало известно в Семипалатинске, то пусть умножатся твои друзья в Алма-Ате. За твои заботы о добром сыне уважаемого Абая ты достоин большого почета.

Джамбул стал настойчиво просить Магаша почитать стихи отца, которые тот помнил наизусть. Магаш не смог отказать, и вот зазвучали знаменитые стихи о песне и об акынах. Абай жестоко высмеивал продажных, хвастливых акынов, которые бродили с песнями по аулам, словно нищие, вымаливая лестью и унижением милостыню у богатых баев.

Джамбул слушал абаевские стихи с радостным изумлением. Качая головой, он прищелкнул языком и сказал:

¹ Уйсуну, Дулаты — название родов.

² Большой Джуз — Большая орда, одна из трех, на которые делились казахи.

— Первый раз слышу. Ни один казах так не пел. Здесь все ясно: сам — весы, сам — судья, если умеешь понимать, вникай в каждое слово.

А Магаш уже читал стихи:

О казахи мои! Мой бедный народ!..

Джамбул слушал с волнением, стараясь не пропустить ни одного слова.

— Погруженный в горе муж! — воскликнул он. — Скоро ли наступит светлый день, который прояснит и твое чело? Сокол мой, обнимающий взором бесконечную даль! Ты зовешь мир к прозрению. Дорогие слова! В мою душу, не видавшую света, они вошли солнечным лучом. Прочитай мне еще, брат мой Магаш!

После того, как гости опорожнили пузатый самовар и закончилось чаепитие, жена Абсамата внесла огромную деревянную чашу, наполненную кумысом. Джамбул, сидевший по левую руку Дата, взял свою домбру и пересел к Магашу.

В этот вечер джетысуйский акын прослушал много песен Абая, которые по очереди пели Магаш и Утегельды, а перед ужином поделился своими впечатлениями от того неведомого и дорогого, что узнал впервые, и его слова звучали, как зрелый итог большого раздумья.

— Если подумаешь, где истинное благородство сердца, где подлинные сокровища души, — оказывается только у Абая. Испокон веков люди с почтением говорили: «Так сказал Кабан-акын». Или «Вихрем неслись Кулан аян Кулмамбет, Дулат, Шайкет, Суюмбай из Шапрашты». Их возвеличивали, но они, как были маленькими, так и остались. Если Абай — океан, то мы лишь крохотные озера! Правда, мы слагали песни, вызывая у одних смех, а у других злость. Но то большое, чего ждала родная степь, у нас не рождалось. Только один Абай — заступник народа, в нем соединилось все: великий ум, песенный дар, большое чистое сердце! Он — образец для нас, акынов. Магаш мой, я хочу, чтобы твой замечательный отец стал для меня добрым старшим братом. Пусть дойдут через тебя до него эти мои слова. Вот мой горячий привет ему...

Джамбул склонился над домброй, и пальцы его за-

трепетали по струнам, извлекая глухие звуки. Акын запел:

Слышу я в песне могучей, новой,
Как пробуждается милый край.
Мы, потрясенные силой слова,
Слушаем песню твою, Абай!

И, внимая Джамбулу, Магаш ощутил пронизательный ум акына, его зоркость, его открытое отзывчивое сердце. Магаш попросил Джамбула спеть его песни. К этой просьбе присоединились все сидящие за столом. Акын не стал отказываться, и до самой полуночи, не выпуская домбры из рук, пел одну песню за другой.

* * *

Этот день был последним, когда Абиш еще мог слегка приободриться, собрав остатки слабеющих сил.

Таял снег, обнажая черную сырую землю. Мало в Алма-Ате весной солнечных ясных дней. Тяжелые облака то собирались над вершинами Ала-Тау, то, перевалив через заснеженные хребты, нависали над городом. Серые, неприветливые дни навевали гнетущую тоску. Томительная влажность воздуха губительно отражалась на самочувствии Абиша. Он дышал уже с большим трудом. Однако мысль его работала ясно, как у здорового. Все, что происходило вокруг него, всякий шорох и каждое произносимое слово, он хорошо слышал и понимал. Но сам говорил еле внятно, шепотом. Он настолько обессилел, что перестал даже просить пить. За последние три дня Абиш ни разу не произнес имени брата. А еще так недавно, смотря на Магаша, он с любовью и нежностью повторял: «Мой Магатай!»

Сегодня днем Магаш, потерявший последнюю надежду, понял, что наступает конец. Сидя в одиночестве, поэт записывал на листе бумаги слова прощания, посвященные умирающему брату, последние вздохи которого он слышал:

Где предел печали моей?
Кто душе возвратит покой?
Неужели в расцвете дней
Ты покинешь нас, дорогой?

В эти печальные дни, почувствовав отцовским сердцем приближение рокового срока, Абай прислал телеграмму с просьбой немедленно телеграфировать ему «обо всем подробно».

Телеграмму получил Майкан и передал Магашу, который и прочитал ее брату. Абиш выслушал молча и ничего не сказал, он только показал на записную книжку, лежащую на столике у его изголовья возле лампы. В глазах Абиша Магаш прочитал молчаливый приказ брата.

— Вот тут мой ответ на телеграмму отца! Посмотри...

И Магаш прочитал ровные строчки, написанные по-арабски:

«Ага, прощай! Не смог осуществить твою мечту, не смог отдать людям все, что имел! Другая кручина моя — Магиш! Моя радость!.. Любимая жена! Душа моя чиста и предана тебе!.. Целую Рахилю...»

Если за день до того Абиш перестал разговаривать с близкими, то в этих строках он как бы порывал свою связь с мыслями и чувствами живых.

В день получения телеграммы в дом Абсамата стали заглядывать посторонние люди, прослышавшие, что Абиш чувствует себя очень плохо. Они приходили по двое, по трое, сочувственно спрашивали о состоянии больного и потихоньку уходили. В сопровождении образованного аргынца Бакия пришел Дат и сказал Магашу:

— Долгое время был в разъездах, не мог побывать у тебя. Сегодня встретил Бакия и говорю ему: «Твой родич — мой друг, пойдём навестим». Вот и пришли, дорогой!

Магаш тихо рассказал, как плохо сейчас Абишу.

— Не надо об этом говорить, дорогой! Все понимаем! Пусть бог пошлет ему облегчение!

Дат посидел несколько минут и, боясь беспокоить больного, уехал.

В областном правлении Алма-Аты, в окружном суде, в канцелярии уездного начальника толмачами служили аргынцы и найманцы, знакомые и не знакомые Абишу. Они пришли все вместе попрощаться с умираю-

щим. А после их ухода неведомо откуда появились незванные и непрошенные гости — хальфе, муэдзины в чалмах, пожилые шакирды. Пучеглазый чернобородый хальфе со впалыми щеками и с изогнутым, словно клюв ястреба, носом проник в комнату Абиша, а когда возвратился в прихожую и стал надевать свои кебисы, молитвенно зашептал:

— Слава богу! Слава богу! Слава богу!

Удрученный горем Утегельды пришел в ярость:

— Слава богу! Слава богу! — передразнил он. — Человек заболел... Чего же тут хорошего, пес проклятый! Оторвать бы тебе клюв, белоголовый стервятник. Подлый ворон... Ноги тебе переломать, чтобы ты сюда не бегал...

Пока хальфе не вышел за ворота, вслед ему градом сыпались проклятия.

Поздним вечером приехал Фидлер. Он сел у постели Абиша и не произнес ни одного слова, только бережно погладил его исхудалые прозрачные пальцы и пожелтевший лоб.

С Магашем доктор прощался долго, зная, что в этот дом он больше не придет, молча жал ему руку в знак сочувствия и, так и не сказав ничего, уехал.

Всю ночь Абиш лежал без движения, не проявляя никаких признаков жизни. Он даже перестал стонать, хотя невыносимые страдания терзали его изболевшее, высохшее тело. Благородная душа, томящаяся между бытием и смертью, медленно покидала границы жизни.

Абиш скончался, когда в окнах забрезжил медленный рассвет.

... На телеграмму Абая, полученную вчера, теперь вместо Магаша ответил Абсамат. Он выразил свое соболезнование и спрашивал, где хоронить Абиша, какова будет воля отца.

И в тот же день пришла ответная срочная телеграмма. Абай давно решил для себя этот вопрос. Из писем Магаша он понял предсмертное желание сына — вернуться домой в степь, чтобы умереть на земле отцов. И Абай телеграфировал свою волю: временно похоронить Абиша в Алма-Ате, а когда станет теплее и

наладится дорога — перевезти его останки в родной аул.

На похороны Абиша собралось много горожан.

День выдался погожий. Пасмурное небо прояснилось, стало по-весеннему прозрачно-синим. Толпа народа, пройдя за траурной процессией по Ташкентской, дошла до казахского кладбища и заполнила его. Здесь уже была приготовлена могила, вырытая в мерзлой земле по-мусульмански, с боковым углублением для тела — лакатом. Останки Абиша, завернутые только в саван, джигиты бережно опустили в стылую темную яму.

Майкан и Утегельды, укладывая его в лакат, вслух произнесли:

— Аманат! Аманат! — Временно доверяем!

Близстоящие в толпе повторили:

— Аманат!

И в слове этом словно прозвучала мольба, призывающая холодную могилу к милосердию.

Хотя на погребение Абиша собралось множество людей, Магаш чувствовал себя совершенно одиноким в этой огромной толпе. Сегодня утром, оставшись наедине с собой, он безудержно плакал, но стоило появиться посторонним, Магаш затаивал свое горе, и никто не увидел слез на его исхудавшем лице, бледностью напоминавшем фарфор. Он посоветовал Майкану и Утегельды держать себя крепко в руках. И они выполнили его совет, не разрыдались даже, когда опускали покойного в могилу.

Похоронив Абиша, опечаленные люди стали постепенно расходиться. У свежего холмика остались человек двадцать, окруживших Магаша. К нему приблизился Джамбул, ни на шаг не отстававший от Абсамата и Дата. Горькие слезы текли по широкоскулому лицу акына, начавшего свое слово, посвященное Абаю. Он говорил от имени джетысуйских казахов, выражая мысли и думы своих честных друзей. Надеясь, что «...молодой Магаш хорошо поймет его», он запел без причитаний. Все сразу притихли, зная, что Джамбул поет только тогда, когда ему есть что сказать народу. Первые слова акына, произнесенные с дрожью в голо-

се, вызвали молчаливое одобрение слушателей, затем слышались вздохи и тихий плач. Своей песней Джамбул посылал через Магаша привет от имени местных казахов благороднейшему сыну народа, жителю семипалатинских степей:

Добрый путь тебе, друг Магаш,
Добрый путь в далекий Семей!
Ты отцу привет передашь
И поклон от верных друзей.
Мудрым словом своим всегда
Утешал он в печали нас.
Пусть не сломит его беда,
Испытания трудный час!
Горько думать, что нет орла,
Расправлявшего крылья в полет...
Многих мать-земля приняла,
Многих мать-земля заберет...

В начале своего приветствия Джамбул горько оплакивал преждевременную смерть Абиша, а затем перешел к утешению Абая:

Ношу горя так трудно нести,
Одному — тяжелей во сто крат.
Но ведь ты не один в пути —
Мы с тобою, наш друг и брат...
Пусть осушит слезы твои
Пламя жаркое нашей любви!

Так Джамбул закончил песню, вложив в нее всю теплоту своего большого сердца.

После похорон Абиша, выполняя волю Абая, Магаш, Майкан и Утегельды спешно собрались и выехали из Алма-Аты. Стремительная семиреченская весна, раннее таяние снегов, сильно испортили дороги, — грязь и слякоть порядком измучили лошадей. Была надежда, что суровая зима Арки сохранит им дальнейший путь и что за Аягузом будет легче ехать. Но надежда эта не оправдалась. И здесь ранняя оттепель вызвала распутицу. От жарких лучей солнца степь потеряла белоснежную свою чистоту, посинела, и, ступая на талый снег, кони проваливались то одной ногой, то другой.

Хотя путники ехали днем и ночью, делая лишь короткие остановки, в Семипалатинск они добрались



Ведь знал же Абай, что у сына слабое здоровье! Зачем его было без конца учить! Да разве можно выучить все науки! — Не прощу я этой жадности Абаю! Подумать только, отправил Абиша на заработки в такую даль! Служить в Алма-Ату!» — Вот как говорил Такежан Дильде! — закончил свой рассказ Акылбай, и снова было непонятно, как он относится ко всему происшедшему, может быть, даже разделяет мысли родичей?

Абай пристально смотрел в лицо Акылбаю. И это был его сын! Не ощутив в своем сердце гнева от услышанного, Абай даже удивился. В былые времена подобные слова резанули бы его по сердцу, он бы так и вскинулся от них! А сейчас он остался холоден. Так, вероятно, перенес бы укус мухи лев с переломленным хребтом. Абай только с горькой издевкой тихо молвил:

— Я думаю, что когда Такежан придет бросить горсть земли в мою могилу, он кинет туда колючки.

А Акылбай, нимало не смутившись, продолжал:

— Женщины и дети тяжело переживают отсутствие в ауле Абая и Магаша.

Раз в Акшоки нет взрослых мужчин, — рассуждал он, — друзья и недруги, приезжающие на поминки, безнаказанно говорят ядовитые слова, многие ведут себя не лучше Такежана. Его жена Каражан вместе с чванливою бабой Исхака, тупоголовой Манике, осуждают тебя, считая себя оскорбленными.

И снова Акылбай дословно пересказывал речи сварливых женщин:

«Кого оплакивать прискачут родичи на конях? Над кем будут читать коран, обливаясь слезами, жена и мать? Им даже не дали своими руками бросить горсть земли в могилу покойного. Почему не привезли дорогого умереть в родном ауле? Даже бугорка земли не осталось после него в степи! Мы и поголосить-то о нем не можем, нам хуже чем корове, у которой зарезали теленка. Она хоть шкуру его видит и мычит... А нам что делать?»

О том, что его могут оклеветать, надругаться над его отцовским горем, Абай предчувствовал давно. По-

лучив телеграмму Абсамата и подумав о тяжелой дороге, он, ни с кем не посоветовавшись, сам решил вопрос о временном погребении тела Абиша в Алма-Ате. Зная, что этот его поступок вызовет вопли негодования у злобных, языкастых и гнусных его врагов, которые так и рыщут вокруг него, зная, что эти собаки будут оскорблять и память Абиша, Абай решил перевезти на родную землю останки покойного сына при первой же возможности.

Қаражан и Манике не знали этого решения Абая, но если бы оно им и было известно,— все равно они бесновались бы не меньше, в душе злорадствуя над горем отца.

И снова Абай остался равнодушным к рассказу Акылбая. Он хорошо знал истинную цену своим близким родичам, способным притворяться и вредить не хуже лютых врагов.

После разговора с Акылбаем, Абай немедленно отправил вместе с ним в аул Акшоки Какитая, чтобы разделить с женщинами их горе и дать им разумный совет. Сам же Абай не мог выехать из города до возвращения Магаша и, оставив при себе Дармена, с нетерпением ожидал сына.

Тяжелое горе надломило его, и он, запершись в своей комнате, безмолвно предавался отчаянию.

Узнав о несчастье, постигшем Абая, горожане с утра до вечера толпились в его квартире в Слободке. Утешить его пришли Сеиль и Дамежан, завернули верные друзья — Сеит, Абен и еще кое-кто из затонских грузчиков. Выразить свое соболезнование явились также торговцы, чиновники, толмачи, а за ними потянулись муллы и шакирды.

Не со всеми посетителями Абай разговаривал охотно и не со всеми чувствовал себя свободно. Он обрадовался приходу Дамежан и Сеиля, принял их особенно приветливо и с душевной благодарностью проводил. С большим вниманием выслушал он и Абена, который еще в позапрошлом году, во время борьбы за счастье Макен, назвал Абиша своим другом и вожаком.

Обращаясь к Абену, Сеиту и грузчикам Затона, Абай дружески сказал:

— Хотя и не ради меня пришли вы сюда, но радуюсь вам потому, что вы сохранили добрую память об Абише. А когда приходят люди, оплакивающие моего дорогого сына, как могу я не благодарить их за слова утешения и не разделить с ними печальную трапезу? Если сейчас не прояснится мое лицо, не оскорблю ли я этим память покойного? Вы любили Абиша, мои друзья, а я люблю вас!

Абен оценил добрые слова Абая и с глубоким волнением ответил ему:

— Абиш по своему уму и познаниям мог бы быть нашим наставником! О нем можно сказать: «Если желаешь иметь друга, имей только такого!» Когда Дармен нашел защиту у Абиша, мы, радуясь, подумали: счастье друзей он не уступит никому. Теперь мы сиротели. Ведь мало кто из молодых образованных казахов понимает нашу горькую долю и беспокоится о нашей судьбе.

Эти слова были особенно дороги Абаю именно сейчас, когда его сердце жаждало утешения.

После ухода Абена и затонских грузчиков Абай, оставшись один, вновь предался своим нескончаемым горестным думам. Растроганный словами Абена, он что-то шептал про себя. Так неожиданно, как бы сами собой, рождались звучные строки. Ему хотелось рыданиями облегчить свои муки, но плакал он не слезами, а кровью сердца и кровью сердца писал стихи, певучие, как струны домбры. И после каждого четверостишья возникал один и тот же, вновь и вновь повторяющийся припев:

Смерть, ответь, как посмела ты
Сына взять себе моего?

Он повторял его много раз, вздыхая и сокрушаясь. Вот и сейчас Абай вернулся к этим строчкам, вспомнив слова Абена, из которых ему стало ясно, что его мечта, мечта отца, превращается в мечту народа, став достоянием молодого поколения.

Я ушедшее замыкал,
Он глашатаем нового был.
Все надежды я потерял,

Ужас кости мой пронзил.
Одряхлел я, стал стариком,
В сердце боль — горячей огня.
Горе длинным своим бичом
По глазам хлестнуло меня.

Абай сокрушался о своей несбывшейся мечте, которая шла навстречу думам народа, блуждающего во тьме. Он оплакивал сына, как отец народа своего, скорбя об его утрате.

Все обдуманно делал ты,
Не обманывал никого.
Был отважным и смелым ты
И удачливым оттого.
Смерть, ответь, как посмела ты
Сына взять себе моего?

И опять, отдаваясь своим думам, словно проглатывал горчайший яд.

К Абаю приходили, казалось бы, посторонние люди, которые даже не были казаками, но гораздо глубже и сильнее разделяли его горе, искреннее оплакивали смерть Абиша, нежели иные сородичи, считавшие себя «самыми близкими покойному». Узнав печальную весть о смерти Абиша, Павлов три дня провел вместе с Абаем, временами терявшим сознание от нестерпимых болей в сердце. Федор Иванович жалел его, как родного отца, и старался утешить, как умел.

При втором своем посещении Павлов принес пачку любовно подобранных писем, написанных ему Абишем за последние пять лет, и сказал:

— Когда-нибудь уделите внимание этим письмам, Ибрагим Кунанбаевич! Вы еще раз убедитесь, как высоко в своем благородном сознании поднялся Абдрахман, узнаете многое, что принесет вам большое утешение в вашем горе. Никто не живет вечно, все мы смертны. Но ваш сын прожил свою короткую жизнь так, что она вызывает восхищение. Сколько он познал истинно великого и как высоко парил над толпой обывателей!

Абай взял аккуратно сложенные письма Абиша и молча положил под подушку.

В эти дни в Слободку пришло письмо от Евгения

Петровича Михайлова, старого друга Абая, некогда высланного из Семипалатинска.

Сейчас он находился на Алтае в верховьях Иртыша, неподалеку от Зайсана, где занимался этнографическими исследованиями. Летом Евгений Петрович кочевал с казаками, а сейчас сидел над рукописями. О неизлечимой болезни Абиша он знал из его писем, полученных за последние годы.

Разорвав конверт, Абай медленно разбирал убогий почерк Михайлова, вспоминая в своем письме детство Абиша, ту незабываемую осень, когда он привел его за руку в русскую школу. И перед глазами Абая возник живой образ застенчивого аульного мальчугана, робко сторонящегося незнакомой школьной детворы и испуганно прижимающегося к бородатому русскому дяде, словно к родному отцу.

Михайлов старался утешить Абая, описывая, хотя и короткую, но прекрасную жизнь Абиша, прожив которую, он увидел и узнал больше любого столетнего аксакала.

И, оставшись один, Абай претворил в стихи слова верного старого друга, кто был для Абиша настоящим вторым отцом:

Жил он вовсе не напоказ,
Умудреннее старца был.
Беспокоился он о нас,
Об оставшихся он грустил.

Думать об Абише, делиться с ним, хотя и мертвым, своими мыслями и ежеминутно снова и снова прощаться — стало насущной потребностью для Абая, ибо в этом сейчас была истинная жизнь опечаленного отца. Много глубоких, прочувственных строк родилось в его сердце в эти дни, строк, написанных только для Абиша, стихов, которые поэт никому не показывал и не давал читать.

Приезд Магаша вызвал новый взлет поэтического вдохновения Абая, рожденного в дни печали и скорби. Три дня провел отец наедине с вернувшимся сыном, заставив во всех малейших подробностях рассказать о последних месяцах жизни Абиша. И Магаш, стараясь

не пропустить ни одной мелочи, вспоминал, как угасающий брат провел зиму, как его лечил доктор Фидлер, и как он отошел весенней ночью, не дожив до рассвета. Рассказывая о думах и мечтах Абиша, Магаш передал Абаю прощальное его послание, посвященное Магиш. Это послание Абиш показал брату в памятный день скачки, когда гнедой иноходец одержал победу, но Магаш считал, что написано оно было раньше — ведь в день скачек Абиш уже не мог держать карандаш в ослабевших пальцах.

Выслушав Магаша, Абай почувствовал, как к его сердцу подкатилась новая волна скорби. И, вновь оплакивая своего сына, он складывал новые строфы стихов:

Дальнозорок, умен и смел,
Он судьбу свою точно знал.
Ей бесстрашно в лицо глядел,
Но от нас это все скрывал.
Знал, что мало осталось жить,
Не хотел пугать никого.
То, что он не успел свершить,
В завещании есть его.

После длительной беседы с Магашем Абай снова обратился к своему верному молчаливому другу — бумаге. И из сердца глубоко опечаленного поэта вместе с горькими слезами вылилась песня:

Двадцать семь! Только двадцать семь!
Сын мой, мало ты прожил лет...
Ведь известно разумным всем,
Что другого такого нет.

Абай рассказывал о добром и сильном нраве своего сына — вот кто мог служить примером для юношей своего народа:

Не стремился к богатству он,
Лжи и чванства не признавал...
Он оставил свою семью,
На земле он недолго был.
Но короткую жизнь свою
Он познаниями удлинил.
Перед ним расстилалась ширь
Всех просторов и всех времен.
Крым, Россия, Кавказ, Сибирь —

Все пределы изъездил он.
Как комета с большим хвостом,
Появился он и исчез...

Так поэт впервые раскрывал скорбную гордость отца, увидевшего в сыне истинного гражданина своей земли.

Раньше Абай читал каждое свое новое стихотворение окружающим, а затем отдавал Магашу, Дармену или Какитаю, а иногда и Кишкене-мулле для переписки. Стихи же, навеянные мыслями о смерти Абиша, он скрывал, как своих тайных друзей, решительно от всех. Он ревниво прятал их от постороннего глаза под подушкой. И все же они не остались тайной для близких. Дармен, улучив удобный момент, осторожно извлекал сокровенный лист бумаги из-под подушки и торопливо переписывал новые строфы Абая, а потом вместе с Какитаем заучивал их наизусть.

Как-то Магаш прочитал товарищам свои стихи, написанные в Алма-Ате возле постели больного Абиша. Дармен и Какитай послушали его и, в свою очередь, познакомили со всеми стихами отца, которые им удалось тайком переписать.

Болезнь Абиша заставила поэтов излить свою горечь в звучных рифмованных строках. Дармен, Какитай и Акылбай написали много стихотворений. Встретившись после разлуки с Магашем, они завели разговор о своем поэтическом творчестве и всем им бросилась в глаза одна его особенность. За последний год поэты, окружавшие Абая, стали иначе писать стихи, не так, как писали прежде. Магаш вспомнил, что покойный Абиш первым уловил это новое и сказал, что на творчестве отца сказывается доброе влияние русского стиха.

Сейчас это влияние через Абая незаметно для них самих передалось его последователям. Магаш показал Дармену и Какитаю свое стихотворение, написанное после смерти Абиша,— в нем явно ощущалось новое веяние — дыхание всепокоряющей правды русской поэзии, прекрасной своей простотой, точностью слова, верностью жизни.

Вырастет Рахия,
Станет совсем большой —
Бедная сирота,
Обиженная судьбой.
Мне ли забыть о ней?—
Преданный всей душой,
От врага охраню,
От невзгоды любой!

Прочитав стихотворение Магаша, Дармен и Какитай снова говорили о том, что ныне казахский поэт находит новые слова, ибо по-новому начинает воспринимать мир. И опять они заговорили об Абае. Это он первый совсем по-иному взглянул не только на жизнь, но и на смерть. Его стихи об Абише не походили на прощальные плачи, жоктау¹, которые создавали акыны раньше. Беки и бии, хаджи и муллы, укрепляя мусульманство, стремились успокоить человека мыслью о неумолимой неизбежности рока. Недаром они неизменно начинали свои утешения с давно известных пустых пословиц: «Нет тулпара с целыми копытами, нет сокола с целыми крыльями», «И друг аллаха, пророк, покинул этот мир!», «Друзья Магомета, шахрияры², тоже ушли с этого света». Или говорили, многозначительно трясая бородами: «В пустынях Кербалы погибли Хасен и Хусаин», «Умер также друг светлого пророка Хамза».

К живой печали близких примешивались сухие, равнодушные, давно отжившие свой век слова.

Абай в своих стихах оплакивал Абиша не только как отец, потерявший сына. Его переживания были глубже, истоки их уходили в далекое прошлое. Он горевал о смерти своего ученика, нашедшего великое сокровище у русского народа в самом просвещенном городе Петербурге. Это сокровище — ясный свет знания — он принес в степь, своему родному народу, живущему в глубокой темноте. И вот ушел навсегда один из первых посланцев степи, который должен был стать первой ласточкой весны человечества, вожаком свободного нового племени!

«Он будет трудиться на благо народа!»

¹ Жоктау — плач по покойнику.

² Шахрияры — четыре соратника Магомета

только на двадцатый день, совершенно разбитые мучительной дорогой.

Ожидая возвращения Магаша, Абай тяжело переживал свое горе: рухнула опора его жизни. Он словно видел себя на краю высокой отвесной скалы. Одно неосторожное движение, один неловкий шаг — и полетишь с головокружительной высоты в бездонную черную пропасть.

По ночам Абай томился — не было сна, днем он не находил себе места от печальных мыслей. В эти скорбные дни он не обмолвился ни одним словом со своими домочадцами — Какитаем, Дарменом и Баймагамбетом. Большое доброе сердце поэта, словно заледеневшее от великого горя, преисполнилось ожесточением.

Перед самым возвращением Магаша приехал из Акшоки Акылбай. Он уже успел у себя в ауле устроить семидневные поминки по Абишу, целую неделю принимал и провожал людей, приезжающих выразить свои соболезнования.

Прежде всего Абай спросил его о том, как чувствует себя Магиш, а потом о Дильде и других близких родных, для кого смерть Абиша была настоящим великим горем.

По словам Акылбая, Магиш перенесла утрату любимого мужа очень тяжело. До сих пор она то и дело теряет сознание. Дильда тоже страшно горюет, как и все в ее ауле. Абай слушал его молча.

Акылбай провел с Абаем несколько часов днем, а во время вечерней беседы — хотя его об этом никто не спрашивал — рассказал о непристойном поведении Такежана и Каражан, приезжавших на поминки Абиша. Такежан в разговоре с Дильдой осуждал Абая, называя его виновником смерти сына. Акылбай передавал слова Такежана подробно и точно, как равнодушный наблюдатель со стороны. В его словах не было ни боли, ни осуждения.

— «Абай всю жизнь только одно твердил: «буду учить, буду учить Абиша», и загнал его на край света, где мальчик заразился смертельной болезнью. Наши отцы и деды не учились у русских, а были людьми чтимыми, прославленными, прекрасно управляли народом.

Ведь знал же Абай, что у сына слабое здоровье! Зачем его было без конца учить! Да разве можно выучить все науки! «Не прощу я этой жадности Абаю! Подумать только, отправил Абиша на заработки в такую даль! Служить в Алма-Ату!» — Вот как говорил Такежан Дильде! — закончил свой рассказ Акылбай, и снова было непонятно, как он относится ко всему происшедшему, может быть, даже разделяет мысли родичей?

Абай пристально смотрел в лицо Акылбаю. И это был его сын! Не ощутив в своем сердце гнева от услышанного, Абай даже удивился. В былые времена подобные слова резанули бы его по сердцу, он бы так и вскинулся от них! А сейчас он остался холоден. Так, вероятно, перенес бы укус мухи лев с переломленным хребтом. Абай только с горькой издевкой тихо молвил:

— Я думаю, что когда Такежан придет бросить горсть земли в мою могилу, он кинет туда колючки.

А Акылбай, нимало не смутившись, продолжал:

— Женщины и дети тяжело переживают отсутствие в ауле Абая и Магаша.

Раз в Акшоки нет взрослых мужчин, — рассуждал он, — друзья и недруги, приезжающие на поминки, безнаказанно говорят ядовитые слова, многие ведут себя не лучше Такежана. Его жена Каражан вместе с чванливою бабой Исхака, тупоголовой Манике, осуждают тебя, считая себя оскорбленными.

И снова Акылбай дословно пересказывал речи сварливых женщин:

«Кого оплакивать прискачут родичи на конях? Над кем будут читать коран, обливаясь слезами, жена и мать? Им даже не дали своими руками бросить горсть земли в могилу покойного. Почему не привезли дорогого умереть в родном ауле? Даже бугорка земли не осталось после него в степи! Мы и поголосить-то о нем не можем, нам хуже чем корове, у которой зарезали теленка. Она хоть шкуру его видит и мычит... А нам что делать?»

О том, что его могут оклеветать, надругаться над его отцовским горем, Абай предчувствовал давно. По-

лучив телеграмму Абсамата и подумав о тяжелой дороге, он, ни с кем не посоветовавшись, сам решил вопрос о временном погребении тела Абиша в Алма-Ате. Зная, что этот его поступок вызовет вопли негодования у злобных, языкастых и гнусных его врагов, которые так и рыщут вокруг него, зная, что эти собаки будут оскорблять и память Абиша, Абай решил перевезти на родную землю останки покойного сына при первой же возможности.

Каражан и Манике не знали этого решения Абая, но если бы оно им и было известно,— все равно они бесновались бы не меньше, в душе злорадствуя над горем отца.

И снова Абай остался равнодушным к рассказу Акылбая. Он хорошо знал истинную цену своим близким родичам, способным притворяться и вредить не хуже лютых врагов.

После разговора с Акылбаем, Абай немедленно отправил вместе с ним в аул Акшоки Какитая, чтобы разделить с женщинами их горе и дать им разумный совет. Сам же Абай не мог выехать из города до возвращения Магаша и, оставив при себе Дармена, с нетерпением ожидал сына.

Тяжелое горе надломило его, и он, запершись в своей комнате, безмолвно предавался отчаянию.

Узнав о несчастье, постигшем Абая, горожане с утра до вечера толпились в его квартире в Слободке. Утешить его пришли Сеиль и Дамежан, завернули верные друзья — Сеит, Абен и еще кое-кто из затонских грузчиков. Выразить свое соболезнование явились также торговцы, чиновники, толмачи, а за ними потянулись муллы и шакирды.

Не со всеми посетителями Абай разговаривал охотно и не со всеми чувствовал себя свободно. Он обрадовался приходу Дамежан и Сеиля, принял их особенно приветливо и с душевной благодарностью проводил. С большим вниманием выслушал он и Абена, который еще в позапрошлом году, во время борьбы за счастье Макен, назвал Абиша своим другом и вожаком.

Обращаясь к Абену, Сеиту и грузчикам Затона, Абай дружески сказал:

Эта мысль была заветной мечтой Абая-отца. Он с нетерпением ждал той поры, когда любимый сын, получивший образование, осуществит его мечту. И вот крылья его окрепли, и Абиш начал подниматься ввысь, выполняя свой долг перед народом,— и вдруг полет оборвался — умер!

Долгие бессонные ночи, не находя покоя, проводил в безысходной тоске Абай — отец и гражданин, только бумаге доверяя скорбь своей души. Все стихи, написанные им в эту пору, дышали суровым воздухом нового перевала в его высокой судьбе.

После встречи и беседы с Магашем Абай открыл ему свое решение, к которому пришел еще до его приезда. Пока не наступила теплая погода и не оттаяла могила, надо останки Абиша перевезти на родную землю. Утегельды и Майкан с тремя джигитами на трех подводах завтра же выедут в Алма-Ату, а Магашу следует поехать в аул Акшоки. Он проводил Абиша в последний путь, так пусть же разделит горе с его семьей и матерью.

Магаш выехал в аул, а Абай, задержав при себе Дармена и Баймагамбета, прожил в городе до того дня, пока не получил из Алма-Аты телеграмму от Утегельды с извещением, что он, взяв тело Абиша, выезжает обратно в Семипалатинск.

Тогда Абай распорядился встретить Утегельды либо в Аягузе, либо на пикете Аркат и, минуя Семипалатинск, проезжая отрогами Чингиса через земли тобыктинцев, доставить останки Абиша в аул Акшоки.

Через пятнадцать дней воля Абая была исполнена. В середине мая в ауле Акшоки народ с глубокой печалью встретил дроги, на которых стоял дубовый гроб с дорогим прахом...

На расстоянии выпаса ягнят от зимовки Акшоки находилась могила матери Абая — Улжан. Абиша решили похоронить рядом с бабушкой.

Перед самым погребением до начала жаназа тело покойного надо было вынуть из гроба и извлечь из кожаного мешка, в который, по совету опытных алмаатинских стариков, Майкан и Утегельды бережно зашили его перед отправкой в последний путь. Находясь

вдали от родного аула, Абиш тосковал. Теперь, когда он вернулся в свой Акшоки, где впервые раскрыл глаза и взглянул на мир,— нужно было, чтобы хоть один человек увидел его лицо.

Так Дильда сказала Абаю. Он одобрительно кивнул головой и произнес глухим голосом:

— Пусть мать и жена посмотрят в лицо Абиша и в последний раз попрощаются с ним.

Дильда и Магиш вошли под прохладные своды мазара и тихо приблизились к костяной кровати, на которой лежали останки Абиша. Мать громко рыдала, причитая: «Родной мой!»

Поддерживая Магиш правой рукой, она подвела ее к постели, а левой сняла с головы покойного белую материю савана. И тут ноги Магиш подкосились, она упала без чувств. На лице ее появились синие пятна, словно клеймо смерти.

Удивительно хорошо сохранилось тело усопшего, которое везли целую тысячу верст. Абиш словно спал крепким сном — лица его почти не коснулось тление. Одно только заметила плачущая Дильда — волосы на висках начали выпадать.

Майкан и Утегельды, сидевшие на корточках возле кровати и также изнемогавшие от слез, быстрее, чем женщины, нашли в себе силы успокоиться. Они поднялись и, поддерживая под руки, стали выводить Дильду и Магиш на воздух.

И тут Магиш вдруг обрела потерянный от горя голос. Она закричала так громко, что ее было слышно во всем ауле. Глухие рыдания сотрясали ее тело, сквозь слезы прорывались слова отчаяния:

— Абиш мой! Душа моя, клянусь тебе... Перед твоим лицом отрекаюсь от жизни... Умру и я... Без тебя мне нет света... Скоро, скоро приду к тебе, мой родной...

И снова теряя сознание, она упала на руки Утегельды.



В О В Р А Ж Д Е

1

Абай, не раздеваясь, прилег отдохнуть в большой юрте и незаметно задремал. Проснулся он не от дурного сновидения, а от непривычных, странных звуков, доносившихся через толстый войлок юрты. Приподняв голову от подушки, он стал прислушиваться. Ухо уловило глухой стук сбрасываемых на землю соилов и позвякивание стремян. Должно быть, сразу подъехало много всадников — кони теснились возле привязи, позванивая кольцами уздечек.

Абаю показалось странным неожиданное появление джигитов около его юрты. Он приподнялся на локте и повернулся к высокой постели, где обычно сидела Айгерим.

— Кто там приехал?

Но Айгерим уже стояла у выхода юрты и, высунув голову в полуоткрытую низкую дверь, с большим интересом разглядывала приехавших всадников. Она даже не расслышала слов мужа.

Рахия, маленькая дочь Абиша, крича звонким голоском: «Аке! Аке!», — бежала к юрте. Она проскользнула возле ног Айгерим и бросилась на шею деду, сразу же раскрывшему ей широкие объятия. Айгерим прошла следом за девочкой и заняла свое обычное место на краю постели.

— Ой-бай, аке! — залепетала Рахия, освобождая

ясь из рук Абая.— Сколько приехало разбойников! Все с соилами! С кем они будут драться, аке?

Абай взглянул на Айгерим:

— Да кто же приехал?

— Шырак!¹— стараясь казаться спокойной, ответила жена.

Абай наморщил лоб — он не мог сразу вспомнить, кого из деверей она звала этим именем.

— Какой Шырак?

— Ну, сын Айнекена из Малого Каска-булака! — Айгерим ласково улыбнулась, стараясь успокоить мужа.

Услышав название знакомой местности, Абай вспомнил привычку жены называть Такежана именем Айнеке. Значит, приехал его сын Азимбай.

В эту минуту в дверях юрты показалось широкое с воспаленными веками грубое, красное лицо джигита, обрамленное густой черной бородой. Неожиданный гость перешагнул порог и, холодно поздоровавшись с хозяевами, направился к почетному месту. За ним гуськом проследовали человек десять молодых парней. Бросалась в глаза их плохая одежда — старые армяки и чапаны, поношенные тымаки, порванные сапоги. Видимо, это были бедные соседи Азимбая, рослые, жилистые, широкоплечие пастухи, способные драться с любым противником. Большинство из них были моложе Азимбая — одинаково подстриженные маленькие бородки и усики делали их удивительно похожими друг на друга.

Когда гости расселись, Абай с изумлением поднял глаза на Азимбая и спросил:

— Куда держишь путь?

Хозяин юрты дал понять, что желает услышать откровенное объяснение гостя. Азимбай криво усмехнулся.

— Дело у нас важное... Отец мне велел заехать к вам, поговорить...

В голосе гостя прозвучали тревожные нотки.

¹ Шырак — светик. Казахские женщины родственников мужа обычно не называли по имени, а давали им вымышленные имена в знак особого уважения.

— О чем?

— Разве вы не слышали, какая случилась недавно беда?

— Что за беда?

— Одни дерутся, другие помогают!

— Кто дерется? Кто помогает? Не капай по каплям, скажи сразу, что случилось?

Абай сердился. Ему противно было видеть улыбающееся широкое лицо Азимбая, с наслаждением произносившего загадочные слова. Нарочито медленно, словно желая помучить Абая, Азимбай заговорил, глядя исподлобья.

— Уаки Кокенской волости, а с ними сброд из сорока родов, затеяли против нас вражду. Говорят, им помогает какой-то кляузник Серке, у него в городе всюду свои люди. Этот проныра добился распоряжения отмежевать в их пользу пастбища от Тобыкты. Приехал «жемтемир» или «земтемир», не знаю, как его зовут, знаю только, что он уже отрезал землю в Бугулинской волости у родов Есболат, Тасболат, Карамырза и Дузбембет. Сейчас с полосатой длинной жердью он приехал в Сактогалак. Меряет земли на границе с Кокенской волостью, где находятся колодцы и пастбища нашего рода Олжай.

Абай уже слышал эту новость.

— Какие колодцы от Олжая и какие земли от Есболатов отрезаются?

— От нас отрезают Верхнее Жымба, Нижнее Жымба, Караган-Копсакау, Шолак-еспе до самого Бильде,— ответил Азимбай.— Потом захватят Обалы, Когалы, Каракудук, Торекудук и выйдут к Шагану, к самому подножью Семейтау. Как видите, собираются отнять все наши пастбища. Нападают не на одного старшину, не на одного волостного, не на один аул и род, а на весь Тобыкты.

Азимбай умолк. Абай мысленно представил себе весь дальнейший ход событий.

«Соберут всех тобыктинцев и будут сражаться с уаками»,— подумал он и спросил:

— А что собирается делать народ? Что вы думаете делать?

— Народ — это Тобыкты, а Тобыкты возглавляет Уразекен!

Азимбай ответил так, хорошо зная, что задевает Абая за живое. Он дал понять, что предстоит борьба не на жизнь, а на смерть.

— Недаром говорят, что «главный враг — враг народный, а главный спор — спор земельный», — сказал Азимбай. — Уразекен послал к 'кокенцам салем от имени Тобыкты и предложил Серке остановить работу землемера и помириться! Три раза так предлагал, но уаки не захотели мира. Они решили искать справедливости по закону. Уразбай разгневался и обратился к тобыктинцам с призывом: «Пусть сядут на коней все, кому дорога честь Тобыкты». В самом деле, неужели будем терпеть обиду от извозчиков, от хлебобобов-жатаков, от голодранцев Уака! Сейчас Уразбай вооружает джигитов для борьбы с ними. Он послал гонца и к моему отцу с просьбой помочь. «Пусть пришлет своих джигитов, способных держать оружие!.. Мужчина умирает в бою, заяц в камышах! Я лично жизни не пожалею!». Вот мы и едем в стан Уразбая!

Азимбай закончил рассказ и принялся пить кумыс, поданный гостеприимной Айгерим.

Весной доились только жеребые кобылицы, кумыса у Айгерим в небольшой сабе было немного, но она щедро, наливала его гостям из серебряной миски.

— Рот — ворота, слова — ветер! — сказал Абай, обдумывая новости, привезенные сыном Такежана. — Слишком много болтаешь ты, тобыктинский задира.

Азимбай промолчал. Ему важно было выполнить поручение отца и разузнать мнение Абая о назревающих событиях. Ради этого он, собственно, и приехал в Акшоку. Уразбай при первой же встрече с ним обязательно задаст вопрос: «Что сказал Абай? Что он думает?» Вспомнив цель своего приезда, Азимбай вкрадчивым голосом спросил:

— Ну, Абай-ага, вы слышали куда мы едем. Сородичи ваши оседлали коней, подняли меч. Что вы скажете, если нас возглавит Уразбай?

Абай понял, о чем допытывается Азимбай. Хорошо, пусть узнает! Абай никогда не скрывал своих мыслей,

и сейчас он их выскажет открыто. Конечно, он отрицательно относится к черному делу тобыктинских богачей. Труженики Кокена справедливо обижаются, они правы. Абай готов это сказать открыто, где угодно, даже самому Уразбаю в лицо, пусть он лопнет от злости.

И он ответил спокойно Азимбаю:

— Не понимаю, почему Уразбай ищет врагов так далеко, на конях да еще с оружием в руках? Настоящие его враги находятся очень близко... Они спрятались в нем самом... Это темнота, дикость, невежество. Вот с какими врагами ему следует воевать прежде всего!

Хитрость коварного Азимбая не удалась. Абай продолжал развивать свою мысль:

— Насильник погибает от насилия. Времена соила и набегов проходят, их вред уже узнал Кунанбай. Давно пора это понять и Уразбаю. Если не согласны со мной,— тут Абай оглядел приехавших джигитов,— поезжайте, деритесь, на собственной шкуре испытайте, чем кончаются такие дела в наше время.

Абай умолк. Азимбай понял, что хозяин аула больше не намерен беседовать, а серебряная миска с кумысом опустела,— оставаться дальше в юрте не имело никакого смысла. Кое-что все же прояснилось в этой беседе. Во-первых, Абай не одобряет похода против уаков, во-вторых, ему не нравится, что вся эта затея исходит от Уразбая, которому поэт, как казалось Азимбаю, всегда завидовал.

«Ты пускаешь пыль в глаза, но я вижу тебя насквозь! — подумал Азимбай, еще более укрепляясь в намерении стоять на стороне своего свата Уразбая.

Он взял в руки нагайку, поднялся и подал бровями знак своим соратникам собираться в дорогу. Джигиты разом, как один, встали и надели тымаки.

— Прощайте! — сухо бросил Азимбай и, выпрямившись, твердой походкой направился к двери. Следом за ним покинули юрту и джигиты.

Оставшись наедине с Айгерим, Абай объяснил ей, какие серьезные события назрели в степи. Землемер отрезал от тобыктинцев колодцы и пастбища на совер-

шенно законном основании — они издавна принадлежали кокенцам, тобыктинцы захватили их силой. В прошлом году на Жалпаковском чрезвычайном съезде сам семипалатинский уездный начальник показал бумаги с сургучной печатью, из которых было ясно видно, что спорная земля и колодцы принадлежат кокенцам. От их имени выступал Серке, человек бойкий и деловой, он сумел добиться справедливого решения съезда, предложившего насильникам-тобыктинцам немедленно вернуть захваченные земли их настоящим хозяевам. Но тобыктинские богачи тут же на съезде начали злые козни. Первый удар они направили на Серке, напустили на него Тауирбека из Мукура, известного грубияна. Он обругал и оскорбил кокенского защитника, стараясь его запугать. Затем Казыбек из рода Олжай, не менее известный буян и клеветник, при всем народе пристал к Серке, требуя немедленно вернуть ему, якобы, взятые у него в долг деньги. Серке отразил эти два удара. Тогда тобыктинец Оспан, сын Аширбая при народе ударил кокенского защитника по затылку и сбил с него шапку. Абаю казалось, что он слышит лай свирепых псов или вой голодных волков, готовых к нападению.

Слушая рассказ мужа, Айгерим заметила, усмехнувшись, что скорее всего это похоже на проказы гадких детишек. Абай согласился.

Тобыктинские воротилы, не брезгуя никакими средствами, шли на любую подлость, стремясь победить своих противников. Они начали преследовать уездного начальника, руководившего работой чрезвычайного съезда и решившего земельный спор в пользу кокенцев. Темной ночью, когда все спали, вдруг вспыхнула юрта, где жили русские чиновники. Все бумаги сгорели... Работа чрезвычайного съезда на этом и закончилась, чиновники уехали в город, а земельный спор остался решенным лишь наполовину.

«Видно, Серке сумел за зиму восстановить сгоревшие документы,— подумал Абай,— и все-таки добился своего по закону, иначе землемер не приехал бы в степь. Уразбай взбесился и затеял кутерьму... Дело

может кончиться кровью. Видно, и мне придется бороться с захватчиками, и я буду на стороне противников Тобыкты!»

Широка и раздольна равнина Каракудук! Здесь, в самой середине долины, вблизи колодца богатого водой, Уразбай разбил свой аул с привязями для жеребят и белыми юртами для почетных гостей. Своих сыновей — Касейна, Касымжана и Елеу он поселил отдельными аулами поближе к себе, а юрты брата Доспана и других родичей расположил подальше кольцом так, что они словно крепостной стеной окружили его жилище.

Сегодня в урочище Каракудук царило необычайное оживление, с самого утра приезжали и уезжали возбужденные всадники, представители многих родов, и если бы не были они вооружены соилами, то можно было подумать, что люди собрались на большой праздничный той, или на поминки.

В ауле Уразбая остановились аксакалы и карасакалы — «главари сборов», старейшины, а джигиты, приехавшие с ними, разместились в соседних аулах.

В большой белой юрте Уразбая совещались воротилы Тобыкты, представители родов Олжая, Сак-Тогалака, Есболата, Карамырзы, Дузбембета и даже Мырза-Мамая — до него тоже долетел призывный клич к борьбе.

У всех на устах была крылатая фраза, которую Азимбай, посетив Абая, выдал ему за свою собственную, а на самом деле ее впервые произнес Уразбай:

«Главный враг — враг народный, а главный спор — спор земельный!».

— Между мною и Уаком нет никаких личных счетов! — сказал Уразбай, обращаясь к собравшимся в юрте. — Уак враждует с моим народом. За счастье Тобыкты, за его честь сажусь на коня!

Эти слова мгновенно стали известны всем аулам. Их передавали друг другу аксакалы и молодые джигиты. Уразбай умел пустить нужный ему слух, он знал, как надо подойти к сердцу тобыктинца, имеющего мно-

го скота. В каждой юрте начались зловещие разговоры, к которым особенно охотно прислушивались вновь прибывающие отряды джигитов.

Опьяненный свежим густым кумысом, Уразбай говорил:

— Уак захватывает у Тобыкты осенние пастбища, зимовки, летовки, весенние выгоны! Отбирает земли, искони принадлежавшие нашим предкам! Посягает на нашу честь, оскорбляет нас! Разве только отцу Уразбая Аккулы принадлежали летовки и осенние пастбища в Каракудуке, Торекудуке, Обалы, Когалы, Шолакеспе, Канай, Верхнее Жымба и Нижнее Жымба? Разве один Кунанбай ими пользовался? Разве селились здесь и поили тут свой скот только Байсал, Божей, Молдабай или Буракан? И вот эти пастбища, которыми должны по воле бога пользоваться все дети Тобыкты, теперь хотят забрать! С тех пор, как казах стал казахом, разве не был главным спором у него — спор о земле? Не ради себя, нет, за наши пастбища я встал впереди вас!

Уразбай сделал передышку и добавил:

— Труссы пусть прячутся! Битва за землю — это битва за честь! Ничего не пожалею, защищу вашу честь, Тобыкты!

Главари родов Жиренше, Абралы, Азимбай, Абдильда одобрительно загудели и этим еще больше подзадорили Уразбая.

— Теперь знамя чести Тобыкты в твоих руках! — воскликнул Жиренше. — Кто не пошел за тобой, тот не тобыктинец, а изменник! Пусть наши руки останутся там, где схватят врага, а зубы там, где в него вопьются. Разбей вдребезги уаков, поставь их на колени!

Раззадоренный Уразбай распоясывался все больше и больше.

— Кто такие уаки? Однолошадные нищие, хлеборобы с немазанной скрипучей телегой! Голодранцы, добывающие пищу лопатой и топором! Собрались из сорока родов, как из сорока лоскутов, да еще возносятся! Голь драная, даже ворота на шее не имеют, чтобы можно было их потрясти как следует! Это про них сказано: «Песчинки, собравшись в кучу, не станут камнем,

рабы, собравшись вместе, не будут хозяином». «Собери их хоть тысячу в ущелье, и все равно считать нечего, пройдут по песку — и следа не заметишь». Надо разорить их логово, где собрались охвостья сорока родов! Ну, берегитесь теперь косари, пахари, плотники, однолошадники!

Наливаясь злобой, Уразбай заражал ею окружающих его баев. Победа над кокенцами казалась ему легкой.

— Передайте своим джигитам мои слова! — сказал Уразбай. — Пусть они знают, куда и зачем мы идем!

Речь Уразбая слушало тридцать с лишним человек — главари рода. В промежутках между чаепитием, кумысом и бесбармаком они прогуливались за белыми юртами на лугу возле колодца, где встречались со своими джигитами. И слова Уразбая о предстоящем походе дошли до всех. Большинству тобыктинцев достаточно было многозначительного намека, лишь некоторых пришлось убеждать и только кое-кому приказывать с добавлением крепкого словечка. Но, так или иначе все, от мала до велика, узнали к чему надо готовиться, чтобы выполнить замысел Уразбая.

Молчаливых, покорных джигитов, вроде тех, кто приезжал с Азимбаем к Абаю, в Каракудуке собралось достаточно, они готовы были по первому приказу главарей броситься в любую схватку, хотя и плохо разбирались в том, кто был прав, а кто виноват. Никто не знал, чьи в действительности те земли, за которые предстояло сразиться с врагом, иной из бедняков, правда, слышал, что тобыктинцы отобрали их у уаков, и, хотя молчал, но в душе был против уразбаевской затеи, хорошо сознавая, что тобыктинец, не имевший скота, сроду и не бывал на таких тучных пастбищах, как Каракудук, Торекудук и Жымба.

Если бы кто спросил бедного тобыктинца, что он знает об этих землях, он бы сказал: «Собака про них знает, не я!», а спроси его, была ли ему польза от этих пастбищ, он ответил бы честно:

— Мой конь травинки там не сорвал, а я сам глотка воды не выпил.

Уразбай бил себя в грудь и восклицал: — «За нашу

землю! За народ! За честь Тобыкты!» — но это были лживые слова, которыми он прикрывал свою корысть и темные замыслы.

Спорными пастбищами и выгонами из двух тысяч семейств Тобыкты пользовались только тридцать баев, они-то и сидели в юрте Уразбая, представляя тобыктинские аулы. Как во времена Кунанбая, так и сейчас, при Уразбае, сильнейшие главари родов Тобыкты притесняли своих соседей-хлеборобов Уака, отнимая у них земли, которые труженики-кокенцы сами не могли еще как следует использовать по своей бедности.

Зимой, лишь только выпадал снег, богачи-тобыктинцы выгоняли свои табуны — пятьдесят-шестьдесят тысяч лошадей — на хорошо защищенные от ветров обильные пастбища, захваченные у кокенцев. Сейчас эти богачи поспешили в Каракудук, потому что их корыстные интересы завязались в один узел с интересами Уразбая, владельца трех тысяч коней. Но, скрывая свои тайные расчеты, они делали вид, что приехали без всяких посторонних целей, только для того, чтобы беспрекословно выполнить волю главы племени Тобыкты. А Уразбай поднимал против мирных кокенских аулов ветер ядовитых, лживых слов, который грозил превратиться в бурю.

После полудня во всех аулах джигиты начали ловить пасущихся коней, отвязывать жеребцов и яловых кобылиц. Долина Каракудук наполнилась шумом, гамом, криками, железным звоном стремян. Всадники седлали лошадей.

Из большой юрты Уразбая пришел приказ:
— На коней! Трогаться в путь!

Сто крепких, как на подбор джигитов, вооруженных соилами, пиками и секирами, вскочили на крутобедрых иноходцев и рысью погнались к горам Кокена.

Конечно, ни сам Уразбай, ни главари родов, сидевшие в юрте, ни ближайšie его родственники не принимали участия в походе. Они остались ждать, когда сварится мясо упитанного жеребенка, принесенного одноглазым в жертву как подтверждение клятвы, данной тобыктинскими баями друг другу, — крепко стоять за начатое дело до конца.

Когда сотня джигитов, оторвавшись от аула, резво поскакала воевать с кокенцами, только Есентай не выдержал и кинулся за ними вслед на своем коне золотистой масти. Уразбай, Жиренше и Азимбай посмотрели на него с недоумением.

— Видно, старый бес в нем проснулся! — насмешливо заметил Жиренше, явно намекая на то, что Есентай в молодые годы славился конокрадством.

Уразбай не обратил внимания на насмешку. Устремив прищуренный глаз на Есентая, он одобрительно произнес:

— Со вчерашнего дня не проронил ни слова, а сейчас погнался дать свой совет джигитам.

— И совет даст и выгодный узелок завяжет! — догадливо усмехнулся Азимбай.— Если к кому Есеке прильнет, то уж покуда кровь не высосет, не отстанет!

Баи, стоявшие кругом, заулыбались — меткие слова Азимбая пришлись всем по душе.

А Есентай уже нагнал Беспесбая, скакавшего во главе отряда, и, стараясь не отстать от него, давал ему свои советы:

— Этих джигитов возглавишь ты! Тысячу раз всем говорю, никогда не оставляйте пленных! Бывают такие дураки, что, еще и врага не видя, способны заблудиться, их вот и берут в плен. Предупреди всех до одного, когда поскачут назад, пусть повернут коней хвостами прямо к Темир-казык¹. Тогда, если кто и отстанет, будет знать, в какую сторону ехать, чтобы домой вернуться.

Беспесбай молча кивнул головой.

— Хорошо!

Он вспомнил, как ему доводилось участвовать вместе с Есентаем в одном набеге, есть мясо из одного котла, и улыбнулся. С тех пор Есентай сильно отяжелел, глаза совсем заплыли жиром, тройной подбородок так и трясется, когда толстяк подпрыгивает в седле, а туда же — дает боевые советы!

— Если попадется неприятель на быстром коне с твердой рукой, знай, это самый опасный противник.

¹ Темир-казык — Полярная звезда.

Постарайся сразу же вывести его из строя. Такого шок-паром не всегда возьмешь. Если он начнет одолевать в прямой схватке, бей не его, а коня. Изловчись, ударь по виску... Пока он найдет коня, ты и его прикончишь. От опасных противников опытные люди только так и избавляются. Ну, теперь поезжай! Уа, мои храбрые батыры! С богом!

Есентай, обычно скупой на похвалы, нарочно громко похвалил пятерых джигитов, ехавших вместе с Беспесбаем во главе отряда, льстиво назвав их «храбрыми батырами».

Эти «храбрые батыры» Жаркимбай, Дубай, Беспесбай, Саптаяк, Кулайгыр, Кусен славились как конокрады, барымтачи и воры. Уразбай, Жиренше и Азимбай нарочно назначили главарями самых отъявленных негодяев и целый день готовили их к походу. Играя на мелком тщеславии этих проходимцев, они уважительно называли всю шестерку жожаками. Выбор оказался удачным — «вожаки» хорошо знали кокенские аулы, все перевалы в горах и густо населенные урочища. Зимой и летом они многократно обворовывали мирных хлеборобов Уака и угоняли у них скот. Они безошибочно могли определить, в какой стороне за кокенскими горами пасутся табуны. С богачами аулов Тобыкты они поддерживали тайную и очень тесную дружбу, получая, когда нужно, не только резвых скакунов, но и хорошее вооружение. Особенно близкие отношения у них завязались с Уразбаем.

Шесть «вожаков», опасаясь, что их войско могут заметить уаки, спрятавшиеся за утесами Кокенских гор, решили разбиться на шесть небольших отрядов и двигаться разными путями.

Дорога была недалняя, и джигиты на крепких скакунах, подгоняемые хмелем выпитого кумыса и желанием подраться, уже к вечеру достигли ущелья Кандар.

Тихо было в безлюдных Кокенских горах, только топот копыт да глухой стук соилов, ударявшихся друг о друга, нарушали вечернее безмолвие. Изредка фыркнет жеребец, не привыкший к походам, звякнет стремя, и снова наступит настороженная тишина.

Среди шести главарей отряда особо выделялся Бес-

песбай — выходец из Олжая — самого крупного и сильного рода племени Тобыкты. Ему недавно перевалило за сорок, но лоснящаяся от жира кожа его широкого багрового лица была гладкой, в бороде не было ни сединки, а в глазах навывкате сверкали молодые искорки. Невысокий ростом, широкоплечий, с выпирающими сильными лопатками и железными мускулами, он казался целиком слитым с лошадью, словно был высечен вместе с ней из одной каменной глыбы. Не зная соперников в конной схватке, этот опытный барымтач мастерски владел соилом и шокпаром. Был у него удивительный нюх, он безошибочно угадывал, где расположены уакские аулы, и сейчас, словно кто ему на ухо шепнул, Беспесбай уверенно сказал, что табуны сегодня пойдут на выпас по направлению к Семитауским горам.

Остановив джигитов в ложине у подножья горы, чтобы дать коням передышку, Беспесбай вместе с Жаркинбаем и Дубаем поднялся на голый холмик. Он снял с головы малахай и, приложив согнутую ладонь к уху, долго молча прислушивался, изредка сердито дергая за повод коня, который своими резкими движениями мешал ему вести наблюдение.

Через некоторое время Беспесбай сказал:

— Отсюда, на расстоянии перегона ягнят, есть озеро Тущы-Коль. Уаки собрались вокруг него. У ближнего к нам берега — камыши, а у противоположного — вода. Если табуны зайдут в камыши, нелегко нам будет их оттуда выгнать. В аулах не спят, видите, как сверкают огни? Похоже, что они зажгли костры вокруг отар и охраняют их. А табуны пасутся вон там, в стороне горы Семитау, к западу от озера. Слышите, ветер дует с той стороны! Табуны уморились сегодня днем от жары и на ночь двинулись навстречу ветру!

Грузный Саптаяк, конокрад из Карамырзы, подтвердил:

— Да, ты прав! Ветер доносит конское ржанье!

Беспесбай сделал предложение, с которым согласились все остальные «вожаки».

— Впереди добрая половина ночи. Подождем, пока уснут кокенцы, тогда и нападем. Перед нами широ-

кий овраг, а за ним равнина. Одним махом мы окажемся у табунов. До утра успеем перегнать их через овраг, перейти ложину и добраться до перевала Кокенских гор. А сейчас передохнем. Нужно дать коням остыть. Пусть каждый объяснит своим джигитам, что нужно делать...

— Что объяснить? — не понял Жаркинбай.

Саптаяк отрывисто ответил:

— Среди джигитов много таких, которые впервые держат в руках соил. По глупости они поднимут тревогу, начнут шуметь да кричать. Надо им строго наказывать, чтобы вели себя тихо.

Шесть вожаков разъехались по своим отрядам, договорившись на обратном пути встретиться в овраге.

Джигиты ослабили подпруги и приподняли легкие седла, чтобы охладить спины потных лошадей. Прошло немного времени, как раздался приказ:

— На коней!

Все сразу засуетились, начали подтягивать подпруги и проверять стремяна. Некоторые снимали правые рукава толстых чапанов, засовывали их под пояс, чтобы освободить руку для размаха и торопливо вскакивали на еще не успевших остыть скакунов. Оружие было сразу приведено в полную боевую готовность — соил присноровлен под мышкой, секира крепко зажата в руках, а пика тупым концом поставлена на носок правой ноги.

В грозной тишине слышались отрывистые приказания Беспесбая, ехавшего во главе сводного отряда на сером коне. Белый армяк и светлый мерлушковый малахай выделяли его из всего войска.

Вечерний прохладный ветер бодрил вспотевших лошадей, скакавших в сторону заката. Менялись краски на далеком горизонте, тускнело медное зарево, принимая багрово-серый оттенок, густые тучи заволакивали небо. В беспредельной дали открылся перед всадниками высокий холм и быстро исчез, словно слившись в синеватой мгле с небом, а потом где-то далеко из черной тучи вдруг сверкнула молния, осветив на один миг неживым, ярким светом и впереди лежащий холм, и горы, и степь. Потянуло ветерком, который донес ост-

рые запахи полыни, изеня, жауылши и тарлау, смешанные с ароматом дикого лука.

Глухо раздавался дробный стук копыт, испугивая жаворонков и скворцов, расположившихся на вечерний покой по обочинам дороги. Сверкая черно-белыми крыльями, с хриплым криком стремительно разлетелась густая стая дергачей.

Чем гуще становились сумерки, тем быстрее гнали коней джигиты. В безлунном небе появились первые редкие звезды. И тогда Беспесбай, остановил отряд. Направив свой шокпар на Полярную звезду, он сказал:

— Ау, джигиты! Вон одинокая звезда Темир-казык... Запомните ее хорошенько. В бою бывает так: не разберешь, где враг, где свои, а если шайтан запутает, то и заблудиться легко во время погони или бегства. Если это с кем случится, направь коня так, чтобы хвост его смотрел на эту звезду, тогда никакой шайтан тебя с пуги не собьет!

Так, по-своему, передав джигитам совет Есентая, Беспесбай стегнул скакуна камчой и снова поскакал впереди отряда. Белый армяк его четко виднелся в темноте.

Всадники двигались крупной рысью в ту сторону, где отгорела вечерняя заря.

Беспесбай, придерживав коня, сказал подъехавшему к нему Саптаяку:

— Мы не ошиблись, табуны близко. Слышишь, ветер доносит ржание жеребцов?

— Слышу. Хорошо, что ветер навстречу нам. Табуны и не заметят, как мы подберемся!

Жаркинбай, Дубай, Кулайгыр, подскакавшие вслед за Саптаяком, и слышавшие его разговор с Беспесбаем, отозвались:

— Дай бог удачи!

— Пусть выпадет нам удача, как счастливый боб Уразды¹.

Они еще что-то пробормотали и постепенно отстали.

¹ У р а з д ы — тот, кому в жизни везет. При гадании на бобах у него всегда получается счастливый расклад, якобы предопределяющий большую удачу.

Все ближе и ближе подъезжали всадники к табунам. Беспесбай остановил свое «войско» и, как было условлено в начале похода, дал приказание разделиться на шесть отрядов, чтобы удобнее было начать нападение на врага.

Кокенцы, хотя и жили рядом с тобыктинцами-скотоводами, но кочевали редко, они предпочитали заниматься хлебопашеством и ремеслом. Аулы их резко отличались от аулов соседей, возле каждой юрты трудолюбивого кокенца стояла телега или таратайка. Селились они на маленьких пастбищах и в отличие от соседей-скотоводов — большими аулами, — даже по названию аула можно было легко определить, чем занимались его жители.

Только у кокенцев можно было встретить аул «Кырк-уйли», что означает «сорокакибиточный». Скотоводы, которым нужны были пастбища вокруг аулов, таким скопом никогда не селились — жители «Крык-уйли» были земледельцами. В урочище «Балта-Орак» проживало более ста семейств, а по названиям «балта» — топор, и «орак» — серп не трудно было догадаться, чем жители добывали себе пропитание. Точно также название аула «Жалпак» — ширь, безошибочно говорило о том, что здесь живут косари, владельцы широких сенокосных угодий.

Лощина «Хандар»¹ носила громкое название вовсе не потому, что в ней жили ханы. Жители ее, собравшиеся из разных родов, имели давний обычай к имени каждого новорожденного приставлять окончание «хан»: Асемхан, Салимхан, Жумахан, Семейхан, Жабайхан, Турехан.

Таких «ханов» было около восьмидесяти семейств, и их запросто называли «хандар». Многие из них не имели никакого родственного отношения к уакам Кокена. Это были люди разных родов, приставшие к мирным трудолюбивым хлеборобам в поисках средств к существованию, среди них как раз и было немало хороших ремесленников.

В аулах Копсакау, Балта-Орак, Жалпак, Хандар,

¹ Х а н д а р — ханы.

Кырк-уйли вместе с уаками жили бедняки из родов Бура, Найман, Жалыкпас, Бассентиин, Матай, Керей и даже из самого рода Тобыкты.

Эти люди больше всего нуждались в мирной жизни, без которой невозможен никакой труд, но этой весной, особенно за последние дни, спокойствие в степи было нарушено. И без того жизнь у кокенцев была тяжелая, земли для посевов не хватало, они давно уже бедствовали, лишившись плодородных пастбищ, отнятых у них тобыктинцами. Распахать бы эту широкую, протянувшуюся на много верст равнину, покрытую густым ковылем и душистыми травами,— сколько можно было бы собрать хлеба! Но как распашешь, когда на ней пасутся шестидесятитысячные табуны Уразбая и его богатых сородичей. Правда, тобыктинские табуны остаются здесь только до середины зимы, начиная с декабря благодатная равнина покрывается глубоким снегом, который еще раз напоминает кокенцам, как удобна эта напоенная влагой земля для хлебопашества.

Весной нынешнего года кокенцы твердо решили во что бы то ни стало вернуть свои земли, отнятые тобыктинцами, и в этом деле помог им человек благородной души, Серке, добившийся присылки землемера. Но не успел русский чиновник приступить к работе, как прошел тревожный слух о злых замыслах главарей Тобыкты. Не закончив сева, кокенские аулы съехались к озеру Тушы-Коль, где решили встретить насильников и дать отпор их нападению. Сюда же приехал и Серке, по указанию которого разрозненные аулы поселились все вместе на берегу озера и объединили свои табуны для совместной пастьбы.

Серке, зная о задуманном набеге, отбирал смелых, сильных джигитов и готсзил оборону. С утра и до вечера слышался его голос, призывавший дать отпор врагу.

— Если тобыктинцы поднимут на вас оружие, вы должны их встретить тоже с оружием в руках. Мольбой и слезами невозможно защититься. Времена безнаказанных набегов давно прошли! Насильник дол-

жен погибнуть от насилия! Пусть ваши руки, способные переворачивать плугом тяжелые пласты земли, поднимут не только соилы, но топоры и молоты. Если враги пустят в ход деревянные шокпары, вы встретите их железным болтом. Если они, надеясь на свою черную силу, захотят ограбить вас, поставьте их на колени!

Пламенные слова Серке передавались из уст в уста, они волновали даже детей и стариков. Все кокенцы, способные держать в руках оружие, стар и млад, взялись за дубины и топоры, готовые в любую минуту обрушить их на голову врага.

Не слезая с коней, зорко охраняли огромный табун шесть молодых джигитов, уже успевших завоевать славу конных бойцов. Невдалеке от них находились еще два десятка хорошо вооруженных, смелых кокенцев, искусно владевших шокпарами, были тут Бостан из Хандаров, и Конай из Балта-Орака, а также прославленные бойцы из других больших аулов — Енсебай, Марка, Кулжатай. В отличие от тобыктинских барымтачей это были честные труженики — табунщики, пастухи, хлеборобы, косари. Сами они никогда не нападали на чужие табуны, но зато умели бдительно охранять свои собственные от тобыктинских конокрадов, постоянно рыскавших вблизи кокенских аулов. Они хорошо изучили все хитрые уловки врагов и смело защищали скот от грабителей. Недаром люди наделили их характерными прозвищами «смерть конокрадам», «смелый табунщик», «укротитель коней», «лихой наездник».

Все эти шесть кокенских джигитов, когда наступили сумерки, выехали с молодыми табунщиками на охрану общего табуна и договорились между собой, как лучше провести ночной караул.

У них был свой главарь Бостан, подобно Беспесбаю, славившийся в округе как непобедимый борец. О необыкновенной храбрости этого большеносого, густобрового человека с короткой шеей и жидкой бородкой ходили легенды — по силе его полушутя сравнивали с верблюдом. Не одному тобыктинскому конокраду он проломил в схватке череп. Завидев его, барымгачи обычно спасались бегством.

Под стать Бостану был и широкоплечий Енсебай, высокий, рыжеватый джигит, словно сотканный из одних сухожилий. Про таких людей обычно говорят: «нет лишнего куска мяса на костях». Темными вечерами, когда долговязый Енсебай сидел на высоком вороном коне, казалось, что он взобрался на верблюда.

Особенно воинственным выглядел сегодня коренастый, чернобородый Кулжатай, оседлавший буланого жеребца и державший поперек седла березовый шокпар, обструганный восьмигранником. Вместе со своим ровесником Маркой он приблизился к Бостану. Три джигита поехали рядом.

Ветер дул с Семитауских гор и был очень благоприятен для врага, поэтому Бостан сказал:

— Если тобыктинцы, укрывшись в горах Кокена, заметили, что наши табуны отошли на запад, то они подойдут с подветренной стороны. Враг хорошо услышит топот наших коней, а мы никакого шума с их стороны услышать не сможем. Что надо сделать? Я сказал аксакалам, что вечером пушу табуны к Семитауским горам, а когда стемнеет, быстро перегоню их вниз по направлению Темир-казык на подветренную сторону аула. Так вот, двадцать джигитов пусть рысью перегонят табуны. А мы постараемся угадать, откуда подойдет враг и встретим его. Разделимся по два и двинемся в разведку...

— Хорошо придумано! — одобрил Кулжатай.

— Так и надо сделать! — поддержал Марка.

А Кулжатай добавил:

— Хорошо, что наши люди понимают опасность и поступили так, как мы велели. Все аулы погасили костры и притворились спящими. Ни искорки нигде, ни шороха! А ведь у каждой юрты привязан конь и приготовлено оружие. Послушайте, какая тишина. Только собаки лают...

— Люди копят гнев в сердцах и ждут часа расплаты, — отозвался Бостан. — Это хорошо. Ну, давайте за дело!

Двадцать молодых джигитов повернули большой табун лошадей и рысью погнались к подветренной стороне аула. Оставшаяся пятерка разделилась. Бостан с

Конаем вдвоем, а Кулжатай, Енсебай и Марка втроем поскакали на равнину, растянувшуюся между горами Кокена и Семитау, для тщательной разведки.

Кулжатай первым заметил бесконечно длинный отряд всадников, пересекавший равнину наискосок к горе Семитау навстречу ветру.

— Стой! — приглушенно крикнул он своим спутникам, а сам приткнулся к гриве коня.

Кулжатай был храбрым джигитом, но при виде огромного отряда конных он струхнул и невольно воскликнул:

— Да это настоящий набег! Не считаешь даже, сколько их! Пропадать сегодня уаку...

Целый день сердце Енсебая горело гневной решимостью, он ездил с товарищами молчаливый, и только изредка цедил сквозь зубы: «Ну, попадись мне тобыкты в открытом бою!» И сейчас, услышав испуганный возглас Кулжатая, Енсебай разозлился не на шутку:

— Бес тебе в бородатый рот! Чего мелешь! Ведь это же и есть враг, которого надо разбить... А ты что думал: он к тебе с распростертыми объятиями явится, радость тебе принесет! Дождидайся!... Надо живей показаться им на глаза и увести за собой погоню... Моего чалого коня и твоего буланого не сразу заметят... А ты, Марка, покажись им на своей белой лошади и жди здесь... Как услышишь наши голоса, с криком «Аттан!»¹ скачи в сторону аула и поднимай тревогу.

Енсебай закусил повязку от треуха и толкнул нагайкой в бок Кулжатая.

— Подождем немного! — нерешительно забормotal Кулжатай.— Может быть, за ними еще скачут...

Енсебай ожег нагайкой его коня и направил своего скакуна прямо на вереницу всадников. Тогда оправившийся от страха Кулжатай стегнул своего буланого и легко, словно тростинку, выхватил из-под колена восьмигранный шокпар. Высоко подняв его над головой, он быстро догнал Енсебая. На полном скаку они настигли мчавшихся тобыктинцев и врезались в самую гущу всадников.

¹ А т т а н! — На коней! (боевой клич).

— Бей их! — заревел Енсебай, размахивая шок-паром.

— Бей! — еще громче заорал Кулжатай.

Не давая опомниться врагу, они неожиданно повернули коней. Вожак отряда Кулайгыр, заметивший смельчаков на расстоянии длины аркана, закричал во все горло:

— В погоню!

Он первым кинулся преследовать Енсебая и Кулжатая и увлек за собою добрый десяток джигитов.

«Должно быть, впереди засада!» — подумал Кулайгыр, стараясь не выпустить из поля зрения двух всадников.

Но они рассеялись, как степной мираж, исчезнув в бледномерцающем ковыле. Кулайгыр в недоумении придержал коня, стараясь разгадать странную загадку — что же произошло?

Увидев за собой преследователей, Кулжатай и Енсебай поняли, что хитрость их удалась — за ними увязалась погоня. Уйти от нее было нетрудно, главное сделано, враг обнаружен, теперь надо дать знать Марке, чтобы он забил тревогу в аулах. И Кулжатай с Енсебаем во всю силу своих легких, закричали:

— Аттан! Аттан!

Марка, услышав крик Кулжатая и Енсебая, захлестал коня камчой и во весь опор помчался к озеру Тушцы-Коль. Подскакав к аулу, он заорал душераздирающим голосом:

— Аттан!

Это слово было страшнее пожара, бури и сверкающих молний. Оно донеслось до озера Тушцы-Коль, где все жители аулов, начиная с четырехлетнего ребенка и кончая впадающими в детство девяностолетними стариками и старухами, только и жили ожиданием тревожных вестей. Возле костра за обедом, на полянке возле скотины, под рваным одеялом перед сном, всюду и везде передавались тревожные слова: «Идут враги!», «Угонят коней», «Драка будет», «Прольется кровь!».

В аулах еще никто не спал. Почти возле каждой юрты вблизи привязанных коней сидело по два-три джигита. Мирно беседуя, они неторопливо, с удоволь-

ствием пили айран, почти никто из них не дрогнул от тревожного крика «Аттан!». За последние дни все были подготовлены горячими речами Серке к неизбежности столкновения с врагами.

Без излишней суматохи храбрые джигиты схватили свои нагайки, вооружились соилами, секирами, пиками, шокпарами и вскочили на коней. Они знали, за что им предстоит пролить кровь, и верили в правоту своего дела. Озлобленные постоянными насилиями тобыктинцев, они горели желанием отбить нападение врагов, нисколько не думая о том, что противник может быть многочисленнее и сильнее.

А крики «Аттан! Аттан!» уже переполошили весь аул. Слышался плач перепуганных женщин, провожавших мужей и братьев, скорбные голоса матерей и отцов, благословлявших своих сыновей-защитников, севших на боевых коней. Эти слезы и скорбь подогревали воинственное настроение, наполняя сердца джигитов яростью против тобыктинцев, нарушивших мирную жизнь аула.

Марка, стрелой подлетевший на белом, как заяц, коне к берегу озера и без передышки кричавший «Аттан!», успел быстро поднять на ноги двадцать с лишним аулов. У него оказался на редкость громкий голос и неутомимая глотка, не умолкая ни на миг, он вопил изо всех сил:

«Аттан! Аттан!»

Этот призыв подхватили по очереди один аул за другим, и он перекатился гулкой волной по берегу озера, наполнив тревогой безлунную, темную ночь.

Пока тобыктинцы доскакали до кокенских табунов, многоголосый шум поднял всех жителей от мала до велика, и они дружно встретили стремительную лавину всадников, во главе которых мчались Беспесбай, Дубай, Кусен и Саптаяк.

— На-за-ад! — прогремело гулкое эхо над озером.

Бостан занес над головой дубину, его примеру последовали Енсебай и Марка. Кокенские джигиты густым потоком ринулись за ними на врага. Первый натиск был задержан. Послышались сухие удары шокпаров, соилов и дубовых пик.

Бостан и Беспесбай столкнулись в этой схватке первыми, обменявшись сильными ударами соилов. Обе руки Беспесбая сразу онемели — он почувствовал тяжесть дубины и подумал: «Если хватит этак по голове, придется плохо!» Он понял, что теперь только быстрота и натиск спасут его от неминуемой беды, и стремительно стукнул противника в правое предплечье. Бостан почувствовал страшную боль, правая рука повисла, как плеть, однако он изловчился и левой изо всей силы ударил своего врага по темени.

Густая кровь залила лицо Беспесбая, он зашатался в седле, но не упал. С отуманенной головой, следуя совету Есентая, он все же начал бить коней противников дубиной в висок.

Долго длилась первая схватка, много голов было разбито соилами, много джигитов слетело с коней.

Когда ожила онемевшая рука, Бостан с криком «Бей их!» — вновь возглавил ожесточенную битву. Увидев его, вступил в бой и разъяренный Беспесбай, крепко обвязавший свою раненую голову кушаком. В первую же минуту он двумя ударами свалил двух табунщиков, подвернувшихся ему под руку.

Кровопролитное сражение шло всю ночь и продолжалось утром. Солнце поднялось над горизонтом на длину пики, а озлобленные противники яростно били друг друга, ожесточаясь с каждой минутой все более и более.

Хитер и изворотлив был главарь тобыктинских барымтачей, но и Бостан оказался не простофилей, он предусмотрел все, что нужно и можно было предусмотреть, а главное, правильно поступил, сбив табуны всех тридцати аулов в один огромный косяк. Табунщики и бойцы, собранные вместе, представляли собой грозную силу. И еще Бостан хорошо придумал — пустить коней с вечера в сторону Семитауских гор, а на ночь перегнать их под защиту тридцати аулов, на подветренную сторону.

Сто тобыктинских джигитов на отборных скакунах, думавшие угнать целиком весь табун, не увидели ни одной лошади. Пока они доскакали до табуна, кокенцы, внезапно напав на них сбоку, так смело рину-

лись в наступление, что пришлось оставить всякую мысль об угоне коней, а подумать о том, как бы побыстрее унести ноги.

Беспесбай и Саптаяк все же сделали отчаянную попытку прорваться к табуну, но наперерез им кинулись многочисленные джигиты кокенского аула. А с тыла на тобыктинцев, почти наступая на копыта их коней, уже мчались грозные мстители, оглашая степь воинственным криком:

— Аттан! Аттан!

Беспесбай, Саптаяк и Дубай дали понять друг другу, что наступила пора спасать собственную шкуру. О новом нападении и думать не приходилось. Они повернули коней и закричали:

— Назад! Не попадайся в плен! Назад!

Увидев своих удирающих главарей, тобыктинцы поняли, что дело проиграно, и кинулись за ними вслед.

За время боя добрый десяток тобыктинских джигитов потеряли коней и сейчас покалеченные, подгоняемые страхом плена, путаясь в когах лошадей, бежали за всадниками, умоляя взять их с собой. Но лишь четырех счастличиков тобыктинцы, подхватив на скаку, сумели посадить на крупы своих лошадей и умчаться.

Так, не сумев взять ни одного жеребенка, налетчики бежали восвояси, на первых порах даже потеряв представление о том, куда они собственно скачут. Уаки гнали их до широкого перевала Кокен за лощиной Хандара, избивая на ходу. Когда солнце поднялось на высоту пики, погоня прекратилась. Только перевалив Кокен, тобыктинцы почувствовали некоторую безопасность и, придя в себя, стали собираться вместе. Ряды их сильно поределели, тринадцать человек попали в плен, не хватало свыше двадцати коней, у многих джигитов были разбиты головы, а бойцы, спасшиеся на крупах чужих лошадей, лежали без памяти. У всех были измученные, изможденные лица, украшенные кровоподтеками и синяками.

Беспесбай в бою потерял трех. Распухший лоб его был туго перевязан поясным платком — кровь на нем засохла и запеклась коричневой коркой, а по бороде

стекала свежая ярко-алая кровь. С вывихнутым плечом, опираясь грудью на нагайку и боясь свалиться с седла еле сидел на лошади Саптаяк. Очень плохо было Жаркинбаю, Дубаю и Кулайгыру. У одного из них было изуродовано лицо, у другого кровоточило колено, третий выплевывал изо рта выбитые зубы.

Крепко досталось пяти главарям, но все же им удалось вовремя унести ноги и избежать плена. Куда хуже было тем, кто попал в руки кокенцев. А это были как раз наименее виновные в набеге люди, тобыктинские бедняки: пастухи, табунщики, скотники, дояры, лишь волею своих хозяев оказавшиеся в шайке барымтачей. На их головы и обрушилась вся тяжесть беды, накликаемой тобыктинскими главарями на мирных жителей Уака.

Огромная шайка конокрадов, опьяненная уразбаевским кумысом, выступала в поход, предвкушая легую победу, а сейчас, потерпев позорное поражение, она уныло брела в обратный путь.

Побежденным и разбитым оказался не только посланный Уразбаем отряд джигитов, уаки нанесли поражение самому Уразбаю и его приближенным — Жиренше, Абралы, Такежану. Теперь эти люди, сеявшие вокруг себя беду и несчастья, оказались опозоренными перед сородичами.

2

Урочища Бугылы славятся обилием воды и хорошими травами. Глазом не окинешь равнину, по середине которой возвышается одинокая большая гора Улкен¹ Коксенгир. Откуда бы ни смотреть на нее с расстояния пробега коня, так и кажется, что она окликает: «Я тут!» Если посмотришь издалека — в мареве безбрежной степи гора покажется синей, как медный купорос. Сколько высоких гор подняли свои вершины за Чингисом — Бугылы, Машан или Акшатау, Кара-Шоки или Тезека, но они не притягивают глаз такой заманчивой синевой, как Улкен Коксенгир. Должно быть потому,

¹ У л к е н — большой.

что вокруг теснятся сопки и скалы и, сливаясь с ними, эти горы, не выделяются из общей цепи.

У подножья Коксенгира, особенно с северной стороны, летом селится много аулов, выезжающих на джайляу. Гора богата родниками и ключами, вода в них, стекая по склону, образует ручьи, бегущие по влажной равнине. Хороши здесь заливные луга, удобны пастбища, а в прохладном горном воздухе нет никакой мошкары, обычно утомляющей скот.

Каждое лето приезжают на Коксенгир многолюдные аулы — Кара-мырза, Тасболат и Есболат, но в этом году здесь небывалый наплыв кочевников. В центре тобыктинской волости — Бугылы вот уже десятый день происходит необычайно большой сбор. Это не очередные выборы волостных или съезд, и даже не «шербешнай», и не торжественные поминки. Нет, здесь происходило нечто из ряда вон выходящее, чему местное население дало имя «санак», и что по-русски называлось переписью.

У подножья Коксенгира выделяются около полусотни юрт, поставленных, как на ярмарке. В трех местах стоят большие белые юрты, их окружают, тесно прижимаясь друг к другу, по четыре малые отау — с кошмой, расшитой узорами, а в самой середине возвышается огромная восьмистворчатая юрта, к которой с четырех сторон, дверь в дверь, присоединены еще четыре шестистворчатых.

Это сооружение из пяти юрт привлекает всеобщее внимание. Когда скотоводы, приехавшие на джайляу, заглянули внутрь замысловатой юрты, они зачмокали от удивления и восторга. И было чему удивляться! Даже для уездного начальника никогда не ставилось такой огромной юрты с таким богатым убранством. Какие здесь ковры, покрывала, расшитые кошмы, разноцветные пологи, занавески!

Да, на совесть постарались баи, чтобы подчеркнуть свое внимание чиновникам, приезжающим на джайляу для проведения «переписи».

Эту замысловатую юрту, которую вполне можно было назвать «ханской ставкой», поставили для самого почетного гостя по указанию Уразбая, главы влиятель-

ного и крупного рода Есболат, насчитывающего четверста семейств. Сын Уразбая, волостной управитель Елеу, считая очень важным оказать особое внимание главному начальнику переписи, чиновнику-казаху, посоветовал отцу поместить именно его в этой ханской ставке вместе с молодым слугой, секретарем и охраной.

В двадцати соседних юртах поселились его помощники — регистраторы, приехавшие проводить перепись, как русские так и казахи, молодые и пожилые люди. Кроме того, на джайляу приехало десятка два переводчиков, зеленая молодежь, не старше двадцати лет, учившаяся в городе и решившая за летние каникулы заработать копейку. Для них сытая жизнь на джайляу имела особую прелесть. Работа переводчика нетрудная, а время провести в ауле можно нескучно: закончив после обеда занятия, они садились на резвых коней и пускались вскачь наперегонки, а по вечерам, тревожа ближние аулы, ухаживали за степными красавицами. Иногда им удавалось соблазнить свое начальство выехать на охоту — и тогда, прихватив гончих собак, они поднимались на хребет Коксенгира травить зайцев.

Вот от этих переводчиков, а также казахов-регистраторов и пошел слух о главном начальнике «санака», молодом, необыкновенно умном и ученом казахе Азимхане, приезда которого подчиненные ожидали со дня на день.

Хвалебные слова дошли до ушей Уразбая и его сына Елеу. Они с особым вниманием слушали семипалатинских чиновников, вместе с которыми приехали переводчик окружного суда Сарманов и переводчик государственного банка, выходец из Тобыкты, Данияр.

Ныне у тобыктинцев были волостные из молодых — Елеу, Жанатай, Азимбай и самый младший из рода Коныр-Кокше — Самен. Все они были вызваны по вопросам переписи и остановились у Уразбая, где уже находились старшие чиновники и переводчики.

Угощаясь жеребенком, чиновники рассказывали, что «санак» не будет переезжать в другие волости Тобыкты, она останется, как постоянная концелярия, на одном месте, и самым главным начальником ее будет Азимхан, самый образованный из всех сыновей каза-

хов, известных в округе. Он учился в Петербурге, вырос среди петербургских и московских князей, знаком с русскими знатными дворянами, приближенными белого царя. Он видел восемь министров! Бодился с сыном генерал-губернатора, учился вместе с ним! Он дружил с сыновьями миллионщиков...

— Как же сын казаха достиг такой вершины славы? — спросил недоверчиво Уразбай.

— Очень просто! Он внук Жабай-хана, который управлял казахами Среднего Джуза!

Уразбай переглянулся с волостными управителями, сидевшими в его юрте, — с Елеу, Саменом, Азимбзем. Так вот почему Азимхан достиг высокого положения. Что же, это хорошо! Они это тоже запомнили. К тому же он, оказывается, состоял и в родстве с некоторыми из присутствующих: Уразбаем, Саменом.

Из дальнейших рассказов выяснилось, что отец Азимхана приходился родней старикам Куспеку и Жантаю.

По словам переводчика, оба побывали ага-султанами в Каркаралах. Они-то и согнали Кунанбая с его поста, отобрав от него ага-султанство. Кунанбай был вызван в Омск, где началось следствие, по окончании которого он чуть не угодил в Итжеккен¹ и в Жерсибир². Все это, оказывается, было делом рук Куспека и Жантая. Азимхан обо всем этом хорошо знает и может рассказать подробно.

Уразбай, молча слушавший рассказ переводчика, задумался, вспомнив Абая. Он не отрицал за своим кровным врагом некоторых достоинств, но был убежден, что во многом стоит выше его.

«Не только богатства, но и смелости у меня больше, и в народе я имею больше веса!» — думал он.

Только в одном он никак не мог соперничать с Абаем — это в родовитости. Отец Уразбая Аккулы, простой казах, даже не был баем.

Оправдывая поговорку «Не пойман — не вор!», Уразбай всю свою молодость провел на лошади, зани-

¹ И т ж е к к е н — край земли, где ездят на собаках.

² Ж е р с и б и р — Сибирь. Буквально: земля сибирская

маясь конокрадством. Почти все, что у него сейчас было, он приобрел и накопил сам. Кунанбай же был не только баем, но и ага-султаном, его называли «ханом, вышедшим из черной кости». Как он властвовал в степи! А теперь выясняется, что был человек, который и Кунанбая приторачивал к седлу — держал в подчинении. Похоже, что Азимхан, потомок Жабайхана, не особенно любит всю родню Кунанбая.

Переводчик Сарманов, работавший с высокопоставленным начальником в одном уезде, рассказал, что Азимхан, выехав из Каркаралы для проведения переписи на больших джайляу, узнал от народа много разных новостей про Тобыкты. С особым интересом Азимхан слушал рассказы про весеннее нападение на Хандар, предпринятое Уразбаем.

Высокопоставленный начальник будто бы похвалил уразбаевских джигитов за отвагу.

— Прошло время набегов или нет, не знаю, — сказал он, — но чего стоит это смелое нападение! В настоящее время в Тобыкты самый сильный и отважный из казахов — Уразбай. Поеду к нему, чтобы лично его приветствовать!

Услышав такие слова, Уразбай велел вместо тридцати белых юрт, поставить пятьдесят, а пять из них соединить вместе, как ханскую ставку для самого Азимхана. Вместе со своим сыном Елеу он явно старался заполучить на свою сторону едущего начальника и до небес возносил его родовитость, богатство и влияние.

— И среди русских и среди казахских чиновников нет такого другого! Если сравнивать со старым временем, то это хан и родом и по могуществу, потомок тех, кому в прошлые века подчинялись наши прадеды! Сам белый царь хлопал его по плечу. Кому же мы должны оказывать почет и уважение, как не ему?

Так разглагольствовал Уразбай среди семипалатинских переводчиков. Он рассчитывал, что они донесут его слова до ушей казахского тюре¹ и, посылая ему свои пожелания, советовал:

¹ Т ю р е — человек ханского происхождения

— Пусть наш большой гость остановится в Коксенгире. Здесь он сможет провести «санак» четырех волостей Тобыкты, зачем ему утруждать себя лишними переездами. А мы его встретим так, как никого еще не встречали.

Уразбай при всяком удобном случае с особым усердием расхваливал Азимхана тобыктинским аксакалам и карасакалам.

— Человек он ученый, и по уму нет ему равного среди казахов! Вот мне намозолили уши «Абай ученый!», «Абай много знает!». А кто такой Абай по сравнению с приезжающим тюре? Правильно говорят: «Для темных людей и плут мулла!».

Появления Азимхана ожидали с великим нетерпением. Наконец он приехал на пяти тройках с оглушительным звоном медных колокольчиков и, отдохнув с дороги первый день, на другой отправился в аул Уразбая, прихватив с собой молодых чиновников и переводчиков вроде Сарманова и Данияра, которые хотя и были ему ровесниками, держали себя с подчеркнутым раболепием.

— С дружбой еду к Уразбаю! — объявил Азимхан своей пышной чиновной свите.

И дружба после первого посещения завязалась большая. Днем Азимхан еще заставлял своих чиновников работать, но зато каждый вечер он бывал вместе со своей свитой или в юрте самого Уразбая или в малом ауле его сына Елеу.

Чиновники зажили на джайляу, как в раю. Каждый день они съедали по жеребенку и по несколько барашков. Благосклонно принимая высокие почести от Уразбая, аксакалов и молодых аткаминеров, высокопоставленный тюре без умолку рассказывал обо всем, что ему довелось увидеть и узнать. Слушая Азимхана и видя, какое большое внимание оказывает ему Уразбай, волостные управители и бии, в свою очередь, тоже стали славословить его в среде своих аткаминеров.

— Азимхан — не просто высокопоставленный царский чиновник, он — потомок хана, властителя Среднего Джуза. Ему на роду написано править судьбой казахского народа, быть предводителем казахов!

Так говорил Уразбай, и слова его разносились среди родовитых баев, биев, хаджи, волостных управителей и главарей родов.

Не прошло и десяти дней после прибытия высокопоставленного тюре, а уже во всех четырех волостях стало известно, какой великий человек осчастливил Коксенгир своим посещением.

Азимбай, Самен, Жанатай, прибывшие из отдаленных джайляу, приглашали к себе своих единомышленников — баев из дальних аулов, обещая познакомить их с высокопоставленным чиновником-казахом, настоящим тюре. Получив такое приглашение от Азимбая, в Коксенгир приехал Шубар. В это время он хотя и был внешне в хороших отношениях с Абаем, но внутренне таил против него злобу. Встречая противников Абая, Шубар быстро завязывал с ними дружбу и не скрывал от них своей вражды к поэту. На этой почве он и подружился с Азимбаем, который сделался для него ближе всей иной родни. Беседуя вдвоем, а иногда и втроем с Такежаном, они не скрывали друг от друга лютой ненависти к Абаю, не стесняясь обнажали всю свою духовную мерзость. Поддерживая друг друга, они год от года все яростнее клеветали на Абая, все больше теснили его, хотя знали, что он вступает в распри только в случае крайней необходимости и то весьма неохотно.

Абай догадывался откуда дует ветер, но не допускал мысли, что Шубар участвует наравне с Такежаном и Азимбаем в распространении гнусных слухов и клеветы против него.

«Он может мне завидовать, но моим врагом не будет!» — утешал себя Абай, когда в его душу закрадывались подозрения.

Шубар умело вел тонкую игру. Никогда не выступая открыто, он ловко прятался за спину Уразбая, Такежана, Азимбая, Жиренше и Абдильды. Натравив на Абая торговцев Сейсеке, Хасена, Жакыпа и духовных лиц из мечетей и медресе, он вовремя отходил в сторону, чтобы не навлечь на себя никаких подозрений.

Встречаясь с муллами, Шубар давал им понять, что

он не расстаётся с кораном, читает религиозные книги и в своей набожности не уступит любому мулле, а в беседах с Азимбаем, Уразбаем и Такежаном также оказывался на первом месте. Будучи в годы молодости волостным управителем, он заглядывал иногда в русские книги, и они действительно помогли ему почувствовать свое превосходство над своими единомышленниками. Завидуя Абаю и ненавидя его, Шубар стремился показать окружающим, что он ни в чем не уступает поэту, и делал вид, что во всем идет по его стопам. Он стремился казаться таким же последователем Абая, как близкие ему Магаш, Какитай и Дармен, поэтому тщательно следил за его творчеством. Шубар прекрасно знал абаевские стихи и, когда выгодно было щегольнуть этим знанием в присутствии Абая, легко и свободно пел их наизусть.

Азимбай и Такежан слышать не хотели ни одного слова из поучений Абая, Уразбай и Жиренше попросту отвергали все, что от него исходило, а Шубар хотел бороться с Абаем, изучив его творения и проникнув в его самые сокровенные мысли.

Абай в своих стихах говорил о вероломных, изворотливых аткаминерах, что «они, распознав все твои тайники, откроют их врагу», — вот таким аткаминером и был Шубар, поспешивший в Коксенгир приветствовать казахского тюре, которого Уразбай и Азимбай перевозносили, как хана.

Азимхан встретил приезжего гостя приветливо и говорил с ним так же ласково, как и со всеми другими, набившимися в среднюю юрту «ханской ставки» баями и аткаминерами, которые ловили каждое слово высокопоставленного тюре. Облокотившись на четыре пуховых подушки, Азимхан покровительственно отвечал на почтительные вопросы слушателей, а перед вечерним чаем он осчастливил их рассказом о прошлом казахского ханства. Воротилы Тобыкты и главы родов, бахвалившиеся знанием родословной своих предков, были изумлены. Возможно потому, что Азимхан был потомком хана, а возможно и потому, что он много читал, — но рассказ его был принят, как откровение благодарными слушателями.

Азимхан поведал им, как казахская степь оказалась в подданстве у русского царя.

— Казахи Младшего Джуза сто шестьдесят семь лет тому назад приняли русское подданство,— говорил он.— Постарался в этом деле хан Абулхаир. Средний Джуз подчинил России Аблай-хан, но мой предок Жекей-хан тоже не был тогда в стороне

Уразбай и Есентай одобрительно прищелкнули языками, а Жиренше с восхищением воскликнул:

— Ого! Его предки помогали белому царю! А сам каков?! Батыр!

Рассказчик поднял палец:

— Прошло сорок лет, и сыновья Аблая, тоже наши тюре Сок и Адиль, подчинили России Большой Джуз...

Азимхан тут же похвастал, сказав, что его родные братья Куспек и Жантай не так давно свалили с ага-султанства Кунанбая и отобрали его пост.

Уразбай и Есентай громко рассмеялись, Кунанбая давно уже никто не смел называть по имени, все его величали «хаджи», как глубокочтимого мусульманина, совершившего паломничество в Мекку, даже Шубара и Азимбая почтительно именовали «сыновьями хаджи». И вот молодой казахский тюре — знатный российский чиновник, без всякого стеснения произнес просто: «Кунанбай!». Такое пренебрежение Уразбаю пришлось по душе — словно его врага ударили по голове.

И вместе с Есентаем он начал подзадоривать Азимхана на проявление новой непочтительности к Кунанбаю, а молодой тюре, почувствовав, как льнет к нему Уразбай, начал распоясываться все больше и больше.

Вернувшись к прерванному рассказу о бывшем казахском ханстве, он сказал:

— Древние роды казахов были под властью великого завоевателя Чингис-хана, который имел четырех сыновей. Они и покорили все четыре стороны света.

Уразбай и остальные гости слышали об этом впервые. Раскрыв рот, они внимали рассказу тюре про Касым-хана, оставившего казахам «Лысую дорогу», и Есим-хана, оставившего «Старую дорогу». Предков

всех ханов, управлявших казахами трех Джузов, Азимхан связал с именем сына Чингис-хана — Жоши, а себя объявил потомком великого покорителя мира.

Это открытие очень понравилось Уразбаю. Он подумал:

«В наше время казахами должен управлять вот такой человек — потомок казахских ханов, имеющий русское образование и получивший чин от самого белого царя».

...Тесно в восьмистворчатой юрте, где ведет беседу тюре Азимхан. Бии, волостные управители, аксакалы, аткаминеры, слушая его рассказы, пьют кумыс, который в изобилии разливают шесть джигитов. Для гостей Уразбая вся история казахского народа ограничивалась до сих пор историей рода Тобыкты. Азимхан рассказал о бескрайних землях, населенных казахами, и приятно поразил всех, назвав их численность. Не только Уразбаю, но даже бывалому, знающему человеку Шубару показалось невероятным, что на белом свете живет несколько миллионов казахов.

Азимхан, запомнивший цифры, опубликованные в пятнадцатом томе «Энциклопедического словаря», изданного в Петербурге год назад, так и сыпал ими, хорошо зная, что если он ошибется, то никто из слушателей промаха не заметит.

— В Астраханской губернии — двести шестнадцать тысяч казахов, в Уральской — четыреста двенадцать тысяч, в Тургайской — сто тридцать восемь тысяч, в Акмолинской — триста сорок одна тысяча. В Семипалатинской, где вы живете, — пятьсот сорок семь тысяч, в Джетысу — шестьсот тысяч. А на берегах Сыр-Дарьи — в Туркестане и около Ташкента — семьсот тринадцать тысяч казахов!

Азимхан торжествующе посмотрел на своих слушателей, а охмелевшие от кумыса хвастливые пустобрехи — бии, волостные управители и баи, перебивая друг друга, загомонили:

— Как много казахов! Кто их только считал!

— Откуда он все это знает!

— Тот, кто мог все это узнать, достоин стать главой всех казахов!

— Ни у кого нет такой учености, как у него!

— Ни один казах, даже самый умный, не сумел перечесть всех казахов, а он пересчитал!

— Он это не зря сделал! Видно, хочет объединить весь казахский народ! — переговаривались между собой Жанатай, Самен, Азимбай и Шубар.

Азимхан, подметив восхищение слушателей, продолжал называть цифры, которые он, видимо, выучил наизусть:

— Есть еще казахи уральские и тургайские, живущие возле Уральских гор, — их около сорока тысяч! Они населяют уезды Верхнеуральский, Челябинский и Троицкий. Тысячи казахов проживают в Хивинском ханстве. Около сорока тысяч казахов нашли приют в Туркмении, на берегу Аму-Дарьи; в Самаркандской области — двадцать, а на берегах Каспия более сорока тысяч казахов. Даже на Китайской земле, на берегу реки Кара-Иртыш, на юге Алтая, на севере и юге Тарбагатая, Сауыр живет много казахов...

Азимхан, рассказывая, делил их на джузы и называл десятки родов, обнаружив исключительную память. Ошеломленные тобыктинские баи только качали головами, разинув рты.

— Дай бог тебе успеха в жизни, дорогой Азимхан! — сказал Уразбай. — Даже не знаю, как и благодарить тебя за удовольствие, которое мы получили от твоих полезных рассказов за эти десять дней! Ты настоящий хан для казахов, и я с радостью назову себя твоим рабом! У нас есть люди, которые кичатся своим умом и ученостью, но где им равняться с тобой! Пусть уж лучше они питаются милостыней от твоих знаний!

И Уразбай подмигнул Жиренше, кивком головы показав в сторону Азимбая. Он дал понять, что имел в виду своего давнишнего врага Абая.

Проведя всю ночь в восхвалении достоинств Азимхана, гости начали расходиться по отведенным им юртам.

Шубар нарочно задержался, он хотел побеседовать с молодым тюре. Оставшись наедине, они заговорили об Абае.

— Правда ли, что он пишет стихи и знает по-русски? — спросил Азимхан.

Хвалить Абая Шубару не позволила привычная зависть, но соврать он тоже не смог и ответил уклончиво, словно не желая из скромности славословить свою родню и этим прикрывая ложь:

— По-русски кое-что знает!

Но Азимхан уже не раз слышал об Абаяе и задал прямой вопрос:

— Говорят, Абай переводит Пушкина, Лермонтова и создает песни из их стихотворений.

Шубар понял, что ему придется рассказать правду.

— Да, Абай переводит, — ответил он кратко.

— А вы знаете стихи Пушкина и Лермонтова в переводе Абая?

Шубар понял, что песни Абая могут послужить хорошим поводом для более близкого знакомства с Азимханом и ответил:

— Знаю.

— А нельзя ли мне их послушать? Приходите завтра ко мне.

Шубар кивнул головой в знак согласия.

Азимхан еще в прошлом году впервые услышал об Абаяе, как о поэте. В начале лета он приехал из Петербурга в Семипалатинск и через Семитауские горы направился в Каркаралы. По дороге ему пришлось остановиться у богатого бая из рода Бура. Наступил вечер, и в соседней юрте, наверное, отау¹, выделенной для молодежи, началось шумное веселье с песнями. Оказывается, в аул приехал жених со своим другом, известным певцом Какеном, которого хорошо знали все жители Семитауских гор. Азимхан упросил хозяина вызвать приезжего певца, и тот явился с домброй. У него были веселые глаза и приятное, полное, бледноматовое лицо, обрамленное черной бородкой. Не сказав ни слова, он сразу запел:

Я вам пишу, чего же боле,
Что я могу еще сказать?

¹ О т а у — юрта, в которой живут сыновья

Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.

Слова песни показались Азимхану удивительно знакомыми. Где он их слышал? А певец, видимо, довольный произведенным впечатлением, закончив песню и готовясь начать новую, сказал:

— А вот что ответил Онегин на это письмо!

Азимхан быстро приподнялся на локте:

— Ого, да неужели ты поешь из «Евгения Онегина»?

Певец, словно речь шла о самых простых вещах, пренебрежительно ответил:

— Да, это о Татьяне и Онегине. Ты, я вижу, сам знаешь, тюре!

— Я-то знаю, — грубовато сказал Азимхан, — а вот ты откуда знаешь?

— А почему мне не знать?

— Тогда скажи, кто они?

— Русская девушка и русский джигит. Про них написал такой же акын, как я, — Пушкин. А наш друг, большой акын Абай, стихи Пушкина превратил в казахскую песню.

Так в прошлом году Азимхан впервые услышал имя Абая. Вначале он решил, что Абай — это простой акын. Но, выехав на перепись в степь, начиная от Караоткел, Каркаралы, Баяна, — он все время слышал имя этого человека, слагавшего стихи и создававшего мелодии, слышал про его талант, про его мудрые наидания, обращенные к народу.

И теперь, встретив Шубара, Азимхан полдня не отпускал его от себя, все слушал в его исполнении песни Абая.

Хотя молодой тюре и был образованным человеком, но до его сердца не доходили стихи, написанные на казахском языке, он не любил родной поэзии и не понимал ее.

Но Абай перевел стихи Пушкина и Лермонтова на казахский язык, и в степи их запели как песни. Это было и забавно и удивительно! Когда же Шубар стал читать стихи самого Абая о казахском народе, Азимхан лениво зевнул и, не дослушав до конца, сказал:

— А все-таки лучший казахский акын это Бухар-жырау!

Шубар с изумлением посмотрел на молодого тюре и невольно вспомнил недавно переведенную Абаем басню Крылова «Осел и соловей». Вот так точно и осел сказал, прослушав соловья: «А жаль, что незнаком ты с нашим петухом!».

Шубар считал Абая крупным акыном, хотя в глубине души и осуждал его за образ мыслей и поведение. Вместо того, чтобы воспевать казахских ханов, предков, баев и превосходство мусульманской религии, что представлялось Шубару единственно правильным и достойным, он отдавал слишком много внимания в своих песнях «безымянному люду». Вот если бы Абая наставить на истинный путь, тогда из него вышел бы настоящий большой акын, которого полюбили бы «благородные казахи».

Но сейчас, после слов Азимхана, даже лицемерный Шубар искренне возмутился:

— Вы говорите, что Бухар наш лучший акын?! Не знаю, скажу только, что в своих творениях Абай вступил с ним в спор и крепко поддел его на рога!

И Шубар запел песню Абая нарочно громко, чтобы нахмурившийся и явно не желавший его слушать тюре, все же услышал:

Бухар-жырау, Шортамбай и Дулат,
Песни их все из пестрых заплат!

— Абай не понимает важного значения казахских ханов в истории нашего народа, иначе он воспевал бы их подвиги! — упрямо сказал тюре.— Вот почему я считаю Бухар-жырау лучшим казахским акыном....

И Азимхан стал расхваливать Бухар-жырау, умевшего понимать интересы истинной знати, настоящего ханского и байского акына. При этом он все время стремился подчеркнуть, что сам принадлежит к ним по крови.

* * *

Неясно было, с какой именно целью Азимхан вызвал к себе однажды Елеу и Шубара и приказал:

— Велите оседлать коней для меня и для себя. Я хочу, чтобы вы меня сопровождали в поездке.

Елеу, не расстававшийся с тюре ни днем ни ночью, быстро выполнил его приказание. Оказалось, что Азимхан решил навестить Абая, жившего в Шакпаке в полудне езды от Коксенгира, познакомиться с ним и побеседовать.

Выехав после утреннего чая с многолюдной свитой, Азимхан сразу же отделил Елеу, Шубара и Азимбая, оставив их при себе, а остальных спутников отправил вперед. Когда джигиты умчались, тюре завел разговор об Абае, этот человек интересовал его с каждым днем все больше и больше. За последние пять дней Шубар, Азимбай и другие близкие поэту люди много о нем рассказывали. Тюре, сразу раскусивший, что Уразбай враждует с Абаем, не всем словам его верил, но вот об Абае заговорили его близкие родственники, расписывая характер и взгляды поэта на жизнь, им можно было верить. Вспоминая их рассказы, Азимхан не ждал ничего доброго от предстоящей встречи, но все же ехал, желая знать всю правду об этом загадочном для него человеке. Чего в нем больше — плохого или хорошего?

И он попросил своих спутников, молодых вожаков Тобыкты, высказаться откровенно, не скрывая ничего.

— Если он плох, дайте мне доказательства. Приведите примеры, что он сделал плохого.

Елеу, Шубар и Азимбай задумались, размышляя, как убедительнее ответить на этот вопрос. Первым заговорил Шубар, рассказавший, что Абай за последние шесть-семь лет заморозил в нем все родственные чувства своими поступками.

— Это какими же?

— В Семипалатинске Абай восстановил против себя все духовенство города, всех ишанов, имамов, хальфе и сделал их своими врагами. Во время холеры он поссорил мусульманских имамов.

— Еще.

— Он помог безродному и бездомному нищему украсть из знатного аула невесту умершего родствен-

ника Уразбая. Он подучил увезти ее в город под защиту русских властей, чем нарушил обычай предков. Он первый перешагнул через шарият, заставил людей пренебречь мусульманскими законами. Эти оба поступка Абая глубоко оскорбили всех городских наставников — имамов, знатных людей, именитых купцов, вообще нарушили покой всех городских казахов... Такие вещи непростительны.

Шубар кончил и стал говорить Азимбай. Он поставил Абаю в вину его постоянное заступничество за хлеборобов, косарей, ремесленников, разных нищих. Из-за них он вступал в споры с волостными управителями, с хаджи, с людьми благородного происхождения. Он даже поссорился со своими родными братьями — Такежаном, Азимбаем, Майбасаром.

— Чего много в моей волости, которой я управляю? — спросил Азимбай и сам же ответил с возмущением: — Жалоб и домогательств наших бедняков, которых направляет ко мне Абай.

Азимбай умолк и тогда заговорил Елеу, по привычке взвешивая каждое свое слово.

— Не буду говорить о прошлом, расскажу, как вел себя Абай нынешней весной. Тюре Азимхану понравилось нападение Уразбая на жителей Кокена, вызванное справедливым гневом тобыктинцев. Недаром он назвал этот поступок смелым подвигом человека, достойного стать вожаком народа. А как держал себя Абай? Он отнесся к набегу с осуждением и отвернулся от всех благородных людей Тобыкты. Даже со своими младшими братьями и старшим Такежаном перестал разговаривать. Открыто заявлял, что он на стороне хлеборобов, и всячески защищал их. Уразбая назвал глупцом! Всюду говорил, что время набегов прошло, что надо смотреть не назад, а вперед, там казахов ждет лучшее будущее. А сам натравливал в это время безродных нищих на благородных людей нашего рода...

Когда Елеу кончил, тюре спросил:

— Что это за лучшее будущее? И от кого он его ждет?

Шубар подравнял своего коня голова в голову с конем Азимхана.

— Не от казахов, а от русских! — ответил он. — Скоро, говорит, в России все переменится и наступит другая жизнь.

Тюре насторожился:

— Переменится?! А ему кто сказал об этом?

— У Абая много друзей среди ссыльных...

— Ссыльных?! — тюре оживился. — Это очень интересно...

Шубар рассказал про Михайлова, потом про Павлова, с которым Абай дружил почти десять лет. Азимхан слушал внимательно, стараясь не пропустить ни одного слова.

Выслушав рассказ Шубара, тюре резко изменился в лице.

— Елеу! — неожиданно закричал он. — Я передумал! Зови передних! Не поеду я к вашему Абаю! Он недостойн моего посещения. Все назад!

И тюре, повернув коня, поскакал в обратную сторону.

Елеу и Азимбай, хотя и удивились внезапной перемене пути, но в душе были очень довольны. Беспорядочно размахивая нагайками и малахаями, они помчались догонять уехавшую вперед свиту тюре и, надрывая горло от крика, быстро вернули ее назад.

До наступления вечера Азимхан возвратился в Коксенгир. Расспросив Елеу о причине неожиданного возвращения тюре и, узнав, что он осудил Абая после разговора с Шубаром, Уразбай не находил себе места от радости. Он то и дело вскакивал со шкуры жеребенка, на которой сидел, и ликовал в присутствии сына открыто и горячо.

Спустя два дня, Уразбай вызвал к себе родственника волостного управителя Самена, из Коныркокше. Хотя земли их разделяло большое расстояние, но интересы были в некоторых делах общими.

Пригласив Азимхана в свою большую юрту, Уразбай при Самене сугубо секретно обратился к нему за советом.

Через полмесяца в урочище Аркат уездный начальник Маковецкий созывает чрезвычайный съезд, на нем

будет разбираться тяжба между Уаком и Тобыкты и будет утвержден раздел земли.

Семипалатинские бии собираются осудить «уразбаевский весенний набег», тот самый набег, который одобрил Азимхан...

И Уразбай рассказал, какой узел завязали его враги вокруг этого дела. Только один тюре в состоянии его развязать, а еще лучше бы разрубить...

— Кровоточащая рана может загноиться, — говорил он заискивающе. — Чтобы насолить мне, Абай будет поддерживать уаков, а коль скоро это случится, то и среди тобыктинцев найдутся люди, которые поднимутся против меня. Стоит Абаю обвинить «насильниками» Тобыкты, как его сразу же поддержат все роды, живущие вокруг, — Сыбан, Керей, Бура, Матай, Уак, Найман... Все они станут чернить меня... Абаю лестно, когда его называют защитником всех плачущих и неимущих, и он обязательно выступит на Шербешнае¹ и свалит нас всех в одну кучу... Но вы же теперь знаете, какие черные мысли у этого человека! Он противник казахских обычаев...

Волостной управитель Самен, имевший с Абаем личные счеты, ненавидел его даже больше чем Уразбай. Почтительно называя Азимхана, ровесника по возрасту, «ага-еке»², он сказал:

— Пришли просить совета у твоего зоркого ума, ага-еке. Ты теперь наш вожак, благородный тюре! Скажи, как быть с Абаем?

Азимхан, нахмурив брови, закрыл глаза, словно обдумывая, какой лучше дать совет. Разглаживая кулаком щетину редких усов, он кратко ответил:

— Все слова сказаны, все пути пройдены. Не похоже на Уразекена, чтобы он сам не мог найти исхода. С такими людьми, как Абай, можно разговаривать только одним языком, и Уразекен его хорошо знает. Черный шокпар и гнев народа, который уаки испытали на берегу озера Тущы-Коль, научат покорности и такого дикого медведя, как Абай.

¹ Ш е р б е ш н а й — искаженно Чрезвычайный съезд.

² А г а - е к е — почтительное обращение к старшему, «дядя».

Уразбай и Самен переглянулись удивленно и радостно. Преподанный Азимханом совет превзошел все их ожидания.

Договорившись обо всем, они посидели в молчании, словно обдумывая его предложение.

А молодой тюре, развязав этим негодьям руки для ужасного преступления, вернулся в полночь в свою «ханскую ставку» и спокойно лег спать.

3

Одинокая гора Аркат резко отличалась от соседних гор, ее вершина словно врезалась в небо острым причудливым пиком. Каменистые гребни на северной стороне очень красивы, но путь через гору труднопроходим — высокие скалы громоздились на склонах. Вершина Арката, гладко отграненная веками у основания, называлась «Куйметас», что означает — «утес-повозка».

На восточной стороне Куйметаса начиналось урочище Копа, славящееся тучными пастбищами. Здесь было много чистых родников, а сразу под горой зеленел молодой осиновый лес.

Сейчас на урочище Копа выросло более полусотни юрт — они предназначались для сборов, которые здесь проводились от случая к случаю. На открытом месте юрты стояли кучкой, а там, где зелень кустарника протянулась длинной узкой полосой, — они поставлены были по две в ряд вдоль этой полосы.

На каменистом холмике, вблизи белых юрт, находившихся в самом центре, сидели семь человек, приехавших на сбор из Кокенской волости. Здесь были Бостан, Кулжатай и Енсебай. Судя по веселым лицам, можно было понять, что настроение у них было хорошее.

В памятную ночь уразбаевского набега на берег озера Тущы-Коль Бостана сильно покалечили, правая богатырская рука его стала короче и не действовала, пальцы начали сохнуть. Но Бостан все же не унывал. Так же бодро чувствовал себя и Кулжатай. Черная густая борода и длинные усы закрывали ему рот, но когда он смеялся, легко было заметить, что передний ряд

верхних зубов отсутствовал, — их выбили во время схватки тобыктинские джигиты.

Бостан, Кулжатай и Енсебай приехали на сбор, чтобы показать свои увечья и потребовать к ответу насильников-тобыктинцев за тот урон и страдания, которые им пришлось потерпеть. Но, сидя на каменистом холмике и беседуя с друзьями, они ни одним словом не обмолвились о пережитом. Все это осталось позади — обо всем было говорено и переговорено. Сейчас они с нетерпением ждали, что скажет съезд о кровавой схватке на берегу озера Тушы-Коль. Многое зависит от главного свидетеля, который должен выступить сегодня с речью, он может подсказать участникам сбора правильное решение. Бостан, Кулжатай и Енсебай забрались на холмик, откуда можно было увидеть приезд этого свидетеля. Но он, видимо, где-то задержался в дороге.

Енсебай показал на Куйметас и сказал, обратившись к Кулжатаю:

— Ты любишь говорить о своей смелости и силе. А вот на Куйметас мог бы залезть? Говорят, что там еще никто не был. Попробуй забраться раньше других!

— Это для того, чтобы ты после прозвал меня Бораном? — усмехнулся щербатым ртом Кулжатай.

— А кто такой Боран? — спросил Бостан. — Я такого не слышал.

— А вот кто, — сказал Кулжатай. — Среди тобыктинцев много врунов, но такого, как Боран, говорят, еще не было на белом свете. Однажды он рассказал своим друзьям: «Залез, мол, я на самую вершину Куйметаса и вижу всю нашу степь, как на ладони, а под ногами у меня Семипалатинск... Вглядываюсь и замечаю бая Сейсеке, идет он по своему двору с медным кумганом в руке в уборную совершать омовение перед утренним намазом...

Бостан и Енсебай расхохотались. У Кулжатая широкие плечи тоже затряслись от смеха.

— Про него даже песню сложили, про того Борана, что с Куйметаса увидел за полтора верст Семипалатинск.

И Кулжатай пропел:

На верху Куйметаса Боран побывал—
Из казахов никто так отменно не врал.
Вслед за ним до вершины до той ледяной
Лишь орел поднебесный едва долетал.

Но Енсебай не унимался, продолжал поддразнивать своего друга:

— А ты все же заберись на вершину, пока здесь без дела торчим. И мы тоже песню сочиним про тебя:

Уж коль залез на Куйметас
Известный всем Боран,
То вслед за ним и Кулжатай
Попрется, как баран!

Но Кулжатай ответил серьезно:

— Не к чему воспевать Кулжатая, если он даже и заберется на Куйметас. Кулжатай предпочел бы лучше прославиться победой над тобыктинским разбойником Уразбаем. Разве ты этого сам не хочешь, дурень!

— Подождите, друзья,— прервал Бостан.— Смотрите вон на тот зеленый перевал. Видите шесть человек... Думаю, это как раз тот, кого мы здесь поджидаем... Пошли... Вот они куда отправились...

И Бостан первый торопливо поднялся.

Три друга направились к большим белым юртам, в которых остановился семипалатинский уездный начальник Маковецкий и сопровождавшие его два крестьянских начальника, управлявшие степными волостями. Вместе с ними поместились уездный переводчик Самалбек, канцелярские служащие и несколько стражников.

Маковецкий со своими чиновниками, приехавшими проводить «Шербешнай съезд», жил как бы в центре большого аула. С правой стороны стояли юрты, в которых разместились представители шестнадцати волостей, в том числе и Кокенской, а с левой — представители четырех волостей Тобыкты.

Обычно на чрезвычайных съездах рассматривается много вопросов, но «Шербешнай съезд» в Аркате был созван, чтобы решить только один спор, — о земле между Кокеном и Тобыкты, а в связи с этим по указа-

нию семипалатинского жандарала¹ рассмотреть дело о прошлогоднем набеге Уразбая на кокенцев. Это был особый съезд, впоследствии надолго сохранившийся в памяти многих.

Жители Кокенской волости, пострадавшие от набега, предъявляли иск тобыктинцам, жившим в четырех волостях, а представители остальных одиннадцати волостей должны были решить спор между ними. Согласно этому решению уездному начальнику Маковедкому предписывалось вынести окончательный приговор, обязательный для обеих враждующих сторон.

На «Шербешнай съезд» прибыли представители волостей с нижнего течения Иртыша — Басентиня, Найман, Бура и с верхнего, от казахов, живущих в сосновом лесу, из Бельагачской волости. Кроме тобыктинских, с ближнего побережья Иртыша явились также представители шести волостей. Все это была бия, выбранные по царскому закону с одобрения крестьянских начальников. Каждая волость, по числу аулов, прислала от десяти до пятнадцати биев, а от всех шестнадцати волостей их собралось, примерно, до двухсот пятидесяти.

С утра и до вечера люди, съехавшиеся в Аркат на «Шербешнай», занимались одним делом — подсчитывали на чьей стороне больше доброжелателей, на стороне Кокена или Тобыкты.

Тобыктинцев недолюбливали за воинственный, задиристый нрав, соседи никогда не знали от них покоя. Особенно их ненавидели жители Кокена и Бельагача, труженики-хлеборобы. Недаром они часто повторяли слова Абая:

Самый злобный род — Тобыкты,
Множество в нем смутьянов.

Судя по разговорам, происходившим в юртах, у тобыктинцев доброжелателей было значительно меньше, чем у Кокена. Бывалые люди с наметанным глазом утверждали, что на стороне тобыктинцев окажутся только пятьдесят — шестьдесят биев, а на стороне

¹ Ж а н д а р а л — искаженное, «генерал», генерал-губернатор.

кокенцев — остальные сто семьдесят — сто восемьдесят.

Но будет ли на самом деле так? Ведь бии отличаются непостоянством характера, не напрасно Абай о них сказал: «Сегодня опираются на холку коня, завтра — на горб верблюда».

Трудно было также предугадать, сохранят ли бии каждой волости единство при голосовании. Ведь в каждой волости всегда идет борьба между двумя воротилами и невозможно предвидеть, кто из них в какую сторону потянет.

Уразбай приехал на «Шербешнай» раньше других в сопровождении полусотни аткаминеров. Волостных управителей Азимбая, Самена, Жанатая сопровождали по десять — двадцать человек, — среди них были бойкие краснобаи. Возле юрт, где разместились аткаминеры, каждую ночь под прикрытием темноты разворачивалась ожесточенная борьба за исход предстоящего правосудия. Шла торговля «конским жиром», и «верблюжьим горбом». В этой торговле честью и совестью «верблюды проглатывались вместе с шерстью», а «лошадь проглатывалась с головой»¹. Деньги, врученные «под полой», быстро расходились по многим юртам.

Тот, кого с таким нетерпением ждал Бостан с друзьями, должен был приехать со дня на день и выступить главным свидетелем в споре. Выдвигала этого свидетеля потерпевшая сторона — кокенцы, прекрасно понимавшие, что его показания будут иметь огромное значение для решения «Шербешная», — ведь бии многих волостей в зависимости от этого выступления определяют и свое поведение на съезде.

Уездный начальник Маковецкий и два крестьянских начальника тоже с нетерпением ожидали приезда этого человека, имевшего большой вес в степи. В жалобах и заявлениях истцы, называя его имя, писали:

«Кто из нас прав, мы или Уразбай, для этого человека, которого мы призываем в свидетели, яснее луны.

¹ То есть, верблюды и кони отдавались не во временное пользование, а навсегда.

Ему известна история давнего спора о земле между Кокеном и Тобыкты».

Ожидаемый свидетель принадлежал к роду Тобыкты, и все-таки кокенцы свято верили в его справедливость. Тобыктинцы попадали в тяжелое положение: если твой враг выдвинул для решения спора свидетеля из твоего же рода, как можно опорочить его показания? Даже у самого Уразбая не повернется язык выступить против него. И Уразбай в глубине души лелеял надежду:

«А вдруг да ему не удастся дать свои показания?!»

Тобыктинские аткаминеры старались успокоить себя:

— Не может быть, чтобы он посрамил честь Тобыкты! Не посмеет он унижить своих сородичей перед врагами!

Однако червь сомнения все же точил их сердца:

— Ну, а если все же он заставит тобыктинцев склониться перед противником? Что тогда? Ответ был один. Значит, покажет себя чужим для Тобыкты! Сам себя привяжет к позорному столбу!

Человек, с таким нетерпением ожидаемый в Аркате, ехал не только к доброжелателям, которые жаждали услышать его речь. Было много и таких, кто готовился направить на него острые пики. И аткаминеры задумывались, как он сумеет выйти из этого испытания, не запятнав своей чести, как говорится, и тело и душу соблюсти.

Наконец долгожданный свидетель приехал в сопровождении шести спутников и остановился в юрте Самалбека, сразу оказавшись в самой гуще противоречий. Это был Абай.

Мелкий чиновник Самалбек, по происхождению киргиз, работал переводчиком в Семипалатинске и принадлежал к числу каратаяков. Абай ценил его за скромность и порядочность и с одобрением говорил:

— Хотя среда, где вращается Самалбек, и портит людей, но он сумел сохранить достоинство справедливого человека, присущее его народу.

Абай избрал юрту Самалбека с определенной целью — разузнать, чего хотели от него представители власти, несколько раз посылавшие за ним гонцов. С тобыктинцами и уаками, которые приходили к нему, как представители борющихся сторон, он пока что отказался встречаться. Он хотел вначале решить для себя, зачем он будет выступать, кому нужны его слова и какой вес они будут иметь в предстоящем споре.

Самалбек, неразговорчивый от природы, не был откровенен и с Абаем. Все, что он сказал, было хорошо известно поэту.

Обе борющиеся стороны одинаково нуждаются в показаниях Абая. Маковецкий и крестьянские начальники, по требованию двух сторон, решили выслушать его, но что у них на уме — угадать невозможно. Абай сам хорошо знает, что ему делать. Если он при даче свидетельских показаний пойдет своим обычным прямым путем, — это будет самым правильным.

Такой совет дал переводчик и на этом разговор закончился.

Когда перед обедом Абай вышел было из юрты Самалбека, его на каждом шагу начали останавливать люди, желавшие с ним поговорить, и Абай решил до своего выступления на съезде встретиться и поговорить со всеми, кто нуждался в его совете. Он тут же принял и по одному представителю от враждующих сторон — от Тобыкты и Уака. А когда они ушли, поэт до глубокой ночи выслушивал жалобы людей, пострадавших во время весеннего нападения уразбаевских джигитов. Пришли покалеченные кокенцы, показывая увечья, полученные в схватке с тобыктинцами. И тобыктинцы пришли поведать свое горе. У многих участников уразбаевского набега были сломаны ребра, перешиблены руки и ноги, выбиты глаза. Пришли и родственники тринадцати джигитов, попавших в плен к кокенцам и до сих пор не вернувшихся домой: обнищавшая старуха-мать, помешавшийся от горя отец, голодная, полуголая жена, осиротевшие дети, которые теперь, ходили по миру.

Абай, не отдохнувший после дороги, не успевший даже поесть, сидел в юрте Самалбека и выслушивал одну жалобу за другой. И сердце его сжималось от горя и жалости — перед ним вереницей проходили бедняки-тобыктинцы и бедняки-кокенцы, принявшие на свои плечи все тяготы и беды весеннего уразбаевского набега.

На следующий день Абая пригласили в восьмистворчатую юрту уездного начальника, где собрались бии. И, как вчера, сотни обитателей дальних юрт, спускаясь с холмов, выходя из зарослей кустарника, из леса, окружали его и следовали за ним. Абай переступил порог большой юрты, где сидел уездный начальник и волостные бии, и сразу же туда устремилась шедшая за ним по пятам толпа, окружая юрту и набиваясь в нее до отказа. Людей было так много, что стражники не в состоянии были их остановить.

Абай стал здороваться с чиновниками и биями, но шум толпы заглушал его слова. А джигиты все протискивались в дверь один за другим, и в огромном помещении стало так тесно, что, казалось, для Абая не найдется места, где сесть. Бии и волостные управители со значками на груди, сидевшие вдоль стен, удивленно посмотрели на уездного начальника. Маковецкий посоветовался с крестьянскими начальниками, поднялся и объявил свое решение, которое тут же перевел Самалбек:

— Собрание в юрте проводить невозможно, оно переносится на воздух. Все должны немедленно выйти!

И уездный начальник вместе со свитой направился к выходу.

Нелегко было вынести беспощадный зной летнего жгучего солнца. Волостные управители, подчеркивая свое внимание к уездному начальнику, расстелили кошмы и ковры на траве между кибитками, стоявшими вблизи друг от друга, а сверху натянули полотно. Сюда, в тень, принесли стол и стулья из восьмистворчатой юрты. Место для проведения собрания получилось просторное, но его вновь заполнила толпа простых людей, которых набралось гораздо больше, чем биев.

Сотни людей стояли между юртами, желая услышать голос главного свидетеля.

Абай сидел между биями, зная, что сейчас наступит его очередь давать показания. Он знал, что собравшиеся смотрят на него с надеждой и верят ему. Привыкший с юных лет выступать на различных сборах, Абай не стеснялся многолюдной толпы. Но сегодня ему показалось, что никогда в жизни он так не волновался. Говорят, легко быть свидетелем, тяжелее — судьей. Абай подумал, что это не всегда так. Когда ему приходилось распутывать сложные узлы споров, решать кто прав, кто виноват, — он следовал своей совести и за вынесенный приговор отвечал своей честью и своим добрым именем. Все было просто, ясно, и он, выступая как судья, был более уверенным, спокойным, чем сейчас, когда ему предстояло быть только свидетелем.

Абай мысленно оглянулся в прошлое, вспоминая свой долгий жизненный путь. Своим современникам и потомкам хотел он открыть правду, познанную горячим сердцем. Словам, которые он собирался сейчас сказать, поэт придавал особое значение. Он понимал, что встанет сейчас не перед Уразбаем, который будет сверлить его своим единственным глазом, и не перед торгующими своей совестью и достоинством продажными биями, на шеях которых висят двести пятьдесят медалей, и даже не перед чиновниками, которые запишут каждое его слово на бумаге. Нет, он встанет лицом к лицу со своим временем, как сын его, и в то же время, как отец, желающий пересмотреть всю свою жизнь с отроческих лет, чтобы найти истину.

Абай знал, что будет говорить сейчас, повинувшись только голосу своей совести. Сердцем поэта он почувствовал, что нужные слова придут сами собой. Когда уездный начальник назвал его имя, он поднялся и снял с головы треух. Держа его за спиной, он начал свою речь, слегка побледнев от волнения.

— Братья мои! Вы меня вызвали свидетелем ча съезд, где, словно угли в костре, собрались в одну кучу люди из разных мест. Я приехал, чтобы дать свое

свидетельское показание должностным лицам. Их тут собралось много, но не должность украшает человека, а человек украшает ее. Пусть правда восторжествует здесь при разборе дела. Как бы она горька ни была, но только правда может исцелить раны народа. А я, если хватит моего ума, постараюсь открыть ту правду, какую чувствую своим сердцем. Даст ли это облегчение — не знаю. Ведь есть еще среди нас люди с нечестными сердцами, думающие только о вражде и насилии. Казахи говорят, что трудно выкопать иглой колодец. А я вот скажу — изгнать зло из человеческого сердца еще труднее. Вот что я хотел напомнить, прежде чем приступить к своим показаниям.

Так Абай, высоко поднявшись мыслью над всеми присутствующими, как бы сделал человеческую совесть границей, разделяющей мир надвое.

Не все поняли смысл речи Абая, но те, кто понял, одобрили:

— Сказал умные слова!

— Поднялся ввысь и дал людям понять, что он — Абай!

Бии, неподвижно сидевшие впереди поэта, не произнесли ни одного слова, но простые люди, стоявшие сзади него плотной стеной, были в большом восхищении.

Закончив вступление, Абай перешел к рассказу о том, что так страстно хотели услышать люди, собравшиеся в Аркате на «Шербешнай съезд». И тут-то не только Уразбай, но и все его присные из Тобыкты, как вздохнули, так и не могли выдохнуть от напряжения.

— Зачем спрашивать меня, напал ли весной Тобыкты на Кокен? Никто из присутствующих здесь не станет этого отрицать. Лучше разберемся — почему напали? Каким образом кокенцы довели вражду до кровавой битвы?

Абай оглядел присутствующих и начал говорить не только о весенних событиях, но и о далеком прошлом.

— Я — сын Тобыкты и никому не продался. Поэтому буду говорить о неправоте тобыктинцев, об их произволе и насилии, об испорченности нравов. Я не обвиняю простых людей Тобыкты, напротив — я хочу оправдать невинное большинство. Мои слова относятся

к нечестному меньшинству Тобыкты, которое посылает мирных людей на разбой, заставляет совершать несправедливости. Своими словами я хочу оправдать мой род перед родом Кокена, хочу отделить честное большинство от злого, коварного, нечестного меньшинства. Кого же из тобыктинцев я имею право назвать насильниками, разбойниками, смутьянами и клеветниками? Наш народ говорит: «Если требует правда, расскажи даже о грехах своего отца». Так вот — первым виновником раздора между Тобыкты и Кокеном я и считаю своего отца Кунанбая! — сказал Абай, и ему показалось, что с этими словами он сбросил тяжелый груз, угнетавший последние дни его душу, ему даже стало легче дышать. Но, услышав последние слова, тобыктинцы во главе с Уразбаем вздрогнули от ужаса, раздалась тихие восклицания и возмущенный шепот:

— Астагпыралда!¹

— С ума сошел!

— Изменник!

Не обращая внимания на возмущение тобыктинцев, Абай стал рассказывать о том, как в течение полувека Тобыкты во главе с Кунанбаем незаконно забирали земли у мирных уаков.

Урочища Жымба, Аркалык, Кушикбай, захваченные его отцом, Абай назвал «бесспорными землями уаков». Акжал, Торекудук, Каракудук, Обалы, Когалы, из-за которых началось побоище, всегда принадлежали кокенцам, Абай даже назвал, какие аулы владели ими и какие семьи там жили.

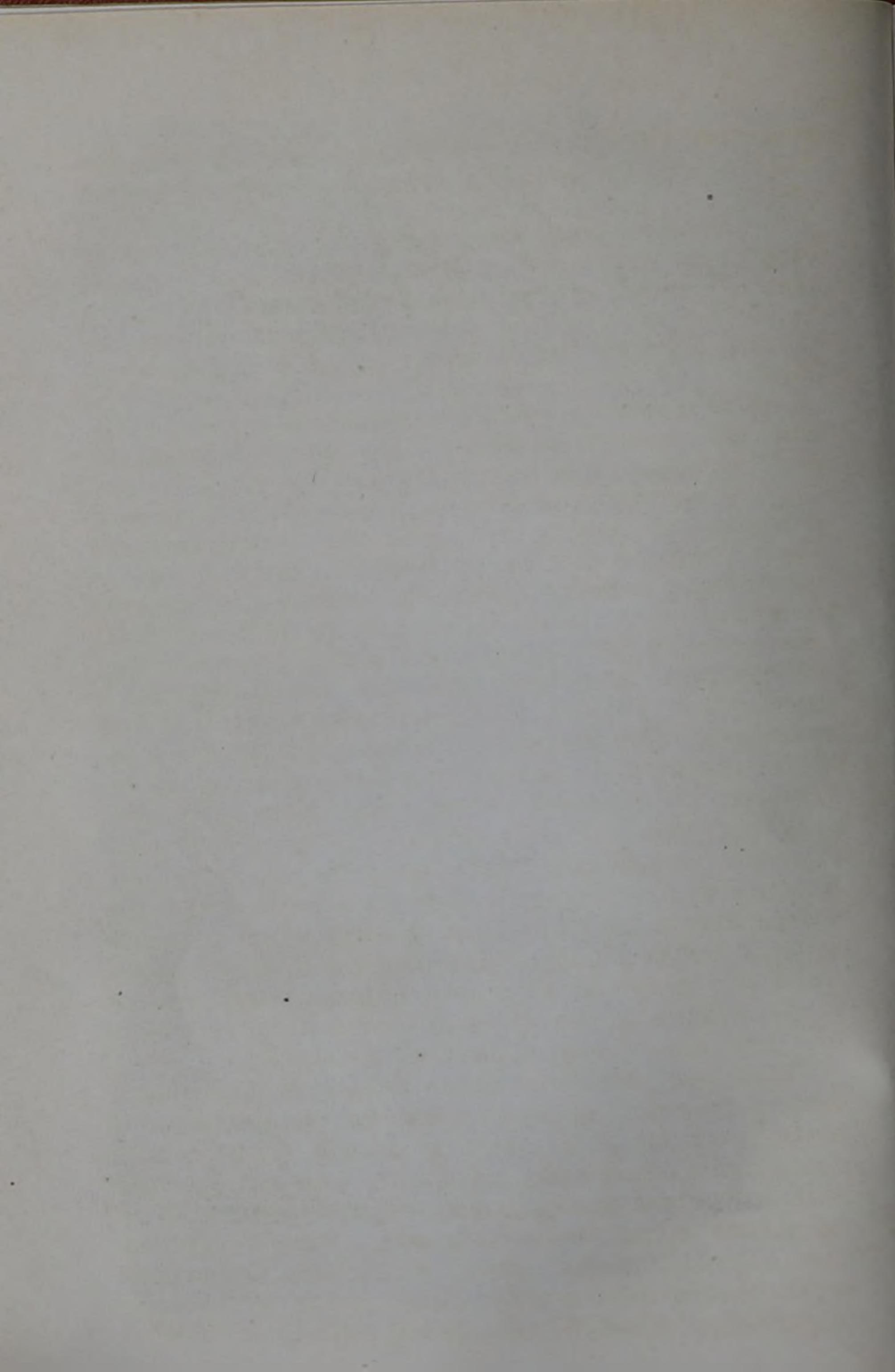
— Когда истинные хозяева захотели взять обратно свои незаконно отобранные земли, на них напали захватчики, избили, покалечили и их же еще обвинили в преступлении.

Абай говорил гневно, убедительно, словно вколачивая каждое слово в голову слушателей. Многие тобыктинцы не могли поднять на него глаза, а если кто и встречался с ним взглядом — спешил отвести глаза в сторону.

Рассказав все, что могло понадобиться биям и

¹ Астагпыралда — боже упаси!





представителям власти из прошлого Тобыкты и Кокена, Абай перешел к весенним событиям, к уразбаевскому набегу.

— Это нападение было устроено кунанбаями наших дней. Они заставили плакать не только кокенские аулы. В кровавой позорной битве пострадали, как с одной, так и с другой стороны бедные табунщики, чабаны, пастухи. Они попали в огонь, раздутый Уразбаем...

Абай говорил горячо, с замиранием сердца, задыхаясь от сильного волнения. На его побледневшем лице сверкали воспаленные глаза.

— Я приехал в Аркат с опозданием. Я хотел узнать, что принесло народу это проклятое нападение, как живут пострадавшие люди. Вчера до поздней ночи я выслушивал жалобы кокенцев и тобыктинцев, я видел их страдания, их слезы. Из посланного Уразбаем отряда тринадцать человек попали в плен к кокенцам. Они не вернулись до сих пор домой, лежат закованные в цепях. Сюда, на наш съезд, приехали кокенцы — Бостан, Кулжатай и Енсебай. Это были сильные, как верблюды, джигиты. Посмотрите на них сейчас. Один остался без руки, другой лишился всех зубов, у третьего сломаны ребра... Их покалечили в позорную ночь набега... Все трое бедные люди, живущие своим трудом. Каждый из них работал, заботился о своей семье. Три пострадавших джигита были кормильцами двадцати четырех человек. Сердце сжимается, когда подумаешь о том, что малые дети и старые старики, юные невесты и престарелые вдовы, которые кормились трудом этих трех молодцов, сейчас пропадают с голода!

Абай, волнуясь, перечислил имена кокенцев, получивших тяжелые увечья во время уразбаевского нападения, подробно рассказал о печальной участи их жен и матерей, а потом опять вернулся к тринадцати тобыктинцам, томившимся в плену. Пятеро из них были табунщиками, шестеро — чабанами, двое — батрачили: один в доме Уразбая, другой у Азимбая. Семьи этих несчастных пошли по миру. Абай назвал имя каждого пленника, имена их жен, детей, родителей и попро-

сил переводчика Самалбека обязательно записать всех с указанием аула, где они бедствуют сейчас.

— Пострадали простые люди, бедняки,— гремел голос Абая,— но те, кто их натравил, остались целы и невредимы. Ни один волосок не упал с головы Уразбая, Азимбая, Жиренше, волостного управителя Самена, Жанатая...

И Абай вновь и вновь называл имена джигитов, вернувшихся с побоища калеками и уродами, со страшными ранами на лице, с выбитыми зубами и глазами, охромевших, больных. Он давал свидетельское показание, но люди понимали, что оно переросло в обвинительную речь, в иск, предъявленный баям от имени бедняков.

Когда смысл абаевских слов дошел до волостного управителя Самена, он с негодованием обратился к сидящим вокруг него:

— Что это Абай за никчемных людишек заступается! Вот уж правду говорят: «Похвали маляра, он себе и бороду покрасит...» Так и у Абая получается,— возомнил он о себе много! — Молодой бай замолчал, оскалив плотно сжатые зубы.

И в эту минуту из толпы раздался возбужденный голос Дармена:

— Ой, Абай-ага, как мало еще людей, понимающих высокий смысл вашей речи. Вы говорили — не будь сыном своего отца, а будь сыном человечества! Это не пустые слова, а правда, истинная вера ваша, добытая кровью сердца, сокровище ваше! О, как добра душа ваша, дорогой ага! Да буду я жертвой за вас!

В этих словах Дармена была и радость и гордость за Абая. Кулжатай, сидевший рядом, в восхищении подтолкнул его и сказал:

— Что такое Тобыкты! Абай смог отойти даже от своего предка, родного отца! Про таких, как он, говорят: «сын народа!» Впервые вижу такого человека. Пусть счастливым будет путь его!

Слова Кулжатая пришлись по сердцу Дармену, Бостану, Енсебаю и другим джигитам, сидевшим поблизости.

Абай продолжал рассказывать о бедняках-работни-

ках, переживших всю тяжесть последствий уразбаевского набега:

— Я хочу спросить, так ли уж нуждались в земле, отобранной у Кокена, табунщики, чабаны, скотники, которым пришлось за нее драться? Может быть, им негде было пасти свою «бесчисленную» скотину, если бы они не отвоевали у кокенцев их пастбища? А может быть, этим беднякам негде поставить свои черные заплатанные юрты и лачуги? Может быть, сама горькая жизнь толкнула их на кровавое побоище. Нет, этим несчастным обманутым людям не были нужны ни Жымба, ни Акжал, ни Каракудук. Их натравили друг на друга нарушители спокойствия. Играя на темноте этих людей, льстиво называя джигитов «меткой пулей», «острой саблей», «смертельной пикой», Уразбай, Азимбай и их приспешники сумели собрать отряд из бедняков-тобыктинцев и послать его для избиения таких же бедняков-кокенцев. И вот сейчас это побоище здесь склонны называть «спором». Нет, это не спор, а преступление, и виновники этого злодеяния должны быть жестоко наказаны за то, что они заставили страдать столько людей. Я требую для них особого приговора!

Абай говорил медленно, внимательно наблюдая за Самалбеком — все ли его слова переводчик успевает записывать в протокол.

— Дело надо решить в пользу кокенцев, живущих честным трудом на своей земле!

Зная, что биям нужны точные сведения о захвате тобыктинцами пастбищ, чтобы вынести обоснованный приговор, Абай закончил свои показания короткой исчерпывающей справкой.

— Я уже в начале своей речи сказал, что первым отнял силой землю уаков мой отец Кунанбай. Он захватил урочища Жымба, Аркалык, Кушикбай и поселился на них в то время, когда мне было одиннадцать лет. Теперь скажу, в какие годы и кто именно захватил спорные земли, следуя его примеру. Вот перед вами сидит Жиренше — владелец тысячеголового табуна. Это его отец Шока силой забрал у уаков конец Бильды, местность Акжал и самовольно поселился там. Жиренше тогда было шестнадцать лет! А вот находя-

щемуся здесь Абралы было одиннадцать лет, когда его отец силой занял Обалы и Когалы. Уразбаю было шестнадцать лет, когда его отец Аккулы тоже силой поселился на Каракудуке и Торекудуке. Подсчитайте, сколько прошло лет с того времени и вы будете знать точно, когда началось насилие над Кокеном и произошел захват земель. А если вы, собравшиеся здесь бии, после моего свидетельства все же скажете, что обездоленным кокенцам нельзя требовать назад свои земли, то с вас взыщет бог! Я кончил!

И Абай опустился на стул, поданный Самалбеком. Вынув из кармана тонкого бешмета большой платок, он стал вытирать обильный пот с широкого белого лба.

Показания Абая все участники чрезвычайного съезда прослушали с огромным вниманием. Сам тобыктынец, не дорожа ложной честью своего рода, он со свойственной ему прямоотой сказал, кто прав и кто виноват. Не посчитаться с таким показанием съезд не мог. Воротилы Тобыкты во главе с Уразбаем потерпели окончательное поражение.

По решению «Шербешная», размежевание, начатое весной землемером и Серке, должно быть продолжено и доведено до конца. Уразбай, Азимбай и Жиренше были признаны главными виновниками весеннего раздора между двумя родами. Пятнадцать зачинщиков-тобыктынцев должны выплатить кокенцам по девять голов разного скота, начиная с верблюда.

Слух о поражении коварных тобыктынцев быстро разнесся по Аркату, вызвав шумное ликование народа.

— Теперь не Тобыкты-Аргын, а Уак-Аргын¹, — воскликнул какой-то шутник и эти слова его облетели все юрты.

Уразбай, проходивший вместе с Саменом мимо Абая, приостановился, в упор посмотрел на него и сказал:

— Куда ты идешь, не знаю, но чувствую, что путь твой лежит к большому несчастью. Напоминаю тебе об этом!

¹ Самый сильный род у казахов — Аргын, к которому принадлежал Тобыкты. Уаки считались слабым родом.

Абай улыбнулся в ответ:

— Эх, Уразбай! И сам ты толст, и слова у тебя толстые, и соил тоже толстый, а ты, бедняга, не знаешь, на что употребить все свои... толстые преимущества.

Люди, стоявшие поблизости, весело рассмеялись. Уразбай потемнел в лице и отошел, но Самен остался. Он, хотя и был моложе Уразбая, но в своей злобе к Абая ничуть не уступал ему.

— Господин Абай,— сказал он с ненавистью в глазах.— Вы добились, чего хотели. Самое святое, что есть в Тобыкты, лучших людей рода унизили и согнули до земли!

Абай от изумления широко раскрыл глаза. Кто это говорит о святости рода? Человек, совершивший столько позорных поступков!

— Не себя ли ты считаешь лучшим? Да тебя, как милостыню, нельзя подать в жертву за это святое! Тебе бы овец пасти, а ты управляешь народом!

— Управляю, потому что он меня выбрал!

— Тебя не народ, а взятки твои выбрали! — Абай покачал головой.— Если нестоящему человеку достанется власть волостного — пропащая эта власть!

— Предстоящие выборы покажут, чего я стою! — надменно сказал Самен.— Только не советую вам со мной тягаться.

Кончик его носа покрылся крупными каплями пота, рябое лицо побледнело. Дрожь от злобы, он повернулся и отошел к поджидавшему его Уразбаю.

Они пошли рядом, озлобленные, затаившие в душе месть. К ним присоединился и сидевший во время речи Абая немного поодаль Есентай. Их стало трое. Однако он только шагнул плечо к плечу с ними, как бы готовый разделить любую их беду, и молчал. Видимо, он пока что и не собирался говорить.

А Уразбай в этот час открыл Самену и Есентаю то, чего в другое время никому не сказал бы.

— Я говорил, что кровный враг наш не далеко, а рядом. Это — Абай.

— Да, это Абай! — подтвердил Самен.— Сравнить

с землей лучших людей Тобыкты! Нас с вами! Я знал, что он никого не пощадит!

Уразбай, передразнивая Абая, сказал:

«Соил у тебя толстый, а ты не знаешь, на что употребить его...» Змея!

— А разве не подсказал нам тюре Азимхан, на что?

Самен, готовый хоть сейчас броситься в схватку, испытующе смотрел на Уразбая.

— Берекелде!¹ — воскликнул Уразбай и ласково обнял Самена за плечи. — Хорошо, что напомнил! Тюре вложил мне в руки курук² не зря. Дай бог исполнения всех его желаний. Я всегда говорил, Азимхан — настоящий глава казахам. Я закончу, что он начал... но...

Уразбай вдруг начал кусать себе пальцы от досады:

— Прозевал! Упустил время, когда он оскорбил меня... Жалко... Не подготовился...

Самен понял, на что решился Уразбай, у него захватило дух от радости. Только бы не передумал! Только бы не пошел на попятный!

— Не все потеряно, Уразеке! Время еще не ушло... Наступает благоприятная пора!..

— Какая еще там пора?

— Выборы. Маковецкий с крестьянскими начальниками едет не в город, а в степные волости Кызылмола, Енрекей, Кандыгатай проводить выборы и через двадцать дней вернется к нам в Тобыкты. Он мне наказал, чтобы в середине месяца я поставил юрты и приготовил волость к выборам. Разве это не подходящее время?

— Но поедет ли туда Ибрай?

— Поедет. Лучшего времени не придумаешь! — ответил Самен и добавил: — Надо договориться с мирзой Жакеном, чтобы снова меня сделали волостным. Если у Абая хватит силы, он будет мешать, постарается меня снять.

Самен, утвержденный на прошлых выборах управи-

¹ Берекелде! — одобрительное восклицание «вот кстати!»

² Курук — длинная палка погонщика табуна с веревочной петлей на конце для ловли лошадей.

телем по волости Коныр-Кокше, вел себя хуже хищного волка. Он грабил аулы, поджигал пастбища, заставлял конырцев воровать скот у соседей, издевался над вдовами. Недаром люди приходили жаловаться к Абаю и просили:

— Спаси нас от этого кровопийцы. Он хуже двуглавого змея, не только баранов и лошадей отнимает, но уже до человеческой совести добирается. Скоро погубит всех нас!

Когда Абай ехал на чрезвычайный съезд через многие жайляу Коныр-Кокше, он видел слезы людей, страдания народа. Вспомнив о них, он и сказал в лицо Самену, словно хлестнув его нагайкой:

— Не себя ли ты считаешь лучшим? Тебе овец пасти пристало, а не управлять народом.

Несомненно, Абай выскажет Маковецкому свое мнение о волостном управителе, приложит все силы, чтобы уж на этот-то раз Самена не выбрали.

Ожидая от Абая новых козней, друзья пришли к выводу, что надо спешить, и договорились обо всем. В тот же день, покинув Аркат, Уразбай выехал в аул Самена.

* * *

В Коныр-Кокше жили казахи рода Жаман-Тобыкты. Не желая называться жаман-тобыктинцами¹, они стали себя именовать «Жакен». Вместе с ними жили казахи племен Мамая и Кокше.

Приехав в аул Абена, Уразбай за три дня собрал всех аткаминеров Жакена, и от Мамая пригласил баев.

Призвав в свидетели духов покойных предков, он принялся всячески поносить своего врага:

— На съезде в Аркате Абай помог уакам свалить тобыктинцев и сравнять их с землей! На предстоящих выборах он приторочит ваши головы к седлу какого-нибудь безродного нищего! Хотите ли вы такого позора?

Аткаминеры Жакена и бай не захотели. Тогда Уразбай заставил их поклясться, что они поддержат Самена, а для крепости сговора велел зарезать несколько

¹ Ж а м а н - т о б ы к т и н ц ы — плохие тобыктинцы.

серых баранов и принести их в жертву. Так Уразбаю удалось вновь склонить вершушку Жакена на сторону Самена, после чего он вернулся в свой аул.

Через две недели на жакенском жайляу в Акшатаде начали ставить юрты. Выборы должны были проводиться на урочище Кошбике.

За три дня до них Самен отправил к Уразбаю гонца на двух сменных конях с письмом, в котором писал:

«Если судить по шарам выборных, победа будет за мной. Похоже, что меня вновь изберут в волостные. Но сюда собирается приехать Абай. Он договорился с уездным начальником и переводчиком, может помешать. Без тебя не обойдусь, Уразеке! Если осталось в силе то, о чем мы договорились, явись туда, где будешь нужен!»

Получив эту весть, Уразбай немедленно сел на белогривого коня. Он выехал в сопровождении двух джигитов и молчаливого чугунно-тяжелого Есентая, на которого мог рассчитывать как на верную свою дубинку. Старые товарищи по разбою, они сейчас дружно скакали рядом. Хотя до Кошбике было далеко, Уразбай решил остановиться в дороге только на одну ночь, выбрав для ночевки аул Такежана.

Во время чаепития, предварительно поговорив с Азимбаем и Такежаном, он вызвал к себе из соседнего аула Шубара. Когда тот явился, Уразбай вывел всех троих на воздух, подальше от посторонних глаз, и загадал им свою страшную загадку. Еще до полуночи между ними было сказано все. А под конец Уразбай сделал последний нажим на Такежана, Азимбая и Шубара, сделав им такой прозрачный намек:

— Вы оба — свыше посланные дети! — Настоящее имя Такежана — Тапирберды, что означает «Небо дало». Отца Шубара зовут Кудайберды — «Бог дал». Вот и выходит, что вы оба сыновья свыше данных. Я хочу вспомнить далекого вашего предка бия Унсенбая и близкого хаджи Кунанбая и призвать их дух в свидетели. Вы их родные дети и вдвоем держите крепкий союз. А Ибрая я не считаю сыном вашего деда и приношу в жертву духам предков. Вот мое решение и с ним я уеду от вас.

Так иносказательно Уразбай приоткрыл тайну своего замысла и замолчал.

Он поджидал, что ему ответят три иргизбая. Они не проронили ни звука, но и не содрогнулись от ужаса. Их молчание можно было рассматривать как знак согласия. А Шубар, когда Уразбай особенно пристально посмотрел на него, даже слегка кивнул головой.

Уразбай облегченно вздохнул, в Азимбае и Такежане он не сомневался.

«Все решено», — подумал с удовлетворением Уразбай и, опираясь на нагайку, поднялся.

— Подать коня! — приказал он.

Черные дела делаются ночью, пока у людей завязаны глаза темнотой, а Уразбай хотел сохранить в тайне свое посещение такежановского аула. Такежан и Азимбай тоже хотели оставаться в стороне и не показываться вместе с Уразбаем. Это устраивало всех. К тому же Уразбай уже вдоволь наелся мяса и напился кумыса, и ничто не задерживало его в ауле сородичей. Вскочив на своего белогривого коня, он погнал его теперь, как бывало в молодости, крупной рысью, торопясь поскорее добраться до Кошбике.

* * *

В эти дни Абай не мог усидеть дома. В Аркате он боролся против угнетателей народа, и на предстоящих выборах в Коныр-Кокше решил продолжать борьбу, понимая, что если Самен и Азимбай не будут избраны в волостные управители, жизнь людей станет намного легче. И он поехал на выборы в Кошбике.

Уразбай, сделав в пути только одну ночевку, приехал под утро, а Абай вместе с четырьмя своими спутниками не спешил и добрался лишь к закату солнца следующего дня, когда верующие творили вечернюю молитву.

Из близких Абай взял с собой одного Какитая, остальные три попутчика, ехавшие на выборы, примкнули к нему в дороге.

Уездный начальник Маковецкий приехал в Кошбике почти одновременно с Абаем — надо было с ним

поскорее встретиться и поговорить. Но прежде чем пойти к уездному, Абай попросил напиться у джигитов, хозяйничавших в юрте, где он остановился. Молодой быстроглазый человек, который разливал кумыс, услышав о том, что Абай собирается к Маковецкому, торопливо выскочил из юрты, шепнул беззубому рыжему джигиту, ожидавшему возле дверей:

— Хочет сейчас идти к уездному. Передай!

Беззубый кивнул головой и исчез.

В соседних юртах в это время собралось до полусотни озлобленных аткаминеров во главе с Саменом. У некоторых были в руках нагайки, у других короткие шокпары и даже ножи.

— Собирается уходить! — принес весть беззубый джигит.

Самен первый вышел из юрты. Есентай нагнал его и, заслонив своим тучным телом, оттеснил от других. Исподлобья глядя на него своими узкими глазами, он сказал:

— Пока рука не будет батыром, сердце не станет смелым...

С этими словами он вырвал из рук Самена тонкую плеть и вложил в его ладонь восьмигранную нагайку.

— Хорошо для джигита, когда гнев пронизывает его до костей. Пусть с тобой будет дух нашего предка Жаке. Не щади врага и не щади себя...— И не дав Самену возразить ни слова, подтолкнул его вперед... Дьявол дал понять что жаждет крови.

Быстрыми шагами Самен достиг юрты, где находился Абай, распахнул дверь настежь и стремительно вошел. Следом за ним, открыто держа в руках шокпары и нагайки, в юрту протиснулись пятнадцать джигитов. Их появление было столь неожиданным, что Абай невольно растерялся.

Размеренным шагом подойдя к молча смотревшему на него Абаю, Самен громко произнес гнусное ругательство и добавил:

— Скоро ты отстанешь от меня, черный пес!

И, высоко занеся нагайку, изо всей силы ударил Абая по голове. Это послужило сигналом: грузный Абай не успел подняться, как на него градом посыпа-

лись удары. Но среди злодеев нашлось несколько человек, которые, увидев, что Абая хотят забить насмерть, ужасались, жалели и нарочно падали на него, стараясь прикрыть от ударов своим телом. И таких оказалось несколько человек. Зато другие, не доставая нагайками до Абая, принялись избивать Какитая. Каким-то чудом сумел он вырваться из юрты и помчался по направлению ставки уездного.

— Спасите! Помогите! — кричал он по-русски.

Через минуту загремели выстрелы — это стражники палили для острастки в воздух, и стая хищников во главе с Саменом разбежалась в разные стороны.

Уразбай, злодей с черной душой, добился своего. Исполнилось и желание Самена, готового рычать псом от накопленной годами злобы.

Окруженный коварными врагами, способными на любое злодеяние, Абай ожидал от них всякой мерзости, но полагался только на свою судьбу. До сегодняшнего дня она его еще миловала. А вот сегодня случилось нечто более страшное, нежели сама смерть. Удары, нанесенные поэту по голове, кровавые раны, иссеченное нагайками лицо, — эти следы волчьих зубов, были оскорбительны не только для честного сына казахского народа, родившегося раньше своего времени, но для совести и чести всех казахов.

Когда Абай пришел в сознание после жестокого избиения и понял, что случилось, он с ужасом прошептал:

— Зачем я остался жив! Лучше бы мне умереть!

Эти слова, горькие как отравка, он повторил несколько раз. Они лучше всего выражали единственное желание, которое он сейчас испытывал.

Абай вернулся в свой аул на Шакпаке и сразу же его навестили соседи, знакомые и кровные родственники. Никто не смог смотреть ему в лицо. Все считали себя виновниками перед великой и чистой душой поэта, над которой так гнусно надругались враги. Люди словно ощущали на собственном теле побои, перенесенные Абаем. Все, кто любил и уважал его, мучительно

переживали позор, выпавший на долю поэта. Для каждого это было также оскорбительно, как если бы кто-то избил его ни в чем не повинную родную мать.

Бледная, словно полотно, Айгерим встретила Абая с глазами полными слез, помогла ему сойти с лошади, открыла дверь и проводила в юрту. И днем и ночью втихомолку от мужа она проливала слезы. За два дня на ее лице появились черточки морщинок, неожиданно свалившееся горе словно состарило ее. Абай, казалось, находился на рубеже между жизнью и смертью, он неподвижно и молча лежал на подушках.

Страшное событие этих дней тяжело переживал Дармен. Войдя в свою отау, — юрту молодых — он невнятно пробормотал несколько слов Макен, сидевшей возле высокой кровати за шитьем, поведал ей о несчастье, постигшем Абая, и тут же, упав лицом в белые с вышивкою подушки, зарыдал, задыхаясь от слез.

Макен вскрикнула в ужасе, она то трясла Дармена, прильнувши к нему и утешая его, то сама безудержно рыдала. Перебивая друг друга, они в отчаянии причитали:

- Бесценный ага, милый!
- Дорогой наш ага!
- Ох, стану жертвой за тебя, родной!
- Лучше бы это стряслось со мною!..

Придя в себя и горестно размышляя о страшном событии в Кошбике, Дармен правильно разгадал тайну позорной кары, которой подвергли Абая:

— Ты потерпел за свои свидетельские показания на Аркатском съезде! За совесть, за доброе имя человека! За то, что был лучшим из лучших, явил справедливость — за это ты пострадал от злодеев! Опора, слава ты наша! Драгоценный наставник, брат мой родной!

Так наедине с Макен Дармен открывал ей свои мысли и чувства, возникшие в глубине его души.

В эти дни в Шакпак перекочевал аул Такежана, видимо, с целью выразить свое соболезнование Абаю. Сегодня Магаш, Какитай и Баймагамбет, проезжая мимо этого аула, заметили запрятанного в зарослях тальника оседланного коня. Почуввав недоброе, они под-

крались к нему и сразу узнали крутобедрую лошадь, которая некогда принадлежала Акылбаю, а у нее под животом прятался, известный всем окрест, уразбаевский приспешник, конокрад Кийкым. Его также сразу можно было узнать по носу, который своей формой напоминал серп. Этот прохвост торчал здесь не даром.

— Эй, стой! — крикнул Какитай.

Кийкым мигом вскочил на своего крутобедрого коня и во весь опор поскакал в сторону аула Уразбая. Магаш, Какитай и Баймагамбет кинулись вдогонку, но беглец не дал им даже увязаться за его пылью и легко ушел от погони. Магаш и Какитай были возмущены до глубины души. Кийкым спасся на знаменитом гнедом скакуне с меткой на лбу. Этого коня у Акылбая выпросил Азимбай, а в прошлом году на жайляу уразбаевский аул выпросил у Азимбая в подарок. Ходили слухи, что с тех пор, как гнедой конь попал к Есболатам, он уже три раза приходил первым на байге.

И вот теперь на знаменитом гнедом скакуне, принадлежавшем Уразбаю, отъявленный конокрад Кийкым прятался около аула Такежана. Молодые джигиты сразу догадались в чем дело. Уразбай подослал к Такежану и Азимбаю своего лазутчика разведать, что собираются предпринять сторонники Абая.

Какитай и Магаш поспешили вернуться в аул. Задыхаясь от негодования, они вошли в юрту Абая.

Лежавший в одиночестве поэт, увидев их взволнованные лица, приподнялся на локте.

— Ну, что еще случилось? Говорите правду...

Магаш рассказал про Кийкыма, скрывавшегося возле такежановского аула, и закончил:

— Пусть бог накажет за это Такежана!

По лицу Абая прошла тень гнева, и он протянул руку Баймагамбету:

— Дай треух!

Баймагамбет вместе с треухом подал и нагайку. Абай быстро поднялся и дрожащим голосом сказал:

— Значит, змея приползла и сюда, к моей груди, чтобы меня ужалить? Зачем я остаюсь здесь, на этой земле, с этими людьми? Нет меня больше для вас! Идем, Баймагамбет!

И он вышел из юрты. На привязи стоял серый иноходец Есентая, на котором Абай ездил последнее время. Он сам отвязал его и сел верхом, а Баймагамбету показал нагайкой на коня Магаша:

— Уйдем с этого места, от этой проклятой жизни!

Лицо его сделалось мертвенно-белым, от сильного молчаливого гнева вздыбились волосы его бороды.

Баймагамбет вскочил на коня.

— Куда поедем?

— Туда! — кивнул головой в сторону заката Абай и хлестнул иноходца нагайкой. Два всадника помчались один за другим.

Магаш и Какитай стояли оробевшие. Ужас охватил их души, они не знали, что им делать.

В это время к ним подскакали Исхак и Шубар.

— Что случилось? Куда поехал Абай? — испуганно спросил Исхак, видя расстроенные лица братьев.

Растерянный Магаш, не глядя на подъехавших родственников, горестно шептал:

— Что делается на свете... Уехал... Покинул родную землю... Родных людей... Потерял в них веру... Вон скачет как... Назад не вернется...

На глазах его навернулись слезы.

Шубар, не пропустивший ни одного слова Магаша, с ужасом воскликнул:

— Боже мой! Что он говорит? Неужели отпустили Абая? Едемте, Исхак-ага!

И, нахлестывая изо всех сил своего коня, он первый поскакал догонять Абая. Исхак последовал за ним.

На жайляу наступил ясный, теплый вечер. Багровый диск солнца опускался за горизонт; когда он наполовину скрылся за далеким желтым хребтом, степь и далекие горы сразу покраснели, словно облитые кровью. В алом свете преобразились пасущиеся стада, юрты и бежавшие рысью кони Абая и Баймагамбета.

Исхак и Шубар, погоняя своих коней, скакали сзади. Вот они поравнялись с Баймагамбетом, перегнали его и на полном скаку подъехали с двух сторон к Абаю.

— Агатай! Абай-ага! Куда едешь?! — умоляюще

завопил Шубар, соскакивая с коня и хватая поводья серого иноходца.

— Отпусти! Отойди! — крикнул Абай, с отвращением глядя на смертельно бледное лицо Шубара.

А Шубар быстрым движением вырвал из рук Абая повод и обвязал им свою шею, прихватив и черную бороду.

— Если уедешь — задуши меня, растопчи копытами своей лошади...

Голос его дрожал от слез, искусный притворщик, он бросал горячие слова, способные тронуть любое сердце.

— Не покидай родного народа! Вернись! Милый Абай-ага, не отпустим тебя! Жертвую своей головой ради тебя! — закричал он, громко рыдая.

Теперь и Исхак взял под уздцы лошадь Абая.

— Успокойся, Абай, — сказал он тихо, без всякого притворства, и по голосу его можно было почувствовать, что он по-настоящему мучается и раскаивается. — Я только перед отъездом узнал, что вдова Абиша, несчастная Магиш, гаснет от горя. Она просит тебя принять ее последний вздох. Неужели ты уедешь и не попрощаешься с нею? Ведь она тоже твоё дитя!

Абай растерялся, услышав эти слова.

— Вот кто страдает еще больше меня! — воскликнул он. Бедняжка моя! Как я тебя забыл...

И Абай повернул коня.

Как раз в это время в маленькой юрте угасала Магиш. Она лежала в постели, разостланной на земле, потому что ей трудно было подняться на высокую кровать. Голова ее покоилась на коленях Макен, задушевной подруги, с которой за всю жизнь ни разу хмуро не глянули друг на друга. Некогда здоровое и красивое тело молодой женщины сейчас было истощено безутешным горем. За два года Магиш сгорела, тоска извела ее, и теперь она выполняла обещание, данное Абишу, — уходила к нему.

Думая о Магиш и вспоминая своего Абиша, Абай слагал стихи.

Я стал бедней бедняка.
Меня сгибает тоска.
Опоры ищет рука,
А где она, где она?!
Лишь горечь сердцу близка,
Ему отрады не знать.
Мне наша скорбь тяжела.
Мой сын не встанет от сна,
Мне трудно стало с людьми,
Навеки я одинок,
Магиш, родная, пойми!

— Магиш, родная, пойми! — повторил он последнюю строку, чувствуя как его горе сливается с горем любимой невестки.

Абай и Баймагамбет доехали до малой траурной юрты покойного Абиша и сошли с коней.

Когда поэт увидел плачущую Макен, он понял, что Магиш навсегда закрыла глаза. Из груди его вырвалось глухое рыдание. Перешагнув порог, он кинулся к постели, где, вытянувшись, лежала Магиш, обнял ее неподвижную голову, и из глаз его полились крупные горячие слезы.



В С Х В А Т К Е

1

Молва о покушении на Абая, совершенном в Кошбике, долго переходила из уст в уста. Люди толковали, судили и рядили об этом событии по-разному. По всей округе шли слухи и слушки, противоречивые, неясные, подчас одни нелепей других. Одержимые спесью и мнящие себя храбрецами, «герои» Иргизбая и тут не пошли дальше пустых угроз. В день возвращения Абая иные из аулов рода даже посадили на коней своих молодчиков — джигитов, способных держать соил и пригодных к бою. Они хвалились, что подкараулят Уразбая на пути из Акшатау домой, куда он возвращался после выборов. Джигиты скакали взад и вперед на конях, главным образом днем, горланя: «убьем», «уничтожим»! Шумной толпой они заезжали в каждый попутный аул, попивали кумыс, кучками гарцевали на ближних холмах.

Однако, как только проходил хмель от кумыса, они, не дожидаясь вечера, убирались восвояси.

Все же Уразбай, услышав об этих угрозах, встревожился не на шутку. Его путь лежал мимо аулов Иргизбая, и он проскочил к себе домой под покровом ночи, словно беглец, спасающийся от погони. По приезде в свой аул он тайно послал к Азимбаю своих приспешников: мелкого воришку Кийкыма и других, таких же, как и он, плутов и пройдох. Иргизбаевцы, вос-

пылавшие было праведным гневом, теперь стали украдкой поглядывать в сторону Такежана, Азимбая и Шубара. Они уже не были склонны провозглашать на каждом шагу во всеуслышание «истребим», «изничтожим», «ударим», «совершим набег»!

Только появляясь в ауле Абая, эти люди, с которых соскочили их вчерашние пыл и спесь, еще пробовали шуметь, будто бы они действительно способны были покарать обидчика. Старейший из иргизбаевских аксакалов, Ырсай ворвался в дом Абая в сопровождении молчаливой кучки никчемных, белобородых и чернобородых людишек. Ырсай громко плакал, возмущался, негодовал, рвался в бой.

— Прикажи, родной, мы пришли умереть от руки твоего врага. Велишь разорить его — разорим; велишь биться насмерть — готовы сразиться хоть сейчас, — вопил он.

Вместе с ним к Абаю вошли Какитай и Магаш, чтобы узнать, что он собирается теперь делать. Молчавший со дня возвращения Абай, с трудом преодолевая свое тягостное состояние, вымолвил кратко:

— Если я, желая отомстить укусившей меня собаке, тоже начну кусаться, не оскверню ли я этим свои уста! — и снова замолк. Аулы двух других сыновей Кунанбая отнюдь не кипели негодованием. Своей молчаливой сдержанностью они давали почувствовать сородичам свое особое отношение к событию в Кошбике.

Так вели себя, так называемые, «единоутробные братья» и «родные». Зато простые люди Чингисской волости действительно ото всей души негодовали за Абая. Их решительные и гневные голоса звучали все громче и громче. Уже возмущение наглой расправой, учиненной над уважаемым всеми человеком, распространилось через рубежи Чингисской волости и охватывало многочисленных тобыктинцев за ее пределами. Не родовитые баи, не волостные управители или коноводы-аткаминеры, главари вечно враждующих партий и групп, а большинство простых, незнатных людей скорбело за Абая.

Зазвав к себе Магаша и Какитая, они говорили о

мести: «Будем мстить Уразбаю, и не за одного только Абая — за народ. Не его одного накажем, найдем и того преступника, который вложил в его руку кистень. Заставим уплатить пеню, заклеим позором. Сторицею воздадим негодяю, а добро его по ветру пустим».

Обращенные к Абаю, эти слова высказывались перед Магашем, — его любимым сыном, «самым ученым и разумным среди молодежи». Возмущенные тобыктинцы посылали друг к другу гонцов. Лучшие люди родов Мотыш, Кулык, Дузбембет, Карамырза, хотя и захудалых, но все еще считавшихся знатными, совещались между собой. К Магашу приезжал их посланец по имени Кодыга. Приезжали люди и из родов Сактогалак, Жуантаяк, селившихся вблизи урочища Уразбая. Были сочувствующие Абаю и в соседних родах Кокше и Мамаея. Все в один голос заявляли: «Заклеим позором Уразбая, заставим его припасть к ногам Абая с повинной».

Всем приезжающим к нему со словами сочувствия Магаш пока что отвечал сдержанно и скупно:

— Честь моего отца не продается. Его достоинство не удовлетворится уплатой мзды, искупающей подлость злодея, или его признанием вины своей. Такого лечения раны, ему нанесенной, отец мой не примет, да и я одобрить не могу!

Эти исполненные достоинства слова Магаша доставили Абаю минуты истинной радости — сын вырос настоящим человеком.

Как бы то ни было, весть о разбойничьем покушении разнеслась далеко за пределы тех мест, где жили Абай и Уразбай. Вот уже год минул со времени злодеяния, аулы снова разместились на своих обычных летних урочищах, на тучных пастбищах близ рек и ручьев, а молва народная все ширилась и росла. Теперь уже не только тобыктинцам, но и всем родам и племенам, где знали и любили стихи Абая, пламенное слово его поучения и добрые дела заступника народного, стало известно о гнусном насилии, совершенном над ним. Теперь эта черная весть облетела многие земли, пришла к найманам, кереем, уакам, самым крупным родам среди многочисленных Аргынов. Она стала до-

стоянием не только степных обитателей на их летних, осенних и зимних кочевьях. Мало-помалу она достигла и городов всех пяти уездов Семипалатинской области. Об этом говорил и весь Семипалатинск — центр, куда стекаются жители из всех уголков густо населенной области, приезжают уездные управители, просители, тяжбщики и торговцы.

В Каркаралинске, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Зайсане, Кокпекты, Баян-Ауле — во всех городах, так или иначе связанных с Семипалатинском, узнали об этом событии. Слухи доходили и до Кара-Откела — соседней Акмолинской области и даже до отдаленных городов Семиречья: Лепсы, Аягуза и Капала.

Так, медленно, но неуклонно и неудержимо распространялось известие о страшном ударе, нанесенном чести Абая, человека высоких достоинств, почтенного и высокочтимого сына казахского народа. И снова новые люди по-разному толковали о нем, обсуждали его со всех сторон, высказывая разное к нему отношение. Но везде и всюду большинство простых людей по-прежнему выражало свое сердечное сочувствие поэту. Своим отношением к покушению на жизнь Абая и на тот путь, которым он шел, люди невольно открывали свое истинное лицо.

Если послушать, например, волостных управителей, хаджи, мулл и знатных баев любого рода, то они не так-то уж сильно сокрушались об Абае. Встречаясь, они кичливо разглагольствовали о том, как их предки получали чины от высокого начальства, какими богатыми и сильными заправилами они были, или о том, как сами они совершали паломничества в Мекку, либо ездили на Макаржи. Хвалились тем, что побывали в канцеляриях таких-то губернаторов, выступали на таких-то чрезвычайных съездах.

Эти люди имя Абая упоминали в одном ряду с именем Уразбая, отнюдь не порицая его. «Значит, так сделал», «так, значит, поступил батыр», — говорили они, издали ревнуя Абая к его славе и преклоняясь перед злобной волей и душевной мерзостью Уразбая. Были среди этих влиятельных насильников и такие, которые слышали о беспощадном обличении Абаем биев и во-

лостных, а поэтому смертельно ненавидели его. Они раздували слухи об унижениях, перенесенных Абаем, и поносили его, приговаривая: «Сам во всем виноват, поделом ему и досталось». Они не прощали Абаю его разящих стихов и метких слов, его пламенного учения—того независимого пути, которым он неуклонно шел.

— Ибрагим возгордился! Зачванился сверх своих сил! Лучшим людям казахским нанес оскорбление словом,— понятно, задел их за живое. Вот Уразбай и вступился за их честь, за честь большинства! Все это не так-то просто! — говорили они.

Так толковали многие степные заправилы, известные хаджи Усть-Каменогорского, Зайсанского, Павлодарского, Каркаралинского уездов. Сильные мира сего, встречавшиеся с Абаем на многих сборах, воочию увидевшие его превосходство над собой, затаили завистливую злобу. Теперь они считали своевременным поддержать Уразбая. Потому-то они не только не осуждают его, но со вкусом рассказывают о его «подвиге».

А что же народ? Много было людей из народа, горько туживших об Абае. Они не делились на ближние и дальние аулы, на «участливых сородичей» или «иноплеменных чужаков». Это были просто друзья и доброжелатели поэта, бескорыстно преданные ему. Им не было числа и для них не существовало ни дальности расстояний, ни отдаленности родства. Вести о жестоком произволе, от которого пострадал Абай, задевали их собственную честь, и, сокрушаясь о нем, люди еще сильнее тянулись к нему, к его мудрой песне, к его светлой мысли, дошедшей до них еще задолго до покушения. Преданных друзей в самой гуще народной было у Абая немало и в аулах и в городах, а особенно много — в Семипалатинске. Слова и песни Абая не сходили с уст учеников и мусульманских и русских школ. Абая любила рабочая городская беднота. Множество полунищих ремесленников, заполняющих базары, даже мелкие торговцы с обоих концов города за последние годы наслушались песен и изречений, о которых говорилось: «это сказал Абай». В городе оказалась восприимчивая, чутко прислушивающаяся ко

всему новому среда. Стоило какой-нибудь семье сегодня услышать свежую новость, необычное слово, на-завтра оно с быстротой птицы облетало базары, улицы и переулки. А с тех пор, как мудрое слово Абая проникло по обе стороны Иртыша и распространилось по Затону, к жоламановским жатакам, волнуя и радуя их обитателей, прошло уже немалое время.

Провожают ли невесту, или справляют свадьбу, празднуют ли рождение ребенка, или собираются на той, либо попросту на вечеринку — никогда не обходится без абаевских песен и стихов, без его дорогого слова. Понятно, что об оскорблении чести Абая городской трудящийся люд и говорил с великой тревогой и негодованием.

Близилась осень. Вода в Иртыше пошла на убыль, и широкая река становилась уже. Ее прозрачные воды отстаивались, делались еще синее и чище.

Два парома перевозили проезжих через Иртыш и Кара-су. На середине реки был островок, поросший высокими тенистыми тополями, соснами и карагачами. Люди со стороны слободки садились на паром, пересекали Иртыш и сходили на круглый островок. Потом перебирались через него пешие или на подводах к берегу Кара-су, где их ожидал второй паром. Так сначала на одном, а потом на другом пароме, медленно переплывая из Слободки в Семипалатинск, проезжие тратили больше часу на эту переправу. Парусные лодки у Верхних Жатаков были едва ли не единственным средством «прямого сообщения» между обоими берегами. Стар и млад, пешие и конные, русские и казахи, горожане и степняки, обозы, идущие из далеких городов, и караваны из чужих земель — все вынуждены были терпеливо переносить неудобства такой переправы.

Вот и сегодня множество ямщиков на телегах, степные караваны и горожане с обоих берегов ожидали парома, отчалившего от острова к Слободке. Как только паром коснулся берега, все конные и пешие, ехавшие из Семипалатинска, освободили переправу. Теперь

телеги, впритык одна к другой стоявшие по обе стороны мостков, соединяющих паром с берегом, стремительно хлынули на эти мостки. У кого сытый конь, бодрый посвист, зычный окрик да длинная плеть, тот всегда раньше пробьется на переправу. Сейчас первыми ринулись ямщицкие телеги из Джетысу. Стоит выскочить вперед хоть одной подводе, как остальные рванутся за ней, очертя голову. Причиной тому мешочек с кормом, привязанный к грядке повозки, — он-то и заставляет коней брать с места в карьер без понуканья.

Обычно на паром в первую очередь садятся пешеходы и верховые. Прорвавшись в обгон телег, они забавляются, глядя, как повозки, опережая одна другую, с грохотом влетают на мостки. Глядишь, у плохонькой степной арбы выскочит чекушка из колеса, а то и обод треснет, либо переломится ось. Телега, опрокинутая в воду норовистым верблюдом, тоже потешает проезжих.

Шум и гам: «Ой-ой!», «Стой, уйди с дороги!», «Собачий сын!», «Сам ты свинья!», «Я тебе покажу!», «Гляди в оба!», «Будешь знать своего отца!». Отчаянная брань, просьбы о помощи, скрежет немазанных колес, плач детей, пронзительные голоса женщин и истошные вопли не ко времени раскричавшегося осла — у парома стоит дым коромыслом. Подоспевшие со стороны Слободки Марков, фельдшер Девяткин, их общий друг-приятель грузчик Сеит вскочили на паром, когда он уже отчаливал и суматоха улеглась.

Паром был полон. Теперь никто не рвался даже на мостки. Телеги, которым не хватало места на переправе, плотно сбились на берегу, напирая одна на другую, как льдины во время ледохода. Сеит, Девяткин и Марков перебрались на нос парома, чтобы полюбоваться на мощные воды Иртыша. Здесь разместилось около десятка телег. Когда Сеит, сгибаясь, пролезал под мордами лошадей, его с воза окликнул по имени какой-то ямщик. Сеит быстро обернулся: «Ой, никак Жунус! Здорово! Откуда едешь?» Весело здороваясь с добрым знакомцем, он быстро поставил ногу на колесо и вскочил на высокую телегу приятеля, груженную пушниной. Так как на пароме не было скамеек, Сеит позвал к

себе Маркова и Девяткина. Они тоже не заставили себя просить и быстро взобрались на воз, заботливо укрытый брезентом и перетянутый арканом. Сеит тут же познакомил приятелей с Жунусом.

— Он тоже работал грузчиком в нашем Затоне. Мы с ним, бывало, все спорили: кто сильнее, кто больше поднимет! А вот сейчас Жунус, оказывается, сильнее меня. Богачом стал. Имеет коня с телегой, битком набитой лисьими да волчьими шкурами. Видать, изда-дека приехал. Сами посмотрите, какое огромное богатство везет из чужедальних краев! И вправду, откуда едешь, Жунус? — выпрашивал Сеит.

У Жунуса лицо обветрено, руки потрескались, остренькая бородка, подстриженная клинышком, выгорела на солнце и из русой превратилась в желто-пегую. Он с добродушной улыбкой слушал веселую болтовню Сеита, видно, обрадовавшись старому другу. На вопрос «Откуда едешь?», отвечал коротко: «Из Джетысу», «Из Шубар-агаша», «С Ой-жайлау».

Нечего сказать, хорош богач: и конь и телега чужие. Зимой и летом гоняет хозяйские подводы. Он и сейчас нанимался ямщиком у бая-полуказаха Матели.

На этот раз его ямщики на двадцати подводах везли пушнину, собранную со всех волостей, аж до самой китайской границы. Хорошо, хоть десять телег попали на паром, остальные десять, вон они — на берегу.

Рассказывая друг другу о своем житье-бытье, Жунус и Сеит повели беседу вдвоем, а Девяткин разговаривал с Марковым. Оказалось, что Девяткин возвращался из аулов в низовьях Иртыша, где пробыл целую неделю, лечил больных от какой-то заразной болезни вроде тифа. А Марков ехал с охоты и рыбной ловли. Он побывал у жатаков Жоламана, в верховьях Иртыша, на пикете Шоптигак. С Сеитом оба они встретились только что у переправы. С минуту Марков и Девяткин помолчали, прислушиваясь к разговору приятелей. Девяткин хорошо знал по-казахски. Многозначительно посмотрев на Маркова, он сказал: «О чем они говорят, обратите внимание, о ком толкуют?» — и, помолчав, промолвил: «Об Ибрагиме

Кунанбаевиче они говорят». Марков подивился тому, что рабочий, встретившись с ямщиком, с первых же слов заговорили о тяжелом положении поэта. Не понимая сам по-казахски, он попросил Девяткина: «Давайте, послушайте, заметьте, как будут говорить».

Жунус приехал в город сегодня ночью и сразу же услышал здешние новости. Однако речи, которые вели об Абае на последнем пикете, он что-то не понял. Какие-то плохие люди покушались на Абая, «совершили неслыханное злодеяние!» Жунус частенько пел песни Абая вместе с Сеитом и теперь жадно расспрашивал его: «Что это за вести? Что за разговоры?» И Сеит стал рассказывать обо всем, что услышал сам. Привлеченные разговором друзей, вокруг телеги Жунуса постепенно начали собираться другие ямщики и, наконец, окружили их плотным кольцом. Прислушиваясь к словам ямщиков, Девяткин коротко переводил их Маркову. Оказывается, все ямщики, кроме Жунуса, были родом не из Семипалатинской области, а издалека, из Шубар-агаша, Аягуза и Капала. Однако то ли по рассказу Жунуса, то ли понаслышке они, видимо, хорошо знали Абая.

Сеит подробно рассказал о подлом деле, совершившемся в Кошбике: Абая истязали за то, что он заступался за бедняков Кокена, за доброе имя простых дехкан. Говорили, будто он унизил память великого предка Тобыкты, знатных правителей, оскорбил прах благородного отца своего, Кунанбая. Хотели даже убить Абая, да не удалось им довести свое черное дело до конца! Ямщики, возмущенные, зашумели:

— Вот собаки! Вот звери!

— Разве такие кровопийцы кого пожалеют!

— Ну, над другими издеваются,— ладно! Как же они посмели тронуть Абая, бесстыжие!

— Мало того, что эти воры-пройдохи разоряют народ, караваны грабят, дома поджигают,— до Абая добрались!

— Как же это они его? Один он оставался, что ли? Бросили одного, такого прекрасного, душевного человека!

И, присоединяя свой голос к голосам негодующих товарищей, седобородый старый ямщик молвил недоуменно:

— А начальство чего смотрело? Абай ведь почитает русские порядки, почему же начальство-то его не охраняет, не бережет?

Сеит по-своему хотел было заступиться за русское начальство:

— Да что же тут поделаешь? Если на то пошло, так ведь Абая начальство-то и спасло. Сам уездный послал стражника с ружьем толпу разгонять. А то бы не миновать Абаю лютой смерти.

Но тут в разговор вмешался Девяткин.

— Ты не знаешь, Сеит, совсем не так это было. Разве уездный начальник заступится за такого человека, как Абай Кунанбаев? Сам народ — вот кто может его защитить! Вот ты, например... — и он указал на Сеита, — ты, — ткнул он пальцем в грудь Жунуса, — и еще ты, — кивнул в сторону седобородого ямщика, а потом широко обвел рукою вокруг, — все вы, весь народ ему поддержка. Больше за него заступиться некому!

Девяткина слушали с радостным изумлением.

— О-о! Правду он говорит!

— Справедливые твои слова! Прямо в точку попал!

Сеит, подумавши, заключил:

— Ну, да как же не правильно! Верно: говорим — лучший из людей, заступник народа. Да кто же народ-то, уразбаи, что ли? Тысячу раз твердил нам Абай, что народ — не уразбаи, а простой трудовой люд, такой вот, как мы с вами... А раз Абай сказал, значит, так оно и есть... И справедливо нас осуждает Девяткин: мы, народ, за все в ответе!

Приметив, что слушатели прекрасно поняли его скупой намек и горячо откликнулись на него, Девяткин стал рассказывать о том, о сем, о своей поездке, что видел, что слышал в аулах Кара-Шолак, Шолакбас, Кенжебай.

— Как-то вечером пришел я в Кара-Шолаке к одной старушке, у которой внучек заболел. Землянка у нее бедная, сырая, и там в углу, в темноте, старик стоит на молитве, плачет, причитает. Я думал, он за

своего больного внука молится, а он, оказывается, услышал дурную весть об Абае и вот, жалеючи его, плачет.

В другом ауле Девяткин видел, как ученики у муллы нараспев твердили стихи Абая. И эти ученики тоже тревожились за поэта, с жадностью расспрашивали о нем у своего учителя, некоторые даже со слезами.

В ауле Кенжебай живет замечательная девушка Акбалык. К ней приехал жених, вечером затеяли игры, веселье. Сама Акбалык долго пела песни Абая, спела «Письмо Татьяны», а потом и говорит: «И вот такого благородного человека, творца золотых слов, Абая, хотели убить бесстыдные кровопийцы, выродки, недостойные называться казахами. Много еще у нас таких собак! Много кровожадных волков!»— Вот что сказала девушка Акбалык.

Девяткин от души восхищался.

— Своими глазами видел я простую аульную девушку, умницу, которая хорошо поняла и полюбила Абая. Поэтому-то я и считаю, что его знает народ, что друг Абая — народ и что только народ может его отстоять и сберечь.

Разговоры об Абае не умолкли и тогда, когда проезжие пересели на второй паром. Марков так же порассказал о том, как много он слышал сочувственных речей об Абае от стариков и молодых, когда охотился и рыбачил на Иртыше.

А потом обо всем, что говорилось в народе, Марков передал Павлову. Вскоре то, что рассказывали об Абае на переправе через Иртыш, можно было услышать то тут, то там, в разных местах, в городе и в ауле. Обрастая новыми подробностями, обогащаясь чувствами и мыслями многих людей, эти рассказы становились печальной, из уст в уста передававшейся легендой о безвинных страданиях народного заступника. Легенду эту сказывали и в лачугах таких бедных тружеников, как Дамежан, и в лодке старого Сеиля, и на пристани, и особенно в бараках, где ютились бездомные грузчики. Рабочие клеймили врагов Абая с презрением, решительно осуждая подлое злодеяние Уразбая.

И вот, когда после события в Кошбике минул год, грузчик Сеит появился в ауле рода Тогалак. Он пришел сюда на побывку. В конце зимы Сеит болел тифом, а когда поправился, навигация уже открылась, и ему предстояло, как всегда, грузить баржи и пароходы. Но недюжинная сила его, благодаря которой в прежние времена он работал за двоих, нынче пошла на убыль. Не было прежней крепости в спине и в руках, ноги, когда он шел с грузом, подгибались. И без того скудный заработок его упал еще ниже. Друзья и товарищи, Абен, жена — все говорили о том, что не худо было бы ему на лето поехать в родную степь.

С весны Сеит и оказался у родственников в давно покинутом им ауле. Прибыв на родину во время перекочевки на летовку, Сеит гостил здесь уже около двух месяцев, пил кумыс, набирался сил и вот теперь, когда аулы снимались с горных пастбищ, чтобы перекочевать на равнину, больной уже окреп, на изжелта-сером лице его заиграл здоровый румянец, прежняя сила возвращалась к нему.

Хотя Сеит в городе и жил бедно, тяжким трудом зарабатывая себе на хлеб, но, если в его доме появлялся гость, он ставил ребром последнюю копейку. Таков же был и Абен, который, как и Сеит, свято соблюдал обычаи грузчиков, щедрых и хлебосольных бедняков.

Под плоской кровлей низенького серого домика Сеита в Затоне постоянно гостил кто-нибудь из земляков. Иной раз люди приезжали к нему целыми караванами и со всеми своими верблюдами, санями, поклажей еле вмещались в его маленький дворик. Не только заезжие одноаульцы из рода Тогалак, — к Сеиту ехали в расчете на его радушие, на широкую его натуру и родные его товарищей-грузчиков, знакомые и друзья из чужих волостей и селений.

Зимой и летом степные гости, приезжающие в город во время забоя скота или с щетиной и шерстью на рынок, до отказа переполняли дома и дворы затонских рабочих.

Бывали дни в жизни Сеита, когда ему не на что было угостить постояльцев не то что мясом, даже

хлебом. И лишь немногие из приезжих, понимая тяжелое положение бедняка, умели вовремя и без лишних слов оказать ему посильную помощь. Ведь Сеит и его великодушная жена, пока не истратят последнюю полушку, скрывают свою нищету, стесняясь признаться, что им нечем угостить людей.

Перехватив деньжат то у соседа-казаха, то у русского товарища-грузчика или мастера, а иной раз у живущего с ним бок о бок дружка, кузнеца Кирилла, Сеит с почетом встречал и провожал своих гостей. А потом из скудного своего заработка с трудом расплачивался с долгами.

Но это не печалило Сеита, щедро наделенного не только могучей силой, но и веселой широкой душой, что называется, нараспашку. За легкий нрав и открытое сердце особенно любил Сеита Дармен. В свою очередь и рабочие Затона, а Сеит и Абен первые, особенно радушно принимали искусных певцов, домбристов, поэтов, таких, как Дармен, Альмагамбет, Муха. Любили и уважали они и Баймагамбета. Если дорогие гости долго не появлялись в городе, о них тревожились. По ним тосковали.

От них к рабочим Затона приходило песенное слово Абая, которое Сеит с Абеном и другие грузчики широко распространяли в народе. Речистая трехструнная семипалатинская домбра висела на почетном месте в доме Сеита. В редкие минуты отдыха Сеит, лежа на спине и положив поперек груди свою звучную домбру, громко распевал песни Абая, которые были в ту пору на устах всех казахов гор и равнин. Пел Сеит под свой собственный аккомпанемент и татарские песни, мурлыкал себе под нос мотивы без слов. А теперь, отдыхая все лето в аулах родного Тогалака, Сеит, еще охотней распевал свои песни, веселя и потешая своих сверстников и всех, кто хотел послушать.

Многочисленные бедняки, приезжавшие к Сеиту в город, как в свой собственный дом, теперь наперебой старались отблагодарить его за щедрое гостеприимство. Один ставил Сеиту кумыс, другой потчевал его простоквашей и варенцом, третий резал для него ягненка

или козленка. Неутомимый певец и непобедимый силач, Сеит сделался всеобщим любимцем и его с почетом принимали в любом доме целой округи.

У многочисленных тогалаков было мало земли, а потому на любом их урочище аулы селились тесно, один к другому. В родстве с тогалаками состояли и саки, одна из ветвей общего многолюдного рода. Иногда самые названия этих родов произносились слитно «Сак-Тогалак», и жили они в мире и дружбе, как единая семья. Они не затевали смут, не угоняли чужого скота, не чинили набегов, берегли свое честное имя. И хотя в соседних сильных родах, Есболат и Олжай, было немало баев-насильников, охочих до споров и раздоров, — над многочисленными и дружными родами не так-то легко было чинить расправу. Потому-то смутьяны избегали столкновений с сак-тогалаками.

Один из жигитов-бедняков рода Есболат Айса, добрый знакомый Сеита, зазвал его к себе погостить. Сеит, прихватив с собой молодого паренька из тогалаков, отправился в гости и очутился в близком соседстве с аулом достославного Уразбая. Вот уже два дня, как грузчик ел, пел и веселился в доме своего сверстника в обществе батраков и пастухов, подчас больше интересовавшихся стихами, чем музыкой и пением. Однако Сеит, хотя и не обладавший сильным голосом, но умевший петь мягко и приятно, казался своим невзыскательным слушателям заправским артистом, и, превратив юрту своего сверстника Айсы в своего рода театр, сумел увлечь их песнями Абая. Из уст Сеита лились слова, дотоле неведомые здешним чабанам, доильщикам, табунщикам и скотникам. Иногда он пел их под звуки домбры, иногда пересказывал речитативом, и прекрасные стихи журчали, как неиссякаемые струйки родника. И все это — стихи, песни и напевы — принадлежало Абаю. Вот Абай издевается над волостными, осуждает жадного богача, изобличает их острой насмешкой. Он клеймит аткаминеров, коноводов и заправил враждующих групп и родов, беспощадно сечет метким словом насильников и смутьянов. Сеит пел, увлекая слушателей и увлека-

ясь сам, вызывая горячий отклик в сердцах людей, заставляя их то плакать, то заливаться смехом.

Прохладным вечером, выйдя вместе с джигитами на зеленую лужайку, Сеит показал и свою удасть в борьбе. Он поочередно положил на обе лопатки троих сильнейших джигитов рода, специально выбранных Айсой для состязания с городским сверстником. Одного за другим взваливал Сеит себе на спину, а потом перекидывал через плечо, как шапку, оземь, приговаривая: «Вот как грузчики-то делают!».

Сегодня в полдень друзьям сообщили, что в колодец, водой которого пользовались все окрестные аулы, еще с вечера провалился верблюд, и, разумеется, Сеит с Айсой и пареньком-тогалаком, гостившим у Айсы вместе с Сеитом, тут же отправились к месту происшествия. Так как и верблюд, и колодец были уразбаевы, его подручный, конокрад Кийкым согнал сюда джигитов со всех аулов. Теперь множество мужчин, бестолково суетясь и мешая друг другу, тщетно старались вытащить тяжелого старого верблюда из глубокого колодца. Для того, чтобы совладать с этим делом, нужна не только огромная сила, но и сноровка, а ее-то ни у кого и не было.

И вот под шумное одобрение добрых двух десятков мужчин Сеит потащил за голову из осыпающегося старого колодца громадного многопудового верблюда, в то время, как остальные вытягивали его туловище, пропустив ему арканы под брюхо. Теперь нужно было вычистить колодец, вычерпав из него всю воду, так как из него не только поили скот, но и пили люди из ближайших аулов. На пути к осенним пастбищам больше не было ни рек, ни ручьев — никаких других водоемов.

Почти до дна вычерпав колодец ведрами, усталые люди тут же расположились на отдых и, разумеется, вспомнили о Сеите. Его начали просить повторить еще раз понравившиеся всем хорошие песни и «поучительные слова», впервые услышанные ими вчера.

Когда Сеит был в добром расположении, он без долгих уговоров выкладывал все, что знал и умел. Так и на этот раз он, не заставляя себя просить, запел стих

Абая «Алыстан сермеп», то растягивая слова, то снова переходя на быстрый игривый речитатив. Целиком отдаваясь ритму, всем своим существом погруженный в слова и мысли любимого поэта, Сеит и не заметил, что иные джигиты и даже старики, сидевшие около него, то и дело смущенно поглядывают в сторону, словно кого-то опасаясь. Чувствуя, что люди перестают слушать, присматриваясь к чему-то позади него, Сеит убыстрил темп и, закончив песню, резко оборвал на высокой ноте. Обернувшись, он только сейчас заметил позади себя восседавшего на сытом белом коне Уразбая, гневно вперившего в певца свой единственный глаз из-под надвинутой на самые брови белой заячьей шапки.

Уразбай не принял приветствия Сеита и, еще крепче сжав плетку в руке, злобно прошипел:

— Ты чьи слова принес в мой аул, голодранец?

Сеит сначала и не понял в чем дело.

— Какие я принес к вам слова, о чем вы говорите, бай?

— Что, или отпираться задумал? Ведь я только что сам слышал все своим ушами!

Только теперь понял Сеит, о чем толкует Уразбай, и весело засмеялся.

— Ага! Вы имеете в виду слова Абая, которые я тут пел. Это верно. Такая уж у меня привычка. Пою их в ауле, да и в городе вспоминаю частенько. На то они и написаны, чтобы их петь. Что же еще прикажете с ними делать, барин дорогой?

— А ну-ка, попробуй, повтори еще хоть словечко. Покажи свои тайные подвохи!

— Раз вы просите повторить — повторю. Только никаких тайн и подвохов у меня нет. Я что знаю, то и говорю! — И начал было читать наизусть стихотворение Абая «Нет дум иных у бая», написанное в позапрошлом году и тут же заученное им самим и Дарменом. Сидя на корточках и повернувшись всем своим могучим корпусом к Уразбаю, Сеит бросал гневные слова прямо в лицо зарвавшемуся злодею, возомнившему себя всемогущим, но презираемому всеми честными людьми своего народа.



Казалось, сам Абай вручал борцу соил и говорил: «Бей его, Сеит!» Вперив свои острые маленькие глаза в единственное око Уразбая, грузчик громко и раздельно произносил обличительные строки, словно раз за разом ударяя противника по голове.

Богатство копит богатей,
Чтоб похвалиться им,
Чтоб тыкать им в глаза людей,
Чтоб жить не дать другим.
Свинья и тех, кто рядом с ней,
Считает за свиней,
Мол, всех подкупим, коль дадим
Помоев пожирней.
Сегодня совесть, ум и честь
Едва ль на свете есть.
Брось баю золото в навоз,
Навоз он будет есть...

Не успел Сеит дочитать стихотворение, как Уразбай обрушился на него с бранью:

— Хватит! Замолчи! Довольно болтать! Ишь какой подарок мне приготовил!

На секунду запнувшись от неожиданности, Сеит смело ответил:

— Аксакал, я только повторяю слова поэта, а до вас мне и дела нет!

Уразбай рассвирепел еще пуще:

— Хоть ты и бродяга, но, видно, бродяжничаешь неспроста! Вот я тебе сейчас и воздам за все твое бесчинство. Лезь сейчас же мой колодец чистить!— громогласно приказал он.

— Нет, аксакал, хоть я и брожу по вашим аулам, а в рабы к вам не продавался. Я сюда не колодцы чистить пришел — не понимаю, что вы такое тут говорите!

— Говорю, что хочу: спускайся в колодец!

Уразбай, наезжая на Сеита, стал теснить его конем.

— Лезь сейчас же! Не то за все твои пакости я тебя к такой казни приговорю, о какой ты и слыхом не слыхал!

Сеит, разгневанный, вскочил:

— За что приговоришь? За какую такую мою вину хочешь меня казнить?

— За то, что восхваляешь моего врага!

— А кто же он, враг ваш?

— Как будто не знаешь! А сам по его наущению слова его ко мне принес!

— А-а, ты говоришь об Абае?

— Да, об Абае говорю, о бесчестном человеке я говорю, о нем, о смутьяне, говорю!

Сеит был так взбешен, что теперь шел напролом.

— Конечно, если вас послушать, так кроме ругани ничего не услышишь! Только мы считаем, что такие баи, как вы, недостойны стать даже жертвенной овцой за него!— Он кивнул Айсе и решительно зашагал прочь.

— Держите его!— завопил Уразбай.— Кидайте его в колодец!

Кийкым, подхватив на лету приказание своего бая, устремился в погоню; за ним, держа плетку наготове, ринулся, было, и сам Уразбай.

— Догоняйте! Налетайте!— хрипел он.

Бедняки, хотя и знали Сеита только со вчерашнего дня, не тронулись с места, наблюдая, как Кийкым с двумя такими же, как он сам, головорезами, с криками «стой!» нагоняет Сеита.

Сеит круто повернулся к нему, гневно глянул налитыми кровью глазами и, яростно молвив, «П-шел с глаз долой! Морду разобью»,— продолжал свой путь.

Пастухи молча уставились на повернувшего назад и бесновавшегося теперь перед ними Уразбая: «Что же вы стоите! Бегите! Хватайте его, волоките сюда!». Двое-трое пожилых мужчин, одетые в рваные чапаны, попробовали было урезонить бая: «Полно вам, успокойтесь! На что он вам? Ведь он гость!» Но Уразбай, проехавшись плеткой по головам непрошенных заступников, загорланил еще громче, угрожая Сеиту несслыханной карой:

— Будь я неверный гяур, коли не вобью его живым в землю!

И, пришпорив своего Акбозата, поскакал прочь, вопя: «Все сюда! На коней! На коней!»

Не успел Сеит, добравшись до дома Айсы, поймать свою лошадь, как банда в двадцать-тридцать разъярен-

ных конных джигитов, вооруженных соилами, чокпа-рами, арканами и недоуздками, нагрянула на бедняцкий аул. Они избили Айсу, который попробовал было заступиться за гостя, окружили Сеита и, навалившись на него всем скопом, уволокли с собой. Уразбай неистовствовал с пеной у рта, словно шаман, одержимый бесами. Он велел своим людям рыть глубокую яму в степи за аулом. Когда палачи подвели к ней Сеита, Уразбай отдал неслыханное, чудовищное приказание:

— Говорил я, что покараю его, так и будет. Я обещал вбить в землю этого зарвавшегося голодранца, вот и кидайте его в могилу! Живым закопаю, в землю втопчу!

Заставив своих приспешников скрутить Сеиту руки волосяной веревкой и бросить его в глубокую яму, Уразбай сам первый начал забрасывать его землей. Вскоре на поверхности чуть возвышалась только его голова с запрокинутым бледным лицом, которое оставили открытым, чтобы он не задохнулся сразу.

Это было слишком даже для таких разбойников, как Кийкым, которые из буйного озорства охотно шли на барымту и набеги, не один раз полосовали людей кнутами, в драках разбивали головы и ломали кости. Теперь им стало не по себе от никогда не виданной страшной казни, которую они совершили своими руками. Отважный парень Сеит, в полдень зарытый в землю, до самой ночи безмолвно у всех на глазах терпел нечеловеческую муку.

Уразбай задумал свое черное дело отнюдь не тогда, когда увидал Сеита у колодца. Он знал, что вот уже два дня пришелец гостил в доме бедняка Айсы, увлекающая и восхищающая слушателей стихами и песнями Абая. За одно только это решил Уразбай поймать Сеита, затащить к себе и, примерно наказав, вытолкать в шею. «Вышвырну его из своего аула!», «Не могу я терпеть лай абаевской собачонки около своего двора!», «Изобью, как собаку, и выгоню бродягу вон!»

Почетные старики, сидевшие с Уразбаем за кумысом, уговаривали: «Ну что ты будешь тягаться с каким-то бобылем, у которого нет ни веса, ни силы, с ка-

ким-то ничтожным бродягой!» И они первое время сдерживали бая, говоря, что не стоит, мол, ему возиться с нищим, недостойным даже гнева такого знатного барина, как он.

Сегодня, направляясь к колодцу, Уразбай спросил у сопровождавшего его джигита: «Уехал, что ли, этот Сеит?» И тут-то узнал он еще об одном обстоятельстве, окончательно приведшем его в ярость: о том, что Сеит был тем самым грозным силачом, который прославился в стычках из-за девушки Макен. Уразбай вспомнил, что еще тогда ему рассказывали о непобедимых мстителях-джигитах, которые настигли на пароме Карабая и его сообщников и отбили у них увезенную из Затона девушку. Говорили и о затонском рабочем, который один на один одолел буяна и силача Дондагула, державшего весь город в страхе и посланного на подмогу Карабаю Уразбаем и Сейсеке. Так вот взял да и повалил его с одного удара. Молва называла имя Сеита: «Есть, мол, в Затоне некий страшной силы богатырь, грузчик Сеит».

И этот, издавна ненавистный баю человек оказался сегодня здесь. Подъезжая к колодцу, разъяренный Уразбай упрямо твердил про себя: «Накажу Сеита, как не наказать, когда у меня все поводы к тому есть. Один за всех мне ответит! Посмотрю я на того, кто вырвет бродягу из моих рук!» Дикое злодеяние, совершенное вслед за этим, было продиктовано накопившейся злобой.

Уразбай, живьем закопав человека, даже к ночи не пожелал узнать, жив он или умер. Так силен был гнев бая, во всеуслышание объявленный перед его семьей и всем аулом, что ни одна душа не посмела приблизиться к Сеиту. Лишь глубокой ночью, когда все улеглись спать, Айса, который весь день терзался жалостью и тревогой, прокрался к ночному сторожу уразбаевского аула. Забитый старик, раньше служивший у бая чабаном, невнятно бормоча проклятия хозяину, всем его предкам и потомкам, повел Айсу к месту казни. Вдвоем, роя землю руками, они с трудом вытащили заживо погребенного. Безмолвный Сеит, когда друзья освободили его от страшной тя-

жести и вытянули наверх, потерял сознание. Долгое время он лежал не шевелясь, а потом еле слышно попросил:

— Воды!

А вдоволь напившись из кожаного черпака студеной колодезной воды, будто снова обрел силу и без посторонней помощи встал на ноги. Молодой парень, из тогалаков, который ходил повсюду вместе с Сеитом, до сих пор оставался в руках Уразбая, истерзанный и избитый, привязанный за руки и за ноги к решетчатому остову байской юрты.

Далеко отойдя от аула врага, Сеит велел Айсе и старику-сторожу возвращаться восвояси: «Из-за меня и вам, глядишь, достанется. Мне теперь помогать не надо — сам доберусь. Век не забуду вашей доброты, а только идите-ка скорей по домам — не то попадетесь кому-нибудь на глаза: кривой людоед Жалмауз, барин ваш, живьем вас сожрет». Сам он еще днем заметил ладного коня, на котором ездил пастух Уразбая и который пасся неподалеку на привязи. Сеит отвязал коня, вскочил на него и наметом погнал к аулам Тогалака.

Наутро в тагалакских аулах, где гостил Сеит, происходил большой сбор. Был праздник Курбан-байрам. Люди из многочисленных аулов, находившихся на этом урочище, собирались все вместе на торжества.

Аулы, расположившиеся один подле другого, сплошь состояли из черных юрт, ветхих лачужек и дырявых шалашей. На всей поверхности обширной долины Еспе, где через короткие промежутки попадались нарытые кочующими неглубокие колодцы, не виднелось ни одной белой юрты, ни одного байского становища, окруженного многочисленными стадами. Зато сплошь бедняцкие роды жили дружно и сплоченно, не было у них ни тяжбы, ни раздора, делили, как говорится, горе и радость пополам.

В дни празднества ни на один аул, ни на одну юрту не налагалось бремени каких бы то ни было расходов. Все мужчины, пообедав каждый у себя дома, сядили на коней и со всех концов долины съезжались

к травянистому холму, возвышавшемуся к западу от главного аула.

И вот, когда у подошвы холма начиналось козлодрание, когда джигиты уже летели на конях, на всем скаку поднимая монету, когда повсюду кругом закипало беспечное веселье, в самую гущу праздничной толпы ворвался Сеит, а за ним и двое его верных друзей, известных в округе джигитов. Это были не знатные баи и не богачи, а простые разумные и степенные люди. Мужественные, совестливые и сильные, они уважали того, кто почитал их самих, делились задушевными своими мыслями с тем, кто хотел отвечать им тем же, и враждовали с тем, кто того сам желал. Один из них — Жомарт происходил из тогалаков, а другой — Омар — из саков. Оба они были сверстниками Сеита, оба наперебой звали его к себе гостить, оба были любителями-борцами, обоих их любили и жаловали все аулы в долине Еспе. Сейчас они примчались вслед за Сеитом, едва переводя дыхание, расстегнутые, растрепанные, без шапок.

Люди расступались перед ними, тревожно переговариваясь: «Что с ними такое? Видно, что-то стряслось! Куда это они так спешат? Какую черную весть принесли?»

Среди белобородых и чернобородых аксакалов из сак-тагалаков и жуантаяков, расположившихся на холме, не было, невзирая на их почтенный возраст, ни одного богатого и влиятельного аткаминера. Зато среди них внезапно оказались Базаралы и его любимый сородич, ближайший друг Сеита, известный своей храбростью, Абды. Сеит не проронил ни слова. А Жомарт, понося Уразбая, весь его род и весь его скот, громовым голосом поведал почтенным старейшинам и Базаралы о чудовищной расправе, учиненной над Сеитом. Ему гневно вторил Омар:

— Народ, или последние твари вы, собравшиеся тут джигиты?! Видано ли, слыхано ли о таком позорном издевательстве! Хватит у вас мужества, чтобы отомстить одноглазому людоеду, или нет у вас ни совести, ни чести? Ведь он уж через край хватил! Неужели мы будем сидеть сложа руки?

Джигиты, только что услышавшие обо всем происшедшем, стекались на конях к подножью холма, выкрикивая слова сочувствия и угрозы. Однако старейшины, сидевшие на холме, не решались сразу ответить на призывы к мести. Жомарт уже давно знал Базаралы. Теперь он подъехал к нему вплотную, прося у него совета, жалуясь на обиду, уповая на помощь.

Базаралы прибыл к сак-тогалакам только вчера. Здесь жили его родственники по женской линии. Матери целого поколения тогалаков были дочерьми жигитеков. Поэтому здесь его встречали радушно и, считая близкой родней, величали «нагаши»—«дядюшкой». Вот и теперь Жомарт и Омар кинулись к нему за помощью.

— Дядюшка, да говори же хоть ты! Видишь, мирный наш народ растерялся, не знает, что делать. Ты-то что посоветуешь? Скажешь «Лягте костью»—ляжем. Приказывай же, говори!

Базаралы, исполненный жалости и негодования, и без того еле сдерживался.

— Какое гнусное надругательство! Умереть бы мне лучше, чем слышать о таких делах,— прошептал он, обращаясь к Абды.

Его слабое сердце болезненно билось, комок подступал к горлу. Возмущенный до глубины души, он стоял, стиснув зубы, едва переводя дыхание. Он видел, что все окружающие — и старые и молодые — смотрят на него с нетерпением и надеждой.

— Сказал бы свое мудрое слово именно он, Базеке! Указал бы нам путь!

— Ведь он вдохновлял упавших духом, ободрял растерянных!

— Он был нашим вожаком!— требовательные голоса звучали все громче, сливаясь в сплошной гул.

Базаралы понимал настроение народа. Слово старый опытный лекарь, он чутко улавливал биение его пульса. Просыпаясь от тяжелого сна, встрепенулась его светлая мысль. Сидя высоко над толпой на своем огромном старом коне, выделявшемся среди других лошадей гордым постановом головы и широким крупом, Базаралы приподнялся на стременах и, обращаясь к

Жомарту, заговорил громко, так, чтобы слышали все вокруг.

— Вы, доблестные джигиты, просите у меня совета, как у ближайшего родственника. А я стою здесь глубоко сокрушенный, руки себе ломаю, ибо, хотя мысль моя птицей стремится вперед, тело мое придавлено тяжелым недугом, от меня остались лишь кости мои. Однако недаром говорят в народе: «Не делай того, что делает мулла, делай то, что он говорит». А я скажу вам: не слушайте слов своего дяди, а поступайте так, как делал он. Вот вы в тяжелую минуту обращаетесь ко мне. Так ведь, братья мои, народ мой? Вы знаете сами, как я поступал, когда был в силе! Чего же вам еще ждать?! Есть ли среди вас хоть один человек, который так или иначе не пострадал от Уразбая, как сегодня вот пострадал Сеит?

И он на минуту умолк, нахмурившись.

Множество всадников, растянувшихся от вершины Бозбиик до равнины, простирающейся далеко внизу, затаив дыхание, внимали голосу Базаралы. Все джигиты окружи, севшие на коней, слушали слова Базаралы, как приговор Уразбаю и призыв к бою. А он гремел, во всю силу напрягая свой голос:

— Одноглазый кичится своими табунами. А ведь в этих табунах — кровь и слезы со всей округи, ваша кровь, ваши слезы! Кто из вас не проливал пота у него на работе, не получая взамен ничего, кроме тычков?! Над кем из вас он не глумился, кому не грозил своей силой? Не через край ли хватает этот Уразбай? Можно ли дальше терпеть то, что он совершил вчера, совершает сегодня, сделает завтра? Найдется ли, наконец, хоть один доблестный муж, хоть один славный род, кто станет ему поперек, даст ему, наконец, по рукам?! Или же так и ускользнет от вас нестриженным черный этот дьявол? Нет, не давайте ему уйти подобру-поздорову! Отомстите ему за народ, за отважных его джигитов! Отомстите ему за Абая, чтимого всеми родами казахскими! Отомстите за благородного Сеита, который, вот он, оскорбленный, стоит перед вами. Нагрянь на бегом на злодея, многочисленный народ Сак-Тогалак! Погляжу я тогда, как он задрожит в осаде, как заску-

лит слепыш одноглазый!.. Нагрять! — повелительно крикнул он.

Вмиг облетели его слова тесные ряды, плечо с плечом сомкнувшихся джигитов.

Жомарт, Омар, Абды, множество всадников с криками «Нагрять! Налетай!», «Где ты, аул, Уразбая?» — ринулись вниз по равнине. Широким потоком неслись мстители, вооруженные соилами, куруками, шокпарами, пиками, которые им давали в попутных аулах. А иные всю надежду возлагали на свои тяжелые плети.

Жомарт, Омар и Сеит летели впереди лавины. Большой Базаралы не в силах был участвовать в набеге и оставался с небольшой кучкой стариков-аксакалов на холме. Вручая Абды свою тяжелую восьмигранную камчу с вплетенным в нее свинцом, Базаралы сказал: «Разбей за меня головы десятку врагов! Без этого и назад не возвращайся!»

Докатившись до аула Уразбая, грозная лавина набегу разнесла его вдребезги. Джигиты угнали весь целиком трехтысячный табун, принадлежавший Уразбаю и его сыновьям и мирно пасшийся на равнине между аулами. Жеребят спустили с привязи, и они, напуганные, умчались прочь. На юрты обрушились удары дубинок, круша и ломая их остовы. Мстители избивали всех оказавшихся на улице мужчин, вынуждая их прятаться по домам. Пятьсот всадников ураганом пронеслись взад и вперед по аулам Уразбая, сметая и громя все на своем пути.

Уразбай, его сыновья и родичи, жены и дети, не только не сумели оказать отпора, но в страхе попрятались, кто где мог. Сам бай забрался под перину в юрте своей молоденькой токал.¹ И та, увидев, что муж совсем растерялся, укрыла его, как умела, от рук разъяренных мстителей, завалив грудой подушек и одеял. Справедливый гнев нежданно-негаданно разразился над кровожадным хищником, долгие годы угнетавшим многочисленные роды вокруг себя. Этот смелый набег был истинным судом народным, покаравшим и опозорившим Уразбая.

¹ Токал — младшая жена.

Если до сей поры Уразбай безнаказанно поднимал руку на свой народ, то сегодня сам испытал на собственной шкуре всю мощь тяжелой руки народа. Если до этого дня он один обрекал множество людей на слезы и нищету, то сегодня это множество заставило его самого лить кровавые слезы о своем разгромленном богатстве. Вот тут-то малочисленные баи сак-тогалаков и жуантаяков, такие, как Абралы, Наманай, Мусралы, Байгулак и Каражан, стали поспешно отмежевываться от участников набега. Как воры, тайно бежали они прочь от аулов своего рода. Одни из них были сватами Уразбая, другие — его друзьями-приятелями, третьи — соучастниками его бесчисленных злодеяний. Понятно, что они, стремясь отстраниться от рискованной затеи неимущих сородичей, быстро снимались с места, чтобы откочевать куда-нибудь подальше.

Так, год спустя после событий в Кошбике народ, долгое время сносивший обиды, совершил свой суд над Уразбаем.

2

Дармен, ездивший в аул Базаралы по своим делам, вернулся оттуда после полудня. Базаралы и Абды поведали ему целое богатырское сказание о событиях, разыгравшихся у тогалаков, а он теперь с увлечением пересказывал его Абаю, Баймагамбету и Мухе. Особенно значителен был, по мнению Дармена, конец повествования Базаралы. Хорошо запомнивший его мысли и слова, Дармен, передал их Абаю полно и точно, не упустив ни одного оттенка.

Я почувствовал себя на седьмом небе от радости, когда увидел с вершины холма, как пятьсот всадников с боевым кличем: «Сак-Тогалак!», «За нашу честь!», «За доблестных джигитов!», «За Абая!» — ринулись в степь, сотрясая землю, — говорил Базаралы. — Когда лавина эта устремилась на аул кривого людоеда, я подумал, что, если довелось мне дожить до такого счастья, если дано глазам моим увидеть великодушное это зрелище, то не о чем мне в жизни сожалеть и нечего мне больше желать! Словно вдруг сгнуло все, что долгие годы камнем лежало на сердце, будто вдруг распрямился я и вырос. Ведь с прошлого года совсем

было пригнула меня беда. А теперь будто с единого взмаха крыльев взмыл я в недосыгаемую высь! Теперь и умереть не жалко! Возвращался домой от тогалаков и думал: верно я направил сонл народный, прямо в голову самого злого, беспощадного врага угодил. Быть может, не суждено мне дожить до новых радостных дней — все больше гнетет меня мой недуг, но я уже не страшусь смерти, ибо мечта моя исполнилась! Это мои последние слова, братья, передайте их моим задушевным друзьям.

В этих словах был весь Базаралы — вся его отважная, мужественная душа.

Баймагамбет и Муха слушали рассказ Дармена, гримасничая от переполнявших их чувств восторга и благодарности. Дармен так и сиял, сверкая огненными своими глазами, окрыленный сознанием того, что принес Абаю радостную целительную весть.

Абай слушал Дармена с явным одобрением, но лицо его оставалось серьезным и спокойным. Казалось, он погрузился в глубокую думу.

Когда день начал клониться к вечеру, поэт, оставив своих друзей за беседой, вышел из дому и пешком направился к желтоватым глинистым холмам, протянувшимся за аулом. Абай медленно всходил на холм. Отсюда с небольшой возвышенности Ортен-тос перед ним раскинулся широкий простор. Уже близился вечер, и солнце стояло на длину аркана от линии горизонта. С желтого горба Ортена Абаю были видны горы, холмы и равнины, на которых располагались многочисленные зимовья. Слева высились Ордынские горы, коричневатые Токмты-кан и окутанные синеватым сумраком Бокай. В безбрежной дали небо и земля сливались в голубом мареве. У края горизонта в сизом тумане едва угадывались причудливые очертания Аркатских гор с могучим Байжановым утесом.

На юге взору открывался широко простиравшийся вдаль Чингисский горный массив с его бесчисленными синеющими вершинами. Высятся его сопки и холмы с затерянными среди них аулами. Каждая семья в них с детства знакома Абаю. Сколько хватает глаз тянутся мощные гряды хребтов Чингиса с возвышающимися

над ними дальними гребнями Борлы, ближними скалами Хан-Караша, с крутыми горбами Туйе-Оркеша и Токпамбета. Еще дальше поднимается широкогрудый Карашоки населенный родными Абая, ближе — Кыдыр.

На востоке высится двуглавый Шунай, пониже его зигзаги пестрых скал Догалана, а еще ниже, начинаясь у подошвы Туйе-Оркеша и Караула, расстилается безграничная белесая степь.

Словно плывущие в мареве обширной желтой равнины одинокие горы Шунай, Догалан, Орда представились Абаю исполинскими голубыми кораблями, пересекающими гладь спокойного моря.

Они выплывали из таинственного царства сказки навстречу путнику, затерявшемуся в пустыне. Застывший в дреме вечный мир предстал перед взором Абая: окаменевшие древние чудовища, окаменевшие в безмолвии люди, окаменевшие мертвые города — нигде ни звука, ни единого признака жизни. Только бесшумно плывут в бесконечность по желтой равнине каменные корабли одиноких вершин.

Абай испытывал приятную легкость. Прохлада, повеявшая со стороны Чингиса, наполняла все его существо неизъяснимым блаженством. «Ох, какой ласковый ветерок!» Он распахнул чапан и широкую рубаху, подставляя грудь благодатной прохладе, которая мягко омывала его шею, руки, лицо, словно струи прозрачной, чистой воды.

Отсюда, с вершины холма, овеянного вечерней прохладой, Абай обновленным взором вглядывается в обширный, тихий край, где он родился и вырос.

В лучах заходящего солнца неузнаваемо преобразился весь окружающий его мир. В закатном свете отчетливо вырисовывались высоты Караула и Кольгайнара. Теперь они не казались мертвой, бесформенной громадой, а представали в золоте косых лучей, радостными, обновленными, живыми.

И с ними вступают в спор высящиеся на западе коричневые сопки Кыдыра и затененные склоны Шуная. Вечерние тени сгустились на тесных грядах хребтов, словно сумерки бытия. Будто застывшее в холодном

мраке времен, тяжелое прошлое оставило здесь свои губительные следы. Выражением безнадежности и безвременья в хмуром отсвете ушедшего дня возвышаются покрытые холодной пасмурной тенью крутизны, как бы напоминая о неких ужасах и скорбных сомнениях сияющим солнечным вершинам Караула и Кольгайна-ра. Немного спустя, словно внимая этому предупреждению, начали тускнеть и эти вершины. И здесь шла борьба между лучезарным светом и мрачной, прибоем наступающей тенью, словно разыгрывался поединок между добром и злом. Абай медленно скользил взглядом по горам и долам и всем существом своим чувствовал, как неуклонно надвигался сумрак, отмечая каждый свой шаг все новыми и новыми изменениями. Ночь побеждала, тени сливались в сплошной мрак.

Наступило время, о котором некогда сказал Абай: «Сердце печальное мое делится тайнами с сумраком ночи». Желтоватый отсвет заката умирает на гребне скал, слегка озаренных сиянием последнего золотистого луча. На западе горы слились в единый темный массив. Сумрак, затягивает окрестность своей непроницаемой завесой. Теперь, еще недавно ласковый ветерок, крепчая, потянул холодом.

И в этот миг Абая озарили новые мысли, неожиданные для него самого. Родная земля, раскрывая свои тайны, заговорила с поэтом живым и внятным языком. Перед Абаем, поднявшимся на высокий перевал своей жизни, чередой проходили минувшие дни. Эти горные теснины и туманные степи раскрылись, как книга, страницы которой хранили на себе суровую историю его многотрудной жизни. Каждое из этих мест, на которых задерживался его взор, напоминало о минутах радости и веселья. Но они приводили на память и часы тяжелого горя, гнетущей печали, смертельной скорби, говорили об отравленных стрелах и бесчисленных покушениях врагов.

Сменяя одни других, бесконечной вереницей теснятся перед его мысленным взором давно ушедшие из памяти люди, отдалившиеся события, отшумевшие происшествия. Словно вновь перебирал Абай длинную цепь своей жизни, и родная земля внятно свидетельствовала

о каждом ее звене. Еще и еще обозревая эти горы и скалы, привидевшиеся ему волшебными кораблями заколдованного моря, поэт погрузился в глубокие думы: «Кто знает, не хранят ли они еще неведомые человечеству тайны? Не дремлют ли в недрах этих гор некие загадочные силы, скрытые богатства, способные превратить эти желтые равнины в сказочные долины счастья? Быть может, этот дремлющий в вечном безмолвии мир лишь скован злым колдовством безвременья. Но настанут иные времена, придут другие, новые племена и пробудят эти, погруженные в сон, замороженные силы каменных городов».

И в душе Абая шевельнулось робкое желание: «Увидеть бы тот новый мир, ту грядущую эпоху! Пусть не надолго, на краткий миг воскреснуть в ином веке и хоть краешком глаза увидеть его чудеса.

И вместе с мечтою о будущем пришла тревога о настоящем: «Да, грядущее прекрасно, но ведь оно растет из настоящего, как настоящее возникло из прошлого. Разумеется, времена меняются, и ничто не придет в новую эпоху таким, как оно есть в наши черные дни. Но все же, что из нашего дня достойно сохраниться и расцвести в веках, принося свои плоды новому, счастливому человечеству? Кто из людей нашего общества, нашего поколения способен готовить почву для лучезарного будущего?»

Задумавшись об этом, Абай содрогнулся от ужаса и отвращения, сердце его сжалось. Немногочисленный народ его живет в безысходном мраке. Он темен и невежественен, силы, правящие им, черным дьяволам подобны. И жестокая скорбь овладевала думой поэта: «Уйти бы из этой жизни! Умереть бы, сгинуть, пропасть!» И снова манила светлая надежда: «Умереть, чтобы воскреснуть в будущем, на краткий миг приобщившись к новому бытию».

Эти высокие мысли будили в сердце Абая отвращение к сегодняшней его жизни. «Теперь, пожалуй, можно и умереть! Много уже, много пройдено, пора бы кончаться моему пути. Что же, если бы и действительно мне умереть?»

Но это не была бессильная мольба о смерти сердца,

побежденного невзгодами и скорбями. Это был гневный порыв: отмести прочь мерзости своей среды, отвернуться от ее нелепых и позорных дел. Это был как бы внезапный шквал возбужденной мысли. Он проносился, а настойчивый вопрос, заданный Абаем самому себе, оставался.

«Бесспорно, вечная природа придет в новую эпоху вот с этими своими горами и равнинами. Тогда, как и теперь, будут возносить свои величественные вершины Шунай, Чингис, Балапан, Агадыр, Орда. А что дойдет до той эпохи от людей, от нас, развиваясь и укрепляясь от поколения к поколению?» И новая мысль озарила Абая, его лицо стало светлеть, уголки губ тронула горделивая улыбка. Он вспомнил рассказы Дармена, которые как бы лежали до времени в глубоком тайнике его сердца. Да, есть сегодня злодеи, неистовствуют опустошительные вихри, но есть и настоящие люди, отважно стремящиеся навстречу новому дню, который неизбежно наступит. О нем свидетельствуют вещие слова Базаралы: «Не о чем мне теперь сожалеть!» Это зов мужественной души, на который дружно откликнулся родной Абаю народ... Да, здесь его истинная родня — простые люди, грудью вставшие на защиту человеческого достоинства, а не все эти кунанбаи, ускенбаи, иргизбаи, пресловутые родственники, выдающие себя за поборников чести. Не под родовым знаменем объединились безвестные выходцы из безлошадных аулов, чтобы покарать угнетателя за попранныю справедливость. И не в их ли, пусть еще небольшом, но благородном деянии проявились новые силы нового общества, не им ли суждено посеять благие семена будущего? Таков был итог долгих раздумий, терзавших Абая в эти тяжелые дни. Медленно возвращаясь, один в темноте, Абай горел думой о грядущем. Поэт перекликался с будущими поколениями счастливых людей, мечтал о некоем мыслителе, которому он мог бы доверить все свое самое сокровенное. И по мере того, как поэт погружался в думы о нем, сердце его билось все беспокойнее. «Встать бы лицом к лицу с ним, человеком иной эпохи, подать ему весть о себе, от сердца к сердцу! Ведь сын своего времени, Абай —

сплошная загадка для человека будущего. Поймет ли он меня, выросшего в смутную эпоху безвременья, не заглянув в глубины своего сердца?

В степи, окутанной кромешной тьмой, один боролся я против тысяч, упрямо держа свой малый светильник в слабой руке. Прочитав строки, мною написанные, поймет ли счастливый потомок одинокого искателя путей в бездорожье?»

Много накипело у Абая на сердце, и вот теперь изливает он свое самое заветное, не плача, не скорбя и не ища сожаления, а лишь настойчиво взывая: «Познай меня и пойми!»

Горячее волнение, вихрь мыслей, дотоле неведомых ему, охватил поэта, приведя его в нетерпеливый трепет.

Поспешно войдя в юрту и бросив Айгерим: «Зажги лампу!», Абай достал бумагу и карандаш из резного, инкрустированного костью шкафчика, стоящего в изголовье кровати, и грудью прильнул к большому круглому столу. Заключенный в светлый круг лампы, он торопливой рукой набрасывал на бумаге трепещущие свежие строки. В этот вечер рождались новые стихи вдохновенного мастера, взошедшего на вершину поэтического искусства. Он знакомил будущее с настоящим, словно бы сделал ему легкий знак, издавека кивнув головой.

В глубины сердца своего ты погляди,
О новый человек, идущий впереди.
Я вырос в смуте, в мраке безысходном,
Один боролся я, меня не осуди...
За мною не идут, страшась стези моей.
Не прерывай мой сон, пойми и пожалей!

Так своим стихотворением «Если умру я...» Абай впервые заговорил о смерти, обращаясь к человеку будущего и раскрывая свои сокровенные думы о бессмертии. Это не были сетования печального старика, стоящего у отверстой могилы. Это были стихи о жизни, рожденные для жизни, слова о смерти, идущие от сердца, трепетно верящего в свое бессмертие в грядущих народах и временах...

Дописав последнюю строфу, Абай взял в руки домбру и заиграл веселый, задорный кюй. Облегчив душу

в поэтических строках, он всецело обратился к милым радостям домашней жизни. Айгерим, заметившая, как посветлело его лицо, взглядом сделала знак Злихе, которая живо втащила большой кипящий желтый самовар, уже давно подогревавшийся у земляного очага на улице горячими таволожными угольками.

Только что начали разливать чай, как пришел Кишкене-мулла, возвратившийся из города. Магаш и Какитай, которые были в Семипалатинске, прислали с ним спешное письмо Абаю. Они передавали ему привет от Павлова и советовали, не мешкая, ехать в город. «Именитые», «знатные», «мудрые» люди из крупных родов, считающихся «лучшими» и «старейшими», белобородые и чернобородые, вот уже несколько дней, как съехались в Семипалатинск на особое совещание. Во главе его стояли умудренные опытом старейшины из родов Аргын и Каракесек. Они имели вес и в городе и в степи, пользовались влиянием на многие роды. От степных кереев приехал маститый старец Бегеш, от низинных кереев — ловкий делец Рагыш.

Были здесь и прославленные мужи из родов Найман — Матай и Сыбан. Среди них родственник хаджи Серикпая Жумакан. От соседних с Тобыкты, ближних сыбанов прибыли Камбар и Каблан, от Кызылмолинских уаков, матаев и буры — Казангап и Канкожа. От уаков Кокена и Семейтау приехали такие ловкие краснобаи, как Серке, а от бельгагачских равнинных казахов — Айтказы. Все эти люди собрались по особому сговору с родственником Уразбая, городским торговцем Сейсеке, в доме которого они уже не раз совещались.

Чтобы завершить свои переговоры общим решением, все это множество влиятельных людей из ближних и дальних родов пригласило в гости в двухэтажный особняк хаджи Блеубая родственников Абая, оказавшихся в это время в городе. Во всех четырех просторных комнатах второго этажа, предназначенных для приема гостей, были разостланы огромные, во всю комнату, скатерти — дастарханы. Вокруг широких скатертей лежало множество одеял и пуховых подушек — видно было, что сбор предполагается большой. В каждой комнате стояли до краев налитые кумысом огромные желтые

сплошная загадка для человека будущего. Поймет ли он меня, выросшего в смутную эпоху безвременья, не заглянув в глубины своего сердца?

В степи, окутанной кромешной тьмой, один боролся я против тысяч, упрямо держа свой малый светильник в слабой руке. Прочитав строки, мною написанные, поймет ли счастливый потомок одинокого искателя путей в бездорожье?»

Много накипело у Абая на сердце, и вот теперь изливает он свое самое заветное, не плача, не скорбя и не ища сожаления, а лишь настойчиво взывая: «Познай меня и пойми!»

Горячее волнение, вихрь мыслей, дотоле неведомых ему, охватил поэта, приведя его в нетерпеливый трепет.

Поспешно войдя в юрту и бросив Айгерим: «Зажги лампу!», Абай достал бумагу и карандаш из резного, инкрустированного костью шкафчика, стоящего в изголовье кровати, и грудью прильнул к большому круглому столу. Заключенный в светлый круг лампы, он торопливой рукой набрасывал на бумаге трепещущие свежие строки. В этот вечер рождались новые стихи вдохновенного мастера, взошедшего на вершину поэтического искусства. Он знакомил будущее с настоящим, словно бы сделал ему легкий знак, издали кивнув головой.

В глубины сердца своего ты погляди,
О новый человек, идущий впереди.
Я вырос в смуте, в мраке безысходном,
Один боролся я, меня не осуди...
За мною не идут, страшась стези моей.
Не прерывай мой сон, пойми и пожалей!

Так своим стихотворением «Если умру я...» Абай впервые заговорил о смерти, обращаясь к человеку будущего и раскрывая свои сокровенные думы о бессмертии. Это не были сетования печального старика, стоящего у отверстой могилы. Это были стихи о жизни, рожденные для жизни, слова о смерти, идущие от сердца, трепетно верящего в свое бессмертие в грядущих народах и временах...

Дописав последнюю строфу, Абай взял в руки домбру и заиграл веселый, задорный кюй. Облегчив душу

в поэтических строках, он всецело обратился к милым радостям домашней жизни. Айгерим, заметившая, как посветлело его лицо, взглядом сделала знак Злихе, которая живо втащила большой кипящий желтый самовар, уже давно подогревавшийся у земляного очага на улице горячими таволожными угольками.

Только что начали разливать чай, как пришел Кишкене-мулла, возвратившийся из города. Магаш и Какитай, которые были в Семипалатинске, прислали с ним спешное письмо Абаю. Они передавали ему привет от Павлова и советовали, не мешкая, ехать в город. «Именитые», «знатные», «мудрые» люди из крупных родов, считающихся «лучшими» и «старейшими», белобородые и чернобородые, вот уже несколько дней, как съехались в Семипалатинск на особое совещание. Во главе его стояли умудренные опытом старейшины из родов Аргын и Каракесек. Они имели вес и в городе и в степи, пользовались влиянием на многие роды. От степных кереев приехал маститый старец Бегеш, от низинных кереев — ловкий делец Рагыш.

Были здесь и прославленные мужи из родов Найман — Матай и Сыбан. Среди них родственник хаджи Серикпая Жумакан. От соседних с Тобыкты, ближних сыбанов прибыли Камбар и Каблан, от Кызылмолинских уаков, матаев и буры — Казангап и Канкожа. От уаков Кокена и Семейтау приехали такие ловкие краснобаи, как Серке, а от бельгагачских равнинных казахов — Айтказы. Все эти люди собрались по особому сговору с родственником Уразбая, городским торговцем Сейсеке, в доме которого они уже не раз совещались.

Чтобы завершить свои переговоры общим решением, все это множество влиятельных людей из ближних и дальних родов пригласило в гости в двухэтажный особняк хаджи Блеубая родственников Абая, оказавшихся в это время в городе. Во всех четырех просторных комнатах второго этажа, предназначенных для приема гостей, были разостланы огромные, во всю комнату, скатерти — дастарханы. Вокруг широких скатертей лежало множество одеял и пуховых подушек — видно было, что сбор предполагается большой. В каждой комнате стояли до краев налитые кумысом огромные желтые

— За то, что восхваляешь моего врага!

— А кто же он, враг ваш?

— Как будто не знаешь! А сам по его наущению слова его ко мне принес!

— А-а, ты говоришь об Абае?

— Да, об Абае говорю, о бесчестном человеке я говорю, о нем, о смутьяне, говорю!

Сеит был так взбешен, что теперь шел напролом.

— Конечно, если вас послушать, так кроме ругани ничего не услышишь! Только мы считаем, что такие баи, как вы, недостойны стать даже жертвенной овцой за него!— Он кивнул Айсе и решительно зашагал прочь.

— Держите его!— завопил Уразбай.— Кидайте его в колодец!

Кийкым, подхватив на лету приказание своего бая, устремился в погоню; за ним, держа плетку наготове, ринулся, было, и сам Уразбай.

— Догоняйте! Налетайте!— хрипел он.

Бедняки, хотя и знали Сеита только со вчерашнего дня, не тронулись с места, наблюдая, как Кийкым с двумя такими же, как он сам, головорезами, с криками «стой!» нагоняет Сеита.

Сеит круто повернулся к нему, гневно глянул налитыми кровью глазами и, яростно молвив, «П-шел с глаз долой! Морду разобью»,— продолжал свой путь.

Пастухи молча уставились на повернувшего назад и бесновавшегося теперь перед ними Уразбая: «Что же вы стоите! Бегите! Хватайте его, волоките сюда!». Двое-трое пожилых мужчин, одетые в рваные чапаны, попробовали было урезонить бая: «Полно вам, успокойтесь! На что он вам? Ведь он гость!» Но Уразбай, проехавшись плеткой по головам непрошенных заступников, загорланил еще громче, угрожая Сеиту неслыханной карой:

— Будь я неверный гяур, коли не вобью его живым в землю!

И, пришпорив своего Акбозата, поскакал прочь, вопя: «Все сюда! На коней! На коней!»

Не успел Сеит, добравшись до дома Айсы, поймать свою лошадь, как банда в двадцать-тридцать разъярен-

ных конных джигитов, вооруженных соилами, чоппарами, арканами и недоуздками, нагрянула на бедняцкий аул. Они избили Айсу, который попробовал было заступиться за гостя, окружили Сеита и, навалившись на него всем скопом, уволокли с собой. Уразбай неистовствовал с пеной у рта, словно шаман, одержимый бесами. Он велел своим людям рыть глубокую яму в степи за аулом. Когда палачи подвели к ней Сеита, Уразбай отдал неслыханное, чудовищное приказание:

— Говорил я, что покараю его, так и будет. Я обещал вбить в землю этого зарвавшегося голодранца, вот и кидайте его в могилу! Живым закопаю, в землю втопчу!

Заставив своих приспешников скрутить Сеиту руки волосяной веревкой и бросить его в глубокую яму, Уразбай сам первый начал забрасывать его землей. Вскоре на поверхности чуть возвышалась только его голова с запрокинутым бледным лицом, которое оставили открытым, чтобы он не задохнулся сразу.

Это было слишком даже для таких разбойников, как Кийкым, которые из буйного озорства охотно шли на барымту и набеги, не один раз полосовали людей кнутами, в драках разбивали головы и ломали кости. Теперь им стало не по себе от никогда не виданной страшной казни, которую они совершили своими руками. Отважный парень Сеит, в полдень зарытый в землю, до самой ночи безмолвно у всех на глазах терпел нечеловеческую муку.

Уразбай задумал свое черное дело отнюдь не тогда, когда увидал Сеита у колодца. Он знал, что эл уже два дня пришелец гостил в доме бедняка Айсы, утренняя и восхищая слушателей стихами и песнями Абаэ. За одно только это решил Уразбай поймать Сеита, затащить к себе и, примерно так-то, вытолкнуть в шею. «Вышвырну его из своего аула!», «Не могу я терпеть лай абаевской собачонки около своего двора!», «Изобью, как собаку, я выгоню бродягу вон!»

Почетные старяки, сидевшие с Уразбаем за столом, уговаривали: «Ну что ты будешь тагаться с таким-то бобылем, у которого нет ни веса, ни силы, с ка-

чаны, так называемые, «тай жузген», в которых «жеребенок может плавать». Отсюда, беспрестанно взбалтывая, черпали кумыс для многочисленных гостей. Расписные деревянные чашки, тостаганы беспрерывно ходили вкруговую, то наполняясь, то опорожняясь. Сваренная в больших казанах, жирная парная баранина подавалась на больших глубоких блюдах. Магаш, как сын Абая, а Какитай, как его племянник, были посажены на почетное место в самой обширной из всех четырех комнат вместе с тридцатью — сорока наиболее знатными гостями. Тут же, на почетном месте, оказались и Шубар с Азимбаем, видно, хорошо осведомленные обо всем происходящем.

Магаш и Какитай, наоборот, долго не понимали цели этого сборища. Уже гости попили кумыса, поели мяса, принимались за плов и вишневый сок, когда сидевшие поблизости прославленные краснобаи из уаков и кереев, начали, наконец, долгожданный разговор.

Вскоре, несмотря на густой туман их многословия, стало ясно, что речь идет о тяжелой обиде, нанесенной Абаю в прошлом году.

Рассыпая бисер витиеватых красных слов, непривычных Магашу и Какитаю, первым начал Бегеш:

— Об Абае, благородном, досточтимом Абае-ага мое слово. Абаю вы — дети, нам — младшие братья, потому-то вам, здесь сидящим, и хотим мы предложить общее наше решение, светики наши! Через вас мы Абаю-мирзе наш привет посылаем.

Кто же мы такие, спросите вы? Посмотрите, окиньте взором вокруг. Здесь — лучшие люди каракесеков из старшего рода Аргын; тут и сыны кереев, равнины и горы населяющих, с ними вместе почетные граждане верхнего и нижнего Наймана. Рядом с вами сидит достославный Серке. А собрал нас к святой трапезе этой почтенный хаджи Блеубай. Так кто же такие мы? Если внимательным оком на нас, здесь сидящих, посмотрите, — «вот казахи», — скажете вы. Здесь всех четырех арысов — родов дети, все четыре столпа Среднего Джуза представляющие, — вот кто такие мы! — объяснил Бегеш, и пустился дальше по волнам красноречия.

— А кто же такой Абай? Разве он принадлежит только племени Тобыкты? Нет, он общий наш, всех своих соперников опережающий, Среднего Джуза непобедимый скакун! — Бегеш снова принялся восхвалять Абая и снова задал себе вопрос — «кто же он такой?» — и снова тут же сам на него отвечал речитативом:

— Лучший из лучших среди людей, как кудрявый нар с бубенцом среди верблюжьего стада, как весенний дождь, тучные пастбища животворящий.

Слова его подхватил Серке и стал в свою очередь сыпать хвалы Абаю:

— Язык его языку соловья подобен; ноги его крылатому коню Дуль-Дулю под стать! — Только теперь начал он издаലെка, многозначительными намеками подбираться к цели совещания.

— Успокоение кочевья — на зеленых лугах, успокоение раздора — в справедливом суде... «Если золото кинешь в огонь, — не сделается оно медью, если парчу порвешь на портянки — не станет она холстом». А мы не собираемся здесь умалять великие достоинства Абая, — заключил он.

Тогда Айтказы от лица своих многочисленных сородичей заявил, что если даже Абай и претерпел унижение, то он все равно остался заступником народа своего. Путь лучшего из людей, печальника о доле народной легким не бывает. И тут сквозь традиционную пышность речей Айтказы глянула острая, никем еще здесь не высказанная мысль. Он напомнил, что путь этот долог и труден, а в ответе за него сам народ.

— Недаром говорят: «Иди через огонь да через воду — другого к цели нету ходу». Вот так и Абай за народ в огонь и в воду бросался. Не за себя он страдает, за народ терпит.

После того, как высказались по одному человеку представители всех родов, снова заговорил Бегеш, возвращаясь к тому же, с чего и начал:

— Хоть ты, светик мой Магаш, годами молод, но ведь говорится, однако: «Молодость — пламя, а старость — пепел». Молодежь в самом жестоком бою не растеряется, из любого положения выход найдет. Хоть

мы, старики, и видали виды на своем веку, но против молодой силы не выстоим, поперек юному сердцу не пойдём. На тебя мы возлагаем большие надежды и вот о чем тебе поведать хотим: нам теперь с людьми из Старшего и Младшего Джузов стыдно встречаться из-за кровной той обиды, какую незаслуженно претерпел Абай. Как мы можем смотреть чужим людям в глаза, когда единственному нашему, лучшему из лучших — Абаю — нанесена такая тяжкая рана?

Пусть Абай-мирза примет наше слово, наше послание! Есть у нас сила и есть у нас воля, чтобы укротить обидчиков. Виновника на колени перед ним поставим. Буяна исправим, на истинный путь наставим. Заручитесь только его согласием, пусть нам позволит стать заступниками и ходатаями за него.

Мирза-Магаш, Какитай, Шубар, Азимбай! К вам обращается все наше собрание. Мы вам высказали все, дело за вами. Когда захотите ответить, — сегодня или завтра, сообщите слово ваше любому из здесь собравшихся, — завершил Бегеш.

Магаш и Какитай не торопились с ответом. Шубар и Азимбай прислушивались к каждому слову ораторов, разинув рот и вытянув шею. Они готовы были тут же согласиться на все, что им предложат. Но взоры присутствующих были обращены на сына Абая, Магаша, решительного ответа ждали от него. А он нимало не расчувствовался от замысловатых речей степных говорунов и вовсе не был убежден шумными потоками красивых слов, извергавшихся из их уст. Прослушав многословные выступления записных краснобаев с холодным, замкнутым лицом, он в душе расценил их по достоинству и ответил коротко и ясно: хотя слова присутствующих и были как будто бы обращены к нему, Магашу, но на самом деле относятся они к самому Абаю. А Магаш не привык распоряжаться за отца. Поэтому он не может сказать каков будет ответ Абая, если он вообще пожелает ответить.

— О намерениях ваших мы слышали. Наш долг сообщить об этом отцу, а затем передать сбору ответ того, к кому обращены сегодня ваши речи, — сказал Магаш. Больше он не добавил ничего и Шубару, ко-

торый рвался вставить свое словечко, так же не позволил говорить. Со сбора все четыре внука Кунанбая возвращались вместе, в одной тележке. Шубар всю дорогу старался умаслить сумрачного Магаша.

— Ну и мастера они говорить, эти маститые старцы! — восклицал он. — Ни от кого мы таких слов замечательных раньше не слышали! Один другого красноречивей!

И Азимбай поддакивал Шубару:

— Действительно, таких речистых людей я нигде больше не видел! Плетут слова, что узоры на ковре!

А Магаш посмеивался над обоими:

— Нашли речистых! Вот уж верно сказано: «Иные бии-пустозвоны налегают на поговорки да прибаутки» — больше-то им нечего сказать!

Какитай весело расхохотался. Он был целиком согласен с Магашем, но сам Магаш потускнел. Он внутренне досадовал на двоюродных братьев. Ведь они знали в чем дело и все-таки ничего не сказали, ведя его с Какитаем на сбор. И Магаш напомнил Шубару строки известного стихотворения Абая: «Не стану, как старые бии, пустые пословицы сыпать, не стану, как ваши акыны, песней лгать за дары».

— Видно ты, Шубар, забыл эти слова! А напрасно: ты акын, они бы тебегодились, помогли бы избавиться и от твоих собственных ошибок!

— Что ты плетешь? О каких это моих ошибках ты говоришь, а, Магаш? — трусливо забормотал Шубар, наседавая на Магаша. — Разве я кому-нибудь лгал?

— Да будет тебе прикидываться! — оборвал его Магаш. — Хоть бы ты одним словечком обмолвился, ведя меня на этот сбор, что собираешься лечить отца фальшивыми речами этих пустобрехов!

И он, с досадой отвернувшись от Шубара, замолчал.

Вот обо всех этих хлопотах родичей и писали Абаю сын и племянник, спрашивая, может быть, стоит ему самому приехать в город.

Приехав в Семипалатинск и выслушав подробный рассказ Магаша и Какитая обо всем происходящем, Абай ни одним словом не обмолвился о своем решении

и не дал никому никакого ответа. Даже Магаш не знал, что у отца на душе, и все оставалось по-прежнему. Зато Абай с распростертыми объятиями встретил Федора Ивановича Павлова, так же соскучившегося по другу и с нетерпением ожидавшего встречи. Ведь они не видались более года. Павлов много размышлял над тем, выстоит Абай, окруженный ненавистью степных воротил, или будет окончательно сломлен горем и обидой. Чтобы узнать об Аббае, Павлов звал к себе Магаша и подолгу расспрашивал об отце. И к письму, которое Магаш с Какитаем посылали в аул, Федор Иванович приписал свой привет: «Хорошо было бы в самом деле, если бы Вы приехали в город!»

После первых горячих рукопожатий и беспорядочных восклицаний Павлов, всмотревшись в лицо Абая, отметил, что виски его засеребрились сединой, а темные искрящиеся глаза были окружены частой сетью морщинок.

— Ну как, Ибрагим Кунанбаевич! Как поживаете, настроение? — заботливо спросил он.

Абай с глубоким чувством признательности заглянул в синие глаза друга. Только ему мог он доверить свою тайную боль.

— Что сказать вам о жизни, Федор Иванович? Жизнь с ее днями и ночами — это полосатая змея, обвивающая человека. Она только и знает, что жалить его да бить. Это и есть бытие, по крайней мере то, какое я знаю! — образно мысля по-казахски, Абай затруднялся, высказываясь перед Павловым на русском языке. Абай досадовал на себя, смущался и запинаясь, широкое течение его мысли прерывалось, и он с горечью усмехался своему бессилию. Но образ, созданный поэтом и одушевленный его неподдельным чувством, дошел до глубины сердца Павлова.

— Да, да, вот как! — говорил он, кивая головой, подбадривая друга улыбкой и думая про себя: «Какое дарование у Ибрагима Кунанбаевича! Настоящий философ и большой поэт!»

И все же Павлов заспорил:

— Конечно, Ибрагим Кунанбаевич, жизнь нередко

бывает довольно мерзкой штукой! Но не всегда и не везде, не будем к ней несправедливы!

— Вы, вероятно, правы, — быстро ответил Абай, — но я-то говорил только о той жизни, какую я сам живу!

— И все же безнадежность не пристала поэту. Ведь ему надо писать, передавать свои мысли другим!

— А для кого писать поэту? Кому нужны мои мысли, как, зачем, для кого я должен писать?

— Вы спрашиваете, как и зачем? Да затем, что вы поэт и учитель всем своим существом. Ваша мысль как бы произвольно облекается в образ, как, например, те мудрые слова о жизни, которые вы мне только что сказали. Хотите вы или не хотите, а образы рождаются у вас постоянно. Значит, и писать вы должны постоянно, всегда!

— Ну, хорошо, а для кого, кому я должен посвящать это свое писание?

— А я и об этом скажу! Посвящайте его меньшинству нашего дня и большинству завтрашнего! — весело воскликнул Павлов. Абай посмотрел на друга с живым интересом. Веские и убедительные слова Павлова заставили его задуматься. А дальнейшая их беседа показала, что Павлов давно уже наблюдает за творчеством Абая и много думает о нем.

Федор Иванович часто бывал у грузчиков Затона и рабочих шерстомойки. Он был своим человеком и на овчинном и на кожевенном заводах, встречался с паромщиками, с лодочниками. Он познакомился и с жатаками Озерке, Секленке, с жатаками Жоламана, казахской беднотой, живущей на берегу ниже лодочной переправы. Павлов, куда лучше, чем местные казахистарожила знал обитателей шалашей, лачуг и землянок: дровосеков, пастухов, косарей — многочисленный трудовой люд пригородов и окраин. Рассказывая о них Абаю, он называл их по именам, и Абай, узнавая своих знакомых, переполнялся чувством радостной признательности к другу. А Павлов все рассказывал и рассказывал о том, как побывал на шерстомойке в районе лодочной переправы, спустившись к ней со стороны Жоламановского аула. Говорил он и о том,

как сходиллся с людьми из Байгели-Шогала, Кенжебая, Коп-Тарактов, Жалпака, как обходил пригородные поселки с охотничьим ружьем за плечами и куцей собакой на сворке, чтобы не привлекать к себе особого внимания. По праздникам он частенько брал с собой Сеита и Абена или лодочника Сеиля. И там, где жили казахи, проводившие свой век не в праздной болтовне, а в тяжелом труде, стихи и песни Абая были необходимы, как хлеб и как соль. Его песни знали, понимали и любили.

Вот о чем Павлов с прошлого года собирался обстоятельно рассказать Абаю. А уж со времени событий в Кошбике Абай стал для рабочего люда самым близким, дорогим человеком. Когда в какой-нибудь дом приходили Павлов с Сеитом, туда буквально днем и ночью валил народ, чтобы послушать рассказы мужественного джигита, песни и стихи Абая, которые он исполнял охотно, талантливо, с огоньком. Павлов встречал много молодежи, подростков, даже детей, которые наперебой старались перенять у Сеита абаевские песни. Среди девушек и молодых находились настоящие искусницы, которые великолепно пели и читали его стихи.

Павлов считал, что Абаю надо непременно знать о том, как любят его стихи в народе. Ведь Павлов — русский, и его слова — это как бы наблюдение очевидца со стороны. Он ничего не выдумывает, не льстит поэту, а просто рассказывает о том, что видел своими глазами.

Признательный за этот неожиданный дружеский дар, Абай жадно внимал каждому слову Федора Ивановича. А тот говорил теперь о новом поколении казахской молодежи, учениках русских школ и школ-интернатов, имеющих по обе стороны Иртыша. Ведь летом они ездят на побывку в свои аулы, а на зиму возвращаются в город. Это молодежь, тесно связанная с народом. Надо серьезно подумать о них, ведь Абай своими песнями и стихами участвует в их воспитании.

Так постепенно раскрывал Павлов перед Абаем глубокий смысл дела всей его жизни, от которой он, ка-

залось, уже готов был отвернуться. И Абай слушал, затаив дыхание, чувствуя, как согревается его застывшее в невзгодах сердце.

В начале этой беседы, которая длилась до глубокой ночи, Павлов говорил Абаю о людях будущего, и теперь поэт расспрашивал друга о светлых днях грядущего.

— Скажите, а каково оно, это будущее? Вот мы говорим, что оно принесет людям добро. Так когда же, когда же оно придет? Долго ли нам еще ждать? — Этот вопрос в последнее время неотступно преследовал Абая. На этот раз Павлов отвечал гораздо более прямо и определенно, чем прежде.

— Во-первых, Ибрагим Кунанбаевич, это будущее, о котором мы с вами так много говорили, безусловно придет. Если предшествующие поколения могли только верить в него и мечтать о нем, то мы уже можем надеяться его увидеть сами, вот этими глазами, Ибрагим Кунанбаевич!

— Но когда, когда? — настойчиво вопрошал поэт.

— Ну, время-то определить трудно! — заметил Федор Иванович и прочел стихотворение Пушкина «Послание в Сибирь», написанное десятки лет назад, но уже проникнутое твердой верой в неизбежность прихода новых времен. А потом рассказал о вещих словах Белинского, ведь он уже в сороковых годах высказывал свою веру в счастливую жизнь потомства, которая наступит через сто лет. И вот уже прошло пятьдесят, мы стоим у порога нового века и представляем себе этот счастливый день еще более ясным и близким. Сейчас мы можем своими руками приблизить его, и мы работаем во имя этого упорно и много. А раз так — то вот оно, новое время, стучится к нам в дверь! — горячо заключил Павлов.

— А что же произойдет? Как мы узнаем его приход? — упорно выпрашивал Абай.

И Павлов, понизив голос, доверил ему свою тайную, но совершенно отчетливую мысль:

— Главное, чем будет отмечено наступление новой эпохи, это — крушение царизма. Когда царь лишится трона и власти, — вот отсюда и ведите счет! Все

восемь сенатов, как именуют казахи министерства, все генерал-губернаторы, вся власть, вплоть до уездных и волостных управителей — рухнет, развеется в прах. Будет установлен новый порядок, новый образ правления, соответствующий нуждам и чаяниям народным. Вот все, что я могу сказать вам о будущем сегодня. И вы не думайте, что об этом говорю только я, некий мечтатель-утопист Павлов. Обо всем этом уже много говорится и пишется. Эти слова давно уже стали боевым знаменем, под которым борется множество героев. Это клич нового общества. Верьте мне, оно победит!

И окрыленный словами друга, стремясь до осязаемости почувствовать и, как бы воочию увидеть распахнувшийся перед ним ослепительный простор, воскликнул поэт:

— Но хоть дети-то наши доживут до лучезарного этого времени?

И Павлов ответил:

— Доживут. Верьте мне. Они будут жить в обновленном мире!

Драгоценная эта встреча согрела животворным теплом печальное сердце Абая, озарила радостью его взор, уже давно затуманенный скорбью. Он приказал принести обильное угощение, потчевал дорогого гостя и сам с наслаждением пил вино, которого давно уже не касался.

За столом Абай читал Павлову новые стихи, написанные в последние годы, а переводы свои из Лермонтова, Байрона, Гёте спел под домбру на собственные, им самим сочиненные мотивы.

Поздно ночью, когда все кругом уже спали, Абай вышел проводить Павлова на тихую темную улицу. Подсаживая его в свой тарантас, поэт пообещал на этот раз не торопиться с возвращением в аул и часто встречаться с другом. Абай твердо решил поближе познакомиться с городским рабочим людом, походить по домам предместий, а так же покорооче сойтись с учащейся казахской молодежью. Так сердцем и сознанием глубоко и жадно впитывал Абай советы Федора Ивановича.

В один из ближайших дней наступил черед и того дела, ради которого Абая вызвали в город. Рассказы Какитая о подробностях блеубаевского сбора, о достойном ответе Магаша старейшинам и о его иронических замечаниях Шубару и Азимбаю так же принесли Абаю чувство глубокого удовлетворения. Магаш оказался человеком не только с характером, но и с высокоразвитым сознанием собственного достоинства, осмотрительным и разумным. И хотя ему не удалось закончить образование, в нем угадывались черты новой культуры. Он был достоин того общества передовых людей, за которое ему предстоит бороться и в котором, может быть, — теперь Абай трепетно надеялся на это — доведется Магашу жить.

Но хотя исстрадавшаяся душа Абая постепенно оживала и крепла, он все еще не в силах был ни слушать, ни говорить о недавнем сборе старейшин и обо всех произнесенных на нем никчемных словах.

Истомившиеся ожиданием, Бегеш и Серке подсылали к Магашу и Какитаю своего человека, чтобы разузнать о решении Абая, но и на этот раз Магаш отделался коротким уклончивым ответом: «Отец, как вам известно, приехал в город. Нам он своих соображений не сообщал. Если аксакалы желают получить ответ, пусть благоволят обратиться к нему самому». Тем самым Магаш освобождал и себя и Какитая от всякого дальнейшего посредничества, толков и пересудов.

На другой день к Абаю явилось несколько почтенных старейшин, якобы, для того, чтобы просто повидаться, засвидетельствовать свое уважение — «отдать салем». Это были: Бегеш из кереев, Серке из уаков, Камбар из найманов и сыбанов, Кали из каракесеков, — словом, специально прибывшие от лица сбора представители всех «четырех арысов», столпов Среднего Джужа. Вместе с ними явился и Айтказы, слывающий за одного из самых изворотливых людей, так называемого, «внутреннего лесного района». Его прихватили с собой главным образом потому, что он был хорошо знаком с Абаем, частенько бывал у него в гостях.

И здесь первое слово принадлежало Бегешу. Как всегда, начиная издалека и лишь постепенно, околь-

ными путями приближаясь к цели, Бегеш, рисуясь перед Абаем, дал волю своему красноречию. Первым делом он вспомнил о том, что Абай человек высокообразованный и во всех отношениях выдающийся. К этому он присовокупил, что «наука — основа счастья, а счастье без науки — избранных доля», и пошел и пошел вышивать словесные узоры!

— Что же будет,— страшно подумать! — если такой высокообразованный человек, как Абай, изменит своему благородному делу народного водителя по путям истины и добра?! Что же сможет обрести невежественный народ, покинутый учителем своим? И что вообще такое народ? Народ тогда лишь может называться народом, когда во главе толпы стоят достойные люди. Народ же, лишенный водителя, лишается и достоинства своего. Он станет изменчивым, как мираж, будет таять, как снег, распадется и рассеется в прах. А разве люди, достойные идти во главе кочевья, рождаются каждый день? Разве они встречаются на каждом шагу? Много есть среди нас людей, языком луну достающих, а руками и тушканчика не способных поймать! — так закончил Бегеш, стремясь задеть самолюбие Абая, зацепить его за живое.

Отдавая должное красноречию Бегеша, Абай коротко высказал ему горькую правду, как бы пародируя вычурными словами пышную речь аксакала.

— Эх, Бегеш! Если даже и правда все то, что ты сейчас говоришь, то есть ведь и горшая забота у моего несчастного сердца. А что ты ответишь, если скажут тебе: лучше быть соломой пшеницы, чем зерном овсюка; лучше быть последним среди добрых людей, чем первым среди негодяев!

Бегеш слушал поэта, раскрыв рот в растерянности. И тогда в беседу вступил Айтказы. Он напомнил слова самого Абая:

И жизни будешь ты не рад,
Коль ты не глуп, не пьян.

Чтобы доказать, что он не зря слушал стихи и прозу Абая, Айтказы поговорил о том, сколько печали уготовано в сегодняшней нашей жизни порядочному че-

ловеку. Отсюда он ловко повернул речь к тому, что пусть народ наш и плох, однако, он ведь свой; пусть темная наша среда, но она ведь своя. Если же человек мудрый и хороший не будет прощать народу своему, на чем тогда свету стоять? А в заключение он сказал:

— Я прилежно изучал ваши назидания, Абай-ага! Кажется, есть у вас и такое изречение: «Отвечать добром на добро сумеет каждый, но отвечать добром на зло способен только мужественный человек». Так вот к вам, как к мужественному человеку, и пришел ваш народ!

Айтказы действительно почттал Абая, как человека мудрого, красноречивого, вообще необыкновенного. И, обдумывая свой ответ, Абай испытующе глянул в его умные, светло-карие глаза. Человек небольшого роста, с широким круглым лицом и высоким значительным лбом, Айтказы скорее нравился Абаю, но сейчас было не время для искренних чувств и откровенных излияний.

— Уразбай не тот человек, которому можно простить, — сказал Абай. — Что там ни говори, но никто из присутствующих не знает Уразбая так, как знает его Абай. Это не простак, который случайно оступился или заблудился ненароком. Это человек, возведший свой безобразный произвол в незыблемый закон. Не Уразбай, а злодей — его имя, — и, кончая краткое свое слово, Абай всем своим тучным телом, всею широкою грудью повернулся к Айтказы. — А в ответ на то изречение, что ты напомнил сейчас, уместно было бы привести другое: «Доброе слово о плохом человеке подобно клятве, написанной на воде», — заключил он, невольно восхищая сидящих перед ним знатоков и ценителей красного слова внезапным блеском своего остроумия.

Серке всегда любил слушать Абая. А с тех пор, как на прошлогоднем Аркатском чрезвычайном съезде Абай поверг в прах перед его родными уаками знатных заправил своего рода, Серке в глаза и за глаза расхваливал поэта. Теперь он приветствовал меткий удар Абая веселым смехом, с восхищением думая про себя: «Придешь к Абаю — всегда душу насытишь, идешь домой с драгоценным его словом». И он от чистого сердца воскликнул:

— Если кто из казахов и достоин имени могучего дерева, благодатную тень народу дающего, то только вы! Чего стоит весь наш Средний Джуз, если вас, единственного, мы убересть не сможем. Вот потому-то и пришли мы сюда, чтобы стать щитом вашим!

Но Абай не был падох на похвалы.

— Достоинство только тогда достоинство, когда его свято оберегают. Но подумайте, что от него останется, если его ногами топтать, смешивать с грязью, убивать унижением! — и Абай подкрепил свои слова изречением достославного Саади: — «Легко разбить рубин Бадахшана, но попробуй воссоединить его из осколков!»

Давний знакомец и сотрапезник Абая, городской казах из каракесеков Кали, которого горожане почитали, как человека, умудренного жизнью, быстро выставил против мудрых слов Саади изречение другого восточного классика:

— «Не трогай муравья, зерно на себе несущего, ведь он борется за жизнь. А жизнь так прекрасна!» Вы, наверное, помните, Абай-мирза, что так говорил Фирдоуси? Вот я и хочу заступиться за вас, как за муравья, несущего на себе зерно для своего народа. Кажется, укорять меня тут не за что? Ведь родичи ваши приехали сюда не ради потехи. Слов на свете много, можно говорить без конца. Однако же, я надеюсь, мы не собираемся доказывать, что «уста — ворота, а слова — ветер». Если хватит у нас ума-разума и силы-умения, рассудим обе стороны, установим, кто прав, кто виноват, и приведем добро и зло в соответствие друг с другом. Попробуем, собравшись вместе, как представители Среднего Джуза, испытать свое собственное достоинство, как достоинство самого народа. Вот в чем вся соль наших разговоров! — сказал он с легкой досадой, и его слова показались Абаю более убедительными, чем пространные рассуждения всех остальных. Хотя Абай отнюдь не заблуждался относительно искренности всех этих речей и полезности затеваемых сородичами дел, он больше не спорил. Как бы признавая слова Кали за окончательное решение, Абай умолк и, в упор глядя на оратора, утвердительно кивал головой.

А тем временем домашние Куманша уже накрыли стол и на широкую скатерть посыпались сдобные буурсаки. Принесли румяные пышки, намазанные разбитым желтком, и блестящий никелированный самовар. Усталые от длинных словопрений, гости с наслаждением принялись за горячий ароматный чай.

Хотя Абай и вертел в руках шалу, но он не пил чая и не коснулся угощения, стоящего на столе. Приметивший это Бегеш пододвинул к нему блюдо с пышками.

— Что же вы ничего не кушаете, Абай-мирза? Отведайте хоть пышек. Недаром ведь говорится, что хлеб — это божья благодать! — любезно пошутил он.

Абай улыбнулся и тут же блеснул снова его разительный смех. Всколыхнувшись всем своим грузным телом, он заметил:

— Ты говоришь, Бегеш, что хлеб — это божья благодать. Вот что значит «много неслыханного тобою у народа на устах. Много среди сартов ездящих на ишаках!» Если хлеб — божья благодать, стало быть, чем больше хлеба, тем больше божьей благодати? Значит эта божья благодать, о которой так пекутся правоверные мусульмане, находится у горемычных русских мужиков?! — При этих неожиданных его словах все старейшины, во главе с самим Бегешем, залились неуправляемым смехом.

Перед тем, как расстаться, Абай спросил у Бегеша, кто же именно примет участие в посредничестве? Ему назвали многих людей из аргынов, найманов, керсев, уаков, представляющих пресловутые четыре столпа Среднего Джуза и, в первую очередь, всех участников сбора в доме хаджи Блеубая. Узнав, что от равнинных кереев на сборе присутствовал Рагыш, Абай бросил еще одно крылатое слово, приведшее в восторг «мастеров степного красноречия».

— Так, так, и Рагыш, оказывается, с вами! Вчера он, говоря: «Ибрай враг народа», лебезил перед Уразбаем, говоря: «Абай враг начальства», науськивал на меня уездного и судью. А сегодня этот самый Рагыш грудью стоит за Абая, из кожи лезет вон, чтобы сделать ему добро! А? Каково? Откуда же быть постоян-

ству в мире, если нет постоянства в человеке, миром управляющем? Откуда же тут взяться спокойствию! Поистине, если бы горы Семейтау и Кокен обрели ноги, то и они не устояли бы на этой земле: сорвались бы с места и пошли!

Возбужденный соревнованием с искусными степными ораторами, Абай внезапно ощутил как бы прилив вдохновения, и слова его, рожденные силой поэтического дарования, засверкали острым блеском живой, беспокойной мысли.

После встречи с Абаем его собеседники действовали уже самостоятельно, торопясь закончить начатое дело. Они то встречались в домах баев Жакыпа или Сейсеке, то перебирались на ту сторону Иртыша, чтобы сойтись за обильным дастарханом у одного из тамошних торговцев. Их слова доводились до сына Уразбая, Елеу, приехавшего держать ответ за отца. А другой конец дела тянулся к драчливому Самену, этой черной дубине Уразбая, еще вчера занесенной над головой Абая.

Теперь Абай не хотел больше ничего знать обо всей этой возне, целиком поглощенный знакомством с многообразной жизнью городских казахов. Встретившись на базаре с мелким перекупщиком Еспергеном, Абай побывал в его чистеньком трехкомнатном домике на высоком кирпичном фундаменте, а потом и в домах его товарищей, таких же «алыпсатаров», как и он сам.

К Еспергену Абай отправился вместе с Баймагамбетом. Несмотря на кажущееся благополучие своего хозяина, гости с первых же сказанных с ним слов поняли, что он, как и сотни других мелких торговцев, целиком зависел от богатых баев, вроде Сейсеке, Хасена, Жакыпа или Блеубая-хаджи. У Абая создалось впечатление, что алыпсатары постоянно находились в стесненных обстоятельствах. Об этом говорили и на базарах, и в лавках, и на постоялых дворах, и на лодочной переправе. Особенно круто приходилось им в дни осеннего урожая, которые они на своем жаргоне почему-то называли «иманпос».

Сегодня Абай услышал из уст Еспергена забавную поговорку, сочиненную перекупщиками: «Либо с мира по нитке возьмешь, либо сам по миру пойдешь». И Есперген объяснил, что это значит. Тысячи городских казахов кормились тем, что вели мелочную торговлю с воза в степных аулах. Так как у них не было ничего, кроме единственной лошаденки с телегой, то они шли кланяться к знаменитым баям вроде Сейсеке, а те вели их на ту сторону, к русским купцам Дёрову, Плещееву, Михайлову-Малышеву, либо к татарским богатеям-магазинщикам, как Вали или Исхак. Этим крупным предпринимателям «все банки открыты», у них есть свои солидные счета. Они безжалостно гонят от своих дверей мелких торговцев, приходящих с предложением своих услуг, либо берут их чуть что не задаром в работники. Другое дело, если человек придет с поручителем — казахским баем. Баям и русские и татарские купцы доверяют.

Приведя к магазинщику десять—пятнадцать нищих перекупщиков, вроде Еспергена, Сейсеке, казалось бы, облагодетельствовал их с ног до головы. Ведь каждому из них он дает товаров в кредит на сто, триста, пятьсот, а иногда правда, очень редко, на всю тысячу рублей. Но бай имеет тут свой интерес.

За привод оптовых покупателей в магазин Сейсеке получает скидку на забираемые ими товары по восемь копеек с рубля. А передавая эти же самые товары Еспергену, накидывает ему по двенадцать копеек на рубль. Так бай, за здорово живешь, получает чистого барыша по двадцать копеек с рубля. Одновременно он еще и закабалает перекупщика, вяжет его по рукам и по ногам.

Как он это делает? — А очень просто: дав Еспергену на пятьсот рублей товаров, бай берет с него «белый вексель», то есть чистый вексель с одной только подписью должника. Потом, если Есперген, скажем, не сможет уплатить деньги в срок, Сейсеке начислит ему еще по двадцать копеек, а потом собственноручно припишет еще и штраф, по своему усмотрению, и передаст вексель «латаресу», то есть городскому нотариусу, от одного имени которого трепещут все городские

торговцы и перекупщики, «алыпсатары». В случае невозвращения денег домишко и все имущество Еспергена продадут с молотка.

Мелкий торговец, таким образом, живет по воле бая, как овца на аркане. Двухэтажные, под нарядными зелеными и красными крышами дома богачей, выселились среди низкорослых лачужек жатаков, как гнезда коршуна над птичьим двором. Говоря языком мечети, эти богатые дома расставляли свои сети на целые махалла — приходы — вокруг. Прибрав к своим рукам всю торговлю в городе и степи и ведя ее через своих закабаленных перекупщиков, бай использовали их еще и как приманку для новых жертв.

Караваны, приходящие из степи зимой и летом, естественно, не проезжали мимо относительно просторных домов и дворов таких «приличных» обывателей, как Есперген и ему подобные «алыпсатары». А уж расположившись у Еспергена, они становились в зависимость от своего хозяина, вернее, от бая, которому волей-неволей служил сам Есперген.

Разумеется, бай старался не выпускать из ворот своего клиента, привезенные степняками кожи, кошмы, волос, шерсть, пушнину и живой скот, пригнанный на продажу. Все это скупалось баем при помощи Еспергена, который вынужден был, верой и правдой служить большому дому под железной крышей, всячески надуть, обмеривать и обвешивать своих степных гостей.

А крепкие ворота солидных прославленных баев и правоверных хаджи неизменно оставались наглухо закрытыми. Их почтенные обитатели были выше повседневной низкой суеты торговых дел.

Одетый, как и все городские торговцы, в степенный, длинный черный ламбуковый камзол с короткими рукавами, Есперген по привычке вертел в руках счеты, словно приросшие к его пальцам. Он то бойко отщелкивал на них свои приходы и расходы, то в рассеянности водил по ним рукою.

В промежутке между чаем и поздно приготовленным ужином Есперген успел порассказать своим гостям немало интересного.

Полулежа, облокотившись на две большие подушки,

Абай, захваченный рассказами Еспергена, не сводил с него глаз. Баймагамбет так же внимательно слушал хозяина, сидя, по своему обыкновению, на корточках, изредка отправляя в левую ноздрю щепотку насыбая, причмокивая языком от удивления и изредка потряхивая рыжей бородой.

А Есперген, немало удивляясь, что его пожилые гости знают о торговом мире, в котором он жил, не больше грудных младенцев, выкладывал им всю правду, что называется, до самой подоплеки.

Действительно, Есперген в эти дни висел на волоске, не будучи в силах погасить тысячерублевый вексель, и ему очень хотелось излить свою горечь перед таким добрым и мудрым человеком, как Абай.

— Почему именно сейчас многие горожане оказались в трудном положении? — спрашивал Абай. Вот уже пять—шесть человек жаловались мне: Карипжан, Конырбай, Толепбек, Кайнарбай. Они прямо-таки в смятении. Спрашиваю их: в чем дело? — Говорят: «Ой-бой, иманпос подходит!», «Иманпос жмет!», «В этом году иманпос боком вышел!» И ты говоришь то же самое. Как же это вы все сразу оказались в тисках какого-то «иманпоса?»

Баймагамбет загорелся любопытством:

— Все говорят «иманпос, иманпос»! А что это за слово? Из книги вычитали или казахское какое-нибудь присловье подхватили, какого мы не знаем?

И Есперген объяснил как умел.

— Я же вам говорил, что мы через наших баев берем займы товар у русских купцов. Так он на десять месяцев, или там на год не дается, а дается всего только на восемь месяцев. Если будешь считать с января, то, оказывается, двадцать девятого августа наступает русский праздник: то ли пост, то ли еще что-то в этом роде. Вот это и есть «иманпос»!

Абай рассмеялся, только теперь поняв, что слово «иман» обозначает русское имя «Иван» и речь идет, очевидно, о том, что русские попы называют «Иван-постный», о дне «усекновения главы Иоанна-крестителя».

По рассказам Еспергена выходило, что, получив в

кредит мануфактуру и галантерею, мелкие торговцы тут же, в мороз и буран, выезжали с ними в степь, по отдаленным аулам. Намучившись со своими товарами в лютую стужу по бездорожью, они, понятное дело, стремились продать их хотя бы с какой ни на есть прибылью. А разве это торговля? Их товары с надбавками баев-посредников и так уже подорожали. Да еще сам «алыпсатар» вынужден накинуть копейку-другую. Такой дорогой товар в ауле за наличные не продашь,— приходится торговать в долг, а потом мучиться летом, таскаясь по аулам, чтобы выколачивать долги, получая их опять-таки не деньгами, а скотом.

Вот и ездит такой Есперген по кочевьям, отбирает у добрых людей: у кого овцу, у кого козленка, теленка или стригуна. И стыдно ему и тяжело, а делать нечего — едет! Потом пригонит скот на базар, да хорошо еще, если цены стоят подходящие, удастся и расходы окупить и с баем в «иманпос» расплатиться. А ведь это сказать только легко: расплатиться! Тут надо и чтобы скот был в цене, и чтобы дорогой падежа не случилось, и чтобы скотина не отошала — э, да что там говорить! Обычно-то отдашь Сейсеке какую ни на есть часть, он тебе вексель перепишет,— глядишь, и оказался у него на привязи, а он тебе норовит и вовсе на шею сесть!

Побывав в гостях еще у нескольких бродячих торговцев, соседей Еспергена, Абай и Баймагамбет убедились, что только со стороны люди эти кажутся зажиточными, благополучными, а поглядишь изнутри, и выходит, что обкрадывая бедняков, сами они оказываются в жестокой кабале у богачей. Один из этих людей, пожилой балагур Карипжан, когда Абай начал было обличать нечестные его дела, смеясь, согласился:

— Правду говорите, Абай-ага. У таких мелких людишек, как мы с Еспергеном, праведных дел искать не приходится! Коли попадутся нам в руки степные простачки с караваном, то мы уже бога не побоимся: сдерем с них шкуру, как с нас бай Сейсеке да Блеубай-хаджи дерут. Где уж там думать о шариате!

И с горечью ответил ему Абай шуткой, которую долго потом повторял сам Карипжан своим приятелям на базарах:

— В степи есть конокрады, а на городском рынке — воры, но, если те честно называются ворами, то эти именуют себя торговцами! — А позже присовокупил:

— Удивительно, как постоянен человек в своем стремлении делать зло другому человеку. Ведь волки, и те пожирают себе подобного только в крайней нужде, а не набрасываются друг на друга походя. Вот иной раз и подумаешь, что волк добрей городских торговцев!

Частенько Абай ездил на ту сторону реки и брал книги из гоголевской библиотеки. Он подолгу сидел неподвижно один и читал. А по вечерам ходил по гостям к своим многочисленным знакомым из бедняков. Городские казахи в одном только ничем не отличались от своих степных сородичей: любили принимать гостей. Приглашая за свой бедный дастархан уважаемого человека, они не пожалеют для него последнего куска.

Абая нарасхват звали к себе и вдова Дамежан, и лодочник Сеиль, и дровосек Саудабай, и сапожник Салмакбай, и портной Сагындык. Иные ремесленники, побывав у своих товарищей в гостях вместе с Абаем, после тоже звали его к себе. Некоторые из них раньше, чем с самим Абаем, познакомились с Баймагамбетом. Бывая у своих друзей, Баймагамбет, отличный рассказчик, охотно сказывал им сказки, а иной раз и целые романы, которые читались вслух в доме Абая. Желанный гость, стремясь сделать приятное своим радушным хозяевам, Баймагамбет читал наизусть стихи Абая, которые знал во множестве.

Теперь бедняки обоих берегов поперебой зазывали их к себе. Однажды Абай и Баймагамбет целую неделю подряд ходили по домам затонских грузчиков и рабочих кожевенного завода. Они побывали у Ак-Шолака, Жапека, Алипбека, Исака, Кусака и других ближайших друзей Сеита и Абена, а также у Павлова и Маркова.

Это постоянное хождение по гостям было как бы новой привычкой Абая, приобретенной им после беседы с Павловым. Раньше, приезжая в город, он редко выходил из дома, где остановился, любил принимать нуж-

ных ему людей — и степняков и горожан — и угощать их у себя. Теперь, наоборот, он стремился больше бывать в рабочих семьях, чтобы узнать истинное положение трудового люда так, как знал его Павлов. А когда любопытные спрашивали его или Баймагамбета: «Где это вы все пропадаете?» — они уклончиво отвечали: «Да так, в разных местах!»

В Затоне Сеит и Абен стали постоянными спутниками Абая. К ним пристал и еще один забавный человек бедняк Даулеткельди из соседнего многочисленного поселка жатаков, Байкадам-Сапак. Судя по тому, как его принимали, было видно, что Даулеткельди все знали и любили за его веселый нрав. Только завидя его, рабочие, старики и женщины весело смеялись, заранее ожидая от него чего-то забавного: песен, шуток, рассказов. Даулеткельди, глядя по обстоятельствам, становился то поэтом, то рассказчиком. Бедность не омрачила его легкого характера, в любую лачужку он приносил с собой смех и веселье.

В доме гостеприимного хозяина, широкоплечего, рыжего и курносого грузчика Акшолака, к Абаю подвели Даулеткельди, который для того и пришел, чтобы приветствовать поэта. Горбоносый, с глубокого запавшими глазами, с острыми скулами, выдающимися над худыми щеками, безбородый и сутулый, Даулеткельди невольно обращал на себя внимание. Он отнюдь не был красив, но было что-то привлекательное в его лице, особенно в маленьких блестящих глазах, от которых лучами расходились добродушные морщинки, следы безобидного и беспечального смеха. Еще до того, как он познакомился с Даулеткельди, Абай слышал от кого-то его маленький шуточный стишок, обращенный к матери. И теперь попросил:

— Раньше, чем ты сам, дошли до меня твои слова. Расскажи-ка о том, что ты сказал своей матушке, когда вороной стригун пал от сибирской язвы.

Даулеткельди, не заставляя себя долго просить, тут же начал рассказывать. Лицо его сохраняло при этом полную серьезность.

«У бедняка Даулеткельди и его старухи-матери была одна-единственная корова, и от той коровы хорошая

трехгодовалая телка. Вот эта самая телка и осталась яловой в прошлом году. В отсутствие Даулеткельди пришел к его матери сосед и стал ее уговаривать: «Твоему сыну придется ездить в город, а коня у него нет. У меня есть ха-ароший вороной стригун. Хочешь, я его уступлю тебе, а ты мне свою телку. Она у вас, оказывается, яловая. А я зимой заколю ее на мясо». Старуха и поверила соседу. «И вправду ведь бедный Даулеткельди ходит пешком продавать сено на базар, дай, я его обрадую». И обменяла телку на стригуна.

Проходит неделя, возвращается Даулеткельди домой и видит, что стригун-то болен сибирской язвой. Вскороости он и подход. А мать убивается: то в юрту войдет, то на улицу выйдет, то на почетное место усядется — и все вздыхает. Только Даулеткельди хочет ей слово молвить, утешить, она на него давай кричать — не дает говорить да и только! И самому-то бедняге впору лопнуть с досады, а он, сидя у очага, посмеивается над матерью, развеселить ее хочет. «Расселась — говорит — как сваха!» А мать, то молчит-молчит, а тут, опасаясь насмешек, чуть он рот откроет, приказывает: «Довольно вздор молоть! Молчи!» Тогда, в упор уставясь на родительницу, и сочинил Даулеткельди такие стишки:

Ну, зачем тебе стригун?
Ну, твое ли это дело?
Поздно ты взялась за ум,
Стать богатой захотела.

Неужели не поймешь,
Что дала большого маху,
А теперь сидишь и врешь,
Выхваляясь, будто сваха.

Тогда опечаленная родительница берет в руки кочергу, лежащую у очага, и бросается на любимого сына с криком: «Сгинь с глаз моих, собачий пастух!» Что остается делать Даулеткельди? Даулеткельди уходит. Однако и на бегу он вежливо обращается к матери: «А тебе не кажется, мама, что это совсем, как восьми-стишие Абая? Строк-то ведь у меня тоже восемь!»

Даулеткельди рассказывал все это с невозмутимым

лицом, как будто речь шла о совершенно безразличном ему предмете, и Абай, оценив в нем превосходного мастера-рассказчика и добрейшего человека, смеялся от всей души.

Бедность уже давно сидела на шее Даулеткельди. Все эти Байкадам-Сапаки, Жоламан-Жатаки, Байгели-Шагала и Затоны, где проводил свои дни Даулеткельди, были придавлены нуждой. Бедняки были загнаны в безвыходный тупик. А Даулеткельди, деля с ним и труд и горе, нашел чудодейственное средство ото всех невзгод. Своим непокорным смехом он помогал им побеждать и нужду и печаль, и сам никогда не падал духом, как бы жизнь его ни трепала. Утешая плачущих, он утешался сам, одолевая свои несчастья, придавал силы другим. И когда Даулеткельди издевался над собою самим, над незавидным своим положением, он побеждал свое горе-злосчастье смехом.

Заметив, что Абая развлекают рассказы Даулеткельди, Сеиль попросил его прочесть стихи, сочиненные во время посещения лачужки бедняка в Байгели-Шагала. Даулеткельди и тут заговорил без тени улыбки.

«Люди говорят, что в день айта правоверный должен посетить сорок домов своих единоверцев. Ну, я и пошел по домам жатаков. Иду, ни одного не пропускаю, думаю себе: коли всех бедняков в поселке обойду, сорок домов как раз наберется. И вот открываю дверь в один дом, а порог, оказывается, мне по колена. Высоко занеся ногу, переступил я через этот порог, а там, извольте ли видеть,— лужа, и я, не успев шагу шагнуть, прямо в нее и шлепнулся. А пока летел, приметил, что в переплете оконной рамы недостает стекла, и это местечко затянуто бычьим пузырем. Откроешь дверь, она взвизгнет «ах», а пузырь эхом отдается «ух». И я, сидя в луже, изрек:

Дверь откроешь — скажет «ах»,
А окно ответит «ух»!
Коль не тверд ты на ногах,—
Здесь как раз испустишь дух.

Произнеся, как воспитанный человек, приветствие дому, я встаю и здороваюсь с хозяевами».



А тут и Абен вспомнил один забавный случай, как Даулеткельди степного бая обманул. Даулеткельди рассказал и об этом.

«Недалеко от жатаков Байкадам-Сапака стояли два богатых аула. В один прекрасный день в ближайшем из них умирает старейший аксакал. Ну, конечно, извещают всю широкую степь, и со всех сторон бела света скачут родичи с воплями и рыданиями. У покойного бая было много овец, но сам-то он был разиня, скотные дворы свои городил где попало. Посидев около покойника в доме, выходит Даулеткельди на улицу и видит: какой-то пожилой тучный бай скачет, зажмурив глаза и открыв рот, и орет во всю мочь, что положено: «Ой-бой, родич мой! Ой-бой, великан мой! Ой, куда же ты ушел!?!». Тогда Даулеткельди спешит ему навстречу, помогает слезть с коня и, говоря: «я вас сейчас к нему провожу», ведет бая не в дом, где живут люди, а в темный хлев. А грузный бай все продолжает вопить с зажмуренными глазами. Заведя плачущего родича в самый темный тупик, Даулеткельди и говорит: «Ну, а дальше я и сам дороги не знаю!» и, отбежав в сторону, прячется за кормушку.

Неуклюжий бай, не переставая кричать и причитать: «Ой-бой, где ты, родич мой!?!». пытается нащупать дорогу, чтобы выбраться на свет божий, и то на один столб налетит, то о другой лбом ударится. Тут-то он приоткрывает глаза и, сообразив, что над ним подшутили, произносит нечто не совсем подходящее к печальному событию. Так, перемежая вопли о почившем родственнике с упоминаниями о живой и здравствующей родительнице Даулеткельди, бай этот долго путался по закутам и загонам, мыча, как вол, который провалился в колодец».

Развеселившиеся слушатели не давали Даулеткельди перевести дух, все просили рассказывать еще и еще. И он рассказывал, не чинясь, без отказа.

«Недавно в дни поста возвращался безбожник Даулеткельди из дальней поездки домой и по пути остановился в ауле одного почтенного бая. Даулеткельди — человек пожилой, и бай, считая его соблюдающим пост мусульманином, пригласил к себе разговориться после

заката солнца. А в ауле оказались приезжие купцы из города, прекрасно знавшие, кто такой Даулеткельди. Вот они и договорились между собой разыграть с ним шутку—довольно ему морочить других!

Перед ужином человек восемь гостей во главе с хозяином-баем становятся на вечернюю молитву, окружив Даулеткельди со всех сторон. Не спрашивая даже, совершал ли он омовение перед молитвой и вообще не интересуясь, имеет ли он обыкновение молиться, правоверные просят его стать имамом, то-есть заменить отсутствующего муллу. Он хотел было удрать, но его, дружно тесня плечами, вытолкнули вперед, а один из продувных торговцев начал поспешно читать молитвы за азанши.

Тогда решив «будь что будет», Даулеткельди с места в карьер ринулся вперед, в молитву. Сначала, сложив руки на груди, он громко огласил первые слова намаза: «Албсин, лямга секин-ал-хисынха-аль ха, мемге секин альхам, далтур-ду-алхамду». И пошел, бормоча себе под нос, повторять «алхамду» по слогам задом наперед. Никто из добропорядочных мусульман отродясь не слыхивал такой молитвы. А «имам» оставался совершенно спокойным и с постной физиономией нес свсю белиберду. Как ни крепились верующие баи во имя господ-бога своего, но под конец не выдержали и с хохотом попадали на молитвенный коврик — жайнамаз».

Даулеткельди, этот городской Алдар-Косе¹, так понравился Абаю с первой же встречи, что он стал родить его с собой по гостям. Даулеткельди был не только рассказчиком-острословом. Он знал на память много стихов Абая и читал их, по-своему, нараспев, своим внимательным слушателям. Иной раз, сидя в гостях, когда Абай просил его что-нибудь рассказать, Даулеткельди начинал читать стихи самого Абая с таким видом, как будто сообщал что-то совершенно ему неизвестное: «Хвастун, наглец...», или «Тот, кто заблудился, видит впереди простор пустой...»

¹ Алдар-Косе — герой шуточных казахских сказок, острослов, плут и проказник, ловко обманывающий баев.

Во время своего длительного пребывания в городе Абай не только сам ходил в гости, но и принимал гостей у себя. Это были казахские дети разных возрастов, обучающиеся в русских городских школах. В субботу вечером Баймагамбет запрягал коня и, насажав в кошевку ребятишек, привозил их в дом Кумаша. Иной раз ему приходилось съездить еще раз, так как в одну кошевку все гости не вмещались.

Весь субботний вечер после чая Абай отдавал беседам с детьми. Он спрашивал у каждого, как он учится, какие сегодня заданы уроки, какие стихи он знает наизусть.

Мальчишки, уже не раз побывавшие в доме поэта, нисколько перед ним не робели, бойко отвечая на вопросы, которые им задавали Абай и Баймагамбет.

Сегодня у Абая гостили девять учеников из трех школ, все как один, одетые в форму и подпоясанные ремнями с блестящими металлическими пряжками. Самый старший из них сын Даркембая, Рахим. Недавно ему исполнилось восемнадцать лет. За ним шли четырнадцатилетний Асан и его двенадцатилетний братишка Усен — дети погибшего в снежный буран пастуха Исы, сына старухи Ийс. Дармен заботливо растил ребят, помогая им, как ближайший родственник. Сперва он привез их в абаевский аул подучиться русскому языку, а потом устроил в городскую русскую школу.

Рахим, Асен и Усен учатся по ту сторону реки в пятиклассном городском училище и носят одинаковые темно-серые рубахи с белыми металлическими пуговицами. Все трое по счастливой случайности получают пособия, выделяемые для детей бедноты из надбавки к покибиточному сбору, но далеко не всегда достающиеся тем, кому предназначены.

В гостях у Абая сидят еще четверо малышей одинакового роста, в своих черных формах с желтыми пуговицами, с румяными, как на подбор, курносыми мордашками, похожие на братьев-близнецов. Это дети казахской бедноты, воспитывающиеся в специально созданном для них слободском интернате. Двоим из них по девять лет. Они из Затона. Спросишь одного: «Ты чей?» — он бойко ответит: «Я Сеитов Аскар», а

другой, большеглазый, шепчет, стесняясь: «Абенев Максут». Двое других и вовсе маленькие; внуку Дамежан, Мурату Жабикенову, и младшему сыну лодочника Сеиля, Шакету, по восемь лет.

Коренастые, как упитанные ягнята, с круглыми головами, одинаково стриженными под машинку, смешливые и веселые, ребята были очень милы и чувствовали себя совершенно свободно. Особняком ото всех держались двое смуглых двенадцатилетних подростков, одетых в праздничные гимназические мундиры. Расшитые галуном воротники подпирают их короткие шеи, блестящие серебряные пуговицы украшают гордо выпяченные груди.

Гимназисты смеялись мало и неохотно, с достоинством молчали, глядя свысока на всех остальных ребят — мы, мол, Кунанбаевы, не вам чета. Нигмет был четвертым из одиннадцати сыновей Азимбая, прижитых им от трех его законных жен. Подражая Абаю, обучающему своих сыновей в городе, Такежан с Азимбаем решили выучить русским наукам хоть одного. Первенцы байбише, старшей жены Азимбая, были уже переростками по шестнадцать — восемнадцать лет. Но ее последыш Нигмет еще годился в учебу и, с грехом пополам подготовив, его два года назад привезли в город и определили в гимназию.

Второй Кунанбаев, Жалель, был сыном Какитая. Внешне не похожих друг на друга мальчишек роднило, однако, одно их общее свойство. Оба, будучи двенадцатилетними подростками, имели надменный, равнодушный вид умудренных жизнью важных баев. У Жалеля была круглая голова с высоким лбом, нависающим над словно бы припухшими веками, прикрывающими узкие и холодные маленькие глаза. У него носик пуговкой и тонкогубый рот с редкими зубами. Мальчик был совсем не красив. А большеротый Нигмет Азимбаев — вылитая мать. Оттопыренная нижняя губа придавала бледному лицу мальчика презрительное, не по летам брюзгливое выражение. Сердитые и в то же время лукавые глаза, выглядывающие из-под мясистых век, беспрестанно шарили вокруг, словно ища к чему бы придраться. Так как оба юнца уже два года учи-

лись в русской гимназии, квартировали в русских семьях, они порядочно болтали по-русски.

Хотя Абай и пригласил обоих своих племянников к себе, но не оказывал им особого внимания. Зато он долго беседовал с Рахимом. В свое время, когда великовозрастному Рахиму пришлось садиться в первый класс с малышами, Абай шутил:

— Да, Рахим, припоздал ты с ученьем! Ты своим одноклассникам, пожалуй, в отцы годишься!

Теперь он пошутил снова:

— Ну, как, Рахим? За три-то года подросли твои русские однокашники, больше папой тебя не зовут?

Рахим, который любил Абая, как родного отца, чувствовал себя с ним совершенно непринужденно и под веселый смех других ребятишек отшучивался:

— Что и говорить, Абай-ага! Вытянулись мои «сын-ки» в дюжих парней! Теперь мне полегчало. А раньше они мне ростом до пояса были. Выйду на перемену, как верблюжонок среди ягнят!

Абай захотел послушать, как Асан и Усен читают русские стихи. Он попросил Усена прочесть последнее стихотворение, которое задавал учитель. И Усен, запинаясь и безбожно путая ударения, стал читать басню Крылова «Осел и соловей». Абай остановил его и пожурил отечески:

— Ой, Усен! Я научился русскому языку в тридцать лет и то лучше справляюсь с ударениями. Вот беда, начинали вас учить по корану, вот теперь никак к русской речи не привыкнете!.. Итак, расскажи-ка мне теперь, что же случилось с ослом и соловьем, расскажи содержание басни хоть по-казахски.

Но оказалось, что Усен не знает многих русских слов, а потому не понимает, что произошло с ослом и соловьем. И, хотя Нигмет и Жалель смеялись над мальчиком, и он весь покраснел от досады, он так и не смог рассказать Абаю, по какому случаю встретились осел и соловей.

— Да, Усен. Тебе, видно, надо помочь. Ну, ничего, я что-нибудь придумаю! — воскликнул Абай и стал спрашивать Аскара и Максута, какие басни Крылова учат в школе они. Оказалось, что им тоже задавали

выучить «Осел и соловей», а кроме того «Слон и моська», «Стрекоза и муравей» и много еще других басен.

После ужина ребятам постелили постели в соседней комнате. Абай попросил Баймагамбета лечь вместе с ними, а Аскару и Максуту, пристроившимся к нему с обеих сторон, сказал:

— Знаете, дети, стоит только этому самому Баке приоткрыть рот, как сказки сами посыплются! Попросите-ка его рассказать вам что-нибудь на сон грядущий!

Пока ребята раздевались и укладывались, Абай стоял над ними, накинув на плечи широкий халат, и любовался их веселой возней. А когда была потушена лампа и они, уgomонившись, наконец, в темноте, стали слушать бесконечные сказки затейника Баймагамбета, Абай приступил к исполнению обещания, данного Усену. В эту ночь он впервые начал переводить Крылова на казахский язык.

Утром, когда ребята пили чай, Абай подсел к Усену и сказал:

— Ты следи по русской книге, а я тебе буду читать по-казахски про осла и соловья. Ну-ка, ребята, послушаем, что с ними было!— И Абай стал медленно с удовольствием читать строки, рожденные в минувшую ночь.

В первые месяцы зимы тысяча восемьсот девяносто девятого года, которые поэт провел в городе, он с жадным интересом перевел на казахский язык те басни Крылова, которые Усен, Асан и Рахим учили в русской школе.

3

В середине зимы нового, тысяча девятисотого года Абай снова приехал в город по особому вызову. В сумерки запряженные парой лошадей сани Абая въехали в ворота Кумаша. Выбежав навстречу гостю, хозяин помог ему отряхнуться от снега и провел на второй этаж в его любимую просторную комнату рядом с лестницей. За чаем на вопрос Кумаша о цели своего приезда Абай ответил, что получил письмо с просьбой срочно приехать в город.

— Наверное, ты, Кумаш, больше знаешь о здешних делах, чем я. Говорят, что мусульмане разных областей собираются объединиться, как братья по вере. Со всех сторон созывают людей в город. И до меня дошла эта весть. Позвали — ну, я и приехал!

В разгар чаепития вошел Баймагамбет, а за ним втащили большой тяжелый сундук и ковровую переметную суму — хурджин, оба отделения которой были битком набиты книгами.

— А это, знаешь ли, мои книги, — сказал Кумашу Абай. — Мы с Баймагамбетом решили набрать их с собой больше, чтобы хватило до самого лета. Мы ведь их повсюду покупаем, где только найдем.

Хотя Кумаш был выходцем из Коканда, он постоянно общался не только с Абаем, но и со своими соседями-казахами. И он сам, и его жена, и сын — торговец Алимхан, часто путешествовавший по чужим краям, по сути дела ничем не отличались от казахов, хорошо зная их язык, нравы и быт.

Грамотный лишь по-мусульмански, Кумаш, когда представлялся случай, переписывал стихи Абая и хранил у себя, как свою любимую настольную книгу. Баймагамбета же он считал своим ближайшим другом и принимал, как родича. Приезжал Баймагамбет с Абаем или один, Кумаш всегда просил его, улучив удобную минутку, рассказывать различные истории, которых был у старика неиссякаемый запас. Теперь, когда внесли целый сундук книг, у Кумаша глаза разгорелись, и он под видом вежливой шутки напомнил о своем постоянном интересе к чудесным рассказам Баймагамбета.

— Смотрите-ка, эти городские книги, погостив в степи, вернулись обратно. Наверное, много романов и рассказов поведали они вам, Бака! Неужели эти книги будут молча ходить туда и обратно мимо нас, не умеющих их читать? Неужели так и не заговорят с нами?

Абай с улыбкой глянул на Баймагамбета, зная, что этот вопрос обращен к нему. А Баймагамбет, который никогда не уставал в дороге, поудобнее усевшись около стола, пообещал, так уж и быть, рассказать после чая одну историю.

— Пусть это будет подарком гостя,— важно сказал он.— Вот с завтрашнего дня мы тут сами станем хозяевами в вашем ауле. Тогда уж будем угощать вас сказками, когда захотим. А сегодня — воля ваша, хозяйская, имеете право требовать рассказа — не спорю!

Обстоятельно погревшись чайком, Баймагамбет начал, не спеша, по порядку:

— Это книга большого русского мудреца. Недавно мне ее прочитал Абай. А я сам еще никому ее не сказывал. Пусть сегодня будет мое начало. Итак, повесть эта называется «Князь Серебряный»,— объявил он.

В этот вечер Абай не звал к себе никого из посторонних. Кумаш стороной слышал кое-что о деле, по которому вызывали Абая, но не знал никаких подробностей и, не повидав людей к нему причастных, по скромности своей не хотел о нем и говорить: «Болтают люди много, и до меня слухи доходят, но толком-то я ничего не знаю».

Таким образом хозяева и гости решили посвятить весь вечер рассказу Баймагамбета, а о городских новостях сегодня и не поминать.

Наутро, выспавшись хорошенько с дороги, Абай встал поздно и вышел к чаю уже около полудня. Не успел он позавтракать, как к нему явились с приветствием двое горожан. Первым вошел высокий, грузный человек с двойным подбородком и жиденькой бородкой клинышком, в котором Абай с удивлением узнал Кокпая. Следом за ним шел низенький учтивый джигит с круглым рябым лицом и коротко подстриженной черной бородой. Это был Алпеим, так же известный Абаю человек из рода Кокше. Во всем том, как они вошли, как кланялись и как садились на почетное место,— было, невзирая на внешнюю несхожесть гостей, что-то общее, что роднило их между собой, вызывая острую неприязнь у Абая. А ведь оба они выходцы из родных поэту степей, а Кокпай даже был ему близок когда-то.

Вызывала недоумение их франтоватая одежда татарского городского покроя. Кокпай напялил на себя отороченную выдрой татарскую шапку с синим верхом, бешмет с прямыми плечами, видимо, сшитый татар-

ским портным, а сверху облачился в бледно-желтый тонкий чапан, какой носят городские муллы. На обоих были городские ичиги и кожаные калоши. Старший стал, оказывается, муллой главной мечети, и его теперь величают Кокпай-хальфе. А второй, тоже великовозрастный бородатый дядя, не постеснялся пойти в ученики медресе, содержащейся при той же мечети. Правда, он было упирался, ссылаясь на свои годы, но Кокпай притащил-таки его вместе с другими джигитами учиться мусульманской премудрости в город. А ведь ныне тучный сорокалетний Кокпай был когда-то веселым певцом и неплохим поэтом.

Здороваясь с Абаем, он нараспев произносит: «Слава аллаху! Вашими молитвами!» Абаю показалось забавным, что в такой трескучий мороз Кокпай сменил добротную меховую шубу, казахский дубленый тулуп, теплый чапан и зимние сапоги на подбитую ветром городскую одежду. «Видно, хочет показать, что не только душой, но и телом предан божьему делу», — усмехаясь, подумал поэт.

После взаимных приветствий, Абай повернулся к Алпеиму и спросил:

— Ну-ка, скажи, Алпеим, какой ты сейчас премудростью занимаешься?

— Изучаю арабскую грамматику — наху, — ответил Алпеим, сторожко, выжидающим взглядом глядя на Абая.

— Э, смотри, джигит, так недолго и помешаться. Ведь у самих арабов есть поговорка, — и Абай процитировал по-арабски: — «Кто долго учит законы — фихку, тот поумнеет, кто долго учит наху, — последний ум потеряет», — и, смеясь, продолжал: — Это не я говорю, а арабские ученые, богословы, которых ты зубришь! — и, помолчав, добавил: — Ох, Алпеим, отец твой был разумным казахом, ведь это он первый посеял хлеб на такыре. И тебе бы лучше всего было поехать к себе домой, в степь, и заняться полезным трудом. Наверное, это Кокпай притащил тебя и других таких же парней из рода Кокше и рассовал вас в медресе и мечети по обе стороны Иртыша? Незачем вам за ним тянуться! Уступили бы вы ему самому всю эту благодать, пусть

его один пользуется! — И в голосе Абая невольно прозвучала горечь разочарования — ведь когда-то Кокпай был его младшим товарищем, другом.

Кокпай со своей обычной вкрадчивой манерой подлаживаться к настроениям Абая прикинулся безобидным простаком. Он молча терпел недобрые шутки поэта и виду не подавал, что они его задевают. «Начнешь возражать, так он тебя одним словом сразит наповал! — думал он про себя.— Уж лучше помолчу, от греха подальше».

После чаепития, во время которого все трое ощущали взаимный холодок, Кокпай осторожно сообщил, по какому делу он прибыл. Он, оказывается, и был тем лицом, которое прекрасно знало, зачем Абая вызвали в город. И пришел-то он не для своего удовольствия. Его, как одноаульца Абая, слывшего даже другом поэта, послали к нему некие заинтересованные в нем лица для предварительных переговоров.

Мало-помалу дело стало проясняться. Абай только теперь из речей Кокпая начал понимать, кто его ждал в городе. Его ждали, по словам Кокпая, казахские и татарские интеллигенты — «зиялы» с обеих сторон Иртыша. Если сказать кто они, так это, прежде всего, имамы, наиболее прославленных крупных мечетей того берега: Кос-мечети, Тас-мечети, Казахской мечети — Габдул-Жаппар, Габдураззак, Хисами, Жамалиддин, кроме того, имам сартовской мечети ахун Мир-Курбан. Мечтали встретиться с Абаем также имамы главной мечети этого берега и мечети Нижней слободки: Малик-Аждаркари, Ахшим-ходжа, и хазрет Ахметжан. И еще много других казахских наставников веры, кари и хальфе нуждались, оказывается, в Абае.

Не дослушав медлительной речи Кокпая, Абай прервал его шуткой:

— Э, да уж не для того ли собрались вместе все ваши хаджи, чтобы отправить меня, грешного, в Мекку? Не думаете ли угодить аллаху, склонив мою голову до земли, на путь истинный меня наставив?

Алпеим откровенно рассмеялся, а Кокпай, снова пропустив колкости поэта мимо ушей, продолжал как ни в чем не бывало:

— Слушайте дальше, Абай-ага! Все общество просит у вас совета. Я говорил о духовенстве, но вас ждут и многие другие люди с обоих берегов. Это известные татарские коммерсанты, домовладельцы, хозяева больших магазинов, такие, как почтенный Вали-бай, бай Сыдык, Исхак, богач Икрам, мирза Шерияздан. А с ними вкуче и наши казахские городские баи: Сейсеке, Хасен, Жакып, Блеубай-хаджи. К ним присоединяют голос свой и недавно вступившие в ряды почетных граждан города, ныне известные вам купцы: Бахия-хаджи, Балажан, Турбек, чьи караваны ходят от самого Ирбита до Китая.

По недовольному выражению лица Абая, от которого Кокпай не отрывал испытующего взгляда, он догадывался, что вряд ли поэт считает всех этих баев за порядочных людей. Но Кокпай послал говорить, и он говорил — ничего не поделаешь! Перечислил сначала имена знатных богатеев и хаджи, а потом перешел к другим: «если, мол, эти не нравятся, то у нас всякие есть, на любой вкус».

Рассчитывая, что эта группа людей будет приятнее Абая, Кокпай не преминул упомянуть, что и служилая интеллигенция, «зиялы» также примыкает к духовным отцам и торговцам в одном общем для них деле. Двое из них — степенные пожилые люди, известные в народе толмачи, уже успевшие построить себе в городе приличные дома. А уж другие — это настоящие «зиялы» — передовые, просвещенные люди, получившие образование в Петербурге или в Москве. Иные из них и сейчас учатся там. Это не какие-нибудь сыновья простых степняков: иные из них потомки ханов и высоких чиновников, дети «известных семей», «выходцы из верхушки рода Суюндик», «сыны прославленных родов Каракесек», «из знаменитого гнезда Токал-Аргына», или «из сильных аулов Наймана». Сев на своего конька, Кокпай неудержимо помчался вперед, до небес превознося ханов, султанов и тюре.

По просьбе Абая, Кокпай принялся перечислять всех и постоянно живущих в городе и находящихся здесь проездом интеллигентов, которые, оказывается, тоже никак не могли обойтись без Абая. Первым Кок-

пай назвал крупного чиновника тюре Азимхана Жабайханова. За ним некоего Сақыпа Сакпаева, обучающегося в Петербурге «по адвокатской части». Потом Башира Баспакова, собирающегося стать ветеринаром, большого барина Кадыра Нуржанова, а также и хорошо известных Абаю, ныне вышедших в большие люди — Сарманова, Самалбека, Данияра.

В конце концов Абай и действительно заинтересовался, как и на чем могли сойтись правоверные служители аллаха с образованными по-русски казахскими чиновниками из царских канцелярий. Кокпай умышленно тянул, не очень-то распространяясь на этот счет, а лишь добавляя все новые и новые имена. Все эти люди вместе взятые и каждый из них в отдельности будто бы имеют намерение лично говорить с Абаем с глазу на глаз. Он же, Кокпай, выполняет лишь скромное поручение — узнать мнение Абая и сообщить имамам этой стороны, Ашим-хаджи и Ахметжан-хазрету о готовности его присоединить свой голос к голосам упомянутых знатных людей.

А в чем же высокая цель, всех правоверных вкупе объединяющая? Цель эта в создании единого всероссийского религиозного центра муфтията, подчиняющегося муфтию, который станет верховным пастырем всех мусульман города, мало этого — всей Семипалатинской области и — более того — всего казахского народа, якобы неотложно в этом нуждающегося.

Признавая муфтия своею главою, ему должны также подчиняться все приверженцы ислама в Казани, Уфе, Оренбурге, Троицке, Омске. Таким образом «...тридцатимиллионное мусульманское население Российской империи, братья по истинной вере, станут еще ближе друг к другу, сплотятся в единую семью».

В Стамбуле, в стране халифата, находится духовный оплот всех правоверных шейх-уль-ислам. К нему должно присоединить и российскую мусульманскую общину. Вопрос этот поднят группой, побывавших недавно в Мекке и Медине хаджи татарских, казахских и всяких иных национальностей, в России живущих. Из Семипалатинска в этом сговоре участвовали Габдураззак-хаджи, богач Икрам, а от казахов — Ахмет-

жан-хазрет и бай Бакия-хаджи. Они дали слово от имени правоверных города всемерно добиваться того, чтобы в России был единый вероучитель — святой муфтий, для чего и просили соизволения белого царя и его сената на свободные общемусульманские выборы духовного наставника, гулама.

А российский царь потребовал собрать петиции и приговоры ото всех мусульманских народов Российской империи о том, что они действительно желают избрать себе муфтия и подчиняться ему. «Вот откуда идет начало всех начал. Вот где зарождается луч надежды для всех мусульман! К этому святому делу должны присоединиться лучшие люди казахского народа! Нужно всеми силами помогать его осуществлению, идти в народ, разъяснять и добиваться того, чтобы все казахи города и степи дали свои подписи под приговором». Ввиду того, что Абай пользуется славой и уважением у всех казахов, почтенные хаджи и просят его помощи, возлагая на него большие надежды.

Сообщая все эти подробности, Кокпай не спускал испытующих глаз с Абая, в свою очередь пристально смотревшего на него. И хотя Абай, видимо, раздумывал над его словами, однако на этот раз Кокпай не сумел получить ожидаемого ответа. Как только Кокпай окончил свою пространную речь, Абай велел Баймагамбету запрягать, а сам, тяжело поднявшись с места, принялся одеваться.

Кокпай и Алпеим не отставали от Абая, пока он спускался по лестнице, выходил во двор и усаживался в сани. Они до последней минуты надеялись, что, хотя Абай явно торопится, молчит, насупившись, но в конце-то концов хоть что-нибудь да ответит. Устроившись рядом с Баймагамбетом и почувствовав на себе неотвязный взгляд Кокпая, Абай сделал еле уловимый знак придержать вожжи и, резко обернувшись к своему гостю, сказал:

— Ты ждешь от меня ответа? Пока не выясню все с нужными мне людьми, никакого ответа не дам. Хотя у меня все слова для тебя готовы, но не хочу говорить опрометчиво, без доброго совета. Если вашим имамам

и вправду нужно мое мнение, пусть ждут, раньше чем через три дня ничего не узнаете.

И больше не интересуясь Кокпаем, Абай кивнул Баймагамбету, конь рванул с места, и сани исчезли в снежной пыли.

В эти дни множество духовных лиц посетило Верхние, Средние и Нижние Жатаки, почтило своим вниманием лачужки бедняков: лодочников, паромщиков, дровосеков в Слободке и ближних аулах. Кроме хорошо известных горожанам муэдзина Самурата, слепого кари, Шарифжана-хальфе, здесь побывали и такие важные муллы, как известный хальфе Закен или Гадушукур, которые теперь соперничали с имамами двух других мечетей. Не довольствуясь обычными проповедями среди своих прихожан в мечетях, они стали посещать и другие места скопления народа. Они обходили грузчиков Затона, встречались с рабочими пимокатного и кожевенного заводов, или, собрав множество бедняков — мужчин, женщин, молодежи и стариков, — работающих на бойне, произносили перед ними прочувствованные речи относительно необходимости всемусульманского единения. Они наставляли верующих, с должным благоговением произносить титулы «хальфе султана» и «Шейх-уль-ислам», призывали присоединить свои голоса к общему хору правоверных.

Сеит и Абен пошли по этому поводу советоваться с кузнецом Савелием и фельдшером Марковым и рассказали им о необыкновенном оживлении среди мулл. Русские друзья ответили, что «... мы, мол, русские бедняки, не ждем ничего доброго от своих русских попов. Они здорово помогают начальству устраивать ад для грузчиков и кузнецов, вроде нас. И вы от своих мулл и мечетей ничего путного не дождетесь, рая на земле во всяком случае не увидите. Лучше всего — пойдите посоветуйтесь с Павловым. Мы ему обо всем сообщили. А товарищам казахским рабочим передадите, что он скажет, и объясните, что большинство населения — вы, трудовой народ, и пусть все решается по его воле».

Таким образом и Павлов оказался втянутым в дело о муфтияте. Целые дни проводил он то среди рабочих, то среди слободских жатаков, а потому Абай разыскал

его с большим трудом. Только поздним вечером поэт, дождавшись друга у него на квартире, увез его в дом Кумаша, чтобы ночью побеседовать с глазу на глаз. До сих пор друзья в своих продолжительных откровенных беседах избегали касаться вопросов религии. Однажды Абай недвусмысленно заявил Павлову, что он «истинный мусульманин, верующий в бога», и тот после этого остерегался говорить о вере. А сегодня Абай просил у Павлова совета именно по этому самому «запретному» для них до сих пор вопросу. А это налагало на Павлова большую ответственность. Он не может кривить душой и должен разоблачить перед Абаем происки мусульманского духовенства, но ему нельзя умолчать и о том преследовании, которому подвергаются «иноверцы» со стороны преданных царизму служителей православной церкви. Надо дать Абаю понять, что Павлов и его друзья осуждают эти преследования.

— Конечно, имамы и баи обманывают городскую бедноту и темный степной народ. Конечно, здешнее духовенство зря сваливает всю вину в бедствиях народных на так называемую «миссию». Ну, что она, собственно, такое? Просто белая церковь, стоящая между почтой и пожарной каланчой! Однако присмотримся к ней поближе. Кто заправляет в этой миссии? А заправляет в ней крупная персона: епископ Адриан двух областей, Акмолинской и Семипалатинской, по положению своему равный омскому генерал-губернатору. Заметьте, этот самый епископ не случайно обосновался в Слободке, где живет много казахов. Он пришел сюда для того, чтобы крестить казахов и татар, «обратить безбожников в истинную веру». Как видите, словарь у отцов духовных, будь они правоверные мусульмане или православные христиане, примерно, один и тот же. И Павлов приоткрыл перед Абаем некоторые дела и делишки «святой» миссии.

При белой церкви есть школа, имеется и своего рода приют для сирот. Сейчас там содержится около тридцати казахских и татарских детей, воспитывающихся отщепенцами своего народа. И Павлов рассказал Абаю историю одного мальчика, которую сам не-

давно услышал от чиновника почтовой конторы Ивашкина.

В прошлом году этот самый Ивашкин ездил в Знаменку, Семейтауской волости, по своим почтовым делам. Возвращаясь в город, он увидел на дороге плачущего оборвыша лет восьми-девяти. Стал его расспрашивать. Оказалось, что мальчика зовут Мекеш, отец и мать у него умерли, а родичи его прогнали. Вот он, чтобы не умереть с голоду, и пошел искать город — будет там побираться. Ну, Ивашкин забрал мальчика с собой и сдал его в миссию. Мальчик этот шел из Акбутинской волости, вот ему и дали фамилию — Бутин. Его, конечно, окрестили. Звали его Мекеш, нарекли Михаилом, зовут Мишкой. Ему внушают, что он теперь русский. Одеди его по-русски, это ладно, а плохо, что говорить разрешают только по-русски. Мальчишка оказался смысленый. Я его видел недавно, такой хороший парень: глаза черные, большие, вздернутый нос — настоящий казашонок. А вот, поди ж ты, на ломаном своем русском языке ругает казахов и все казахское.

— Так вот, друг мой,— закончил Павлов,— к чему я это все говорю? А к тому, что и русские попы и мусульманские имамы друг друга стоят. От тех и других народу добра ждать не приходится. И те и другие, прикрываясь высокими словами об интересах религии, сеют вражду между трудящимися, разжигают национальную рознь.

И впервые за время их знакомства Павлов прочел Абаю отрывок из статьи подпольной газеты, тайно распространявшейся среди рабочих самой сильной и смелой из российских революционных партий. Павлов держал газету в руках, загнув и пряча ее заголовки, и все же Абай успел разглядеть дату: «первое декабря тысяча девятисотого года».

В отрывке, который Павлов прочел Абаю, говорилось о том, что все сознательные рабочие должны бороться против злонамеренного противопоставления одного народа другому.

— Таким образом, знаете ли, все истинно передовые честные русские люди считают и царизм и русскую церковь повинными в разжигании национальной враж-

ды,— сдержанно заметил Павлов.— Подумайте с этой точки зрения и о том, что затевает сейчас татарское и казахское духовенство. Не муллы и не баи, не хаджи и не волостные думают о благе народном. Трудящиеся люди, такие, как Сеит, и друзья трудового народа, такие, как вы, должны решать, в чем это благо и как его достичь!

В свою очередь и Абай немало порассказал Павлову о грубом невежестве и подлых делах ревнителей ислама. Он понимал, что слова и мысли этих мракобесов подсказаны Стамбулом, халифатом, продиктованы, в конечном счете, султаном Абдул-Гамидом. Абай поделился с Павловым своими соображениями относительно того, что между проповедью шейх-уль-ислама и заветными мечтами местных сокыр-кариев нет никакой разницы. Оказалось, что и сам Павлов именно так смотрел на вопрос о создании муфтията. В этой связи он рассказал Абаю немало интересного о положении дел в современной Турции, о том, что она представляет собою беспросветно-невежественное темное царство, о том, что в гареме «прогрессивного» Абдул-Гамида содержится тысяча невольниц.

В этой беседе мысли Абая и Павлова, по словам поэта: «слились в единый поток на широком просторе». Оба решили встречаться для подобных бесед и впредь. А Павлов обещал присылать к Абаю казахских и татарских рабочих для того, чтобы он разъяснял им, к чему затеяна вся эта возня с подписанием приговоров. Сам Абай будет встречаться со своими городскими знакомыми в слободках и в Затоне. С другой стороны он готов публично, в открытую схватиться с городскими имамами и хазретами.

Прошло три дня, и люди со всех сторон валом повалили в дом Кумаша. Абай особенно долго беседовал с теми из них, чьи имена были уважаемы в народе, чье мнение имело вес. От лица Верхних и Средних Жатаков пришли к Абаю его старые знакомые: Сенль и широко известный горожанам своим красноречием пришелец из Акботы, кипчак Бектогай Ботабаев. Он был человеком среднего достатка, умен, смел, говорил увлекательно и свободно.

Что бы ни происходило в городе: бедствие или торжество, большой базар или конская ярмарка, обычный ли праздник, или внезапный пожар, случится ли голод или скотский падеж,— люди прежде всего идут советоваться к Бектогаю или Сеилю. Оба они поджидали Абая, а тот после нескольких встреч с Павловым сам пригласил их к себе.

— Кто бы их ни уговаривал, пусть горожане никаких приговоров не составляют и подписей своих не дают,— говорил Абай Сеилю и Бектогаю.— Пусть отговариваются тем, что казахи испокон веку не были богомольными, а потому и муфтия не желают. Издревле есть, мол, у нас свои обычаи, сами разберемся, что белое, что черное. У казахского народа свой путь и законы свои. Нет смысла ломать веками нажитое ради некоего неизвестного новшества, какой-то там «цветущей жизни по законам шариата». Скажите-ка людям, что новая жизнь и народное процветание создаются наукой, а не шариатом. А искусство и знание постигаются тоже не по шариату, а по примеру просвещенных народов. Разве мы уже всеми сокровищами мира овладели и нам только муфтия не хватает? Куда Больше пользы получим мы от современной цивилизации передовых европейских стран, чем от всего этого крика об объединении единоверных братьев. Смело говорите народу: клич к объединению под знаменем ислама нам не подходит потому, что не приближает нас к просвещению, а отдаляет от него. Не нужно нам никакого муфтия, нам и своих мулл хватает!

Вечером Бектогай, который собирался выступить перед народом, пришел к Абаю еще раз. Будучи человеком положительным, благоразумным и неторопливым, стремящимся до конца понять всякое дело, в котором он принимал участие, Бектогай явился за дополнительными разъяснениями. У Абая как раз в это время сидел Павлов, и они стали беседовать все втроем. Изредка перебрасываясь с Павловым русскими фразами, Абай четким почерком набросал на большом листе бумаги своего рода план речи для Бектогая, свои основные мысли и положения.

После позднего чая, прощаясь с Бектогаем, Абай вручил ему эту бумагу, предупредив:

— Это написано только для тебя, смотри, никому не показывай! Прежде чем держать совет с людьми, ты почитай и запомни, а уж потом говори по-своему, как умеешь,— тебя бог даром слова не обидел!

Шевеля рыжими усами и широко открывая в улыбке крупные белые зубы, Бектогай понимающе кивнул:

— Вы приказали, Абай-мирза, ваши слова держать в голове, а свои говорить людям. Хорошо, согласен. Хотя и есть у казахов поговорка: «Плохой бий пользуется чужим», я всегда предпочитал унести от вас в кармане, а не в голове.

Бектогай намекал на новые стихи Абая, которых он еще не знал, но хотел бы, по своему обыкновению, переписать и унести с собой, чтобы потом выучить на память и пустить в ход в подтверждение своим словам и мыслям. Абай с удовольствием смотрел в живое дружелюбное лицо своего собеседника и думал о том, что этому находчивому и добропорядочному человеку можно доверить любое, самое трудное дело.

— Бумага эта, по всей видимости, немаловажная,— продолжал Бектогай.— Думаю, что она мне, ох как, пригодится! И вы не беспокойтесь, чужой глаз не только ее не увидит, никто не заподозрит даже, что она и на свете-то есть.— С этим обещанием Бектогай уехал.

К Абаю приходили также и Сеит с Абенем с той стороны; посоветовались и ушли. Побывал у него и Кали Акбасов, с которым поэт и раньше встречался по разным делам. И, хотя Кали разделял далеко не все взгляды Абая, но за одно он ухватился крепко: это за протест против назначения муфтия. «Поддайся только этому муфтию, и все наше, кровное, прахом пойдет. Вся жизнь народа во власти мечети окажется. Казии будут по-своему вершить суд. Доведется ли казаху свататься, или невестку принимать, жениха встречать, либо покойника хоронить,— все придется делать по шариату, а не по своим дедовским обычаям. Народу шариат ни к чему». Из-за одного этого Кали был готов поддержать Абая.

Особую позицию заняли в эти дни торговцы-перекупщики. Обычно они не решаются и пикнуть против своих «благодетелей». Как бы ни плакались, ни жаловались и ни ворчали они у себя в семье на своих хозяев-баев, нужда гнала их к воротам высоких домов под зелеными крышами. Теперь они жаждали хоть немножко поквитаться со своими притеснителями. От имени тридцати—сорока перекупщиков к Абаю пришел Есперген с заявлением, что они единодушно решили не идти следом за баями.

— На что нам это все сдалось? Если всякие там Сейсеке снюхались с муллами, так у них один дастархан, одна лавочка. Почему это мы, которые на их пиrowание и в щелку посмотреть не смеем, в этих делах должны вместе с ними быть? Хазрет ли позовет, или наши баи — не пойдём за ними — и все тут! Это им не «иманпос»! Нотариусу белый вексель не отдадут, имущество не опишут! — бушевал Есперген. Разумеется, советам Еспергена следовали далеко не все торговцы. Их отношение к делу находилось в прямой зависимости от суммы кредита, получаемого у большого бая в январе. Если в самый удачный для них год еспергенам удавалось ухватить у бая тысячу рублей, то в городе имелась небольшая кучка перекупщиков, вроде Конырбая или Кодыги, которая уже вывела себе домишки под тесовой кровлей и заслужила доверие кредиторов. Такие брали в долг товаров на три, а то и на все пять тысяч. Такие свысока посмеивались над еспергенами и знать не хотели их советов. Короче говоря, настал момент, когда горожане и жители пригородных аулов и слободок, резко разделившиеся на два лагеря, должны были вынести решение по поводу объединения правоверных мусульман под рукою отца духовного — муфтия.

Большие люди, о которых так пламенно разглагольствовал Кокпай, — все эти имамы и хазреты, баи, мирзы и просвещенные интеллигенты пребывали в жестокой тревоге. Все их многодневные труды и заботы не приносили желаемых плодов. Приговоры не поступали. От тысячи домов верующих казахов и татар их набежало не больше сотни. Опечаленные и возму-

щенные равнодушием своей паствы, хазреты и хальфе всех девяти мечетей снова разослали своих людей по домам. В мечетях решили провести особые сборища, посвященные вопросу о муфтияте. Об этом оповещали везде и всюду, даже на базаре.

Однако тут-то хазреты и баи и получили неожиданный удар. Казахское население не шло на это сборище, если не считать постоянных посетителей мечетей — древних богомольных старичков. А вместе с тем со всех сторон доходили к ревнителям ислама всякие неприятные разговоры и безбожные заявления правоверных: «Муфтию не подчинимся!», «Пусть святы хазреты уберут это добро подальше!», «Казахам муфтият ни к чему!»

И вот вконец растревоженные хазреты и баи постановили собрать последний решающий сбор, на котором вступить в открытый спор с противниками божьего дела, если такие окажутся. Сбор был назначен в медресе главной мечети, где имелся большой зал, способный вместить множество приглашенных с обоих концов города.

Разумеется, первыми узнали об этом Павлов, Бектогай, Сеиль и Сеит. Абай посоветовал всем городским казахам идти в медресе. И сам туда явился.

В зале, рассчитанном на несколько сот человек, были разостланы ковры и стеганые одеяла, корпе. Угощения не было, ибо собирались только для разговора. На полу сидело множество народа. Почетное место заняли настоятели мечетей той стороны, хазреты Габдулжаппар и Габдураззак и такие богачи, как Исхак-бай и Садык-бай. Там же сидели представляющие именитое купечество этой стороны Сейсеке и Блеубай-хаджи, а также местные имамы — Ашим-хаджи и Ахметжан-хазрет. Все хазреты были в чалмах. По обе стороны этого пышного синклита рядами разместились казахские чиновники, одетые во фраки и сюртуки с крахмальными воротничками, а иные — в чиновничьи мундиры с золотыми пуговицами. Татарские и казахские купцы красовались в дорогих меховых шубах, крытых синим, зеленым и черным сукном. Преобладали модные

в то время шубы на лисьем горле, лишь немногие носили енотовые.

С прочувствованным словом к «истинно верующим мусульманам исламской общины» обратился велеречивый Ахметжан-хазрет. Он говорил на странном языке, состоявшем наполовину из книжных арабских изречений, а наполовину — из казахских пословиц и поговорок. Абай слушал, сидя среди своих знакомых горожан. Тут был Бектогай, Есперген, Абен, Сеит, чуть подалее — Кали и Серке. Они перешептывались между собой в ожидании выступления Абая.

После Ахметжан-хазрета от татарских купцов долго и нудно говорил Исхак, доказывая необходимость муфтията. Бай Сейсеке, излишне часто ссылаясь на то, что он неученый казах, говорил нарочито просто и нескладно: «Мы все в одно слово, да сбудется во имя божье! Поддержим, значит, муфтия, сыны казахов!»

Абай рассматривал сидящих обособленно чиновных тюре. Здесь был грузный, с насупленными бровями и рябым лицом, надутый от важности чиновник Нуржанов, а рядом с ним будущий адвокат, петербургский студент Сакпаев, так же старавшийся сохранять внушительный вид. За ними виднелись знакомые Абаю лица Сарманова, Самалбека, Данияра. Абай искал взглядом их вожака, знатного тюре Азимхана Жабайханова, о котором так много слышал, но которого никогда еще не видел. Оказалось, что Бектогай его знает, но сегодня Азимхана не было, он только вчера уехал в Петербург. Люди говорили, что он отправился хлопотать о благополучном завершении дела с муфтиятом, уверенный в успехе здешних чиновников. хазретов и мулл, которым поручил собрать петиции и приговоры и выслать следом за ним в столицу.

Абай пожалел, что Жабайханов отсутствовал. Поэту хотелось сойтись с ним в открытую и испытать на нем силу своего правдивого слова. После переписи девяносто седьмого года Абай составил об Азимхане весьма невыгодное мнение. Теперь этот человек со своим стремлением подчинить казахов чужой и враждебной им власти муфтия снова становился поперек дороги Абаю.

По установленному здесь порядку сбор должен был сначала выслушать всех сторонников объединения мусульман. Выступивший от лица городской интеллигенции студент Сакпаев выразил свое безоговорочное сочувствие этому, видимо, все-таки не вполне ясному для него делу.

Прежде, чем объясниться с присутствующими языком, студент пытался выразить свои мысли руками. Он то сжимал кулаки, то раскрывал ладони, то хватался за свой широкий приплюснутый нос. Со своими выпученными от напускной важности глазами, пышными усами и двойным подбородком, он стремился произвести впечатление человека, знающего цену себе и своим словам.

Порывисто и громко начиная фразу, он тут же сникал, мямлил, глотал концы слов. Его путаная речь была плохо слышна, понять его мысли, если они у него вообще имелись, было невозможно. Ясно было одно: он целиком и полностью «за».

Впрочем, студент и не утруждал себя доказательствами. Наверное, ему не доводилось учиться по-мусульмански: слово «муфтий» он произносил «мупти». Ни одного книжного изречения выговорить не мог. Но это и не казалось ему существенным. Дважды, не сумев произнести арабское «шейх-уль-ислам», он покрутил неопределенно рукой в воздухе, сказал по-русски: «ну, этот самый, как его там, ислам» или «вот этот самый ислам» — и на том успокоился.

После короткого перерыва начал говорить Абай.

Он сразу начал свою речь с того, что казахам нет никакой надобности подчиняться муфтию. И привел три главных доказательства. — Во-первых, — заявил он, — нам говорят, что это будет братская община, объединяющая в одну семью всех последователей ислама. Таким образом, казахам России и Сибири хотят подыскать новых родичей из дальних стран: арабов из Египта, мусульман из Индии, из турецкого халифата, шейх-уль-ислама стамбульского.

Но если мы возьмем любой народ в его повседневной жизни, то увидим, что прежде чем заводить отдаленные связи, он нуждается в мире и дружбе со своими

«У горластого колокола внутри пусто!» — и, едва переведя дыхание, горячо продолжал: — Конечно, религия на свете существует! Но зачем все валить в одну кучу, зачем обманывать народ? Европейцы и русские вовсе не оттого стали образованными, что впереди них шли отцы церкви, наоборот, передовое человечество достигло истинного знания в борьбе с религиозными мракобесами. А ты, защищая фанатическое объединение мусульман, что несешь ты своему темному народу? В простоте душевной я надеялся, что вы, казахские интеллигенты, будете становым хребтом нового поколения, а вы становитесь бичом его, суетные, своекорыстные чиновники!

О, как тяжело разочаровался в вас! Сколько раз еще обманешь ты свой народ, сколько раз продашь его и предашь! Так поди же прочь от нас! Будьте осторожны с такими тюре, как этот. Запомни их повадки, казахский народ! — как боевой клич прозвучали слова Абая, и люди поднимались ему навстречу, готовые смять жалкую кучку перепуганных чиновников, окруживших студента.

— Хватит, довольно мы вас терпели! — кричали люди, угрожая Сакпаеву.

— Никого не хотим слушать, кроме Абая!

— И с какой стати этот адвокатишка сделался другом имамов? — засмеялся Абай. — Сам слово «шейх-уль-ислам» выговорить не может, говорит: «какой-то там ислам», а туда же лезет в ревнители истинной веры. Уже одним этим своим грехом он заработал себе проклятие отцов духовных. И, если они меня называют грешником — «купиром», а тебя — неверным — «капиром», то мы с тобой оба честно заработали свои имена!

Народ с хохотом расходился. Абай одержал полную победу.

Вечером по тайному приказу семипалатинского полицмейстера Федор Иванович Павлов был снова заключен в тюрьму. В ту же ночь в доме Абая производился тщательный обыск. Пять человек жандармов в течение трех часов переворачивали вверх дном дом ни в чем не повинного Кумаша. Они искали

какую-то бумагу, которая хранилась не то у Абая, не то у Павлова, согласно доносу, поданному полицмейстеру за подписью двух-трех баев и составленному будущим адвокатом Сакпаевым. В доносе этом было сказано, что Абай подстрекает казахский народ к бунту по наущению ссыльного русского революционера Павлова.

Не найдя вышеуказанной таинственной бумаги у Павлова, жандармы теперь надеялись извлечь ее из кармана Абая, пока он не успел «замести следы преступления». Но бумага с запечатленной на ней думой о народе хранилась у Бектогая. Она была в таком надежном месте, где ее не отыскала бы и тысяча жандармов.

ближайшими соседями. Тот, кто хочет сблизить нас с мусульманами турецкого халифата, прежде всего стремится отдалить от нашего соседа, русского народа. Хотя здесь об этом и не говорят, но это и так яснее ясного.

А как же ты будешь существовать, отстранившись от русских, казахский народ? Как отдельный человек, так и весь народ в целом живут своей живой жизнью в естественной окружающей его среде: он ест свой хлеб и пьет воду, одевается, строит себе дом. Оставим в покое правоверных из далеких стран, поговорим о вас, семипалатинские казахи. Вот течет перед нами русская река Иртыш,— даже вода, которую мы пьем, связывает нас с русским народом. Ты, семипалатинский казах, ты, народ, хлеба не сеющий, не трудящийся на пашне. Значит и хлеб, который ты ешь, вырастил на полях, убрал, обмолотил и смолот в муку русский мужик. Все твое имущество: одежда, которую ты носишь, утварь, дом и двор,— кров над головой — во все это вложена частица русской души, знания и богатства... И ты хочешь отдалиться от всего этого русского мира?

Во-вторых, волею судьбы, мы — народ темный. Вокруг нас мрак невежества, над нами густой туман, беды наши неисчислимы. Что нам нужно прежде всего? Нужен совет знания! Если сами мы прожили век свой в невежестве, то поспешим приобщить к свету детей и внуков наших, раскрыть на мир хотя бы их глаза. Мы отстали, нам надо спешить! И здесь, сумей только захотеть, щедро поделитесь с тобой своим светом, светом русской науки истинные друзья наши, передовые люди русского общества.

В-третьих, наш семейный быт, наши женщины будут жестоко страдать от подчинения муфтию. И без того в несправедливом унижении страдают жены и дочери наши. А подумаешь о тех народах, где укоренилось истинное мусульманство, где свирепствует шариат! Там женщины в еще большей беде, чем у нас. Жизнь их подобна темной могиле. Неужели мало еще обездолены казахские женщины, проводящие жизнь свою на привязи, как скот на базаре? Неужели должны мы надеть на них еще чадру и чачван, дать им паран-

джу и покрывала, отгородить их от белого света!

От стародавних, обветшалых и несправедливых обычаев невежественных предков можно и нужно освобождаться в борьбе. Но идти дорогой поисков «братьев по вере», на поводу у муфтия, значит загнать народ наш в кромешную тьму, самим заблудиться и всех простых казахов сбить с пути безвозвратно. Идея всемусульманского объединения, мягко говоря, заблуждение, а если сказать начистоту — враждебное, вредное для народа дело. Не поддавайся сладким словам и лживым уговорам, казахский народ! Опомнись, народ мой, и не давай себя в обиду! Вот и все, что я хотел сказать,— закончил Абай, и в ответ на его слова народ, бедно одетые люди зашумели прибоем голосов:

— Абай правду говорит!

— Вот это слово так слово! Спасибо!

— Не надо нам муфтия, без него проживем!

— Всего народа мысли Абай высказал!

Не решаясь выступить против Абая, главари собрания.— муллы, имамы и баи испуганно молчали, раздражать и без того возбужденный народ было рискованно. Только один студент Сакпаев петушился среди кучки «зиялов», не к месту щеголяя русскими словами. Задрав голову и глядя на Абая снизу вверх, он пытался ему возразить:

— Вы это что же? Вас называют Абаем, вы — поэт, а не знаете простых вещей...— залепетал было он, но Абай прикрикнул на него, махнув рукой:

— А вы? Вас называют образованным, просвещенным человеком. Так зачем же вы путаетесь сами и путаете других людей. Вы-то зачем лезете не в свое дело?! — Гнев охватил Абая. А студент, сидя на корточках, упрямо бубнил:

— Нет, позвольте! Народа без религии не бывает. Все порядочные народы имеют свою религию! Ведь и знание и наука — все, все от религии. Посмотрите на католиков! Или на ваших русских, у них есть свои князья, дворяне, ученые, поэты. Но ведь у них и религия есть!

Абай резко оборвал студента:

— Ну, довольно болтать! Недаром говорит народ:



В ГОЛОЛЕДИЦУ

1

С наступлением холодов Абай поселился в отдаленной зимовке Айгерим на Арал-Тобе и все свое время проводил за книгами. В Акшоки жили Магаш, Нурганым и Дильда, а для себя с Айгерим Абай построил отдельное зимовье, примерно, на полпути между Семипалатинском и Акшоки. Верхом на хорошем коне отсюда можно было за день доскакать до города. Верст на восемь в окружности расположились многочисленные зимние аулы: совсем рядом — дом Акылбая, чуть подалее беспорядочно разбросанные по холмам землянки жатаков. Дом Айгерим совсем такой же, как в Акшоки: просторные комнаты с большими окнами и деревянными полами. По соседству устроились Дармен и Макен да тихий и учтивый Хасен-мулла, который обучал внуков Абая и других ребятишек поселка.

Первый месяц зимы начался спокойно и мирно. Абай ежедневно подолгу сидел за книгой, а затем звал к себе Айгерим, Айгерим посылала за молодежью, и поэт подробно и живописно рассказывал о самом интересном из прочитанного. Но уже с середины декабря поднялась тревога. Не только в ауле Айгерим, но и у Акылбая на Талдыбулаке и у старожиллов аула Хаджи страшились небывало сурового начала зимы.

Стояли сплошь морозные дни со снежными буранами и сильными ветрами. Холмистая, пересеченная ов-

рагами местность Бауыра и Байгабыла была богата сенокосными угодьями и обильно орошалась многочисленными ручейками. Здесь были болота и кустарники, но довольно и хорошей земли, пригодной под пашню. Однако эти места оказались менее удобными для зимовья, чем многие другие урочища Чингиса, Жидебая и Акшоки. Снега здесь выпадают глубокие, и в особенно суровые зимы, которые обычно следуют за жарким засушливым летом с плохим травостоем, гололедица, джут прежде всего настигает жителей Бауыра.

Те, кто занимался земледелием, охотно селились на Бауыре. Однако, памятуя о здешних жестоких зимах, в каждом хозяйстве в погожую летнюю пору старались заготовить как можно больше сена. Близ зимовки Абая на Арал-Тобе, у Акылбая на Талдыбулаке, близ аула Хаджи на Борлы возвышались огромные стога. Здесь было больше сена, чем у казахов всего Чингиса вместе взятых.

Зимние запасы кормов — это первая забота здешних жителей, но у них есть и еще один выход на случай приближения джута. Уже с начала холодов зимовщики начинают внимательно следить за погодой, за состоянием снегов, заранее готовясь к борьбе со стужей. И, если, как вот теперь, декабрь стоит лютый, на Бауыре оставляют только самый истощенный, слабый скот, а всех коров и овец, пригодных на выгон, отправляют на укрытые от ветров далекие пастбища Чингиса, Жидебая и Акшоки. Бесконечной вереницей тянутся тогда в сторону горных ущелий стада, оберегаемые своими пастухами и хозяевами. Собравшись в доме Айгерим, жители четырех-пяти соседних зимовок посоветовались между собой и решили, не мешкая, спасаться от бедствия джута так же, как издавна делали люди Бауыра.

«Начало зимы не сулит ничего доброго. Лето было сухое, кормов у нас у всех запасено мало. Не дай бог затянется зима,— весь скот окажется на краю гибели. Пока он еще в теле, надо гнать овец и коров к Акшоки, Жидебаю, Чингису».

Все окрестные аулы, каждый со своими стадами, решили сниматься и трогаться в путь вместе в один

в город. Лица обмороженные, в пятнах, страшные. В общем, начало зимы такое плохое, что и человеку и скотине помирать впору. Абды слышал, что весь Семипалатинский округ, а за ним и Карабужур, Калба, Усть-Каменогорск и еще дальше — Кокпекты, Тарбагатай — тоже, говорят, в тяжелом положении. А уж, если сказать о краях, что на закат от нас, за Акбота́й, Дагеленом, в Каракесеке и еще подальше, Кара-откель и сюда поближе — Суюндик, Куандык — отовсюду идут худые вести, и людям и скоту приходится туго.

За чаем и за обедом Абай и Дармен без конца расспрашивали Абды. Их тревожило положение горожан: как там Сеит с Абеном и другие их товарищи в Затоне? Оказывается, суровая зима теснила и их. Летом по всей области был неурожай. Теперь это и дает о себе знать. Хлеба на базаре нет. Все дорого. В ином доме корки черного хлеба, щепотки чая на заварку не сыщешь.

А потом Абды, словно спохватившись, что неудобно потчевать гостеприимных хозяев одними только дурными новостями, круто переменял разговор:

— Да, так вот на этом и кончим говорить о нехватках да недостатках. У тех, кто с дороги, спрашивают обычно: «Что на свете хорошего, что плохого?» Поэтому-то я худого не утаил. А под конец у меня для вас, Абай-ага, хорошие вести!

Оказывается, в городе сейчас происходит большой чрезвычайный сбор шести уездов. Съехались, так называемые, лучшие люди, сливки родов, горных, степных и низинных. Уже неделю идет большой спор, словесное состязание, борьба. Соседние роды двух уездов, как у нас керейцы с Тобыкты или с найманами, враждуют, делают набеги друг на друга, разоряют аулы, угоняют скот. Дело до убийства доходит. Никому покоя нет. Абды рассказал о тех тяжбах, которые рассматривались на съезде, и о людях, прославленных подвигами или позором.

— По слухам,— говорил Абды,— все люди на съезде хвалили неких «целителей недугов народных», «миротворцев, широкий путь находящих там, где другие и броду не могут найти». Среди выборных Тобыкты

и даже всей Семипалатинской области прославил свое имя мудрым и справедливым своим словом Магаш.

Абды, который хотел его навестить, своими глазами видел, что весь двор и вся улица перед домом, где он жил, были полны людьми, которые пришли к нему за помощью и советом. Судя по одежде, малахаям и по тавру на конях, тут были не только тобыктинцы, но и бошаны, шакантай-керейцы, терис-такбал-матайцы, сыбаны. Абды очень обрадовался тому, что большинство людей, приходивших к Магашу, было в поношенных шубах, рваных чапанах, потертых малахаях и чекменях,— все, как есть, беднота. Самому-то Абды так и не удалось пробиться к Магашу, но он ушел от его двора довольнехонек.

Абай со всеми домочадцами радостно слушал добрые вести о Магаше. Через два-три дня в Арал-Тобе остановился еще один проезжий. Он прибыл перед закатом солнца и долго возился во дворе, застывшими руками распрягая коня и бережно укрывая кошмой и пологом мешки с хлебом, которые вез на санях. В доме он появился перед вечерним чаем, когда уже зажгли свет. И он так же принес с собой нестерпимый, лютый холод этих дней. Легко одетый Абай, почувствовал как потянуло морозом, когда к нему в комнату вошел поздороваться добротной одетый путник, а с ним вместе Дармен и Хасен-мулла. Промерзшие сапоги всех троих дымились холодом, белые космы пара стелились по полу. Айгерим, которая накрывала на стол, вздрогнула от стужи и на минуту прижалась к мужу. Путник с круглой обледенелой бородкой, заснеженными усами и бровями, еле ворочая языком, произнес слова приветствия.

— Уай, Алпеим, ты? — удивился Абай.— Ну как, все еще изучаешь наху или обрел другую цель жизни?

Неловко осклабясь своим, все еще сведенным холодом ртом, гость весело ответил:

— Куда там! Бросил я эту наху, Абай-ага. Ваше слово меня исцелило от дури. Как вы посоветовали, поехал я в свой аул, на такыр, отцовским ремеслом занимаюсь. Как вы сказали тогда: «сей хлеб, займись полезным трудом»,— так я и сделал.

За чаем Алпеим рассказал, что ездил в город муку

у Магаша, к которому целый день ходили люди и до того утомили его, что последнюю тяжбу он разбирал уже лежа. Когда примиренные спорщики ушли, Какитай и Самарбай стали ему советовать: «Поезжай ты скорее домой, в аул. Ведь здесь на тебя с утра до вечера целые толпы наседают!» Тогда Магаш им ответил: «Стоит ли предупреждать: берегись смерти. Все равно, когда настанет твой час, меч всевышнего судии тебя настигнет. А он и железо крушит». И Магаш продолжал: «Люди приходят ко мне и спрашивают: «Есть ли у тебя разум и справедливость? Где то драгоценное, что ты получил от доброго отца, тебя воспитавшего? Все отдай нам, залечи недуги наши!» Как же я им откажу? А кто мы такие сами? Что мы храним в себе? Хочу испытать свои силы!»

Самарбай запомнил одно изречение Магаша: «Золото, спрятанное скупцом, не лучше простого камня, скрытого под землей».

Абай с удивлением слушает слова сына. Он говорит, оказывается, и о том, как дорог каждый час жизни, как важно не потерять его напрасно. И еще запомнил Самарбай, как верно и метко сказал Магаш: «Каждое дыхание жизни — драгоценно. Но что поделаешь? Не в нашей власти остановить его, или продолжить, сколько ни умоляй: не проходи, не кончайся! Медленное течение минут быстрее бега самого лучшего скакуна. Ничего не поделаешь!»

Восхищение талантом сына, который мог бы стать поэтом и мудрецом, смешивалось в сердце Абая с жгучей тревогой о его судьбе. Всю ночь он ворочался в постели, не находя минуты покоя, а наутро вместе с Дарменом начал спешно собираться в путь.

Мороз не сдавал. Все вокруг застыло в белом тумане. Но это не останавливало Абая. На дно его кошевки постелили толстую кошму. Тепло укутанный, Абай сел спиной к ветру и со слезами на глазах попрощался со всеми людьми аула. Айгерим тоже плакала, и слезы тут же застывали на ее истомленном бледном лице. И долго еще, когда сани, запряженные парой добрых коней, уже неслись по дороге в город, Абай видел перед

собой печальные глаза жены, неотрывно глядящие на него с беспредельной любовью.

В городе Абай велел ехать прямо к дому Сулеймана, где остановился Магаш. В дороге он ничего не ел, не спал, все время находился в беспокойном, мрачном раздумье, и теперь у него было изнуренное лицо тяжело больного.

Услышав скрип саней, въезжающих во двор, и разглядев закутанного Абая, Магаш быстро накинул теплый бешмет и малахай и поспешил навстречу отцу, сердцем чувствуя его тревогу и стремясь хоть на миг успокоить его. Под шубой на Магаше был сшитый городским портным тонкий чекмень, сотканный из верблюжьей шерсти и розового крученого шелка и отделанный коричневым бархатом. С бледным лицом, на котором горели большие черные глаза, со своей ладной небольшой фигурой, к которой очень пристали темный бешмет и высокий лисий малахай, Магаш показался Абаю очень красивым.

Абай сперва даже и не узнал одетого по-городскому джигита, пока тот не поздоровался нарочито бодрым, веселым голосом. Абай ожидал увидеть сына в постели, и теперь, глядя, как быстро он сбегает вниз по лестнице, слыша его звонкое приветствие, радостно подумал, что Магаш, наверное, поправляется.

Растроганный отец, неповоротливый от надетых на нем теплых вещей, еще на лестнице притянул к себе сына и тихонько поцеловал его глаза. Идти рядом по узкому пролету было неловко, и Абай пропустил Магаша вперед. Тут-то он с тревожно забившимся сердцем отметил его замедленную, не по летам тяжелую походку. Мелькнувшая было на миг надежда снова угасла, но Абай и виду не подал. Весь этот вечер Магаш бодрился изо всех своих сил. Он делился с отцом своими раздумьями, рассказывал о городских впечатлениях, о чрезвычайном съезде. Старался развеселить Абая, остроумно высмеивая близких и дальних сородичей, тонко подмечая в них все смешное и ничтожное. И когда этот мягкий и доброжелательный молодой человек начинал говорить о дурных нравах и низких поступках степных аткаминеров, управителей и сутяг, его

шутки звучали горечью и злостью. И все же, обличая этих людей, он стремился быть справедливым и к ним, объясняя их гнусные дела не злою волей, а невежеством и темнотой.

За несколько месяцев, проведенных в городе вдали от отца, Магаш сильно изменился и словно вырос. Абай понимал, что он выдержал суровое испытание в борьбе, принимал и отражал множество ударов, вступал в схватки с сильнейшими противниками перед лицом многолюдных сборищ. Вдумчивый, хорошо образованный, обладающий внутренним чувством меры, Магаш, участвуя в чрезвычайном съезде, приобрел немалый опыт, понял всю сложность людских отношений и теперь не уступал любому выдавшемуся деятелю и борцу.

Только сейчас Абай по-настоящему понял и оценил то, что ему рассказывали о Магаше люди, приезжавшие из города в Арал-Тобе. И чем больше переполнялось отцовское сердце гордостью за сына, тем более страстно желал он ему здоровья и долгой жизни. Хотя Магаш в этот вечер умышленно переводил разговор на другое, Абай не переставал выпрашивать его о болезни и докторях. Насколько сведущ тот врач, у которого лечится Магаш, можно ли на него всецело положиться? Считают ли его достойным доверия Павлов и его жена?

Абай много раз возвращался к этим вопросам, и Магаш терпеливо отвечал, что его лечит недавно приехавший в Семипалатинск доктор Станов, человек средних лет, опытный, образованный, вполне заслуживающий доверия. В эти дни он не только лечил Магаша, но и подружился с ним. А привел его и познакомил с Магашем именно Павлов. Станов очень внимателен. Отец убедится в этом, когда поговорит с ним сам, а потом они все вместе посоветуются еще и с Павловым и решат, как быть дальше. Он говорит это не в утешение отцу, он сам чувствует, что в его болезни нет ничего особенно страшного. Так, в первый день встречи Магаш старался хоть немного успокоить отца.

Однако и в эту ночь Абай не спал. Он напряженно прислушивался к каждому шороху, вздоху, покашливанию, доносившимся из дальней комнаты, где Магаш

тоже лежал без сна на своей высокой постели. В глубокой тьме, отделенные друг от друга несколькими комнатами чужого дома, не видя друг друга и лишь угадывая на расстоянии по едва уловимому шелесту, дыханию, скрипу, отец и сын мысленно беседуют между собой. От сердца к сердцу идет тревожная и опечаленная их любовь: отца к сыну, сына к отцу.

В эту ночь Магаш понял, что, живя вместе с ним, отец не найдет покоя. Его нужно чем-то утешить, позабавить, отвлечь. Ведь даже самые могучие души иной раз нуждаются в утешении и доверчиво, как малое дитя, принимают минутную передышку. Теперь Магаш, поглощенный заботой об отце, уже не думал о себе. «Если со мной, не дай бог, что-нибудь случится, рухнет его опора, последняя его надежда развеется в прах. Выдержит ли он это, переживет ли?»

И при мысли о страданиях отца впервые за свою болезнь Магаш почувствовал, как тяжелая душная волна подкатилась к его горлу. Задыхаясь, он мучительно удерживал слезы, вот-вот готовые хлынуть из глаз.

На следующий день вечером он сам посоветовал отцу переехать к Кумашу. Абай привык останавливаться там. У Кумаша тихо, уютно.

Была суббота — день, в который учащаяся молодежь обычно приходила к Магашу с ночевкой. Теперь он, снарядив большие розвальни, всей гурьбой отправил ребят к Абаю. Это были любимцы поэта: возмужавший сын Даркембая Рахим и его неизменные спутники Асан, Усен, Аскар, Максут, Шакен и Мурат, которые так же сильно вытянулись, подросли. Была здесь и неразлучная пара гимназистов Кунанбаевых — ученики пятого класса Нигмет и Жалель, которым уже сравнялось по шестнадцати лет.

Рахим — самый старший. Он уже самостоятельно распоряжался своей судьбой: окончив русскую школу, поступил в учительскую семинарию, которая открылась в Семипалатинске в эту осень. Асан в этом году кончает пятиклассное городское училище. Дети городских рабочих, Аскар и Мурат, тоже сильно изменились. Учение им пошло впрок, держатся они свободно, уве-

и тот же день. Снег лежал глубокий и, чтобы проторить дорогу для скота, надо пробиваться через сугробы. А это будет под силу, если все пойдут скопом и станут работать поочередно. Каждый аул с верхом нагрузил сеном по двое-трое саней. Сопровождали скот мужчины и тепло укутанные женщины, помоложе и посильней. Впереди каждого аула шли сани с кормом и съестными припасами для людей, а за ними длинной пестрой лентой тянулись вереницы отар и гуртов.

Абай в этом году совершенно не вмешивался в хозяйственные дела Айгерим. Он только прислушивался по утрам, как она распоряжалась или советовалась с соседями, но сам редко принимал участие в этих разговорах. Только теперь он с радостью увидел, какой она умела быть внимательной, предусмотрительной, настойчивой. И тревожилась она, видно, не даром.

Айгерим душевно заботилась о людях, которые возились со скотом, но и хозяйство вела обдуманно, разумно. Отправляя стада своего аула на Акшоку, она очень толково подобрала пастухов из своих сородичей Мамай-Байторы, ставших теперь ее соседями. На помощь опытному, положительному Наймантаю она позвала еще троих дюжих парней — Торгая, Мангазы и Акжола.

Тепло одевшись и взяв с собой Дармена и Макен, Айгерим вышла во двор, чтобы проводить пастухов и распорядиться отправкой скота. Своими руками укутала она шарфом шею самого молодого из пастухов, коренастого краснощекого Акжола, заботливо наставляя:

— Смотри, не обморозь лицо и руки. В случае чего три хорошенько снегом.

Она пожелала соседям доброго пути, и в ее прекрасном голосе дрожала неподдельная тревога. Пока трое саней и понурое стадо не скрылись за высоким бугром, она не уходила в дом и, не отрываясь, смотрела им вслед.

Стоял трескучий мороз. Хорошо, что сегодня было тихо. Обычно в этих местах в самые студеные дни поднимается еще и пронзительный, обжигающий ветер. Не случайно здешний народ дал столько названий зим-

ней непогоде: «трескучий мороз», «ревущий мороз», «воющий мороз», «каленный мороз».

В этом году декабрь сковал льдом окрестности зимовки Абая и Айгерим, наводя ужас своим смертоносным дыханием. Опытный и выносливый чабан Тунликбай вернулся в аул с обмороженным лицом. Плохо одетые соседи не смели и носа высунуть со двора. Если изредка в зимовке и появлялся кто-нибудь из проезжих, значит, его погнала из дому безвыходная нужда. В какой аул ни зайди,— и стар и млад в страхе жались от беспощадной стужи.

— Рано нас нынче прижала зима! Что-то дальше будет?

— С лета травы пожгло суховеем, негде пастись бедному скоту!

Вдобавок и снег сыпал без конца. Он сравнивал хребты и низины — кругом, сколько хватает глаз, простирается белая стылая гладь. Ничего-то на ней не увидишь: ни кустика, ни травинки. Поискать бы овцам травки, роя снег в кустарниках таволги, в зарослях чия и камыша, но это мелкому истощенному скоту не под силу. Снег совсем затвердел. Десятидневный мороз с ветром утрамбовал сугробы, превратил их в глыбы литого стекла.

«Только сытые кони выбьют себе копытом корм из-под снега. А овца с коровой — и не суйся!» — говорили люди. Все население Бауыра тревожила одна забота:

— Надо ставить скотину на стойловый корм. Но у кого же на это корму хватит? Такого обилия сена ни у кого здесь отродясь не бывало. А уж в этом году и подавно! С лета видно было, что год идет тяжелый. Где ж тут кормами запасть!

Абай и Айгерим неоднократно слышали такие слова от всех прохожих и проезжих опытных в хозяйстве людей. Поэтому-то Абай сразу одобрил предложение Айгерим отогнать овец, лошадей и коров в Акшоки и Жидели. Теперь большая часть скота была отправлена в путь и канула в снежное пространство. На зимовке остались лишь полугодовалые ягнята, старые овцы, стригуны, телята, кое-какие верблюжата послабее — словом, те животные, которым не под силу был суро-

вый зимний перегон. Здесь же оставлено было и несколько крепких сытых коней для разъездов. Уход за таким малочисленным скотом не так уж тяжел, с этим вполне справятся женщины и ребяташки. Суета, целые десять дней отвлекавшая Абая от занятий, понемногу улеглась. Стала успокаиваться побледневшая от забот и тревог Айгерим. На ее сияющее приветливое лицо снова возвращался легкий румянец. Снова слышался ее звонкий певучий смех. Казалось, она становилась еще прекраснее.

Еще вчера она могла говорить, слушать, заботиться только о пастухах, о корме для овец, а теперь иной раз за обедом она попросит Абая рассказать, о чем он читает. Абай поворачивается к ней, захлопывает толстую книгу и, чуть проведя пухлыми пальцами по усталым полуприкрытым векам, начинает рассказывать, да так увлекательно, живо, интересно! Айгерим сделает едва заметный знак Злихе, та сбегает за Макен, Дарменом, Хасен-муллой, и все, затаив дыхание, слушают. А Абай, увлекаая их и увлекааясь сам, говорит о чудесных теплых странах, где сияет золотое солнце, о необыкновенных людях с прекрасным лицом и благородной душой, смелых и гордых, отважно борющихся со злом. Эти доблестные герои не страшились своих жестоких врагов, чья мощь вздымалась, подобно черной горе, чья злоба и коварство были неистощимы.

Так спокойно текли дни после отправки скота из Арал-Тобе. Вот и сегодня в полдень Абай, сидя у круглого стола возле высокой кровати Айгерим, читал толстый французский роман, когда дверь большой комнаты открылась и весь заиндевелый, промерзший путник с приветствием переступил порог. Вся одежда гостя, все, от поношенных толстых опойковых сапог до ременной плетки, которую он держал в руке, дымилось холодом. Как будто в теплую комнату, где укрылся Абай, глянула сама жестокая морда мороза, с окованными льдом усами и бородой. Сапоги путника сначала заиндевели, побелели, а затем закурились паром, и пар от них стлался по полу, словно само дыхание стужи. Опущенные уши малахая густо покрыты инеем, его серая мерлушковая опушка превратилась в снежно-

ледяной ком. Только когда гость, занимая по приглашению Абая почетное место, дружески, как старый знакомый, поздоровался с хозяином, Абай узнал в нем доблестного джигита Абды. В комнату, здороваясь, вошла Айгерим, а за ней Дармен и Макен. Когда-то мужественный и прямой Абды, не щадя, как говорится, жизни, бился за их счастье. Путник, сняв малахай и осторожно вытаскивая льдинки из усов и бороды, начал рассказывать откуда едет.

— Возвращаюсь из города. В пути два раза ночевал и то до вас еле живой добрался. Конь мой совсем выбился из сил. Жалеючи его, ехал не торопясь, да и мороза побаивался, все больше к аулам жался — сегодня с утра выехал из Каная Коп-Сакау!

Душевно расположенный к джигиту, Абай забеспокоился:

— Да ты совсем замерз, шутка ли такая стужа опять завернула! Ты скинь, скинь чапан, набрось его на плечи, грейся хорошенько! — и, обернувшись к женщинам, заторопил хозяек: — Айгерим, Макен! Соберите скорее чай, готовьте курт, да с обедом поспешите! Ведь Абды который день на морозе, замучился совсем! Позаботьтесь о нем как следует!

Айгерим и Макен пошептались между собой и, кликнув себе на помощь бледную молчаливую Карипжан, засуетились по хозяйству.

Теперь, в теплой комнате Абды начал отогреваться, и его лицо густо покраснело. И он, как все в эту пору, прежде всего заговорил о зиме:

— Плохая зима, далеко свои сети расставила! Что ни день, то больше бедствующих. Теперь, Абай-ага, каждый встречный и поперечный только и говорит, что о проклятой этой стуже!

Абай спросил об уаках, через земли которых Абды проезжал: как там у них? Вдоль всей дороги — у Балта-Орака, Муқыра, Аркалыка, Кушикбая, Каная — везде уйма снегу. Скот переводят на домашний корм. Все, у кого только сил хватает, говорят, пробираются поближе к горам, или к берегам Иртыша, в надежде, что там можно будет хоть немножко кормом разжиться. Жалко смотреть на всех идущих и едущих по дороге

молоть. Половину хлеба продал на базаре, закупил сахар, чай, кое-что из одежонки. Теперь он на зиму всем обеспечен. По сравнению с другими степняками он, благодаря трудам своим, просто богач. Люди-то ведь голодают.

Ободренный словами Абая, «вот бы и другим с тебя пример взять!» — Алпеим разговорился. Парень он был дельный, обходительный, слов ему не занимать стать. Он подробно рассказал о трудном положении города и аула. Зима угрожает не только скоту, но и людям. Алпеим хорошо знал бедняцкие аулы, расположенные вокруг Семипалатинска — выше и ниже по Иртышу. Такие многолюдные поселки, как Шоптигак, Жоламан, Озерке, а в низовьях Байгели-Шагала, Карашолак, Кенжебай, Жалпак совсем в разор пришли. Люди разбрелись по городам на заработки, а кто и побираться.

Цены на базаре большие. Съестного продают мало. Ведь аулы вокруг города тоже пострадали от неурожая. По дороге заезжих уже перестали пускать, берегут каждую травинку сена, стебелек соломы. Даже из своих продуктов ничего приготовить не разрешают — каждое полено дров на счету. Да оно и понятно, — морозы жмут без передышки. Возле Кушикбая и Мукыра свирепый и беспросветный буран метет уже который день подряд! Суровые вести Алпеима дышали холодом этой беспощадной зимы. Но и он, так же, как Абды, привез хорошие вести с чрезвычайного съезда.

— Около сотни биев съехались из шести уездов и размещены вместе в пяти-шести домах. Среди всех них особо выделяется Магаш. Он, видимо, устал, что-то уж очень бледный. О нем люди так и говорят: «Ростом невысок, а мыслью велик». «Сразу видит, где черное, где белое!» Это я сам слышал, и от горожан и от тяжбщиков. Красноречивый и понятливый, Алпеим обладал еще и великолепной памятью. Когда Абай спросил, не помнит ли он, что именно говорил сам Магаш, Алпеим ответил:

— Я, как справился со своими делами, нарочно поехал в дом Сулеймана на ближнем берегу, где Магаш принимал жалобщиков, и пробыл там целых два дня.

Слышал я, как он с людьми разговаривает и кое-что для вас интересное запомнил.

У каракесеков есть известный своим острым словом бий Кали. Вы его знаете, он с вами выступал в больших спорах. Он ведь намного старше Магаша, человек известный: его считают одним из четырех лучших биев Семипалатинска. Вот к нему и приходят с тяжбой два уаковца. Были они друзьями-тамырами, дарили друг другу подарки, а потом один у другого что-то очень много запросил, тот не дал, ну, все у них и расклеилось — поссорились. Пришли к Кали разбираться, с кого сколько назад получить причитается. А Кали что-то все тянет, спрашивает да переспрашивает, никак их тяжбу решить не может. Тогда Магаш вежливо так обращается к бию: «Кали-ага, мне кажется, этот спор разрешить не так уж трудно. Если позволите, я скажу». Ну, тот говорит: «Что же, послушаем!» Магаш и предлагает свое решение: «Тамыром стал — не спорь, подарил — назад не проси». Что, если на будущее сделать это постоянным правилом, ввести в обычай? Сколько тяжб отпадет! Все сидевшие в доме пятнадцать биев с медалями на шеях одобрили находчивость Магаша, Все это я сам видел!

Абай задумчиво произнес:

— Раньше я ничего подобного не слышал. Это что-то новое!

Дармен засмеялся:

— Потому и новое, что это сам Магаш, по-моему, сочинил. Да и как он сказал красиво, сразу видно — слова поэта.

— После этого Кали, шутя, упрекнул Магаша: «Ты, мол, вперед выскочил, мое слово у самых уст перехватил!» — продолжал Алпеим.— Но все же в шутке этой была и досада и колкость. «Милый ты, говорит, ягненок, быть тебе старейшиной рода! Но ведь для этого надо до старости дожить, а ты, молодой, старикам дорогу перебегаешь!» А Магаш тут же ему в ответ: «Обманом аула не соберешь, жадностью славы не наживешь. Стоит ли вам с пустяками считаться?»

Кали было замолчал. Но ведь кругом сидели смутьяны, им пить-есть не давай, дай языком поболтать.

Вот один бий и стал Кали на смех подымать: «Бывало, Кали всех нас опережал, но недаром говорят: «Борзая в теле и лису в горах схватит». Ловко молодой Магаш старого Кали поддел!». То ли Кали слова в ответ не нашел, то ли обидой захлебнулся, только Магаш поспешил поддержать старика: «Полно, Кали-ага! В шутке обиды нету, сплетне запрета нету, смущаться причины нету!»

Ну, тут уж и Кали оправился и ровесника своего, бия Буры, прямо наповал уложил:

— Недаром говорится: «Пустую голову глупые глаза украшают, грязные уста пустыми словами сыплют». За двадцать дней, что мы здесь находимся, ни разу я не слышал от тебя такого слова, которое дыру зашивает, оборванные концы связывает. Ты для меня сраму дожидался, а братец мой, Магаш, меня из беды вызволил.— Так он и бия противника опрокинул и сам из скверного положения вышел. И все-таки ваш Магаш там был хоть самый молодой, но самый находчивый.

Рассказ Алпеима, который отнюдь не был пустой лестью, снова порадовал отцовское сердце Абая.

Городские вести о Магаше через неделю привез и еще один приезжий. Это был близкий семье Абая человек Самарбай-мулла. Когда-то он был одним из тех мальчиков-сирот, которых Абай привозил в город учиться. Теперь он стал высоким, стройным молодым человеком, весьма хорошо воспитанным и начитанным. Хотя в свое время он и получил мусульманское духовное образование, теперь он хорошо понимал значение русской культуры и возмещал упущенное чтением книг. По окончании медресе он остался жить у Магаша, как его названный брат. К тому же он уже два-три года как начал учить детей в Большом ауле. Он знал многие из переводов Абая, помнил и рассказы Абиша, переданные ему Магашем и Какитаем, свято хранившими память о брате. Самарбай был прекрасным рассказчиком и тешил взрослых и детей многочисленными романами, поэмами, сказаниями, которые сам слышал от Абая. В Арал-Тобе Самарбай-мулла приехал, чтобы приветствовать Абая и передать ему письмо от Магаша.

По лицу мужа Айгерим сразу поняла, что письмо неприятное: бумага дрожала в руке Абая и у него был такой растерянный, беспомощный вид, словно он никак не может разобрать написанное. Айгерим быстро достала из костяного шкафчика очки и подала ему, и теперь, ранее лишь почувствованная встревоженным сердцем, тяжелая правда становилась очевидной. Оторвавшись от письма, Абай испуганными глазами глядел на Самарбая, а тот печально опустил голову, словно не в силах был смотреть на взволнованного отца. Магаш в своем письме сообщал: «...последнее время мне что-то нездоровится. В городе у меня так много дел, что сам я приехать никак не могу. Был у доктора и жду его заключения. Не знаю, как поступить дальше: остаться лечиться в городе, или же, получив указания врача и лекарства, вернуться домой? Очень нуждаюсь в вашем совете!»

По природе скромный и деликатный, Магаш не пишет отцу: «Приезжайте!» Но его желание видеть отца сквозит в каждой строке. Абай попробовал успокоиться, обдумать все обстоятельно, сел даже пить чай, но не мог. Сердце его билось неровно, холодный пот выступал на лбу. Он то вставал, то садился, то снова вставал.

«Опять горе надвигается! Опять призрак смерти передо мной. Единственная радость жизни моей, только начав цвести,— уже вянет, опора утомленного сердца, ужели она надломилась? Только начали созревать плоды отцовского воспитания, ужели и он, Магаш, не успев ничего совершить, исчезнет?»

Когда домашние расспрашивали о здоровье Магаша Самарбая, Абай молча, боязливо заглядывал ему в лицо. Чуткий и сдержанный молодой человек старался осторожно отвлечь отца от мрачных мыслей и, как бы отвечая на вопросы других, говорил ему о том, какую добрую славу приобрел Магаш, как его любят в народе, как благодарят.

А Абай, словно прося утешения, все смотрел на Самарбая печальными своими глазами, и тот, понимая молчаливую эту просьбу, спокойно и ровно рассказывал еще и еще. Однажды Какитай и Самарбай были

ренно. Они уже отпускают себе волосы, совсем, как большие. Им очень идет опрятная школьная форма. Лица у них умненькие, серьезные и в то же время веселые, чистые руки прекрасно справляются с перьями и карандашами.

А Нигмет и Жалель становились взрослыми молодыми людьми. Считая себя знатными, белой костью, они теперь держатся еще высокомерно. Нигмет с его тяжелыми веками и темным лицом был особенно неприятен, когда смеялся. Сначала презрительно выпячивалась вперед его толстая и красная нижняя губа, а потом уже открывался ровный оскал крупных белых зубов. Из его острых блестящих глаз всегда, даже когда он, казалось бы, открыто и весело шутил, выглядывало что-то холодное, азимбаевское.

Совсем чужим показался на этот раз Абаю сын Какитая Жалель. Черные, как уголь, и жесткие, как конская грива, густые, торчащие щеткой волосы придают его большой голове упрямое выражение. Если высокий и выпуклый его лоб свидетельствует об уме, то косые, настороженно глядящие из-под припухших век глаза говорят о том, что ум этот расчетливый и жестокий. Отсутствие ресниц на бледных вывернутых веках делает его взгляд еще более отталкивающим, а кривая усмешка, обнажающая мелкие редкие зубы, кажется неискренней. Маленький, пуговкой, нос Жале-ля совсем не идет к его угрюмому замкнутому лицу.

Оба юные Кунанбаевы не очень-то стесняются Абая. Им дела нет до того, что он поэт, мыслитель, уважаемый всеми большой человек. Куда бы они ни являлись, все должны их баловать, угождать им, на руках их носить. Им и в голову не приходит, что степной казах может быть равным им, городским гимназистам. А так как одеждой, повадками, всем своим обликом Абай внешне не отличался от отцов и дедов этих юнцов, они и его считали одним из необразованных степных казахов, не заслуживающих особого внимания. Когда Абай называет имена русских поэтов, говорит о русских книгах, стихах, они слушают его, снисходительно посмеиваясь. Они не могут простить поэту, который начал учиться уже взрослым человеком, его

неправильное произношение некоторых русских слов. Все его рукописи, книги, разговоры о просвещении они считают пустой и скучной забавой малограмотного старика.

И сегодня в гостях у Абая они остались верными себе: потребовали большие подушки, бесцеремонно задрав ноги, растянулись с папиросами в зубах, шепотом переговариваясь по-русски. Они болтали о гимназистках, с которыми знакомились на вечеринках, о хорошеньких дочках квартирных хозяек или не слишком строгих молодых женщинах и невестах. Отнюдь не жаждавшие серьезной беседы с Абаем, они вскоре уединились в соседней комнате и там, валяясь рядом на высокой постели, хихикая, поверяли друг другу свои сомнительные «тайны».

Совсем по-другому ведет себя молодежь, оставшаяся с Абаем. Школьники горячо сочувствуют его горю и изо всех сил стараются получше выполнить просьбу больного Магаша, отвлечь отца от печальных мыслей. Старшие, Рахим и Асан, слыша тяжелые вздохи Абая, особенно остро ощущают его сегодняшнее настроение. Даже самые маленькие, Шакет и Мурат, пытаются развлекать Абая, отвечают на его вопросы быстро, весело, подробно.

Усевшись вокруг большого чайного стола, ребята рассказывают о своем житье-бытье, но разговор, несмотря на всех их старания, выходит далеко не веселым.

Сначала Абай расспрашивал их о том, как живут их родные — Абен, Сеит, старик Сеиль и Дамежан с Жумашем. Не голодают ли их семьи, достаточно ли зарабатывают отцы? Оказалось, что в эту зиму и городской бедноте приходится плохо. Отцы всех этих ребятшек вовсе ничего не получают — в городе безработица, а из-за этого нет ни одной рабочей семьи, где бы не нуждались, не голодали. Слушая толковые рассказы ребят, Абай подумал, что они повзрослели, обо всем рассуждают, все понимают, как большие. Сынишка Сеита Аскар говорил, как умудренный жизнью, заботливый отец семейства:

— Наверно, такого тяжелого года, как нынче, ни-

когда еще не было, Абай-ага. Даже такой умелый хороший рабочий, как мой отец, и тот не может семью прокормить. Если бы я не отдавал маме свою стипендию, она говорит, ей иной раз и хлеба не на что было бы купить.

Этот мальчик выкладывал все начистоту. Ему нечего было скрывать — всей душой своей, всеми своими помыслами и бытием он связан с кровно близким ему трудовым людом.

И те, кто беспечно хохотали там, в соседней комнате, что бы они о себе ни воображали, тоже были плотью от плоти своей богатой и праздной среды. Не порог комнаты — целая пропасть отделяла их от маленьких друзей Абая, глубоко тронувших душу поэта своим недетским пониманием общей неотвратимой беды и готовностью разделить общую участь, нужду и горе. И Абай ласково одобрил ребят: «Правильно говорите, хорошо поступаете. Надо всегда быть вместе с народом!»

Теперь, ободренный искренним участием Абая, Рахим заговорил о положении всего трудового населения города.

— В этом году всем жить стало труднее — и казахам, и татарам, и русским. Говорят, причина в том, что с осени в город прибыло очень много переселенцев из России. Шли-то они в Джетысу, а как узнали, что там засуха была, неурожай, так и хлынули обратно в Семипалатинск. Все-таки большой город, надеются здесь прокормиться. Ведь у всех у них детишки, беднота, ни еды, ни одежды нету. А у нас тоже недород. Теперь, лишь бы детям с голоду не умереть, переселенцы эти согласны на любую работу, и по домам ходят и к баям по дешевке нанимаются!

А Асан еще добавил:

— И ведь как дешево-то! Здоровенный мужчина за чашку супа да за кусок черного хлеба нанимается. А баям чего же лучше? Для них даровые рабочие руки — одно удовольствие! Они прежних своих рабочих увольняют — вы, мол, очень дорого просите — и берут себе дешевых батраков.

Теперь Аскар, Максут и Шакет осмелели и тоже

начали рассказывать о том, что слышали дома от взрослых.

— На кожевенном, на пивоваренном заводах и в Затоне тоже уволили старых рабочих и эти самые дешевые рабочие руки себе берут,— еле слышно от смущения проговорил Аскар, а Максут добавил рассудительно, совсем, как отец:

— Артельные баи увольняют — это еще не диво! А вот подрядчики затонские тоже за ними потянулись. Моего отца и опять же дядю Сеита уволили, Абай-ага!

И Усен, который больше помалкивал, тут внезапно ворвался в разговор своим ломающимся баском:

— Вы все об одном толкуете! А разве дело только в этих русских переселенцах, мужиках! Были бы одни они — это бы еще ничего! Ведь в город-то из всех окрестных сел и аулов люди валом валят. Если у них неурожай, есть нечего, куда же им деваться? Вот они и идут к городским богачам за одни харчи. А баям только того и надо!

Абай спросил Шакета и Мурата, как живут их семьи и семьи соседей, жатаков ближней стороны. И внук Дамежан курносый Мурат блеснув острыми черными глазами, степенно, подражая бабушке, заговорил:

— Только бродяги, пришедшие из аулов Карашолака, Шоптыгака и из жатаков Жоламана обивают пороги у баев, у доверенных приказчиков во дворах толкуются. Городской житель из-за рабочей своей гордости не пойдет за кусок хлеба да за чашку супа наниматься. Он привык за честный свой труд определенную плату получать, хоть бы и тот же пятиалтынный. Выходит, что теперь городскому человеку некуда податься. Вчера на бойне скот забивали, так из городских ни один не смог работы получить. Нет у нас заработков, прямо-таки нечем дышать!

Усен смотрел на Мурата, разинув рот от восторга: «ишь, ловко говорит, как большой!» — и вдруг неожиданно засмеялся, а другие ребяташки, глядя на него, тоже залились смехом. Иные смутились до слез, но остановиться никак не могли — слишком долго они

сидели смирно и вели серьезный разговор! Краска бросилась Мурату в лицо, и он сердито пробурчал:

— Ну, чего хохочете? Разве я соврал?

В его ясных глазах, устремленных на Абая, была обида и просьба о помощи, и Абай вступился за него:

— Дети, Мурат очень хорошо говорил. Того, что он рассказал, я до сих пор ни от кого не слышал.— И он продолжал расспрашивать мальчика об его отце Жумаше, о соседях: Бидайбае, Жабайхане, бабке Шарипе.

Мурат рассказал ему и о том, как богатеи-мясники и торговцы, издевались над парнями и женщинами, когда они приходили просить работы: «Двугривенный в день тебе хватит?», «Может, такой важной особе этого мало?», «Уж если не тебя, то кого же баю и нанять!», «Если бы приходила, не чванясь, я бы к тебе на дом нарочного посылал!» Вот как насмеваются эти Сейсеке, Блеубай-хаджи да Жакып с Хасеном. А их доверенные приказчики, вроде Отарбая и Корабая, если кто-нибудь из бедняков обидится, еще скажут с издевкой: «Ой, он меня своей обидой совсем доканал!»,— всяко обругают и прогонят прочь со двора.

И последыш старого Сеиля Шакет рассказал, что отец и все вообще лодочники никак не могут найти поденной работы. Сейчас Сеиль с русским бакенщиком на пару промышляют рыбной ловлей на Иртыше. А то на салазках возят с острова хворост или сенцо, что летом собрали, и на базаре продают. Глядя на мытарства отца, Шакет понял, как крепко прижала лютая эта зима бедноту в городе и в аулах.

— Люди сказывают, тридцать лет такой студенной опасной зимы не было,— говорил он,— отец у нас пальцы на ногах поморозил, а другой раз щеку ознобил. Лицо стало черное. Первый раз в жизни с ним такое лихо случилось, раньше, какой бы мороз ни был, не поддавался... В этом году зима опасная.

А Рахим, не ограничиваясь разговорами о переселенцах и недороде, сообщил Абаю слова Павлова услышанные им от Абена.

— Город стоит перед угрозой голода. Если виною этому переселенцы, то почему же они именно в этом

году бросили свои насиженные гнезда и хлынули сюда, целым народом с места снялись?— И этот вопрос юноши будил у Абая новые мысли.

— А дело в том, что в самой России этот год очень тяжелый, говорят! И там идут слухи о голоде. Вот царь, опасаясь, что скопление голодающих, недовольных людей в центре России будет угрозой его власти, и переселяет мужиков в такие края, где земли много, а народу мало.

Абай одобрительно кивал головой, слушая Рахима, который своей живой и пытливой мыслью верно схватывал самое главное. Абай подумал о том, что юноша растет стремительно, правильно растет, недаром учится, думает о народе.

— Правильно, умно говоришь, Рахим,— начал было он,— но его прервал Жалель, который, соскочив с постели, появился в дверях. Оба гимназиста, прекратив свою болтовню, уже несколько минут прислушивались к речам Рахима.

Засунув руки в карманы и оттопырив полы праздничного мундира, Жалель вразвалку подошел к Рахиму. Его косые глаза смотрели на юношу из-под мясистых век насмешливо и в то же время испытующе, с опаской. Щеголяя своим хорошим русским произношением, он начал приставать к Рахиму:

— Ты что же думаешь, российское государство боится там каких-то мужиков, без году неделя освобожденных от крепостной зависимости? Русское крестьянство привыкло к своему скотскому состоянию не со вчерашнего дня. Думаешь, мужик голода не видал? Чем говорить о том, чего не знаешь и понять не можешь, молчал бы лучше!

Рахим хотел было ему ответить, но Жалель только рукой махнул: «Довольно болтать! И слушать не хочу!».

— Нет, Жалель, ты не прав,— возразил Абай неодобрительно.— Рахим верно говорит. Если большинство народа бедствует, голодает, правительство оказывается не только в затруднении, но иной раз даже в опасности, а потому и бывает вынуждено принимать меры предосторожности. Ты плохо разбираешься в этих делах и судишь весьма поверхностно.

И, повернувшись спиной к Жалелю, снова заговорил с Рахимом. Жалель хмуро и враждебно глянул на Абая, но не нашел что ответить и, повернувшись на каблуках, вышел.

В эту ночь Абай, уложив своих юных гостей в соседней комнате, оставил у себя Дармена и Баймагамбета. По обыкновению, они стелили себе постели на почетном месте. И пока они раздевались, Абай улегся на своей широкой деревянной кровати. Лежа на спине и широко распахнув ворот рубахи, он заговорил как бы сам с собой.

— Давно я наблюдаю за сыном нашего Какитая, этим самым Жалелем, и никак не могу понять, почему именно ему решил отец дать русское образование? Неужели нет у него наследника более достойного?

Дармен, который весь вечер молча наблюдал за Абаем, любуясь, как хорошо беседовал он с ребяташками, заметил, что Жалель его не на шутку рассердил.

— О Абай-ага, если этот для учебы не годится, так другие-то у него еще хуже!—Дармен засмеялся.— Вот хотя бы старший его сын Дархан! Я сам слышал, как Какитай спросил однажды нашего Магаша, какого он мнения о Дархане: «Как думаешь, вырастет из него хороший человек?» А Магаш посмотрел на тупую физиономию этого Дархана и ответил отцу жестокой и правдивой шуткой: «Откуда ему стать хорошим, сам посуди! Я еще не видел порядочного человека с таким лбом, как у него. Один из великих русских писателей так сказал об одном своем герое: «У его чести медный лоб». Боюсь, что и сын твой вырастет в меднолобого». Какитай после этого разговора с досады и отдал учиться Жалеля вместо Дархана.

Абай невесело усмехнулся.

— Бывает, что учение перерождает человека,— заметил он в раздумье.— Может быть, и Жалель исправится. А коли нет — худо будет. Ведь не только русская гимназия их воспитывает, они — Кунанбаевы. Могут из них вырасти чванливые степные бары, хозяева драчливых и задиристых богатых аулов. Станут бедой для народа!

И Дармен с Баймагамбетом, которые крепко не лю-

били Жалеля за его пустую спесь и грубое слово, во всем согласились с Абаем.

Магаш, крепившийся в день приезда Абая, начал быстро сдавать. Отец со страхом заметил, что сын часто задыхается. Чуть что — у него выступает липкий холодный пот. Редкий сухой кашель усиливается. Немало перевидавший всяких болезней на своем долгом веку, Абай встречался и с этой, особенно опасной для неокрепших молодых людей. Охваченный жестокой тревогой, все свои надежды он возлагал теперь на врача и лекарства. Ведь Магаш еще на ногах. Пока болезнь его не одолела, хороший врач мог бы спасти сына! Пусть нельзя вылечить больного совсем, но ведь можно задержать неумолимое движение болезни, хорошим уходом отдалить неизбежный конец. С ужасом сознавая, что жизнь сына в опасности, Абай упорно и страстно цеплялся за эту последнюю свою надежду.

Сегодня в полдень, сидя в гостиной Магаша, Абай с волнением ждет врача. Строго соблюдающий день и час визита, доктор должен вот-вот приехать. Вместе с ним обещал быть и Павлов.

Вот Федор Иванович уже входит вместе с человеком средних лет, небольшого роста с приятным, пышущим здоровьем лицом, обрамленным окладистой и кудрявой русой бородой. Открытый взгляд, высокий умный лоб, уверенные неторопливые движения доктора — все располагает Абая к доверию. Вежливо поздоровавшись, Станов, не ожидая особого приглашения, уходит в спальню Магаша и плотно прикрывает за собой дверь. Павлов и Абай остаются вдвоем и, присев у письменного стола, тревожно думают каждый о своем.

Сегодня решающий день: Абай, Павлов и Станов договорились встретиться, чтобы определить дальнейшую судьбу больного. Поэтому Абай и попросил друга приехать вместе с врачом. На этот раз доктор надолго задержался в спальне. Он особенно внимательно выслушивал Магаша и наедине внушал ему, как тщательно нужно беречься, как строго следить за собой и неукоснительно выполнять советы врача. Станов категорически запретил Магашу появляться на городских сборах, утомляться, предписал отдых и тишину, боль-

— Я не уверен, что вы правы, Федор Иванович! — поспешно перебил он Павлова. — Пожалуй, я даже готов с вами поспорить.

— О чем же тут спорить? — Павлов улыбнулся. — А, впрочем, говорите — слушаем!

— Мы... — Абай приостановился. — Вы не думайте, что я говорю только о себе, — я говорю о народе. Будь то русский крестьянин, степной казах или миллионы тружеников, населяющих города, как, по-вашему, рассуждают все эти люди? По-моему, каждый из них, думая о России, говорит: мое отечество, мое государство, — и, хотя Абай впервые произносил эти слова, они прозвучали уверенно и твердо. — Как я могу желать его поражения? Каждый человек, кто бы он ни был, стар и млад, у кого есть сердце в груди, тот желает победы своему отечеству. Это же естественно, иначе и быть не может! — горячо воскликнул Абай.

Павлов выслушал его с полным спокойствием. Его долгом было разъяснить, убедить Абая в своей правоте.

— С первого взгляда ваши слова действительно кажутся правильными, — заметил Павлов. — Можно подумать, что каждый здравомыслящий человек смотрит на вещи именно так. Однако у народа, у всех тех миллионов людей, о которых вы говорите, не один только внешний враг, в данном случае Япония. Если признать, что Япония ему враг, то это враг далекий, а у него есть враги поближе и, пожалуй, не менее страшные.

— А, вы говорите о самодержавии? — мысль Павлова становилась Абаю яснее. — Да, конечно, самодержавие — сильный враг народа.

И теперь уже Павлов не мог сдержать своего волнения.

— Да, это самый близкий, самый коварный и самый беспощадный враг трудового народа! — воскликнул он. — Но если этот коварный и сильный враг получит оглушительный удар, потерпит военное поражение, он растеряется, будет ослаблен. А силы революции вследствие этого возрастут, получат реальную возможность действовать. Если же царизм выиграет войну,

окрепнет, тогда наступит полный разгул реакции. Тогда революции уже не поднять головы, она будет отброшена на много лет.

Павлов не скрыл от Абая, что так думают не все те, кто считает себя революционерами. Есть и такие, что на словах всегда «вместе с народом» и «против самодержавия», а на деле в критический момент идут на сговор с реакцией, становятся агентурой царизма. Они считают, что, если начнется война, нужно поддержать царя и правительство. В случае чего они будут отвлекать народ от дела революции болтовней о том, что вообще-то освободить Россию надо, но совершать революцию сейчас не время, рано, срок еще не настал. Так враждебные делу революции силы, пробравшись в ряды борющихся за свободу, стремятся подорвать его изнутри.

Павлов говорил об этом с гневом и возмущением, и Абай снова подумал, что вот и здесь, в этом святом и великом деле, как и везде, рядом с добром гнездится зло.

Но, как бы там ни было, Павлов снова приносил Абаю радостную весть, вселял в его душу предчувствие победы нового. Непреклонная вера в конечное торжество истины и добра звучала в словах Павлова. Он стремился поделиться с другом этой своей верой, вселить в него хоть частицу своей кипучей энергии. И он не только отвлекал Абая от его отцовского горя, он дарил ему надежду, которая проникала своим всепобеждающим светом в его окутанное мраком скорбное сердце.

Павлов помог Абаю овладеть собой, и он выслушал заключение Станова спокойно и терпеливо. Доктор признал положение Магаша тяжелым. Вылечить его, к сожалению, нельзя. Современная медицина еще не нашла действенного средства против его болезни. Все, что нужно больному,— это воздух, хорошее питание и уход. Все, чего можно достигнуть,— это затянуть болезнь, добиться, чтобы она из скоротечной перешла в хроническую. Что ж, такие больные нередко живут годами! Вот все, что Станов должен был им сказать, и все, что он может им пожелать. Вводя друзей к Магашу, он советовал им, хорошенько закутав его, отпра-

вить больного как можно скорее в аул. В ауле надо пользоваться его кумысом. Пусть Абай от времени до времени сообщает Станову о ходе болезни. Он будет посылать лекарства, а весной, когда будет потеплее и наладится путь, Станов сам готов, невзирая на дальность расстояния, приехать в степь к больному, которого искренне любил.

В последующие дни Абай, Дармен, Баймагамбет и Какитай были заняты подготовкой к отъезду Магаша. Зима все еще неистовствовала. Было жутко смотреть на черные, обмороженные лица приезжих из степи, а особенно тех, кто прибыл с медленно идущим верблюжьим караваном. Они просто в отчаяние приходили от небывалой лютости этой зимы. Январь шел к концу, мороз становился нестерпимым, теперь он нарушал обычный распорядок городской жизни. Дети по многу дней подряд не ходят в школу, да если не выгонит из дому самая крайняя нужда, взрослые тоже избегают выходить на улицу.

Абай опасался, как бы многодневный снежный буран не захватил сани Магаша в открытой степи. Не застудить бы больного! Абай пришел к выводу, что отправлять его только с двумя сопровождающими санями нельзя. Вот если бы все родичи, друзья и знакомые семьи, которые приехали из аулов и находятся сейчас в Семипалатинске, в один и тот же день закончили свои дела и все вместе тронулись в обратный путь! Если даже буран и заметет дорогу, обоз из нескольких саней, поочередно идущих впереди, всегда пробьется.

И люди откликнулись на просьбу Абая. Они только просили несколько дней отсрочки, чтобы закончить свои дела на базаре, закупить все необходимое для предстоящих еще холодных месяцев этой суровой зимы. Быстро промелькнули эти дни, и вот на завтра с рассветом множество путников одновременно выедут каждый со своего двора.

Накануне отъезда к озабоченному, подавленному горем Абаю неожиданно явился Павлов. Было видно, что он принес какое-то важное, волнующее известие. Его большие, лучистые синие глаза сияли затаенной

радостью, бурным ликованием, которое так и рвалось наружу. Обычно, придя в гости, он садился рядом с Абаем, а сегодня, словно не находя себе места, целиком поглощенный своими мыслями, ходил взад и вперед по комнате. Дармен, Какитай и Кумаш, которые сидели тут же, заметив необычное настроение Павлова и почувствовав, что он хочет что-то сказать Абаю наедине, один за другим вышли в переднюю.

Как только дверь за ними закрылась, Павлов вплотную подошел к Абаю.

— Вы помните, Ибрагим Кунанбаевич, на днях я говорил вам, что будет война? — сказал он с радостным волнением. — Так вот, она началась. Видя открытую подготовку царского правительства и понимая, что драки все равно не избежать, Япония выступила сама, не ожидая объявления войны со стороны России. Японцы захватили город Порт-Артур, где был сосредоточен царский военно-морской флот, и разгромили его. Таким образом русскому самодержавию нанесен первый чувствительный удар по морде!

Павлов все более широко делился с Абаем тайными мыслями о революции. Царское правительство отнюдь не увеличивало славу и могущество России, а, наоборот, уничтожало. Все передовое человечество считает русское самодержавие темной силой, подавляющей все живое. «Жандармом Европы» зовут Россию, царей и помещиков лучшие люди нашего времени. Поэтому-то реакционеры всего мира, стремящиеся задержать революционное развитие человечества, страшно боятся, как бы русский царизм не потерпел поражение от Японии. Зато трудовые массы России имеют все основания радоваться. Коли царская власть — наш злейший враг, то каждый основательный удар по ней приближает желанную свободу русского народа. С поражением царизма усилится и революционная борьба в Европе. И Павлов сообщил Абаю нечто такое, чего до сих пор никогда не говорил:

— Самодержавие ослаблено! Множество людей, сомневавшихся в возможности прихода революции, начинают верить в нее. А если вера в революцию охва-

ше лежать в хорошо проветренной комнате, меньше встречаться с людьми, соблюдать диету. Вообще-то, больному лучше всего было бы уехать домой, в степь. Ожидая Станова, друзья понемногу втянулись в привычную беседу. При первой их встрече в доме Кумаша им все время мешали посторонние посетители, и Павлов не мог говорить свободно. Теперь он воспользовался возможностью с глазу на глаз сообщить Абаю важные известия, полученные от товарищей из центральной России.

— Царское правительство сильно побаивается революции в этом году. Летом по внутренним губерниям России прокатилась волна крестьянских бунтов. Протест назревает и среди городских рабочих. Тайные силы, готовящие восстание, безусловно используют недовольство крестьян, поэтому царизм лихорадочно ищет выхода из создавшегося положения. Правительство идет на всяческие уловки в основном по двум направлениям.

Во-первых, стремится переселить на окраины малоземельных, разоренных дотла и голодающих крестьян, которые уже бунтовали прошлым летом или могут взбунтоваться впредь. Темных этих людей бессовестно обманывают легкими посулами: «Джетысу, мол, край богатый, земли много, хлеб сам родится,— приходи и владей». Вот эти самые голодающие обманутые мужики и наводняют сейчас Семипалатинск. Однако опасность голода в России не миновала. Недород ведь в этом году не только в Джетысу и Семипалатинской области — он повсеместно. Что же получится, если среди этой и без того готовой вспыхнуть крестьянской массы разразится еще и голод? Стоит довести до сознания народа: «Все эти беды от несправедливого царского строя, от угнетателей и эксплуататоров, помещиков и царя», и крестьяне скопом поднимутся на восстание. А это — грозная сила.

Сейчас особое значение приобретают революционные элементы, возглавляющие протест трудового народа. Угроза надвигается на царское правительство со всех сторон. Будущее становится неясным, чревато революционным взрывом. Поэтому царское правитель-

ство, не ограничиваясь усилением переселенческого движения, ищет способы отвлечь от себя недовольство и других слоев населения, в особенности городского пролетариата.

Есть слухи о том, что с этой целью русское самодержавие затевает войну с Японией. Ему, в конечном счете, неважно, с кем и из-за чего воевать. Важно, что война открывает широкие возможности для лживой, псевдопатриотической пропаганды под лозунгом «спасения отечества». «Отечество, мол, в опасности! У границ наших появился чужеземный враг. Встанем грудью все, как один, на защиту родины от вероломного врага», — и так далее.

Народ наш еще темен и может поддаться на удочку такой пропаганды. Правительство, видимо, рассчитывает и на то, что, когда угрожает внешний враг, внутренние противоречия сглаживаются, и оппозиционные, враждебные самодержавию силы так же, хотя бы на время, откажутся от революционной борьбы.

Я думаю, Ибрагим Кунанбаевич, что мы с вами в ближайшее время услышим о начале войны между Россией и Японией, — так заключил Павлов свое сообщение о необычайных событиях, назревавших в стране, и теперь перед Абаем в новом свете предстало все то, что ему рассказывали школьники о голодающих крестьянах, заполнивших город, и о бедственном положении местной казахской бедноты.

И у Абая возникла новая, пугающая своей неясностью мысль.

— Скажите, Федор Иванович, — спросил он неуверенно, — если... если все будет так, как вы говорите, если возникнет война между Россией и Японией, то кому же мы-то должны желать победы?

И Абай умолк, не решаясь довести свою мысль до конца, но Павлов ответил немедленно, без запинки:

— Если вы хотите знать мнение мое лично и моих товарищей и единомышленников, то мы желаем поражения русскому царю.

И хотя Абай ждал именно такого ответа, поначалу что-то в нем воспротивилось такой непривычной и безоговорочной постановке вопроса.

тила широкие массы, значит и сама революция не за горами!

Эта, пусть отдаленная, весть, принесенная Павловым, озарила радостью горестное сердце Абая. Жизнь, которую он знал, среда, окружавшая его, горе, нагнавшее в его дом, — теснили его со всех сторон, замыкая в своем кругу. И вот, словно кто-то сильный и добрый расправил его крылья, смятые бурями и непогодой, поднял голову, поникшую под ударами жизни, и сказал: «Оторвись от земли, смотри вдаль! Хоть день радости еще и далек, но он неизбежно настанет! Мыслью, сердцем, верой, мечтой своей устремляйся ему навстречу!»

Весь последний месяц Абай чувствовал себя словно бы на вершине утеса, у края бездонной пропасти. Казалось, сама земля колеблется у него под ногами и какая-то непреодолимая сила влечет его вниз, в пропасть.

Едва забываясь сном, он уже оказывался в плену безвыходных кошмаров.

Ему казалось, что он плывет куда-то вдаль по беспредельной и бескрайней кроваво-мутной воде. Тяжелая мгла холодной бурной ночи надвигалась на него. Один в холодном мире, захлебываясь мутной холодной волной, он изнемогал, теряя последние силы.

Теперь, когда любимый сын Магаш оказался в смертельной опасности, Абаю порой представлялось, что страшное видение холодной, безбрежной пучины и есть сама жизнь.

Радостная весть, принесенная Павловым, предстала в сердце поэта в образе юной золотой зари, забрезжившей у края ночи. С живой признательностью к другу ощутил Абай, как молодо встрепенулось его омраченное сердце. Посланцем будущего пришел к нему Павлов, весть его была как бы первой ласточкой грядущих светлых дней. И Абаю казалось, что он уже слышит шаги нового человека, идущего к нему навстречу, хозяина неведомых могучих сил.

Ярким факелом вспыхивает перед Абаем надежда и снова меркнет, и тогда еще темнее и холоднее предстает перед ним его горестное настоящее.

А что же в недрах казахской степи, в том мире,

где он живет, есть ли люди, достойные раскрыть объятия навстречу счастливой вести? А сам он, Абай, где его место в предстоящей борьбе?

Ища опору для своей надежды, мыслью охватывая дали, старается Абай проникнуть в грядущее. Пока еще степь слепа и глуха, покрыта непроницаемой мглой. Еще не забрезжил в ней ни единый луч. Поэтому-то так страшно человеку, одиноко плывущему вдаль по холодным тусклым волнам.

Еще вчера он не знал, куда устремиться, но сегодня впереди чуть виднеется новый неведомый берег.

Что там: крутые, неприступные скалы или прекрасная цветущая долина? Что бы ни было, теперь перед ним распахнулся простор, и там, у небесной черты, сверкает далекий луч. Он будто манит Абая: «приди». Иногда он кажется обманом,— кругом, куда хватает глаз, беспросветная ночная мгла, холодная, темная муть. Но, нет, там, вдали, за черной горой чуть брезжит неясный свет. И вот уже приподнимается завеса ночи, потоки ослепительного света хлынули в прорыв, и вот уже распахивается во весь горизонт чудесное прозрачное небо вешнего месяца мая. Весь необозримый ликующий мир осиян победным розовым светом молодой зари. Перед поэтом возникает обетованная земля, о существовании которой он доселе даже не подозревал.

Прослышав о том, что Абай собирается уехать в аул вместе с Магашем, его старые друзья Сеиль и Дамежан пришли попрощаться. Несмотря на трескучий мороз и до костей пронимающий ветер, пришли пешком с той стороны, из Затона, и несколько человек рабочих с Сеитом и Абенем во главе. Абай радушно принял дорогих гостей и, позвав Баймагамбета, приказал сварить побольше мяса и привезти кумыса.

Абай понял, что его друзья явились все вместе неслучайно. И, действительно, — Сеиль передал через сынишку привет людям Затона и сообщил: «Абай нынче находится в горе. Тяжело болен его любимый сын, которого он считает своей опорой. Говорят, несчастье

его одолело, и он превращается в согбенного горем старца. Абай был с нами в дни нашей беды. Неужели мы теперь оставим его одного? Давайте, хоть навестим его, скажем слово сочувствия и приветия. Друзья, которых любит Абай, собирайтесь вместе в такой-то день и приходите!» А Дамежан привел к Абаю он сам.

Все эти люди, как и их ребятишки в прошлый раз, коротко и скупно рассказали Абаю о своих делах. «Когда человек не знает, как быть со своей печалью, незачем нести ему еще и наши заботы да нужды». Эти никем не произнесенные слова были в сердце у каждого. Гостеприимный хозяин долго беседовал с друзьями.

Весть о начале русско-японской войны, которая была на устах всего города, дошла уже и до гостей Абая. Среди них были такие, что доселе и знать не знали, что это за Япония такая. Им было мало того, что удалось в эти дни услышать о японской земле и о боях на Дальнем Востоке, они наперебой расспрашивали Абая об этих неожиданных для них событиях.

Абай подробно и внятно рассказывал обо всем, что знал сам. По лицам Сеита, Абена и Сеиля Абай понял, что они не только хорошо схватывают самую суть того, о чем он им говорит, но, что гости его связывают с этой войной и кое-какие свои надежды. Видимо, до них тоже в той или иной мере дошли разъяснения Павлова.

Сеит и Абен расспрашивали Абая не из пустого любопытства. Они испытующе смотрели ему в лицо в ожидании того, что и как именно он скажет. Есть ли у него свой взгляд на события, более глубокий и обнадеживающий, чем людские толки и слухи, которыми был полон город.

В самый разгар оживленной беседы в комнату вошел Дармен, а за ним несколько степняков из абаевского аула и вместе с ними Шубар. Абай коротко обменялся приветствиями с вновь пришедшими, а затем снова обратился к прерванному разговору.

— Сколько еще времени пройдет до тех пор, пока мы увидим новую жизнь, бог знает! Года или десятки лет — мне судить трудно. Люди, знающие больше меня, истинные мудрецы передового русского общества, возможно, и назвали бы вам точные сроки! Так или

иначе, но нам есть о чем пораздумать! Тот мир, в котором мы с вами живем, и который знаем вдоль и поперек, перевернется вверх дном, все в нем изменится и обновится. Наступит такое время, которое и не снилось ни нам, ни предкам нашим!

Когда Абай замолчал, гости его продолжали сидеть, как замороженные, неподвижно уставившись на хозяина. На их лицах, изборожденных морщинами, горькими следами обид и невзгоды, на миг заиграл отблеск радости.

Абай ясно заметил, глядя на сидящих рядом с ним Сеиля, Дамежан, Сеита и Абена, какое сильное впечатление произвели на них его слова. Они словно замерли со счастливой улыбкой на устах, с глазами, полными невысказанной благодарности. Да и не только они,— Дармен и Баймагамбет тоже сияли.

Правда, Баймагамбет был доволен просто-напросто тем, что, уже давно угрюмый и молчаливый, Абай хоть немножко разговорился и приободрился. И старик с признательностью глянул на Сеиля и Дамежан. Дармен слушал Абая с особым чувством душевного подъема. «Это — благородные чувства, давно накопившиеся в его мощной груди. О Абай-ага, острым лучом своего разума ты рассеиваешь туман в сознании людей!» — подумал он, и из глубины его благодарного сердца возник прекрасный поэтический образ.

«Абай — неустанный сеятель в пустынной степи. Всю жизнь разбрасывает он в неоглядных ее просторах семена света и добра. Пусть еще не расцветают тучные луга и нивы, пусть нет еще плодов обильных, но в сердца сотен и тысяч людей запали добрые семена твоей правды, о добрый отец! И они еще взойдут в народе подобно тому, как всходят сегодня в душах твоих друзей, сидящих здесь. Отдаленные потомки будут дорожить твоим благодатным зерном!» — думал Дармен.

Увлеченный беседой, Абай совершенно забыл о вновь пришедших гостях, которые, отдав ему салею, разместились у него за спиной. Теперь об их присутствии напомнил резкий, издавна знакомый Абаю голос Шубара. Этот голос всегда обладал его холодом.

Обычно Шубар говорил с Абаем посмеиваясь, и сегодня он так же остался верен этой своей привычке. Если друзья Абая обрели в его словах радость и веру в будущее, то голос Шубара выдавал его ироническое отношение ко всему тому, о чем здесь говорилось.

— Вот, Абай-ага, одни обещают света конец, а вы — рай на земле. Уж коли это действительно рай, так пусть он наступал бы скорее! Может быть, вы будете так любезны, что скажете нам и о том, когда именно придет вся эта благодать? А главное — сподобится ли ее увидеть кто-нибудь из нас, здесь присутствующих, или, на худой конец, хоть кто-нибудь из ныне живущих на земле? — и он громко захохотал, хотя никто и не подхватил его натянутого веселья. Абаю не понравилось ни то, что Шубар пришел без зова, ни то, как он говорил и смеялся. Не оборачиваясь и ни слова не отвечая ему, а обращаясь к Сеилю, он тут же заговорил о другом. Гости начали расходиться уже в сумерках. Угостив их на прощанье чаем, Дармен и Баймагамбет развезли всех по домам, а потом вернулись к одиноко сидевшему в потемках Абаю.

Дармен зажег большую лампу и, ставя ее на стол перед Абаем, задал ему вопрос, мучивший его весь день. Он еще не успел усесться поудобней и стоял перед Абаем на одном колене, вопросительно заглядывая ему в лицо. Его слегка приоткрытые губы оттенялись небольшими темными усами, в умных смелых глазах горела беспокойная мысль, всегда зажигающая и Абая. В ней поэт безошибочно различал огонь вдохновения. В такие минуты Абай не мог ни в чем отказать Дармену. И вот, еле дождавшись, когда они остались наедине, Дармен высказывал свою просьбу.

— Абай-ага, целый день не дает мне покоя эта мысль. Вот только что здесь вы говорили Сеилю, вашим друзьям о той замечательной жизни, которая настанет однажды. Я понимаю, почему вы не захотели ответить Шубару. Но ведь этот вопрос был и на языке у Абена и у меня. Когда же настанет время, о котором вы говорили? Если не мы, так дети наши доживут ли до этого дня? А может быть, посчастливится и кому-нибудь из нас умереть, краешком глаза глянув на новое это

счастье? — Дармен с мольбой смотрел на Абая, задавая ему тот самый вопрос, который сам Абай еще так недавно задавал Павлову.

Абай очнулся от задумчивости.

— Конечно, молодое поколение наше увидит новые времена,— медленно проговорил он.— А может быть, кое-кто и из ныне взрослых людей дойдет до нового дня. Возможно, что дойдут и хорошие и плохие: хорошие — с добром, плохие — со злом. И там каждый получит свое, по заслугам. А я хотел бы, чтобы дожил до нового времени ты, хоть бы удалось тебе дойти! — и голос Абая дрогнул от слез.

Дармен, встревоженный, посмотрел в его лицо. Удлиненные глаза поэта, устремленные вдаль, были влажны, в них была и скорбь и высокое озаренье. Это были не безнадежные слезы уныния, а слезы обновления мудрой души.

Наутро Абай, Дармен и Баймагамбет, спозаранку напившись чаю, приготовленного еще с ночи, торопливо подкатили в широких, запряженных парой санях к двухэтажному дому Сулеймана. Как раз в это время, хрустя по остекленевшему снегу, со двора выезжали одни за другими шестеро пароконных саней. Самой последней шла кибитка Магаша с крытым верхом, обитая толстой кошмой. Узнавшие Абая возницы начали было останавливать лошадей, но он, махнув рукой, приказал: «Не мешкайте! В путь!»

Обоз из восьми саней с кибиткой Магаша вереницей потянулся мимо вросших в сугробы землянок Слободки. И сегодня стоял леденящий душу мороз, пронизывающий ветер с зловещим визгом завивал воронки сухого снега.

3

Хотя установившаяся спозаранку лютая эта зима приближалась к концу, все еще стояли глухие морозы. Обычно к середине марта в степи уже начинали чернеть проталины. А сейчас об этом нечего и мечтать. Непрерывно дующий белый буран продолжает сыпать снег; поверхность степи, словно вылизанная ветрами, однообразно-гладкая, как яйцо. В аулах начался джут.

Многие маломощные аулы начали бедствовать уже с декабря. Теперь жестокими бедами этой зимы изнурено большинство. Скот голодает. Начался падеж. В скотных дворах и за дворами обледенелой горой громоздятся трупы овец. Во множестве падают от бескормицы и коровы. Даже известные своей выносливостью верблюды истощены до предела.

Пролежав ночь в хлеву, наутро они разбредаются по степи в поисках хоть какой-нибудь пищи. Чтобы ни попало им на глаза,— кончики заметенных сугробом стеблей камыша, какая-нибудь колючка, верхушки утонувшего в снегу кустарника,— голодные животные все это немедленно поедают. Кое-как держатся лишь сильные взрослые верблюды. А тощие верблюдицы, старые животные, двухгодовалые верблюжата и одногодки, еле-еле дотянувшие до конца зимы, теперь устилают своими трупами окрестности зимовок.

И все же казахи, терпящие джут, с благодарностью повторяют старые присловья и поговорки: «самое выносливое из животных верблюды», «хороший верблюд с шести глотков сыт бывает», «верблюды — благородное животное. Он один человеку не в тягость». Ведь тощие ягнята, стригуны и телята везде давным-давно вымерли.

В хороший год и они выживали с горем пополам. Теперь же хозяева о них даже и не заботились. Каждый клочок сена или соломы берегли для более стойкого, здорового скота. В каждой зимовке оставались только кони для разъездов, все же остальные животные находились в отарах возле пастушьей юрты. Уже давно расставшиеся со своим скотом хозяева начинали беспокоиться о лошадях, отогнанных на дальние пастбища, надеясь, что хоть они-то перенесут эту небывало тяжелую зиму. И тут добрым словом поминали стойкость и выносливость коня.

— Лошадь не поддается джуту!

— Была бы на земле травинка, конь по ребра в снег заростся, а ее добудет! На коня всегда можно надеяться,— говорили хозяева.

— Лошадь другому скоту не чета! Она, где траву найдет, с того места не тронется, в самый сильный буряи по ветру не пойдет.

— Какой скот с конем сравнится! У коня и топор и мотыга при нем! — И действительно — копыта коня самое надежное орудие при тебеневке.

Однако в этом году даже кони потерпели большой урон.

Всю зиму многочисленные аулы в горах, низинах и поймах рек держали непрерывную связь друг с другом. В середине марта весь край облетела печальная весть. Говорят, что находящиеся в отгоне табуны лошадей уже косит белая гибель. Говорят, что косяки, отправленные на джайляу в, так называемые, внешние районы, растерялись в буране и теперь пропадают. Говорят, что много коней погибло среди скал, попадало с обрывов, либо провалилось в сугробы.

Говорят, что из тысячи-полутора тысяч голов иного табуна осталось триста, двести, а то и полтора ста. Если зима еще затянется, останется от всего конского хозяйства только юрта пастушья.

Впрочем, если скоту было худо, то и людям в степи немногим лучше. Изнуренные заботами о скоте, голодные люди неузнаваемы. Ознобленные стужей, их лица и руки огрубели и почернели, измученные непосильными тяготами и сами-то люди стали жестче и злее. Уже несколько месяцев кряду женщины с утра до ночи бродят по степи с лопатой в руках, ища корма для своих падающих от истощения животных, откапывая кустики чия, верблюжьей колючку. Их лица покрылись ранними морщинами, обветренные губы и руки потрескались. Ветхая одежонка не греет. Сжавшись, они трясутся от холода. Древнюю старуху не отличишь от еще недавно красивой молодой девушки — всех сравняла лютая эта зима.

Кочевники говорят: «Джут семь братьев с собой ведет». Пришел мороз — гололед, за собой скотский падеж ведет, за гибелью скота — голод, за голодом — в доме холод, за холодом — болезни, за болезнями — разобшение, а за ним и последний брат — по миру пешее хождение. Люди в аулах уже оставались без топлива, последние запасы еды истощились, ехать в город на базар не на чем. На дорогах стали появляться пешие скитальцы, бредущие со своими детишками куда

глаза глядят. Иные из них падали в снег и больше не поднимались.

Так как проезжих становилось все меньше, а бураны продолжали мести с прежней силой, снег постепенно заваливал дороги, связь степи с городом, аула с аулом замирала. Обитатели зимовок, притулившихся в лощинах и у подножий холмов, затаились в своих оторванных от всего мира уголках, как сурки в норах.

Настало время, когда, как говорится, «коршуну и цыпленку надо душу спасать». Небывало жестокою эту зиму, обездолившую людей и погнавшую их искать спасения по белу свету, народ, сокрушаясь, назвал: «годом белого зайца», «годом бедствия», «годом великого джута».

Настигла беда и косяк лошадей, вышедших из аула Абая. Осенью Абай, Магаш и Какитай объединили своих коней, к ним пристали и еще кое-кто из соседних маломощных аулов, и общий большой косяк был отправлен на пастбище. Пять табунщиков и один подпасок, на обязанности которого лежало варить пастухам обед,— эти шесть человек пасли огромный табун в тысячу двести голов. Старший табунщик Алтыбай, считая это доброй приметой, назвал свой косяк именем Абая. С приближением зимы Алтыбай повел свой табун в низину, на земли соседнего рода Ажи, так как, по слухам, летом там была хорошая трава.

У ажинцев лошадей было мало, и поэтому они не пожалели для Абая своей земли с обильными оставшимися под снегом кормами, тем более, что Абай прислал им привет и обещал уплатить за пастьбу.

Ажинцам заплатили, отдав им во временное пользование нескольких сытых коней, и, хотя зима и была суровой, до февраля косяк кое-как просуществовал на небольшом клочке их земли. Однако к середине февраля морозы еще усилились, и здесь тоже начался джут. Пастбище было выбито до травинки, лошади начали худеть, жеребята-стригуны и трехлетние кобылицы были до того истощены, что ложились и не могли подняться с места. Начался падеж не выносящих большой стужи жеребят.

Вдобавок пошел мокрый снег с дождем, и земля

обледенела. За ночь пять-десять жеребых кобылиц скидывали приплод. Видя все это, Алтыбай решил откочевать куда-нибудь в другое место. Приехавший из аула Какитай велел «во что бы то ни стало гнать лошадей по направлению Байгабыла, Акшоки».

Целый месяц двигались табуны из Кзыл-молинской волости назад, к аулу Абая. Алтыбай не знал покоя, тщательно выбирая места для остановок, неустанно заботясь о сохранности косяка. И все-таки у всех оставшихся в живых жеребят непомерно удлинились хвосты. Опытные люди хорошо знают, что это значит. Подъезжая к незнакомому табуну, они определяют его состояние по длине хвостов жеребят.

Если у стригунов хвосты короткие, то гость не преминет сказать об этом хозяину, а хозяин косяка поблагодарит бога и пастухов. Люди говорят: «Хвост у стригуна укоротился, быть всему табуну сытым». А в теперешнем косяке Алтыбая даже у двухлеток гривы, холки и хвосты непомерно удлинились.

У многих лошадей гривы и хвосты свалялись, к ним пристали репейник и колючки. У молодняка ошетичилась шерсть. Взрослые кони — кожа да кости, шерсть на голове стоит дыбом, все жилы видны. И молодняк заметно исхудал, а уж у кобылиц, скинувших жеребят, все ребра торчат. Словом, во всем косяке Алтыбая не стало ни одного мало-мальски упитанного коня.

Двигаясь по дороге к родным местам, табун прямо на глазах таял. Немало конских трупов было похоронено в белом буране. Упорно пробиваясь к дому, Алтыбай каждый день садился на свежего коня из наиболее сильных и ехал впереди всего косяка, следом за ним вели свои табуны и другие пастухи, так же часто меняя головных коней. Так как пробивать путь сквозь снежную целину было очень тяжело, группу коней, шедших впереди, также постоянно меняли.

Однако, несмотря на все заботы табунщиков, лошади продолжали падать. Всюду была гололедица, наступившая сразу после осенних ливней, когда преждевременный мороз внезапно сковал землю. Целыми днями, разгребая глубокий снег на жестоком морозе, выбиваясь из сил, лошади наталкивались на лед и только на

лед. Двухдневный путь верхового косяк Алтыбая прошел за месяц. Теперь табуны приближались к аулу Абая у подножия Арал-Тобе. Уже добрались до земель, называемых Жымба и Итжон, где хотя и лежали глубокие снега, но зато росли кустарники таволги и попадались заросли чия. На нижней Жымбе табунщики установили свои потрепанные кибитки, и Алтыбай решил молодым пастухам отдохнуть. Уже незадолго до вечера они слезли с коней, и он им сказал: «До сумерек погрейтесь и поспите», а сам, как человек бывалый, выехал один караулить табуны. Удаляясь от места стоянки, табуны в поисках пищи потянулись на запад. Измученный ездой по глубокому снегу, перемерзший Алтыбай дремал верхом на сером жеребце, волоча по земле курук и уронив на грудь отяжелевшую голову в черном малахае. Он то на минуту пробуждался, то опять впадал в дремоту. Проголодавшемуся, ослабевшему Алтыбаю снились бесконечные путанные сны, прерывавшиеся, когда он просыпался, и продолжавшиеся, когда он снова засыпал. Вот его добрая жена, Инкар, исхудалая, в рваной одежде, — он не видался с ней целую зиму! Она жалеет его:

«Устал, наверное, перемерз! Ляг, отдохни. Я тебе постель приготовила, усни!» Ничего на свете ему сейчас не нужно, только бы выспаться хоть немножко, и Инкар, милая, понимает, заботится о нем!

Изнурительно долгая езда верхом приучила Алтыбая дремать в любом положении. Вереницей тянутся его неясные думы-сновидения, и нет им конца. Добраться бы только до своих, побыть с женой и детьми в старой дырявой юрте, вздремнуть на жесткой тряпичной постели. Так и ехал Алтыбай за бесшумно идущими табунами со своими дремотными мечтами, прикорнув на осторожно шагающем коне. И вдруг его проняла тревожная дрожь. Он очнулся.

Левое плечо его коротенькой шубенки было подбито старой шерстью и он всегда чувствовал, когда ветер дул с левой стороны. Проснувшись и протерев глаза, он увидел, что ясный день мгновенно померк. Ветер усилился и, взметая снег, переходил в бурю, впереди

уже ничего не было видно, свирепый вихрь в немой желтоватой мгле бешено бил ему в лицо.

Алтыбая мгновенно прохватило насквозь ледяным ветром. Собирая последние силы, он начал было прищипывать коня, но тот, целый день не бравший в рот ни травинки, не двигался с места, тяжело вода боками, как запаленный. Потом он рванулся, пробежал несколько шагов и снова стал. Сквозь летящую массу снега Алтыбай не мог различить, сколько лошадей впереди него и вокруг, и он закричал своим зычным голосом, к которому за зиму привык весь косяк.

Как раз в это время он увидел множество плотно сбившихся лошадей, которые бежали прямо на него вместе с бураном. Сердце Алтыбая дрогнуло: мало было им бед и напастей, теперь голодные, усталые лошади не выстояли против снежного урагана и пошли по ветру.

Время близилось к ночи, товарищей-табунщиков не было рядом, последним из лошадей, которые еще могли бы кое-как добраться до дому, угрожала смертельная опасность. «Вот бедняги! Еще эта ревущая беда идет на вас! Ни за что пропадете!» И Алтыбай ринулся на борьбу с воющей мглой. Высоко поднимая дубинку и часто покрикивая, он ворвался в самую гущу табуна и пытался, если не завернуть его, то хотя бы приостановить. Он не знал, где все остальные лошади, заметил только, что во главе идущих на него был рыжий скакун Абая. Всю зиму его табун шел впереди других, пробивая путь и разворачивая снег во время тебеневки. Среди передовых встречались кобылицы еще более истощенные, чем в других, идущих позади табунах.

Вожак этой группы все еще был сравнительно в теле. Он не давался в руки Алтыбаю, а сам, проторяя тропу в глубоком снегу, шел впереди. Если по пути попадался хоть клочок земли, на котором сохранилась трава, то, какой бы ни был буран, рыжий жеребец останавливался и начинал копытами разрывать снег. И там, где останавливался он, весь его табун от мала до велика приступал к тебеневке, а за ним постепенно задерживался и весь косяк, и все остальные лошади

так же начинали выбивать копытами корм из-под сугробов.

Алтыбай, много раз выдавший это в течение зимы, ужаснулся — теперь табун рыжего жеребца также пошел по ветру. Значит, никакая сила уже не остановит устремившихся в пространство коней. А ведь сколько времени продлится буран, неизвестно. Если на пути движущейся массы лошадей попадетя глубокий овраг или впадина, соленое озеро или обрыв, косяк потерпит огромный урон.

Во время слепого бурана на лошадей нередко нападают волки: лошади, идущие по ветру, разбиваются на мелкие кучки, отстают, блуждают, их не так-то легко найти и собрать. Многие из них так и не возвращаются к своему косяку. В белой степи после таких буранов остаются бесчисленные темные холмики конских трупов.

Поспешая за табуном рыжего жеребца, Алтыбай думал о многочисленных опасностях, которые поджидали косяк впереди. Самое страшное сейчас было в том, что серый жеребец окончательно терял силы. Вскоре Алтыбай уже не сможет подать голос, чтобы сбить привыкший к нему косяк вокруг себя, вот-вот он на своем сером отстанет от быстро идущих лошадей! Было бы легче, если бы их догнали другие оставшиеся отдыхать табунщики, но о них не было ни слуху ни духу.

С тех пор, как Алтыбай встретился с идущим по ветру косяком, он непрерывно кричал. Он хотел приободрить измученных лошадей, а коли поблизости есть волки, припугнуть волков. Он кричал во всю силу своей могучей груди, долго, громко, протяжно. Его одинокий голос, врезаясь в свист ветра, разносился далеко по степи: «Уа-ха-хау!» «Ой-айт!».

По расчетам Алтыбая сейчас табун идет прочь от стоянки. Вскоре они пройдут подветренную сторону, стоянка останется в направлении ветра, и тогда там не будет слышен не только одинокий голос человека, но грохот обвала, перевернись хоть вся земля вверх дном. А буран крепчал, и все кругом заволочлось бешено мчащейся белой мглой.

Наверное, солнце уже село,— воющая белая завеса начала меркнуть. «Эх, если бы джигиты на стоянке проснулись и, сев на коней, прискакали на помощь!» Думая о них и, страшась надвигающейся ночи, Алтыбай кричал, не переставая. Наконец, и его сильный, казалось бы, неутомимый голос начал хрипеть. Но напуганный жестокой силой, которая неудержимо гнала его табуны вперед и вперед, Алтыбай продолжал кричать. Рыжий жеребец, привыкший подчиняться голосу табунщика, и теперь не изменял своему обыкновению. Когда голос табунщика удалялся или замирал совсем, умное животное замедляло шаг, или на миг приостанавливалось перед табуном.

Алтыбай на своем еле передвигавшем ноги сером жеребце медленно ехал по тропе, проторенной бегущими лошадьми. Чем больше усиливался буран и свирепел мороз, тем чаще попадались навстречу табунщику отставшие изнуренные лошади. Они медленно отделялись от табуна и тут же падали, уткнувшись мордой в снег, или грохались на бок, как деревянные лошадки. Больше они уже не шевелились. И хотя сердце Алтыбая обливалось кровью от жалости, он понимал, что им, может быть, так было лучше, ибо жизнь их превратилась в сплошную муку.

Прошло уже много времени, но никто из табунщиков не догонял стремительно уходящий косяк. Лошади, у которых сохранился хоть какой-то остаток сил, позволявший им двигать ногами, все еще не могли остановиться. Какая беда, на какую новую муку их гонит, как они еще двигаются,— неизвестно. Худые, голодные, они мелькают перед Алтыбаем, как тени, иные внезапно падают — и все нет им конца. Иногда он готов был остановиться, бросить уходящий табун, и не мог, — трупы павших лошадей указывали ему путь вперед.

Теперь плотная, стремительно мчащаяся масса снега не давала ничего различить и в двух шагах, но Алтыбай, привыкший находиться в степи в любую погоду, умел приметить и то, что было скрыто от глаз другого человека.

Буран, воронками завивающий снег, заволакивает небо и землю, точно неведомые злые силы влекут

все живое в бездонную белую пучину. Лишь мгновениями непрерывно льющийся снежный поток слегка редет, и тогда становится видно землю на расстоянии дубинки от морды лошади. Зорко стороживший момент, когда снежная пелена разрывалась, Алтыбай бросал свой отчаянный крик в этот разрыв.

Неизвестно, сколько осталось еще лошадей, но табунщик временами различает их неясные тени, мелькающие впереди. «Почему рыжий скакун сегодня не останавливается? Что случилось с беднягой? — в отчаянии думает Алтыбай. — Неужели под снегом нет ни одной травинки? Неужели летом дотла выгорела эта скудная степь?»

Словно разъяренный дракон, стремящийся поглотить все живое, чем дальше тем больше неистовствовал ветер. Свист, вопли и завывание наполняют воздух, словно праздная торжество смерти, холодную гибель всего, что еще дышит. И рыжий жеребец неуклонно движется в отверстую пасть белой гибели.

Алтыбаю нестерпимо жаль погибающих животных. Временами рыдания подступают к его горлу, и тяжелые вздохи сотрясают грудь. И он снова понукает измученного серого жеребца, бьет его плетью, тщетно сясь догнать уходящий табун, и кричит, кричит в снежное пространство.

Вдруг по обе стороны его коня, взметая снежный прах, промелькнуло что-то темное. Алтыбай своим криком испугнул волчью стаю, которая, обнаглев, ринулась в наступление, едва не опрокинув самого табунщика с его едва бредущим конем.

Когда, разделившись на два потока, стая пронеслась мимо, Алтыбай закричал еще громче. Его зоркие глаза впивались в ночную мглу, стремясь определить численность нового врага. Около двадцати голодных волков налетело на гонимый ветром табун и набросилось на коней, шедших впереди. Как ни гнал Алтыбай вперед своего серого жеребца, он еле передвигал ноги.

«Что будут делать бедные кони?» — с ужасом думал табунщик.

При виде волков лошади обычно с громким ржа-

нием сбиваются вместе и, окружив ослабевший молодой, жеребят-стригунов, встречают нападение врага.

Жеребцы, скача вокруг косяка, отгоняют приближающихся волков. Иной конь, выгнув шею, оскалив зубы и меча искры из глаз, с грозным визгом бьет копытами землю, нагоняя ужас на хищников. Иной, жертвуя жизнью ради своего табуна, бросается на волков и бьется с ними, обливаясь собственной кровью.

Рыжий вожак некогда славился тем, что сам, как медведь, наседавал на хищников, обращая их в бегство. А теперь Алтыбай заметил, что изнуренные лошади были не в силах сопротивляться, как прежде.

Едва слышное, раздалось ржание нескольких кобылиц да рыжего жеребца. Некогда Алтыбай узнавал его трубный голос из-за шести хребтов, теперь он звучал уже не так грозно. Алтыбай различил также слабое ржание большой игренево́й кобылицы да ширококостной рыжей, которые откликнулись на зов вожака. Им не под силу уже было поднять всеобщую тревогу и дать отпор врагу всем косяком.

Жадная свора разъяренных волков уже привыкла в эту зиму безнаказанно расправляться на пастбищах с изнуренными лошадьми. Три стайки волков, ведомые тремя короткохвостыми серыми вожаками, следуя за быстро мчавшимися белыми волчицами, с трех сторон вихрем налетели на табун рыжего скакуна.

В эту пору лошади добежали до края глубокого оврага на Верхней Жымбе, которому суждено было стать их могилой. Рыжий жеребец, который еще в силах был сопротивляться, пытаясь остановить свой косяк, стал было с громким ржанием обходить его спереди и внезапно провалился в сугроб. Вся низина и яр были до краев полны снегом. Чрево прожорливой белой смерти было столь глубоко, что до дна его не достанешь и пикой. Рыжий жеребец, увлекаемый своею тяжестью, катился с края обрыва в снег. Матерый серый волк, с коротким хвостом и широкой грудью, бежавший впереди стаи, прыгнул вслед за скакуном и, опираясь лапами на его круп, быстро перерезал ему горло. Остальные лошади, испуганные приближением

неминуемой смерти, прыгали с яра следом за своим вожаком.

Кто из них погиб, кто спасся, куда девались все остальные кони? — Все это было неизвестно Алтыбаю. Бегая по краю яра и размахивая дубиной, он пытался криком отогнать волков. О себе он совершенно забыл. Когда он увидел лошадей, бьющихся в предсмертных судорогах под яром, ему и в голову не пришло, что они чужие.

Доброе, умное животное, которое летом и зимой было перед ним, слушалось его голоса, повиновалось ему, стало для него другом, взывающим о помощи в свой смертный час. И он не выдержал, спрыгнул со своего серого коня и, утопая в снегу, махая дубиной, пустился вдоль яра. Нащупав твердую почву под ногами, он изловчился и обрушил страшный удар на голову короткохвостого волка, расправлявшегося с рыжим жеребцом, который бился с предсмертным хрипом.

Однако стая волков была так велика, что, не обращая внимания на человека, продолжала расправляться с конями, распарывая животы и перекусывая глотки лошадям, по самые ребра увязшим в сугробах и не могущим даже шевельнуться. Алтыбаю нельзя бросаться в эти сугробы, там он увязнет и пропадет, — он только и может кричать и грозить дубиной на краю яра. Но волки уже не подпускают его к себе.

Опьяненные запахом горячей крови и отведавшие ее на вкус, они не слышат криков и угроз Алтыбая, и ему удастся ударом дубины свалить еще одного хищника, вцепившегося в ногу коня и вырвавшего из нее мякоть.

В эту минуту табунщик заметил какую-то возню позади себя и увидел, что несколько волков набросились на серого жеребца, понуро стоявшего у обрыва. Они распороли ему живот и перерезали горло. Совсем охрипший, шепча проклятия, Алтыбай, не помня себя, кинулся на них с дубиной и только, когда он приблизился к ним вплотную, они неохотно, не торопясь, ушли восвояси. Серый жеребец был уже мертв.

Спустя немного, насытившиеся волки, взвихривая снег, бросились бежать и исчезли из глаз Алтыбая.

Все лошади, оставшиеся здесь, либо валялись мертвые на снегу, либо по ребра утонули в сугробах и стояли неподвижно.

Алтыбай только теперь сообразил, что перед закатом на него шел по ветру весь табун рыжего скакуна, а в нем было около ста лошадей. Здесь, в сугробах, их около пятидесяти. Остальные за этот гибельный вечер растерялись, разбрелись кто куда, а иные, обессилев, попадали в снег на глазах Алтыбая.

Бесконечно длится ночь. Буран бушует, час от часу нарастая. Мороз пробирает до костей пешего табунщика. Да, это совсем не то, что верхом на коне! Его косяк постигла общая для многих косяков в эту зиму участь. Скакуны, дойные кобылицы, породистые жеребцы, любимцы детей, украшенные перьями и амулетами, двухлетки, трехлетки и пятилетки— все остались в голой снежной степи, похороненные в сугробах.

Буран неистовствовал шесть дней. Это был небывало свирепый снежный ураган. На седьмые сутки на безоблачное небо поднялось холодное солнце, настал безветренный, тихий день. Молодые табунщики, которых с такой надеждой и отчаянием звал Алтыбай, пришли к яру Жымба и увидели торчащие то там, то тут гривы и хвосты погибших лошадей и их наполовину объеденные волками трупы.

У подошвы холма валялись разбросанные клочья старой шубы Алтыбая, чуть подалее нашли оторванные голенища и головки его сапог. Из-под снега торчала половинка истрепанного черного малахая.

Двенадцать лет из своей тридцатилетней жизни табунщик провел с лошадьми на зимнем пастбище. Не выдавший ни днем, ни ночью покоя, заботившийся о табунах больше, чем их хозяева, погиб самоотверженный табунщик, до последнего дыхания защищая чужое добро.

Когда с наступлением тепла снега растаяли и земля просохла, путникам, подъехавшим к яру Жымба, представилось необычайное зрелище.

На дне яра стояли, прижавшись друг к другу боками, около тридцати мертвых лошадей. В ночь большого бурана, спасаясь от наседавших волков, эти лошади

бросались в овраг вслед за рыжим вожаком, скользили в сугробах и останавливались, сбиваясь в кучу. Так, бок о бок, увязшие в глубоком снегу, они и замерзали стоя. Весной, когда начало таять, застывшие трупы лошадей, опирающихся друг на друга, не меняя своего положения, стали оседать вместе со снегом. Так они и стояли теперь, сбившись в плотную кучку, как это обычно делают летом живые конские табуны, спасаясь от оводов. Было страшно видеть, что мертвые они стояли прямо, словно памятник небывалой мартовской стужи.

Прошедшая зима обернулась бедой и для двоюродного брата Алтыбая Байтуяка, батрачившего в ауле Акшоки.

Там, рядом со скотным двором, в низких, темных землянках ютилось несколько семей бедняков. В одной из них оплакивали гибель Алтыбая его старая мать и жена с тремя маленькими сиротами. А в соседней землянке маялся на голом полу двадцатилетний чабан Байтуяк. И его настигло несчастье в степи возле байского стада. С начала зимы он пас овец Дильды на урочище Акшоки, и там его прихватил январский лютой бурей. Задолго до этого дня, изрядно промерзнув на пастбище, юноша жаловался Дильде, что «одежда у него плохонькая, сапоги рваные, в дыры снег набивается». Расстроенная вестью о болезни Магаша, Дильда и слушать не стала сетований пастуха.

— Дала ведь я осенью твоей матери овечьи шкуры. Если она поленилась дубить их да шубу тебе шить, пеняй на себя. И так мою душу тревога о Магаше нашем гложет, взвалить мне, что ли, еще и твои заботы на себя! Уходи и больше на глаза мне не являйся! — Накричав на парня, она прогнала его ни с чем.

В эти дни весь аул тужил, получив из города сообщение о тяжелом положении Магаша. Услыхав от людей, что его болезнь похожа на болезнь Абиша, Дильда плакала и причитала дни и ночи напролет. И вообще-то плохая хозяйка, в этом году она уж вовсе забросила все дела, не обращала никакого внимания на предупреждения близких, что в этом году будет

джут, что зима все лютеет и что «пасти скот нынче не легче, чем биться с врагом».

Черствое, себялюбивое даже в горе, сердце Дильды было глухо к страданиям других людей. Вот ее печаль должна быть общей печалью. А что такое рядом с ее бедой какие-то там жалобы пастухов! Что они пьют-едят, во что одеваются, на чем ездят, каково им приходится в морозной степи, сытые у них семьи или голодные? Даже если об этом говорили другие, Дильда пропускала все это мимо ушей.

Тщетно жаловался и ей и людям Байтуяк: «Шубенка у меня старая, чекмень дырявый, ветер прожигает до костей. В мороз мне на коне усидеть невозможно, приходится слезать и пешком по степи бегать. И тут беда: сугробы выше колен, снег набивается за голенища, я уже обе ноги себе ознобил!» Говоря об этом, он плакал, но так и не услышал в ответ ни единого теплового слова.

В укрытых холмами ущельях Акшоки, где паслись аульные овцы, не было сильных буранов, гонящих скот по ветру. Зато каждый день метет злая поземка, которую в этих местах зовут «белым иноходцем». Никогда не утихающий холодный ветер бьет в лицо мельчайшей снежной пылью, загоняет ее за ворот, за пазуху, в голенища сапог. В зиму большого джута, если «белый иноходец» не превращался в «белый буран», то дул день и ночь без передышки. Ледяной северный ветер, полоосуя степь, завалил все овраги глубокими снегами.

Не только перемерзшее тело юного Байтуяка изнывало от муки в изношенных, драных лохмотьях, — за последние дни и душа его истомилась от горя и досады. Исхудалый, с выпирающими под кожей костями и багровыми пятнами румянца на острых скулах, Байтуяк не выдержал — лютый январский день свалил его с ног.

В сумерки вернувшийся в аул юноша, едва переступив порог своей землянки, упал наземь, дрожа всем телом, стуча зубами и плача. Маленькие жесткие ладони матери, в страхе гладившей его холодные щеки, стали мокры от слез. Еле ворочая языком, с трудом раскрывая застывшие губы, он шептал проклятия:

— Доканали меня, довели! Холод пронял насквозь. Смерть моя приходит, мама дорогая! Накажи их бог, голым, в лохмотьях жизнь прожил! — И он вытянулся на полу, теряя сознание.

Теперь, когда весть о смерти Алтыбая пришла в темные лачуги пастухов, Байтуяк совсем обессилел. Болезнь с первого же дня круто взялась за него. Целый месяц он пролежал в жару и в бреду, а под конец начал кашлять. Жестокий недуг поразил не только легкие, но и горло. Он уже едва мог глотать свою скудную пищу. Юное тело Байтуяка было быстро побеждено чахоткой. Он таял, как восковая свеча, угасал.

Сломленный болезнью, он не мог, однако, успокоиться; вся душа его, охваченная гневом против тех, кто безжалостно загубил его жизнь, изливалась в потоке скорбных жалоб и проклятий. Задыхаясь, он повеял свои горькие мысли старой бабушке, день и ночь безмолвно проливавшей слезы у его изголовья, да безутешной матери, вдове Талымды.

Наступил апрель. Но беспощадная зима все еще не выпускала степь из своих ледяных объятий. Все еще шел снег и держался мороз. Гладкая, как яйцо, поверхность снегов еще не была тронута таянием.

В хижинах пастухов на Акшоки уже давно вышли дрова! Холод, мучивший Байтуяка на пастбище в январе, преследовал его по пятам. Теперь пастух замерзал в темном углу своей закопченной землянки. Загнав юношу в тупик, стужа добивала его, пробирая дрожью.

Так и угас юный Байтуяк в холодном ознобе, до последнего дыхания не испытав благодатного тепла, о котором тщетно мечтал всю свою короткую жизнь.

4

Как раз в эти дни одолевала болезнь и Магаша. «Совсем обессилел», «и в чем только душа держится», «скрутил его недуг, не встанет», — дыханием смерти веяло на родных и близких от этих вестей.

Немного спустя, когда апрель перевалил за половину, мороз отпустил, стало таять.

Забрав у охваченного джутом казахского народа все его достояние, зима уходила. К концу апреля весь снег на Акшоке и Кореке растаял, открылся путь и к аулу Дильды. С холмов и низин хлынули участливые сородичи и друзья.

Перекочевала сюда и Айгерим, и у нее проводил все свое время Абай. Ближайшие родные—Акылбай и Какитай так же выставили здесь свои кибитки. По распоряжению Абая, Дармен и Макен привезли сюда свою малую юрту и в ней принимали приезжих гостей.

Эти ранее обычного выставленные белые юрты предназначались не для праздничного веселья. Это была подготовка к ожидаемому со дня на день печальному событию, нависшему над людьми, как вот-вот готовая рухнуть скала. Здесь готовились к встрече еще одной горестной утраты.

Эти юрты, поставленные в стороне от других, в дни расставания подавленного горем аула с лучшим из его сыновей, станут домами траура.

После бурного таяния снегов, как только чуть подсохла земля и стало возможно передвигаться пешком, множество людей, обездоленных прошедшей зимой, пришло в движение. Одиноким семьям, целым кочевым аулам, у которых кончилось продовольствие и дрова и вымер последний скот, теперь побрели на все четыре стороны.

Положение большинства обнищавшего народа было отчаянным. Бесконечные вереницы людей — мужчин, женщин, стариков и детей потянулись к ближайшим аулам, где, по слухам, сохранился хоть какой-нибудь скот, хоть малейший достаток. Те, у кого еще были силы, шли работать задаром, надеясь получить, как подаяние, хоть немного еды, чтобы прокормить голодные семьи.

Иные горемычные вдовы, таща своих ребятишек на спине, или за руки, приводили их к родичам, у которых было что поесть, оставляли, а сами уходили прочь. Это была последняя материнская забота, последние попытки спасти своих детенышей от смерти. Осиротевшие старики и старухи, еле живые от голода и дряхлости, шатаясь и падая, добирались к порогам домов, в очаге которых еще теплился огонь.

Покинувшие свои разоренные гнезда, бедняки бродили взад и вперед по склонам Чингиса, Кадыра, по долинам Караула, Балапана и Шикорыка.

У кого хватало сил, те, соблазненные слухом, будто там нет голода, тянулись в города. Пешие, изнуренные люди в своем рванье казались живым воплощением самой степи, истощенной нуждой и печалью, они двигались, как колеблемые ветром тени всенародной беды. За ними шли рассказы о погибших матерях и отцах, осиротевших детях. На окраинах аулов день и ночь раздаются их горестные вопли. Все чаще бросаются в глаза опухшие с голоду лица женщин и стариков.

В каждом дворе валяется падаль: коровы и кони со вздувшимися боками, плоские от худобы верблюды. На яру, на обрывах, возле скотных дворов и кладбищ лежат трупы павших животных. Возле загонов, на буграх из навоза и золы горкой громоздятся погибшие овцы. Шерсть на них свалялась, торчат обнаженные мослы, тускло поблескивают остекленевшие глаза. Вся эта падаль гниет, заражая воздух зловонием.

Над зимовками реют тучи неумолчно каркающих серых ворон и черных воронов. Рано прилетевшие коршуны и стервятники стаями сидят на падали. Богатые аулы, также пострадавшие от джута, но еще сохранившие свой достаток, холодно смотрят на бродяг-бедняков.

Показывая на груды овечьей падали, иные баи еще срывают свое сердце на обессиленных стариках и плачущих с голоду матерях с детишками. А скупые байбише с криком проклинаят нищих, будто бы они повинны в общей беде!

Даже в аулах, прежде владевших бесчисленными табунами, жизнь уже стала не та. День и ночь, считая свои убытки, причитают хозяева: «наступили богом проклятые дни», «настал год с чужим лицом!»

С первых дней мая из уст в уста пошли гибельные вести: «Такой-то аул из четырехсот коней, отогнанных на пастбище, получил назад только двадцать три». «Три-четыре аула, отправивших в Аягуз косяк в тысячу голов, увидели теперь всего двадцать семь лошадей». «Из всех табунов, которые с начала зимы паслись на

землях Уака и Керея, возвратились только пятьдесят голов».

Пять-шесть табунщиков каждого косяка, часто батрачивших не на одного бая, а нанимаемых целым аулом, расходясь по домам, разносили слухи о разорении.

Говорили о том, что иные табунщики, ушедшие с косяками за Чингис, в низины Тобыкты, к уакам и кереям, оттуда возвратились пешком, некоторые из них несли на спинах седла, а иные, будто бы, ослабели и, чтобы нанять себе подводы, продали и седла и шубы и вернулись домой, в чем мать родила.

Многие из этих пастухов, в лютые бураны и свирепые морозы не покидавшие байских табунов, тяжело обморозились, а то и вовсе погибли. В богатых аулах не достаивали и единым словом храбрецов, которые, спасая байское добро, занемогли, подобно Байтуяку, и теперь маялись в тяжком недуге по сырым углам своих нищих землянок.

В эти тяжелые дни и разразилось горе, нависшее тучей над Акшоки, горе, которого давно ожидали и которому уже покорились.

Дней десять назад Магаш, когда они остались в его комнате вдвоем с отцом, собрав последние силы, попрощался с Абаем. Видимо, он жалел отца, исхудавшего, упавшего духом перед лицом неизбежного. Держа своими прозрачными сухими руками широкую ладонь Абая, тихонько глядя ее, Магаш еле слышно зашептал:

— Ага, помните... я вернулся из Алма-Аты... после кончины Абиша... — утомленный, он тяжело задышал. — Я привез вам тогда привет от акына Джамбула... Из Большого Джуза... Помните?

— Помню, сынок. Еще ты передал мне тогда слова Дата о нем: «Джамбул, хоть и неграмотный, но он из тех простых казахов, у кого мудрое сердце и меткое слово...» Почему ты сейчас вспомнил о нем?

— А помните... я привез его стихи... Он же сказал вам... он о вас говорил, что Абай — брат и отец многим плачущим и страждущим... И его печаль — печаль многих... Многие будут рядом с ним... Пусть приходит-

ся расставаться с близкими... родными... с народом он никогда не расстанется... Пусть не уединяется в горе... Пусть всегда помнит: родной народ с ним...— сказал Джамбул!

Скупые эти слова Магаш выговорил с трудом, задыхаясь, от времени до времени прерывая свою речь, чтобы отдохнуть, и под конец закашлялся.

Чуткий и мудрый, он прощался с отцом участливым словом Джамбула. Голосом престарелого акына он выразил соболезнование отцу по поводу своей предстоящей кончины.

Абай все понял.

Наклонившись, он прильнул своим широким лицом к лицу умирающего и долго целовал его покрасневшие от слез веки:

— Светик мой! Все, что ты мне сказал, я навсегда сохраню в своей памяти!

С тех пор Магаш начал угасать...

Сегодня Абай с двумя маленькими детишками Магаша и десятилетней дочкой Абиша Рахилей сел пить чай в войлочной юрте Айгерим. Всю ночь Абай вместе с ближайшими родственниками и друзьями, не смыкая глаз, провел у постели Магаша. Надежды уже не было, люди говорили друг другу: «Не сегодня, так завтра...»

Абай словно онемел, но тем горестнее были его мысли, словно исполненные пламени и льда. Сейчас он сел за стол, но камень лежал у него на сердце и оно билось неровно, кусок не шел в горло.

Внезапно узорчатая дверь юрты распахнулась настежь, и вбежала Злиха, которая плакала, не скрывая своих слез. Всем стало ясно, что она принесла страшную весть.

— Абай-ага, Магашу тяжело... Вас зовут!

Дети, почувствовав недоброе, заплакали в голос, Абай вскочил на ноги с легкостью юноши, накинул было на плечи халат, но тело его была такая крупная дрожь, что халат свалился наземь. Обессиленный, готовый упасть, чувствуя противную слабость в коленях, Абай никак не мог попасть ногами в кебисы.

Айгерим, быстро подхватив его под руку, помогла ему надеть кебисы, подняла и набросила на его плечи

халат, сама неудержимо плача и с испугом глядя в неузнаваемо изменившееся лицо Абая.

Ей показалось, что он состарился вот сейчас, у нее на глазах: борода поседела, щеки покрылись восковой бледностью. Его глаза, как будто бы готовые выкатиться из орбит, неподвижно устремлены вверх. Страх объял Айгерим. Она никогда не видела на лице мужа такого бессмысленного выражения, такого блуждающего взгляда.

Мысленно повторяя про себя: «Боже мой, сохрани его самого... Абая сохрани, как бы он не помешался!» — бледная, без кровинки в лице, Айгерим побежала вслед за мужем.

Когда Абай вошел в комнату Магаша, мужчины и женщины, сидевшие у кровати больного, пристально глядя ему в лицо, поспешно расступились, пропуская Абая. Все еще дрожащий от ужаса Абай, тяжело дыша, почти упал на край постели умирающего. Глаза его, испугавшие Айгерим, по-прежнему смотрели безжизненно, и из этих широко раскрытых глаз непрерывно катились крупные, словно зерна пшеницы, слезы.

Магаш, почувствовавший, что это отец пришел к нему, сделал ему слабый, едва уловимый знак, чуть-чуть пошевелив коснеющими пальцами неподвижно вытянутой правой руки. С уст его вместе с последним дыханием сорвался внятный шепот, достигший ушей Абая:

— Отец... вот он... мир... — и дыхание оборвалось. Магаш отошел. Все находящиеся в комнате громко зарыдали, плач распространялся по дому, а затем все дальше и дальше по всему Большому Аулу, как говорится, вся земля наполнилась печалью: седобородые мужчины, морщинистые старушки, цветущие женщины и малые дети, обливаясь слезами, громко причитали: «Магаш мой!», «Магатай!», «Родной, сила моя!», «Братец мой!», «Брат мой!»

Эти привычные слова были языком сердечной кручины, они текли неудержимо, как слезы из глаз. Теперь, когда все кругом вопили и плакали, Абай впал в неменяемое состояние. Он не проронил ни одного слова, ни одного вскрика — молчал, как немой. Только

из неподвижных, широко открытых глаз глядел ужас да непрерывно лились слезы, то медленные, крупные, как горох, то сплошным внезапно хлынувшим потоком.

Теперь, если кто-нибудь, поддерживая, поднимет его с места, он встанет, поведут — пойдут, не спрашивая куда, посадят — сядет, безмолвный и покорный.

На поминки Магаша собралось множество народа. Семь дней над аулом стояли плач и стенания.

В эти дни спешно приехавшие родичи кунанбаевых, иргизбаевцы, составляли особые группы плакальщиков. Старики и молодежь Иргизбая, опираясь на длинные белые посохи, сгибаясь, как бы под непосильным бременем горя, и непрерывно причитая, встречали всех людей, родных и чужих, кто приезжал читать молитвы над покойным.

Первые три дня среди длинного ряда плакальщиков, опирающихся на белые посохи, находился и Абай, которого с двух сторон поддерживали Дармен и Какитай. Вспомнив без особых приглашений о том, что «родичи должны быть вместе в дни траура и в дни торжеств», явились выполнить свой долг и занять свое место в ряду горюющих и Такежан с Азимбаем. Грузно опираясь на толстые белые палки, они также стояли здесь с поникшими головами.

И другие родственники, вроде Шубара, стараясь держаться поближе к Абаю, от времени до времени старательно выжимая слезы из глаз, особенно громко поднимают плачущие свои голоса. Среди пожилых женщин аула в Большой юрте, выражая свои соболезнования Дильде, пребывают жены Такежана — Каражан и Зейнеш. С грозным видом восседает байбише Исхака — толстая Манике. Здесь можно увидеть и Нурганым, которая располнела, отяжелела и, видимо, сама уже начинает ощущать свой возраст.

Испокон веков существует обычай в народе — чтобы все близкие умершего скакали к его аулу с громкими возгласами: «Ой, родич мой!» и, доскакав, не слезали бы даже, а просто падали с коня. К ним навстречу выбегают молодые джигиты, подхватывая и поддерживая их, когда они валятся с лошадей. Другие джигиты под руки провожают приезжих к мужчинам,

стоящим за аулом, чтобы они поздоровались, обходя всех поочередно. После этого те же джигиты ведут приезжих к большой юрте здороваться с женщинами, которые сидят там в трауре, оплакивая усопшего. Внутри этой юрты приезжего вводят обычно женщины: служанки или плакальщицы-молодухи.

На похороны Магаша собралось очень много людей. Поэтому вблизи от зимовки, где он скончался, было воздвигнуто множество новых белых юрт. Они были привезены не только из аула Абая, но и из всех ближайших селений Акшоки и Коряка. Здесь были юрты и для гостей и для приготовления пищи.

Каждого из бесчисленных людей, приезжавших на похороны и на поминки и пожелавших переночевать, либо пополдничать, родичи умершего водили угощать по своим юртам, вмещавшим по двадцать-тридцать человек.

До семидневных поминок по Магашу Каражан, Манике, Нурганым, Акылбай, Шубар и все «благорасположенные» к покойному родичи принимали гостей на свой счет, в своих специально для этого выставленных кибитках. Состоятельные сородичи Иргизбая и Олжая встретили смерть Магаша и справили его похороны, как полагается. Делалось все, что обычно принято делать на похоронах уважаемого лица.

Однако в одном похороны Магаша отличались от многих других, и это заставило людей разумных и наблюдательных крепко призадуматься.

Оплакивать покойного хлынули толпы оборванных бедняков. У кого еще остались кони, приезжали на конях. У кого была хоть какая-нибудь еда, приносили ее с собой. У кого не было ничего, тот шел пешком с пустыми руками. Нескончаемой вереницей тянулись люди в изношенных шубах, в рваных чекменях и стоптанных сапогах, люди с изнуренными, морщинистыми лицами. Выходцы из разных родов, многие из них раньше лично встречались с Абаем или Магашем. Это были жатаки, ремесленники, труженики города и степи, окончательно обнищавшие от джута, лишившиеся последнего достатка, дряхлые старики, мужчины и женщины зрелых лет, джигиты — работники и пастухи, все

они, обливаясь слезами, пешком тянулись к траурным юртам аула. Не обращаясь ни к кому другому, они обнимали только Абая.

Хотя и был траур, но темные мысли и мелочные соображения никогда не покидали Азимбая и Шубара, и они вслух осуждали бедняков:

— Под видом сочувствия подбираются к еде, на подаяние рассчитывают!— говорили они, с холодной насмешкой глядя на плачущих людей.

Но Абай, видя горькие слезы бедняков, верил, что именно они искренне разделяют его горе, плачут по-настоящему. Эти безвестные люди стояли особняком от гордых сородичей кунанбаевцев и иргизбаевцев. Им есть о чем сокрушаться от всего сердца, и это понимают только два человека из всего многолюдного собрания: Абай и Дармен.

Весь простой народ в трауре, а потому он нелицемерно плачет сегодня с Абасом. Три беды, три тяжелых невзгоды тому причиной.

И первая беда — зима большого джута, доканавшая простой народ. Умершие с голоду матери и отцы, опухшие дети, иссякшие силы,— все это вместе взятое исторгает слезы из их глаз.

И вторая невзгода — горе Абая, которого с болью сердечной ото всей своей широкой души жалеет народ. Не этих, картинно опирающихся на белые палки спесивых кунанбаевцев и иргизбаевцев, народ печалится не с ними и не о них. Об отцовской утрате Абая плачет он нынче кровавыми слезами.

И третья беда — смерть самого Магаша. Хоть и мало он прожил, хоть и не мозолил людям глаза, не кичился многочисленными своими делами и заботами о ближнем, но в нем народ видел свою надежду. С его уходом уходила эта надежда, рушилась ее опора.

Да, у простых людей, приходящих плакать с Абасом, было о чем горевать! К человеку, другу народа и сыну народа пришел народ, чтобы кручиниться вместе об общих утратах.

Из густой толпы рыдающих бедняков вышел Даулеткельди. Громко плача, он с раскрытыми объятиями приблизился к Абаю и в отчаянии воскликнул:

— О благородный брат мой, Абай-ага! Как посмею отдать тебя такому жестокому горю?

И эта встреча, этот плач друга вдруг круто изменили состояние Абая. Он перестал видеть смерть Магаша, — все, что происходило вокруг, было его собственной кончиной. И Даулеткельди оплакивал его самого. «Да, так оно и есть... Это правда... Я должен умереть... Вот это все и есть моя смерть». — Эта мысль произвела в Абае разительную перемену. Его слезы мгновенно высохли. Он больше не плакал.

Перед ним совершались его собственные поминки. На всех людей и на жизнь вокруг он смотрит глазами отошедшего, глазами человека, дыхание которого прекратилось. Теперь он совсем замолк.

Душа его сдалась, перестала бороться... Одно неотвязное видение перед ним, одна нескончаемая мысль в голове: «Народ плачет. Жизнь ушла, прошла. Эти слезы о моем уходе».

Он поддался горю, горе отняло у него силы. Его разум меркнет. Минуты просветления сменяются мраком. Ни одной душе не говорит он о том, что открылось ему в минуты встречи с Даулеткельди.

У Дармена мысль о гибели Магаша неразрывно связывалась со скорбью Абая, с представлением об утрате, понесенной народом. Конечно, тяжелый недуг Магаша давно приучил всех окружающих к неизбежности его конца. Жестокое горе заставляет человека смириться, хочешь не хочешь, подобно тому, как опытный всадник, взнуздав, подчиняет себе необъезженного коня.

Но Дармен не мог и не хотел смириться с кончиной Магаша, рядом с ним рушился целый мир, оставляя по себе зияющую пропасть. Отрешенный в этом сознании от окружающих людей, Дармен все глубже и глубже погружался в печаль. Только с неразлучным другом, Макен, делится он своею тоской в бессонные бесконечные ночи.

— Так вот он каков, этот мир, мир предательства и потерь! Что же, так и все мы исчезнем бесследно — такова судьба прекрасного и безобразного в нем? Неужели, вчера еще казавшийся вечным, широкий

простор вселенной так вот и растает перед нашими очами, полными слез, безвозвратно уйдет в небытие?

И рядом с ушедшим Магашем перед мысленным взором израненного горем Дармена неотрывно стоит отец — Абай, пребывающий между бытием и смертью, а за ним и друг народ — голый, голодный и нищий, со стоном бредущий по неоглядным пространствам степи. Их горе — общее горе, их слезы — общие слезы, один и тот же яд сжигает их души.

Это не тот народ, которого облыжно изображают Азимбай и Шубар, своекорыстным и жадным, норовящим выманить, выпросить что-то себе у согбенного горем Абая.

Нет, это щедрый отец, который пришел к любимому сыну, чтобы в дни его тяжелой кручины отдать ему самое дорогое, что у него есть, — неподкупные свои слезы.

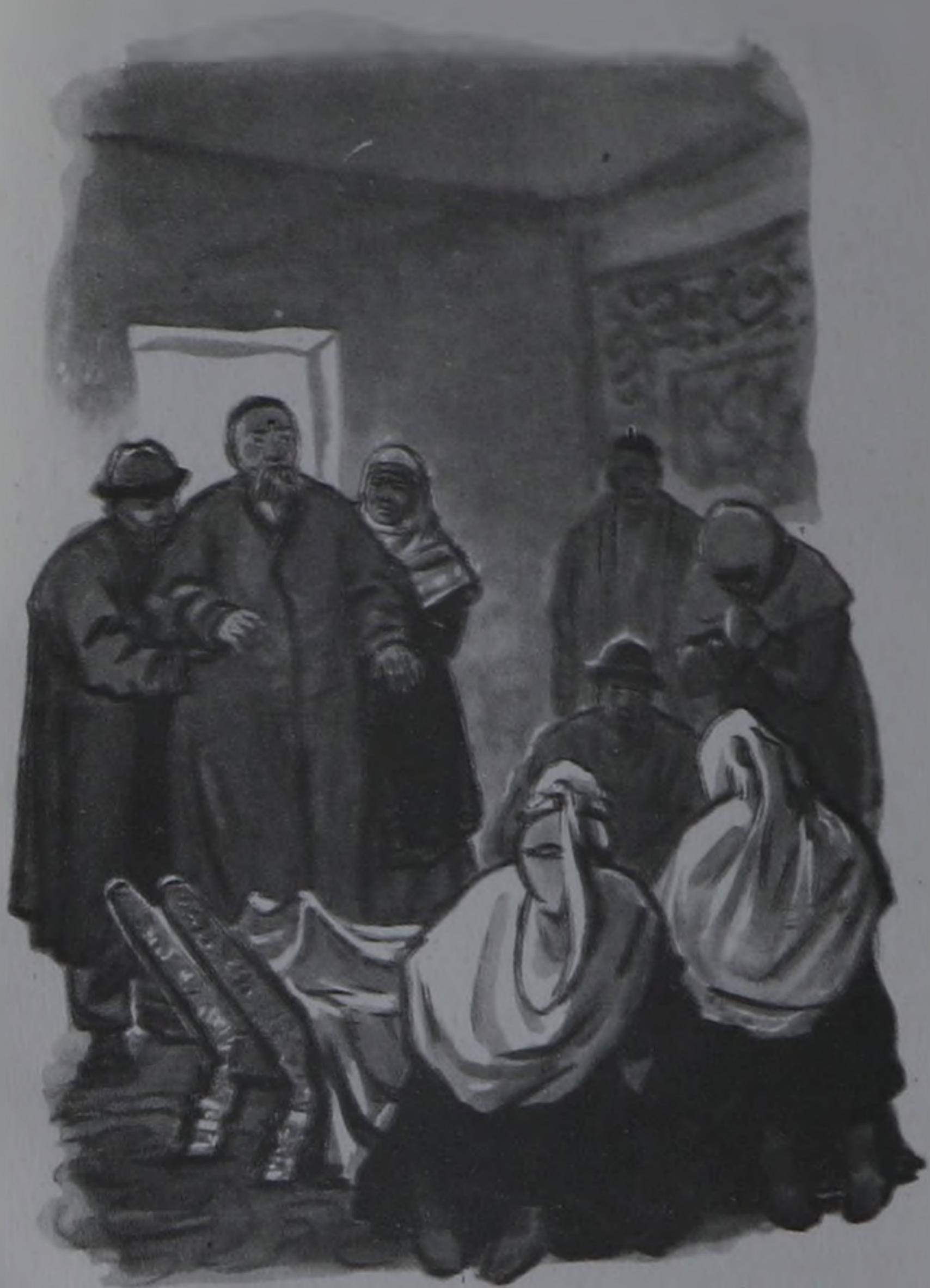
Немного спустя после семидневных поминок по Магашу, наступила пора откочевки на летние пастбища. Аулы, находившиеся на Акшоке, тронулись к исконным урочищам Тобыкты — Ши и Чингису. Опять, как и в первые дни после кончины Магаша, хлынули люди оплакивать его.

На двенадцатый день смерти Магаша Какитай и Дармен после долгих колебаний решились сообщить Абаю еще одну скорбную весть.

В эту весну два верных спутника всей жизни Абая, Ербол и Базаралы, два до последнего дыхания преданных ему друга, тоже скончались. Сперва свалил Ербола голодный тиф. Услышав об этом, Базаралы пришел к нему и десять дней ухаживал за ним. В час отхода, прощаясь с ним, он держал голову друга на своих коленях.

Была пора, когда между аулами не было никакого сообщения, да и народ был изнурен голодом, поэтому, широко не оповещая о смерти Ербола, его хоронили только самые близкие родственники и друзья.

Как раз в эти дни, сидя около усопшего, Базаралы почувствовал, что и сам он тоже заболел. Стиснув зубы, Базаралы преодолевал тяжелый недуг и продолжал распоряжаться похоронами.



В тот же день, приехав домой, он свалился. Его тело горело огнем. Только три дня сопротивлялось его ослабевшее, усталое сердце. Не успели даже самые близкие люди узнать о его болезни, как Базаралы скончался.

Все это произошло тогда, когда Магаш был уже очень плох. Абай и без того был убит горем, поэтому Какитай и Дармен сами скрывали смерть друзей от Абая и другим не велели ему говорить. Только, когда минуло одиннадцать дней после кончины Магаша, два побратима решились наедине сообщить Абаю о новых утратах.

И тогда Абай вышел внезапно из своего безразличного состояния и громко зарыдал. Долгое время он не мог остановиться. Дух его рухнул, ему казалось, что его неудержимо влечет в бездонную пропасть. Долгие дни охваченный ядовитой немою скорбью, в этот миг он пожелал в последний раз излить свою горечь словами.

— Кругом ограблен я жизнью! Стою одинокий, как могила шамана. Кто у меня есть, и что мне осталось?— преодолевая многодневную свою немоту, зашептал Абай невнятно: — О злосчастное время мое, какой только пыткой ты меня не терзало?.. Есть ли еще яд, коего я не отведал?.. Смотрите в сердце мое, есть ли живое место на нем?.. В чем вина моя, тяжкий грех, чтобы так страдать безысходно?.. Или много мне и того, что все еще бьется печальное мое сердце?— горькие мысли, пробуждаясь в нем, пробуждали и его самого.

Какитай, не выдержав муки Абая, заплакал и, чтобы скрыть свои слезы, выбежал вон из юрты. Перед Абаем остался один Дармен, который не сводил с него глаз, пристально следя за каждым его движением. А Абай продолжал, все глубже погружаясь в свою печаль:

— В безлюдной и бездорожной степи росло одинокое дерево. Оно жило многие месяцы, долгие годы. С надеждой и радостью раскрывало оно свои листья навстречу каждой весне... Каждый год цвело оно, и цветы опадали, а семена его ветер уносил в широкий

мир... Много раз желтела, сохла и облетала его листва. Но дерево жило и плодоносило вновь и вновь. Но вот однажды молния ударила в одинокое дерево и расщепила его. Огонь опалил его ветви, уничтожил листья и семена. Поверженное, обугленное, сухое оно обратилось к высокому синему небу: «Чем виновато я и перед кем? Разве я растило и сеяло зло и беду? Вот настала кончина моя, только ты было свидетелем, и к тебе мое слово. Ты видело и расцвет мой и гибель мою, необъятное, отвечай! Пусть я умру, но останется ли жить потомство мое? Взошла ли юная поросль от семян моих, которые ежегодно уносит ветер? Хоть одно из них прорастет ли на дне оврага, потянется ли к небу молодой своей вершиной и, когда придет срок, отдаст ли земле плоды свои? В каком краю и в какие времена зашумят листвою сады мои, осеняя цветущие луга? Будет ли петь на ветвях от семени моего рожденных деревьев сладкогласый соловей, воспевая вечное цветение? В тени садов моих созреет ли новая пора счастливой жизни?!» — Так, озаренный внезапно вспыхнувшим вдохновением, говорил поэт со своей судьбой. И так же внезапно умолк.

Оплакав дорогих ему людей высоким поэтическим словом своим, он снова впал в свой непонятный недуг.

Дармен рассказал обо всем Айгерим: «Боюсь, что в последний раз раскрывал нам Абай-ага свою великую душу», — и он поднес дрожащую ладонь к глазам, мокрым от слез, которых он и сам не замечал.

Только передавая близким сказанное Абаем, Дармен вдруг начал по-настоящему постигать глубокий смысл его слов. Они раскрывались перед Дарменом, как песня всей жизни Абая, родившаяся в час невыносимой скорби в его потрясенной груди. А может быть, она слагалась годами, копилась по капле на самом дне его великого сердца, и ее появление на свет знаменовало собою второе рождение поэта? Пусть переданные прозой, даже в изложении самого Дармена, который мог ведь и что-то упустить, эти строки были так новы, так необычайны! Они превосходили все, что было создано до сих пор в этом роде, исполненные истинного изящества зрелой мысли, подобные крупному жемчугу,

днем покидают его душевные способности, одна за другой.

Соответственно этому и тело его увядает, силы уходят, жизнь его изношена дотла. Многого он уже не чувствует. Его сознание как бы в дремоте, он не воспринимает того, что происходит вокруг. Поэтому и сон ему не нужен, еда тоже не нужна. У него нет слов и как будто бы нет и мысли.

Радость и горе, добро и зло, день и ночь становятся неразличимы, сливаются в сплошной мрак.

И в последние проблески сознания он ощущает свое бытие, изъятое из живой жизни других людей. Он снова плывет один в мутной, холодной, бездонной воде. И снова нет ей ни конца, ни края. Только вдали, у небесной черты, едва различимая глазом, высится во мраке высокая черная гора. А за ней, чуть приметная, занимается золотая заря. Она еще только едва брезжит, но чудится Абаю, что, медленно и неуклонно разрастаясь, она уже приподнимает край ночи, вот-вот ослепительные лучи ее хлынут потоком и победят мглу. Всем существом своим устремляется Абай к этой далекой золотой заре, как к земле обетованной. А окружающий его холодный грозный мир влечет к себе, влечет в бездонную мутную пучину, где он должен угаснуть, погибнуть. До последнего вздоха стояла перед глазами Абая далекая гора, за которой занимался рассвет, и он плыл, плыл к ней, напрягая последние силы. Так в густом сером тумане холодной предутренней поры великая душа поэта покинула мир. Абай отошел на следующий день после сорокадневных поминок Магаша.

Горячее биение большого сердца остановилось. Благородная жизнь, подобная обильной реке, несущей свои животворные воды через иссыхающую от жажды пустынную степь, иссякла. Могучий чинар, одиноко выросший на голой каменистой земле и поднявший вершину свою в сверкающую высь, рухнул!



Э П И Л О Г

Приближалась осень. Возвращаясь с летних пастбищ, кочевые караваны снова перевалили Чингис и потянулись один за другим в долины. На земле, где некогда родился Абай, на стоянке аула его матери, неподалеку от зимовки Жидебай выросли высокие травы, их уже косили. Степь кругом пожелтела, одинокая возвышенность Ортена густо заросла седым ковылем, ее выгоревшие склоны побурели. Унылый вид увядающей природы представал образом обветшалога мира, напоминая о горестях минувших времен.

Эта желтая равнина говорит о горькой печали, о тяжком недуге края, иссохшего от жестоких бедствий и скорбных дум. Тихий ветер беспрестанно волнует ковыль, раскачивает густой чий, колышет зеленую траву Жидебая, низко пригибая их к земле, все в одну сторону, на север. Мягкий ветерок, непрерывно дувший с Чингиса, в теплые дни шел обыкновенно с юга.

Последние дни на опустевшем безлюдном Жидебае, тихо дремавшем в забвении, единственным живым движением было это непрестанное колыхание трав. Здесь, на Жидебае, под крылышком старой бабушки Зере и доброй матери Улжан счастливо и беспечно, как маленький жеребенок, рос мальчик Абай. На этих каменистых бугорках и прогалинках, окруженных густыми зарослями высокого чия, он играл и резвился.

Теперь на склоне небольшого холма к востоку от зимовки возник просторный и высокий четырехугольный

мавзоль, видимо, воздвигнутый недавно. Внутри в левом его углу находится старое высокое надгробие. Поверхность его выветрилась, но грани углов сохранились. На камне начертано имя Оспана. В середине лета возле могилы Оспана появилось еще одно новое, такое же высокое надгробие — здесь похоронен Абай.

Сегодня эти могилы посетили кочующие караваны многих аулов. С утра здесь побывало множество народа: матери и отцы, едущие во главе кочевья, ребяташки, скачущие на двухлетках-стригунах, пастухи и батраки, перегоняющие стада, — никто не прошел мимо.

После полудня к могилам потянулись все мужчины и женщины, старики и молодые, все население аула Абая. Верхом, на телегах, а то и пешком, густой человеческий поток хлынул к мавзолею.

Просторный четырехугольный могильник, прохладный и обширный начисто вытоптаный двор — до отказа заполнились навзрыд плачущими людьми. Уже столько горючих слез было пролито со дня смерти Абая, столько высказано бессвязных, из сердца исторгнутых возгласов скорби и причитаний, что настала теперь пора родиться у этой могилы настоящему песенному слову об ушедшем, достойному его высокой жизни.

Когда рыдания людей, оплакивающих Абая, начали утихать, какая-то пожилая женщина громким и скорбным голосом завела поминальный плач. Отчетливо слышные всем, неоднократно повторялись в ее песне два слова — «Кос коныр, кос коныр» (Двое смуглых).

— Кто это? Чей голос заводит плач? — спрашивали стоящие у входа, пожилые люди им отвечали: «Зейнеп». А женщины помоложе, оборачиваясь назад, шептали: «Мулла-апа».

Зейнеп училась мусульманской грамоте. Казалось, она сама слагает свою песню, исполненную глубокой печали. «Двое смуглых», — так величала она своего давно умершего мужа Оспана и лежащего рядом любимого брата его, Абая. И внимая скорбному голосу Зейнеп, люди долго и молча плакали.

Затем, когда стала утихать ее песнь, впереди, у самой могилы Абая, возник новый, необычайно мягкий, сильный и очень высокий голос, который струился

серебряными переливами. Это плакала прекрасная супруга Абая Айгерим, которую он всю жизнь любил преданно и восхищенно. Долгое время молчавшая, эта удивительная певица теперь отдавала всю свою душу и все свое мастерство вдохновенной песне печали.

В этой песне прощания были новые светлые думы, в ней было свое печальное изящество, доселе незнакомое слушателям. И слова ее были свежими, иными, не похожими на те, что произносились в поминальных плачах обычно.

Эти слова сложил Дармен, а волнующий печалью протяжный напев родился в сердце самой Айгерим. И эта вдохновенная песнь, которую без слез чистым и ясным своим голосом пела Айгерим у могилы Абая перед лицом его родного народа, была не просто песней скорби об ушедшем, одной из тех, что во множестве посвящались ему ежедневно.

В ней дар поэтического слова слился со стихией прекрасной музыки. Соединившись вместе, сородичи сердца воздвигали поэту бессмертный памятник искусства.

То, что произносила сейчас Айгерим, никто еще и никогда не говорил об Абае. Устами его верной супруги сын бедняка Дармен обращался к Абаю от имени всего народа.

Чем дорог народу Абай, за что его чтут в народе? Его словами плакали обездоленные, горемычные матери. Его мыслями вооружались доблестные мужи. Его голосом молодежь говорила с будущим, отрекаясь от зла прошедшего, устремляясь к светлой надежде грядущего. Потому — не умер Абай!

Подумайте, можно ли сказать о нем — его больше нет?

Может ли умереть, бесследно исчезнуть тот, кто оставил после себя бессмертное слово. Великий человек, обращавший взоры свои в золотую высь, никогда не умрет, — ты говорил, Абай-ага. Пока будет жива на земле хоть единственная душа, дочь или сын народа твоего, в ней будешь жить и ты! Впереди у небесной черты забрезжил рассвет, — ты говорил, — значит, в нем разгорается и твой свет, в нем будешь сверкать и

ты! Нет, народ благодарный твоей смерти тебя не отдаст!

Когда с жалобным криком на Жидебае ты появился в мир, добрая мать твоя Улжан под защиту тебя взяла. Это единственная, твоя, мир праху ее.

Сегодня приемлет, как сына, тебя другая, бессмертная мать. Отчизна в далекую светлую жизнь, в бессмертье тебя уведет. Есть дух, над которым смерть не властна. Такая душа у тебя.

Так пела Айгерим у свежей могилы Абая, утверждая невывядаемую, вечную жизнь его в народе.

Чудесный голос скорбной певицы возводил прекрасный купол над гробом поэта. Песня трепетала, как белоснежные крылья лебедя, парящего в бездонной синеве неба, сверкающего золотом солнечных лучей. Не взмахи ли крыл благородной птицы веют над склоненными головами людей? Не ее ли прощальная песнь раздаётся в сердцах плачущих? Тот, в чью душу вошла эта вдохновенная красота, сохранит ее в памяти на всю жизнь.

Так, в скорбный час расставания была спета последняя песня Айгерим. Вместе с этой песней навсегда замерли звуки прекрасного голоса, некогда опьянявшего Абая.

Печальная душа высокого искусства Айгерим угасла у могилы Абая, вместе с ним отошла в небытие. Если, по собственным словам ее, вместе с Абаем ушла из ее объятий любовь, то вместе с ним угасла в ее сердце искра песенного дара. Серебряный чудный голос певицы навеки замолк у нее в груди. Когда она, в последний раз волнуя и опьяняя людей, пела свою последнюю песню, потрясенный и бледный Дармен не сводил глаз с могилы Абая. Рядом с ним плакал сын Даркемба, взрослый юноша Рахим, а за ним теснились Усен, Мурат и Шакет, некогда желанные маленькие гости Абая.

И чувствуя на себе их горячее дыхание, Дармен давал ушедшему пламенный обет: «Как золотой клад буду беречь оставленные вами ростки будущего, отец... Драгоценные ваши семена». Он ни на минуту не забывал о последнем вдохновенном слове Абая, в тоске

мир... Много раз желтела, сохла и облетала его листва. Но дерево жило и плодоносило вновь и вновь. Но вот однажды молния ударила в одинокое дерево и расщепила его. Огонь опалил его ветви, уничтожил листья и семена. Поверженное, обугленное, сухое оно обратилось к высокому синему небу: «Чем виновато я и перед кем? Разве я растило и сеяло зло и беду? Вот настала кончина моя, только ты было свидетелем, и к тебе мое слово. Ты видело и расцвет мой и гибель мою, необъятное, отвечай! Пусть я умру, но останется ли жить потомство мое? Взошла ли юная поросль от семян моих, которые ежегодно уносит ветер? Хоть одно из них прорастет ли на дне оврага, потянется ли к небу молодой своей вершиной и, когда придет срок, отдаст ли земле плоды свои? В каком краю и в какие времена зашумят листвою сады мои, осеняя цветущие луга? Будет ли петь на ветвях от семени моего рожденных деревьев сладкогласый соловей, воспевая вечное цветение? В тени садов моих созреет ли новая пора счастливой жизни?!» — Так, озаренный внезапно вспыхнувшим вдохновением, говорил поэт со своей судьбой. И так же внезапно умолк.

Оплакав дорогих ему людей высоким поэтическим словом своим, он снова впал в свой непонятный недуг.

Дармен рассказал обо всем Айгерим: «Боюсь, что в последний раз раскрывал нам Абай-ага свою великую душу», — и он поднес дрожащую ладонь к глазам, мокрым от слез, которых он и сам не замечал.

Только передавая близким сказанное Абаем, Дармен вдруг начал по-настоящему постигать глубокий смысл его слов. Они раскрывались перед Дарменом, как песня всей жизни Абая, родившаяся в час невыносимой скорби в его потрясенной груди. А может быть, она слагалась годами, копилась по капле на самом дне его великого сердца, и ее появление на свет знаменовало собою второе рождение поэта? Пусть переданные прозой, даже в изложении самого Дармена, который мог ведь и что-то упустить, эти строки были так новы, так необычайны! Они превосходили все, что было создано до сих пор в этом роде, исполненные истинного изящества зрелой мысли, подобные крупному жемчугу,

извлеченному взволнованным морем из самой глубины бездонной пучины. В этих словах, как в слитке драгоценного металла, сгустился опыт всей вдохновенной и самоотверженной жизни поэта и гражданина.

И, становясь соучастником вдохвленной скорби Абая, Дармен видел в нем самом это гигантское плодовитое дерево, всю жизнь щедро рассеивающее свои бесчисленные семена в открытых просторах голой степи. Да, это было именно так. Справедливость требовала это признать!

Когда обратил могучий чинар свой дерзновенный вопрос к небу? В дни, когда молния сожгла его последние плодоносные ветви, когда поверженным остался его обнаженный ствол. Только тогда изрек поэт свою грозную жалобу и свой приговор. Три прекрасные ветви оставались еще у него. Первая — сын и поэт — Магаш; вторая — любимец народа и друг — Базаралы; третья — ровесник, от юных дней ставший родней всех родных, за всю жизнь не причинивший и тени огорчения — светлый Ербол. Когда разом не стало всех их троих, чистым пламенем вспыхнуло сердце Абая и осветило мгновенно высокий его дух.

Дармен понял — своим вдохновенным словом Абай прощался навсегда, как друг, отец, гражданин и поэт с самыми близкими ему Магашем, Ерболом и Базаралы.

Глубоко, как только может постигнуть поэта поэт, постигая образ, созданный Абаем, Дармен ясно увидел, что жизненный путь его названного отца окончен, и впал в безутешное горе.

Абай теперь общается только с самыми близкими ему: Айгерим, Дарменом и Баймагамбетом. Они его одевают, сами приводят к столу и кладут ему пищу, но он почти ничего не ест. Если его выводят из дому, он беспрекословно, как малое дитя, подчиняется этим троим, покорно идет за ними. А эти трое день и ночь неотрывно при нем, день и ночь в тревоге за него, поддерживают друг друга, делятся своими горестями, своими опасениями за Абая.

Когда пришло время кочевью уходить далеко от зимовки на Акшоки, люди потянулись к могиле Ма-

вопрошавшего безмолвное небо о судьбе рассеянных им по свету зерен грядущего... Теперь Дармен понял, что это было самой глубокой и важной тайной всей жизни Абая... Слушая Айгерим, Дармен мысленно искал ответ на страстную мольбу поэта.

— Нет, не погибнет твое семя, высокочтимый отец! Твоя жизнь не пройдет бесследно. Пусть сейчас еще нет широкошумной роши, осеняющей цветущие луга. Но по всей беспредельной шири степей рассеяны и взойдут твои семена, возрастут во множестве в невиданном доселе цветении.. Они будут расти ввысь, укрепляясь с годами... Ради этого всю жизнь до самой смерти клянусь я беречь и лелеять драгоценные твои слова... Я оправдаю заботу твою и твое воспитание, дорогой отец!

Так в песне-плаче верной своей подруги Абай вступил в бессмертие. Песня Айгерим и произнесенные ее устами слова Дармена стали началом нового искусства, возникшего после Абая. Потому-то в этой песне и совершилось его второе рождение.

И как бы для того, чтобы засвидетельствовать это, к его могиле стекались все новые и новые люди из многочисленных кочевых караванов. Удрученные своей печалью, погруженные в свои мысли, Айгерим, Дармен и юные друзья Абая, семипалатинские школьники, не заметили, как росла толпа у них за спиной.

Отцы и матери, бессмертный народ принимал новое рождение Абая.

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

Я родился 28 сентября 1897 года в семье кочевника-казаха Чингисской волости, Семипалатинской области, Омархана Ауэзова. Как известно, до Великой Октябрьской революции территория и население казахских степей делились не только по административному признаку (уезды, волости), но и по родовому. Мои предки, выходцы из Средней Азии, еще в начале XIX века были причислены к племени Тобыкты, из которого происходил и герой моего романа, Абай Кунанбаев.

Раннее детство я провел в ауле, там же начал обучаться и грамоте. Учил нас, внуков, наш дед Ауэз (от чьего имени и происходит моя фамилия).

Мне было лет пять-шесть, когда однажды вечером в час приятного ожидания ужина дед решил проверить, не вырос ли я уже для грамоты, и он тут же заставил меня повторить несколько слов со звуком «р». Не умея отчетливо произносить этот звук, нечего было и думать о грамоте: детям, не справлявшимся с ним, муллы крутили язык,— ведь первые уроки начинались с заучивания первых слов корана: «Бисмилляли рахман ир-рахим..» («Во имя господ всемогущего»), и никакой мулла не мог допустить «кощунственного искажения священного изречения». Но этот экзамен, видимо, вполне удовлетворил деда, и он взялся за меня на следующий же день.

Помню безоблачное, теплое весеннее утро. На лужайке перед зимовкой резвятся телята, прыгают милые детскому сердцу ягнята и козочки, а по небу, подобно белокрылым перьям из бабушкиных сказок, далеко растянувшейся стаей летят озаренные солнцем лебеди, чуть слышная песнь доносится с непостижимой высоты. И вдруг все очарование весеннего дня исчезает: нас зовут в душную, низкую зимовку к деду. Увидев в его руках толстую рукописную книгу, я понимаю, зачем нас звали, и огорчаюсь еще больше. Дед начинает показывать мне в книге арабские буквы, и у каждой из них такое трудное название.

Книга эта была сборником стихов Абая. Ауэз, друг поэта и искренний почитатель его таланта, заказал мулле переписать их

в одну книгу и решил обучать нас грамоте по стихам любимого поэта, надеясь внушить любовь к ним и своим внукам.

У деда был свой метод обучения. Вероятно, он значительно облегчал труд учителя, но бедного ученика заставлял проливать немало слез: едва я стал отличать буквы, мне пришлось учить наизусть одно стихотворение за другим. Стихи были длинные, непонятные, в них то и дело попадались странные, непривычные, никогда не слыханные имена: Фошкин, Лермонтып, Крылоп, какие-то Татьян и Анегн. Дед, подражая учителям-муллам, держал нас за книгой с утра до заката, и все выученное за день нужно было перед ужином прочесть ему и отцу наизусть. Вешнее солнце потускнело для меня, целыми днями не видел я своих друзей-ягнят, и абаевские страницы с сердечными жалобами Татьяны были мокры от горьких слез другой жертвы судьбы. Но дед твердо держался своего способа обучения: не помогало и заступничество сердобольной бабушки, опасавшейся, что от беспрерывного заучивания стихов ее маленький внук отупеет.

Одиннадцать лет я лишился отца, и меня взял на воспитание мой дядя Касымбек, который в юности перешел из мусульманского медресе в русскую школу, не считаясь с проклятиями своего наставника, хазрета Камаледдина. Дядя и меня устроил в Семипалатинское городское пятиклассное училище на земскую стипендию Чингисской волости.

Царское правительство собирало со степного населения средства для этих стипендий с целью готовить в русских школах переводчиков — толмачей, мелких служащих административного аппарата и т. д. Но казахи неохотно отдавали в школу детей. Патриархально-родовые пережитки и фанатические разъяснения мулл вызывали недоверие к русской школе: многие считали, что она учреждена лишь для того, чтобы крестить казахских детей. Поэтому уездным начальникам приходилось замещать вакансии в порядке разверстки — по два мальчика с волости, — и порой волостные управители выплачивали родственникам кандидата выкуп, чтобы выполнить разверстку. Понятно, что при таком отношении к русской школе наш дед выслушивал от старейшин и аксакалов немало упреков, насмешек и осуждений за то, что разрешает сыновьям и внукам учиться в русской школе. Когда на лето мы, ученики, приезжали в аулы, родовые воротилы, глядя на одетых в форму мальчиков, сокрушенно покачивали головами и объясняли это «бедствие» губительным влиянием Абая. В этом они, пожалуй, были правы: великий поэт не только ратовал за русское образование в своих стихах и философских рассуждениях, но и сам обучал своих детей в русских школах, и это было известно всем.

Степная жизнь, которую мы наблюдали во время каникул, представляла резкий контраст нашей городской жизни, и благодаря этому ярче бросались в глаза пережитки кочевого феодализма, позорные обычаи патриархальной старины — калым, многоженство, пеня за убийство, родовая борьба с ее набегам, тяжбами, грабежами — борьба, разорявшая народ. Этот мрачный быт косной, отсталой степи был еще так силен, что и

после установления советской власти в Казахстане общественности приходилось бороться с баями и полуфеодалами, крепко державшимися за древние установления обычного права — адата и шариата.

Семипалатинскую учительскую семинарию я окончил в начале 1919 года и по установлении в Семипалатинской области советской власти начал свою общественную деятельность, работая сперва в Семипалатинском облисполкоме, потом в КазЦИК в Оренбурге, одновременно пробуя свои силы в драматургии и журналистике. Осенью 1922 года я поступил вольнослушателем в Среднеазиатский государственный университет в Ташкенте. Тогда же начал сотрудничать в журнале «Шолпан», где напечатал несколько рассказов об уродливом социально-бытовом укладе старого казахского аула.

Через год я поступил в Ленинградский государственный университет на филологическое отделение. Здесь я учился до 1928 года, после чего поступил в аспирантуру при восточном факультете Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте.

К тому времени в казахских театрах уже шли мои пьесы «Байбише-токал» («Жены-соперницы»), «Енлик и Кебек» и другие, в журналах и отдельными изданиями печатались рассказы и повести. За спиной уже незаметно накапливалось прожитое прошлое, наступала пора зрелости. Окончив советский вуз и аспирантуру, я все еще обнаруживал в самом себе внутренние противоречия, идейные блуждания, — ошибки — результат влияния буржуазного национализма, в те годы еще не изжитого в отдельных республиках. Оглядываясь на свой творческий путь, я видел, что он еще не начат по-настоящему. В нем было немало творческих ошибок, и не все, мною написанное, было полезно советскому народу, великой Родине. В 1932 году, решительно осудив свои идейные и творческие заблуждения, я начал работать по-новому, как советский писатель, драматург и прозаик, как исследователь истории казахской литературы, как педагог и лектор в казахских вузах.

Мною написано свыше двадцати пьес, показывающих различные этапы социалистического строительства в Казахстане, написано много рассказов и повестей. Последние двенадцать лет я посвятил работе над романом о классике казахской литературы Абае.

Прежде чем начать задуманный роман, я занялся изучением биографии и творчества поэта. Я редактировал полное собрание сочинений, написал его биографию, собирал касающиеся поэта и его эпохи исторические материалы: в соавторстве с моим другом, русским писателем Леонидом Соболевым, знатоком истории культуры казахского народа, написал трагедию «Абай», отображающую последние годы жизни поэта.

Собирание материалов об Абае имело свои любопытные особенности, незнакомые большинству авторов исторических романов. Дело в том, что о жизни, работе, внешности и характере Абая нет никаких печатных и письменных данных — ни личного

архива, ни дневников, ни писем, ни мемуаров, ни просто зафиксированных на бумаге воспоминаний о поэте. Все данные его биографии, все события романа мне пришлось собирать долгое время путем устного опроса знавших Абая людей, путем беседы с ними. Большинство этих людей, естественно, были уже стариками, в памяти их потускнели и давно минувшие дни, и образы людей, и разговоры, и события. Беседовал я и с учеником Абая Кокпаем: он был единственным из близких друзей поэта, кто дожил до наших дней. Скончался Кокпай в 1927 году, но, будучи моложе Абая на шестнадцать лет, ничего не мог рассказать о юных годах поэта.

Но еще задолго до того, как у меня возникла мысль о романе, еще в ученические годы, я подолгу слушал воспоминания своего деда Ауэза, который был на несколько лет старше Абая. Он хорошо помнил и Кунанбая. В те же годы я видел постаревшую Дильду, первую жену Абая. Много драгоценных подробностей рассказывала об Абае глубоко преданная его памяти Айгерим, пережившая мужа на десять с лишним лет.

Собирая материал, я беседовал и с друзьями и почитателями Абая, и с бывшими его врагами и завистниками — с самими его современниками, или с их сыновьями и внуками. В результате этих поисков у меня накопилось такое множество сведений о моем будущем герое, что я часто повторял один из великих заветов Горького: «Пиши о том, о чем не имеешь права молчать». Даже сейчас, когда роман о юности и о молодости Абая уже закончен, я вижу, что у меня осталось такое количество не вошедшего в эту книгу материала, что на основе его можно было бы написать еще одну такую же книгу об этом же периоде жизни моего героя. Полнота материала была благоприятным, даже решающим условием моего труда.

Но в сборе материала были и свои трудности. Читать о прошлом приходилось в потускневшей, ослабнувшей памяти моих престарелых собеседников. Многие приходилось оживлять своими догадками, расшифровывать путем сопоставления с рассказом другого современника Абая. С этими воспоминаниями приходилось обращаться бережно и осторожно: так запоздалый путник, отыскав в пепле костра, оставленного давно ушедшим караваном, тлеющий уголек, бережно и осторожно раздувает его, вызывая своим дыханием огонь. Восстанавливать по этим рассказам давно ушедшую жизнь было так же трудно, как по облику шестидесятилетней Айгерим представить себе всю прелесть ее девичьей красоты, пленившей когда-то Абая.

Но верные помощники советского писателя — метод социалистического реализма, ясное критическое отношение к прошлому, великие реалистические традиции русских классиков — выводили меня из множества тупиков. Немало помогал мне и сам Абай своими бессмертными творениями.

Воссоздавая его образ, я думал не только о месте Абая в истории нашего народа, не только о его прогрессивной роли в прошлом, но и о том, какие мысли и мечты связывают его с нашей современностью, с советским поколением. Из жизни и дея-

тельности поэта прошлых времен я отбирал то, что дорого и памятно для последующей истории. В этом отборе я все время помнил об историческом пути моего народа от времен Абая к социалистическому переустройству общества. Идеалы прогрессивных и революционных деятелей прошлого, безмерно обогащенные Великой Октябрьской революцией, воплощаются в жизнь.

Вместе с Абаем, становящимся постепенно духовным оком своего трудового народа, я старался постичь душу этого народа и раскрыть ее в лучших ее проявлениях. И пылкие чувства юного Абая, раздумья и деяния зрелого Абая, борьба и драмы Абая наставника, заступника народа в преклонные годы его жизни — все вместе должно было открыть пути к душе народа его эпохи.

Абай — зрячее око, Абай — отзывчивое сердце, Абай — мудрость народа в моих поисках, в целом, является воплощением чувств, дум, волевых порывов народа, души его, сокровенное в нем.

Во имя такого замысла и был взят мною образ Абая.

Две книги романа «Абай» входят в состав серии романов о поэте и его эпохе

«Абай» является первым романом этой серии. Далее следуют две книги романа «Путь Абая», уже законченные мною и изданные на казахском языке. В настоящем издании всей серии они выходят и на русском языке.

Теперь я занят новой книгой, начинающей собою группу романов о социалистическом периоде истории моей родины.

В этой серии исторический роман будет переходить к роману о современности. То, о чем мог лишь мечтать когда-то поэт, что он мог представлять себе в смутных и зыбких очертаниях, воплотится в реальную величественную действительность наших дней, нашей величайшей в истории человечества эпохи.

Одновременно с писательской работой я уже давно, еще со студенческих лет, занимался и научно-исследовательской. В качестве историка литературы я участвую в составлении школьных и вузовских учебных пособий по истории казахской литературы, свыше двадцати пяти лет веду педагогическую и лекторскую работу в вузах Алма-Аты. В качестве профессора Казахского государственного университета имени С. М. Кирова я читаю специальный курс абаеведения и лекции по казахскому фольклору, а как действительный член Казахской академии наук работаю в Научно-исследовательском институте языка и литературы при Казахской академии наук.

Мухтар Ауэзов.

Алма-Ата, 1957 г.

40 2

О Г Л А В Л Е Н И Е

Во мраке	5
Над бездной	78
В кручине	152
Во вражде	220
В схватке	289
В гололедицу	372
Эпилог	438
Автобиография	443

Ответственные по выпуску: *Н. Муханова, Л. Золотова.*

Технический редактор *П. Вальчук.* Корректор *М. Кац.*

Сдано в набор 23/VII-57 г. Изд. № 215. Подписано к печати 30/I-58 г.
Бумага 84×108 ¹/₃₂—14 печ. листа—22,96 усл. печ. листа. (Уч.-изд. 23,11 л.
+7 вкл.).

Тираж 20000 экз. Цена 9 руб. 75 коп.

Алма-Ата, Полиграфкомбинат Главиздата Министерства
культуры КазССР. Заказ № 1399.

